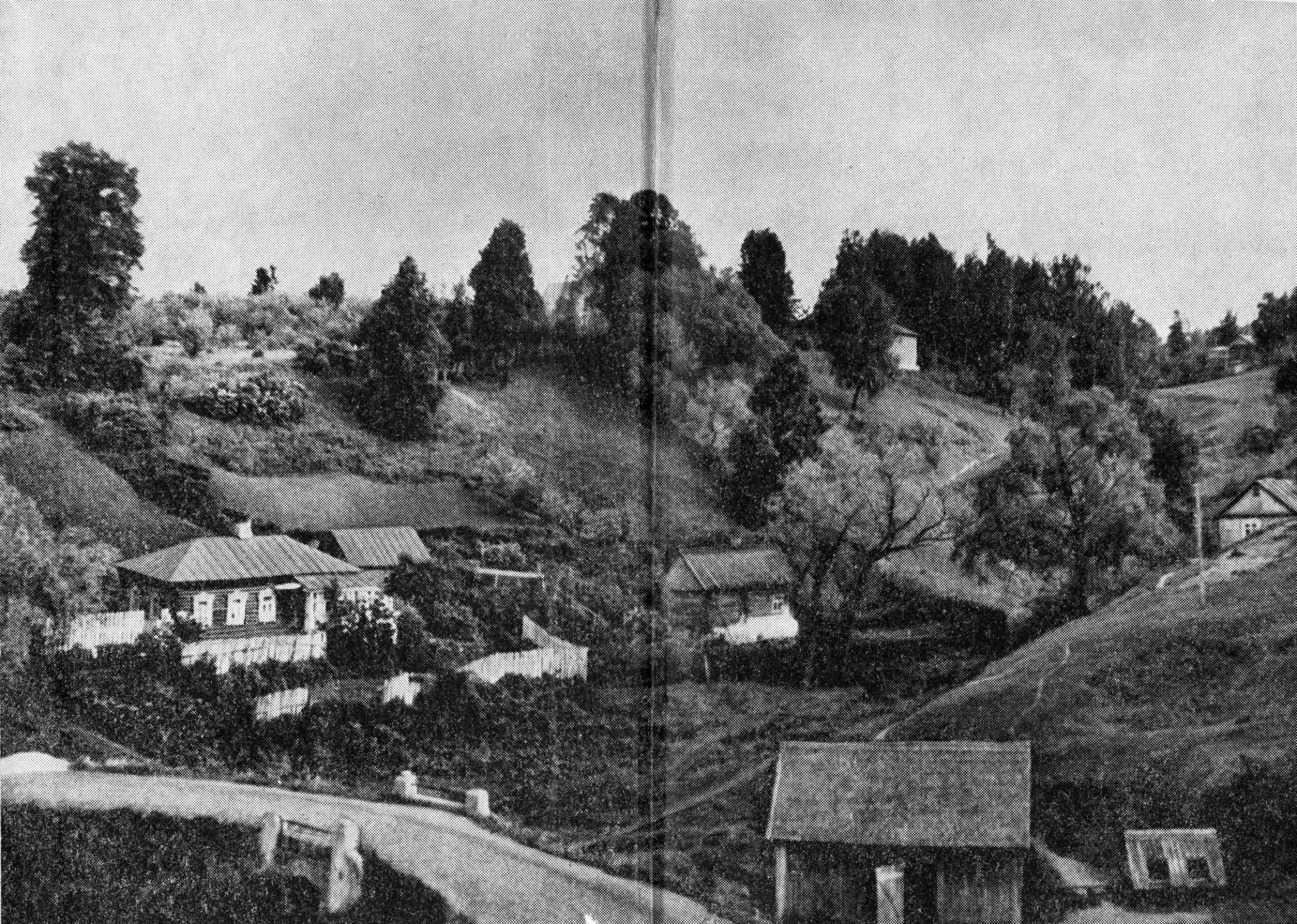


ВОСПОМИНАНИЯ О КОНСТАНТИНЕ ПАУСТОВСКОМ

ВОСПОМИНАНИЯ
О
Константине ПАУСТОВСКОМ





ВОСПОМИНАНИЯ
О
Константине ПАУСТОВСКОМ

СОСТАВИТЕЛЬ
Л. Левицкий

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1975

Творчество замечательного советского писателя Константина Паустовского пользовалось и пользуется самой широкой популярностью в нашей стране. Воспоминаниями о нем делятся и старейшие писатели, сверстники К. Паустовского — Вс. Иванов, В. Шкловский, Р. Фраерман, Ю. Смолич, М. Шагинян, — и его младшие товарищи по перу — Н. Атаров, А. Бек, — и писатели послевоенного поколения, его ученики, которых он учил писательскому мастерству, — В. Тендряков, Ю. Бондарев, Ю. Трифонов, Г. Бакланов, Ю. Казаков.

В воспоминаниях возникают черты биографии писателя, — мы видим К. Паустовского в двадцатые годы, когда он сотрудничал в РОСТА, в пору его работы над повестями «Колхида» и «Қара-Бугаз», в годы войны и в послевоенные годы, мы видим выдающегося художника, писателя-труженика, наставника молодежи.

*Оформление
художника Вл. Медведева*

- © Издательство «Советский писатель», 1975 г. Воспоминания, отмеченные в содержании звездочкой, печатались до 27 мая 1973 г.
© «Путешествие с Паустовским», журнал «Нева», 1973 г.



К. Г. Паустовский после окончания гимназии. Киев, 1910 г.

Юрий СМОЛИЧ

ПАУСТОВСКОМУ Я ЗАВИДУЮ

Константину Георгиевичу Паустовскому я завидую.

Предмет зависти — его писательский путь.

Бросим хотя бы беглый взгляд на грани многогранного творчества Паустовского. Цикл романов-разведок — «Кара-Бугаз», «Колхида», «Черное море», — которыми, собственно, и начинал Паустовский страду художника. И цикл историко-биографических повестей — «Судьба Шарля Лонсевиля», «Исаак Левитан», «Орест Кипренский», «Тарас Шевченко», — и пьесы о Лермонтове и Пушкине. И огромная автобиографическая эпопея «Повесть о жизни». И знаменитая книга писательского и человеческого опыта — «Золотая роза». И одновременно — не говорю уже о других повестях и десятках рассказов — постоянная, систематическая работа публициста в газетах и журналах.

Я позволил себе назвать первые книги Паустовского рома-

нами-разведками ничуть не условно. Факты прошлого и настоящего увидело зоркое око журналиста, а воссоздала для читателя рука мастера-художника. Пытливость ученого сочетается с горячностью поэта-романтика, а поэтический, романтически приподнятый образ зачастую ведет к публицистическому обобщению. Но в то же время эти романы были разведывательными в прямом значении этого термина, «разведкой боем» на старте литературного пути писателя.

Эта «разведка» прошла успешно, «бой» был выигран, и началось победоносное наступление — прямой трассой и извилистыми тропинками, но никогда окольными путями — к вершинам литературного мастерства и совершенства.

Ну, скажите, как не позавидовать Паустовскому в искусстве изображать человеческий труд и воспевать красоту природы? А разве не завидуешь, когда он придирчиво, с тонким мастерством хирурга, разбирает свое собственное творчество? Или, оглядываясь на прошлое, глазами современника видит себя в социальном процессе того времени и, воссоздавая этот исторический процесс сквозь призму личных восприятий, ведет читателя по богатейшей галерее живых образов недавно минувшего. И все это летит из-под пера писателя на парусах нежной, почти интимной, однако полнозвучной романтики.

Вообще говоря, Паустовский — странствователь. Странствователь не только в литературных жанрах, но и в прямом, самом лучшем, конечно, смысле этого слова. Жажда нововидения и познания мира всю жизнь гнала его с места на место. Он бывал на юге и на севере, отправлялся на запад и на восток. Он побывал на Кавказе и в Закаспии, в Карелии и в Средней Азии, на Кольском полуострове и в Сибири, в Прибалтике и в Молдавии, в Белоруссии и на Дальнем Востоке. Среднюю полосу России Константин Георгиевич изъездил вдоль и поперек, это его любимые края. Он родился в Москве, но своей второй родиной считал Украину: здесь прошла его юность, тут бурно пережитая пора, когда формировалось его сознание, тут, на берегах Днепра, Роси, Черного и Азовского морей, его первая работа и первая проба пера.

Реки и моря словно омывают берега на карте жизни и творчества писателя. Именно на берегах рек, озер и морей не только места «постоянной» или «временной» прописки Паустовского, но и обширные территории Паустовского-литератора, тут живут и действуют его герои, тут и «точки прило-

жения» его мыслей и чувств. Днепр и Волга, Дон и Днестр, Нева и Рось, Ока и Ирпень, озера севера и плавни юга, Черное и Балтийское моря — они живут в творчестве писателя, читатель узнает вкус их воды и силу волны.

Но карта странствий Паустовского не вмещается в рамки только родного края, он путешествовал и по Болгарии, Греции, Турции, Италии, Франции, Чехословакии, Голландии, Швеции, Великобритании. И эта карта тоже не остается немой, путешествия писателя неизменно находят отклик в его книгах. И характерно — Паустовский не турист, и не ищите в его произведениях соблазнительной экзотики, ищите и отыщите в них рельефные слепки местности, выразительные образы встреченных людей, проникновение в их судьбы.

Мне кажется, что Паустовский избегает экзотики еще и потому, что смолоду, да и в начале своего литературного пути он как раз увлекался экзотикой, отдал этому увлечению заметную дань, переболел этой болезнью литературной молодости и в возрасте зрелого мастера поднялся гораздо выше этого блестящего, яркого и пахучего пустоцвета. А зоркий глаз журналиста — профессия, с которой начинал свой путь в литературу Паустовский, — лишь обогащал художника, нежного лирика и страстного романтика-реалиста.

Как это часто бывает с людьми, которых мы очень любим, я не могу припомнить, когда и при каких обстоятельствах познакомился с Константином Георгиевичем. Возможно, на каком-нибудь писательском собрании или заседании в Москве. А может быть, во время отдыха и работы в писательском Доме творчества на Ирпене. Это могло быть и в Киеве, и в Харькове. А иногда мне кажется — непременно в Одессе. Во всяком случае, это было очень давно, и оба мы были еще молоды. Но наша взаимная симпатия возникла с первого взгляда. Не знаю, почему так бывает, — с одним человеком можно век вековать и остаешься чужим, другого только увидишь — и первая же встреча становится началом долголетней дружбы. Наша дружба была своеобразной. Мы встречались и расставались случайно, потом годами не писали друг другу. А там хлоп — получаю телеграмму: «Удивляюсь обособному молчанию». И снова молчим. А потом вдруг съезжаемся и живем вместе. Говорим — не переговаривать. И снова разъехались и молчим. А потом письмо, огромное, на несколько страниц, интимное. Пути дружбы неисповедимы. Очевидно, в жизни каждого был такой пункт, где душа и сердце другого нужны тебе до зарезу.

И удивительное дело — мы с Паустовским прозаики абсолютно разные и по стилю, и по жанру, даже наши пристрастия в области других искусств часто противоположны, но выбором тем и материала для нашей творческой работы часто совпадал, более того — уже не раз и не два мы писали книги на одну, собственно говоря, тему. Прежде всего это наша юность и атмосфера той поры. Это годы гражданской войны на Украине, тут сходится даже география, места, где разворачивается действие наших произведений. Это, наконец, вопросы литературного мастерства, наблюдения и выводы из своего литературного опыта.

Когда осенью сорок первого года, после захвата гитлеровцами Харькова, где я до того жил, мне пришлось на некоторое время попасть в далекую Алма-Ату, одним из первых, кого я там встретил, был Константин Георгиевич. Был он в военной форме — только что прибыл с фронта, чтоб эвакуировать семью. Надо ли говорить, какая это радость — встретить друга в тяжкий час твоей жизни?

Гитлеровцы к тому времени уже захватили всю Украину и стояли под Москвой. Горе давило нас. Мысли разбегались: почему, как это могло случиться? Но одно мы знали твердо: народ не будет жить под фашизмом! Сотни вопросов терзали наши сердца. И взаимная поддержка укрепляла веру в победу. Этого не забыть никогда.

Вспоминаю, как приходил ко мне днем Константин Георгиевич, — я жил за городом, на окраине, по ту сторону реки Алмаатинки. Вспоминаю и наши вечерние беседы в комнате Константина Георгиевича, — он поселился в городе, у писателя Ауэзова. Не забыть и наши общие походы на «прилавки» — так называют в Алма-Ате отроги Небесных гор, что подступают к самому городу. Чарующая природа Средней Азии окружала нас, но мы видели ее словно под стеклянным колпаком, без живого дыхания и без живого тепла, то были как бы иллюзорные декорации. Чарующая природа Притяньшанья была так близко, вот здесь, но была она и далека — вне нас. Близким было только то, что отстояло от нас на десяток тысяч километров, — Москва, Украина, фронт. Этим мы жили.

Мы тогда выступали в госпиталях перед ранеными. Нам аплодировали. Но от этих аплодисментов хотелось рыдать. Двое одноруких, сидевших рядом, аплодировали вместе, как один. Другие, совсем без рук, топали ногами. А кто был без ног, стучал костылем...

Паустовский говорил тогда:

— Этого не забыть до смертного часа. Вот мерило для нашей ответственности за работу на всю дальнейшую жизнь...

Мы много, как, может быть, никогда, работали. Газеты, журналы, радио Казахстана и радиостанции Москвы и далекой Украины, что посылала теперь свои радиоволны не с берега Днепра, а с берегов Волги и Москвы-реки,— то были каналы нашей живой связи с жизнью народа. Мы писали рассказы, статьи, очерки, фельетоны и снова видели, как разногранны «кристаллики» в наших писательских глазах: безгранично различие литературных стилей даже тогда, когда идея одна, когда цель общая, когда близки самые сюжеты. И снова мы знали лишь тему: война, непокоренность народа, героизм советских людей в борьбе.

Желание тогда было у нас тоже одно: в Москву и на Украину! И мы посылали телеграммы во все инстанции с просьбой прислать вызов,— без вызова тогда, в условиях военного времени, нельзя было получить пропуск на выезд.

Вызов первому посчастливилось получить мне. Константин Георгиевич, провожая меня, протянул мне ключ.

— Это,— сказал он,— ключ от моей московской квартиры. Правда, мне сообщили, что туда попала бомба. Но вообще-то дом стоит на месте. Может быть, квартиры нет, но осталась хотя бы входная дверь. На этот случай вот вам ключ.

В Москве я с головой ушел в работу. Меня назначили редактором вновь создаваемого журнала «Украина», и надо было связаться с авторами, украинскими писателями, разбросанными по всему тысячекилометровому фронту, и организовать полиграфическую базу, когда чуть ли не все типографии были эвакуированы в глубокий тыл. Жил я сперва в гостинице «Москва», потом в гостинице «Метрополь» и вдруг нащупал в кармане ключ от квартиры Паустовского в доме писателей по Лаврушинскому переулку.

Нелегко было добраться до этой квартиры, эфемерной, потому что ее, может быть, уже и не было. Лифт не работал. Но вот триста шестьдесят шесть ступенек — столько, сколько дней в високосном году,— преодолено, и я перед дверью. Дверь цела. Целой в общем оказалась и квартира, бомба разрушила лишь одну угловую комнату, а две с кухней остались невредимы. Кухонная посуда, всякая утварь и полки с книгами. Книги! В грозную годину войны как-то совсем забылось, что есть на свете книги, даже целые библиотеки.

И я поселился среди книг Паустовского.

Не знаю, у всех ли так, а для меня человек зачастую начинается как раз с его библиотеки. Разве не чувствуешь сразу — вот эти книжки случайные, стали на полку, так сказать, проездом, эти попали помимо воли владельца библиотеки, стараниями друзей, поклонников или подхалимов, а вот эти настоящие туземцы, аборигены; читайте их — и вы заглянете в мир их владельца.

Я возвращался в дом Паустовского поздно ночью, у меня был пропуск без ограничения времени; шагал пустынными улицами от Тверского бульвара до Замоскворечья с единым желанием: скорее к книгам Константина Георгиевича! Придя, ложился на его кровать и читал книжки, которые читал он. Ночи зимы сорок второго и начала сорок третьего года! К Москве еще иногда прорывались немецкие бомбардировщики, и тогда на голову мне и на книжку обильно сыпалась штукатурка с потолка, потому что как раз над головой на чердаке стояла зенитка и выпускала снаряд за снарядом. То были выстрелы в защиту Отчизны, а книги — то была отчизна Паустовского. Подбор любимой литературы, проза и поэзия, мемуары и краеведение, история общественной мысли и история искусства, экономика и природа родного края — произведения, которые всесторонне раскрывали перед тобой родину владельца этих книг. Это была библиотека человека, безгранично влюбленного в родную страну, человека, который жаждет знать свой край как можно лучше, как можно полнее, во всех его проявлениях и со всех его сторон, в прошлом, настоящем и в перспективе на будущее. Может быть, за всю мою предыдущую жизнь я не узнал так широко и всесторонне прошлое России, как из библиотеки Паустовского в те московские военные ночи. Но, перечитывая эти книги, я также узнавал и самого Паустовского, — может быть, лучше, чем за долгие годы знакомства и дружбы. Библиотека писателя — это словно продолжение его собственного творчества и комментариев к нему. Когда читаешь книгу, не можешь не чувствовать за судьбами героев произведения, за течением воссозданных событий, за описанием природы и раскрытием характеров душу и сердце автора. Но вот перед тобой библиотека писателя — это тоже часть его сердца и души.

Патриот. Мне кажется, это особенно меткое, точное и величественно прекрасное определение, когда мы говорим о Паустовском. Верная, сыновняя, горячая, но и требовательная любовь к Родине начинается у Паустовского с влюблен-

ности в природу родного края: прозрачные северные белые ночи и красочные восходы солнца на юге страны; богатейший, разнообразный — то степной, то горный, то приморский — пейзаж и чашоба Мещерского края. И среди этой природы — человек. Писатель любит его горячо и взыскательно, он прощает ему ошибки, но клеймит его пороки, замечает все своеобразие его национального характера, но внимательно приглядывается к его социальному лицу, он лирически романтизирует его, мягкая и теплая ирония появляется в его улыбке, если он видит забавные черты, но он грозно осудит, если человек этот причинил зло другому. Музыкант сказал бы, что в стиле Паустовского звучит гамма от нижнего «до» до верхнего «си» и ключ его песни мажорный; я добавлю — он мажорный и тогда, когда в самом сюжете минор. Обратите внимание, как Паустовский пишет о прошлом родного края. Он осуждает уродство социальных условий, издевается над изуверством в быту, готов иронизировать и над подмеченными в характере людей отрицательными чертами, но все прошлое родного края — и доброе, и злое — он не отдаст никому, не отречется от него, он словно берет и на свои плечи тяжесть, принимает и на себя ответственность за прежнее неустройство. Он словно говорит: без всего того, что было раньше, не было бы и того, что есть сейчас, как без минувшего не пройти и в будущее. С моим краем я всегда вместе — и в радостях, и в невзгодах; счастье отчизны — мое счастье, горе отчизны — мое горе.

Так, во всяком случае, я воспринимаю Паустовского, когда он касается прошлого. Творчество Константина Георгиевича так же, как в украинской литературе Довженко или Яновского, самым убедительным образом свидетельствует, что романтический стиль — это стиль борьбы и утверждения.

Жизнелюбец, выше всего ставящий человека, Паустовский просто не верит, не хочет верить в самую возможность неуважения, равнодушия к прошлому. В одном из своих путевых очерков Паустовский упоминает о жарком споре с известным, ныне уже умершим американским писателем Робертом Фростом. В разговоре о Пушкинском заповеднике в Михайловском Фрост заявил, что он равнодушен вообще ко всем мемориальным местам, мол, нисколько не пожалел бы, если бы этих мемориалов не осталось вовсе. Паустовский едва сдержал возмущение и лишь снисходительно заметил, что старому, под девяносто лет, поэту просто хочется щегольнуть

перед нигилистами из американской молодежи своей юношеской левизной, вот и все.

Но Паустовский не хвастает своей любовью к старине. Эта любовь то и дело ведет его из кабинета художника на широкие общественные и государственные пути. Его слово становится действием, он действует, чтоб выявить сокровища, скрытые в прошлом, сделать их достоянием современников и сбересть для будущих поколений. Вспомним его выступления в печати о тарусской старине. Сперва он выступал лишь в ее защиту, для ее сохранения. Затем — чтоб подсказать пути, которые расширят и облегчат доступ к этой старине широким кругам современников. Наконец, борясь за самое обыкновенное коммунальное благоустройство провинциальной Тарусы с ее памятниками старины, он с высокой трибуны бросил лозунг благоустройства провинции вообще. И добился, как мы знаем, немало.

Такой гражданский, патриотический подход к делу вообще свойствен Паустовскому. Вспомним среди его публицистических выступлений статьи о чистоте русского языка, с ясной концепцией необходимости борьбы за чистоту речи каждой нации в нашем советском содружестве народов. Эти статьи нашли широчайший отклик. Паустовский давно уже оставил журналистику как профессию, но когда писательский интерес или общественный долг звали его, он откладывал рукопись романа и брался за перо публициста. А впрочем, и в жанре публицистики Паустовский выступает не как трибун-оратор, а скорее как лирик-рассказчик. И этим завоевывает сердца читателей.

В жизни мы нередко встречаем интересных рассказчиков. Это и деды на завалинке, и старые охотники или рыбаки, и вообще люди большого житейского опыта, бывалые люди, говорим мы. Они ведут свой рассказ так, что их можно слушать и час, и два — без конца. Но эти рассказчики «зарывают в землю свой талант». И это жаль, их неповторимое искусство не расходуется «массовым тиражом» и существует лишь для избранных или случайных слушателей. Писатели редко владеют талантом устного рассказа, их талант совсем иной — они умеют записывать то, что видели, слышали или придумали, что хотят поведать человечеству. Они «на коне», когда перед ними лист бумаги и они с ним один на один, но в живом разговоре они порой молчаливы, а то и вовсе не умеют связать двух слов. Откуда берутся яркие краски, которыми они пишут свои книги? — удивляется непосвященный читатель. А между

тем дар устного рассказчика далеко не всегда сочетается с литературным талантом. Я знаю не много писателей, которые и в беседе блещут самоцветами слова и образа. В творческой натуре Паустовского эти два таланта были нераздельны, он умел и рассказывать увлекательно и так же увлекательно воссоздать свой рассказ на бумаге. Талант Паустовского — это вообще прежде всего искусство рассказа.

Мне доводилось слышать из уст Константина Георгиевича рассказы о каком-нибудь эпизоде не единожды, а многократно, и каждый раз то был как бы новый рассказ. Каждый раз он обрастал новыми деталями, представал в новом ракурсе, начинал играть новыми красками и становился богаче. Мне кажется, что если бы Паустовский взялся как-нибудь из своих написанных рассказов написать еще раз, второй, третий, то каждый раз читатель получал бы совсем другое произведение, и опять-таки каждый раз законченное, написанное так, что иначе его и не напишешь. Это еще одна грань писательского мастерства Паустовского.

Нам, украинским читателям, может быть, особенно интересны рассказы Паустовского об Украине. Киев — важная страница в жизни Константина Георгиевича, там он прожил долгие годы, там, должно быть, закладывались основы его характера и мировосприятия. Угол бульвара Шевченко и Владимирской улицы вписан в биографию писателя жирным шрифтом, здесь находились две его альма матер — гимназия и университет святого Владимира. Одесса — еще одна страница, не менее значительная. Здесь начиналась работа газетчика, здесь, собственно, заложен был и фундамент будущего писателя-художника, здесь, в блестящей плеяде литераторов первого поколения советской литературы, стал известен читателям и писатель Паустовский.

Мы перелистываем сейчас страницы его эпопеи «Повесть о жизни» и взволнованно переживаем вместе с автором годы безвременья и революционных бурь, годы борьбы народа и становления новой, социалистической жизни. Меня, современника тех событий, эти книги особенно волнуют, но я не сомневаюсь, что их с увлечением перечитывают все читатели Паустовского — и старшего, и самого молодого поколения.

Меня «Повесть о жизни» волнует и трогает схожестью наших с Константином Георгиевичем биографий в детстве и в пору юности, когда каждый из нас в отдельности только начинал свой путь. Мы не ровесники и не встречались в те дале-

кие годы, хотя и проживали, собственно, в одних и тех же местностях и городах, но мы из одного поколения, которое было юным еще в дореволюционную пору и взволнованно-тревожно искало себя на переломе эпох.

Схожесть наших биографий начинается с семейных условий. Схожесть эта и в наших наклонностях, желаниях и мечтах юности. В гимназии я тоже склонен был к наукам гуманитарным, тоже больше всего увлекался географией, даже стены и потолок своей комнаты — все оклеил географическими картами и собирался стать моряком еще до того, как увидел море. Мечта стать писателем владела мной тоже с детских лет, я тоже писал тогда стихи и не решался их никому показать, а живой писатель казался мне богом или по крайней мере небожителем, я никогда бы не решился заговорить с живым писателем, если бы мне выпало счастье увидеть его. Схожесть наших биографий и в первых шагах трудовой жизни, и в попытках участия в жизни всенародной. Я тоже еще гимназистом остался без отца; как и Константин Георгиевич, зарабатывал изнурительной бегом по урокам, а затем физическим трудом и тоже в ту пору увлекался театром и пробовал свои силы на подмостках. А в широкий мир — тоже в годы первой мировой войны и тоже в юго-западном прифронтовье — вступил добровольцем-санитаром и так же глазами санитара среди крови и мук видел войну, и под влиянием этих трагических картин начало складываться мое понимание общественных и политических событий.

А впрочем, может быть, это вовсе не схожесть наших биографий, а общая юдоль нашего поколения? Быть может, и каждый нынешний, на полстолетия младше, читатель, который увлекается книгами Паустовского, найдет в себе сходное с любимым автором? Мы знаем: именно тем, что читатель находит в книге общие с авторами мысли и чувства, открывает сходство в видении и восприятии мира, именно этим писатель и завоевывает сердце читателя, его симпатии и верную любовь. И с этой точки зрения Паустовский — один из самых могучих завоевателей в современной советской литературе. Конечно, я не проводил анкетных обследований, но мне не случалось встречать читателя, который в разговоре сказал бы, что ему не по сердцу произведения Паустовского.

Я читал и критические исследовательские работы о творчестве Паустовского. Мне кажется, что никому из критиков и литературоведов, даже в больших, мастерски написанных, с тонким анализом исследованиях, не удалось так полно и так

исчерпывающе, так глубоко и так тонко охарактеризовать творчество Паустовского, как это сделал он сам на нескольких страничках предисловия («Несколько отрывочных мыслей») к шеститомному собранию сочинений, изданному в 1957 году. Перечитайте эти странички: на них блестящим критиком своего творчества выступает сам Паустовский, разумеется, как любитель, а не критик-профессионал.

Романист и новеллист, Паустовский, по-моему, блестяще выступал и в жанре критики. И... большое счастье, что этим жанром он не занялся, а остался поэтом и романтиком в нашей большой прозе.

На этом я хочу поставить точку в своих размышлениях о Паустовском-литераторе и прибавить еще несколько слов о Константине Георгиевиче лично.

Летом, кажется, пятьдесят четвертого года мы с Константином Георгиевичем жили вместе на берегу Днепра, на хуторе Плюты,— сорок километров по бездорожью от Киева. Константин Георгиевич — заядлый и неисправимый рыболов, самый заядлый и самый неисправимый из всех рыболовов, каких я знал за всю свою жизнь. А знал я их немало. До пятьдесят четвертого года я рыбной ловлей не интересовался, а рыболовов презирал, с пятьдесят пятого сам стал рыболовом, хотя немножко и презираю себя за это. Увлеч меня на этот «пагубный путь» Константин Георгиевич.

Как известно, среди рыбацких кругов всесоюзного масштаба писатель Паустовский был одним из общепризнанных лидеров: простые рыболовы считали его мастером, рыболовы, обремененные тяготением к научности или стремлением к поэзии, признавали его вторым после Аксакова авторитетом в теории и практике рыбной ловли.

Что касается силы и непререкаемости его авторитета, то разрешу себе коротко рассказать со слов напарника по рыбалке один эпизод из рыбацкой биографии Константина Георгиевича.

Когда-то бродил Константин Георгиевич с удочкой над глухими озерами на своей любимой Мещорской стороне и тяжело страдал оттого, что в некоторых озерах, где по всем приметам и показателям рыбацкой науки и практики непременно должна быть рыба, он так ничего и не поймал.

И вот, подойдя однажды к этим озерам, до тех пор еще совершенно пустынным, Константин Георгиевич увидел, что берега густо населены. Десятки рыболовов сидели над удочками. Константин Георгиевич удивился.

— Ключет? — спросил он, ожидая услышать отрицательный ответ.

— Тсс! Не мешайте!..

И рыболовы продолжали сидеть, зачарованно вглядываясь в мертвые воды.

Элементарная порядочность заставила Константина Георгиевича сказать рыбакам:

— Люди добрые, да не тратьте вы тут время, здесь нет ни одного рыбьего хвоста, даже пескарика!..

И тут рыбаки прямо затюкали его: как так рыбы нет? Да тут рыба должна быть! Сам Паустовский написал!..

— Да не писал этого Паустовский, — совсем наоборот, написал, что рыбы тут, как ни странно, нету!

— Эге! Да ты, брат, видно, новичок в этом деле! Раз написал, что рыбы тут нет, это как раз и значит, что тут ее завалили! Паустовский для себя хочет это место сберечь.

Когда позднее Константин Георгиевич сам рассказывал мне этот эпизод, красочно и восхитительно преображенный, то закончил он, разведя руками:

— Знаете, что самое интересное и даже обидное? Рыбаки вернулись с того озера действительно с отличным уловом. Вот вам и оракул!..

Впрочем, в Плютах дело обстояло иначе. Константин Георгиевич каждый раз возвращался с добрым уловом. Он ловил исключительно окуней всегда на одном месте в течение трех или четырех месяцев. Это место — на том берегу русла Старика, в гирле узенькой протоки к луговому озеру — и до сих пор сохранило название «место Паустовского», и каждый год день за днем вот уже пятнадцать лет там неизменно стоит чей-нибудь челнок и сидит человек с удочкой в руках.

В рыболовстве Константин Георгиевич, как и в любом деле, за которое брался, не признавал дилетантства и отдавался этому увлечению целиком. Ежедневно, встав до рассвета, выпив наскоро кружку молока и прихватив бутерброд, Константин Георгиевич с первым лучом солнца садился в лодку, пересекал русло, чуть шевеля веслами, огибал широкую отмель против нашего дома на правом берегу и скрывался в своей протоке. В течение всего дня, в жару и в дождь (за исключением дней, когда дул северный ветер, при котором рыба не берет), с нашего высокого берега можно было видеть фигуру Константина Георгиевича, окутанную легким дымком.

Дымок клубился не столько от папирос, которых в то вре-

мя Константин Георгиевич выкуривал без числа, сколько из «кадила» — жестянки с тлеющей травой, чтобы отгонять докучливых комаров. Под вечер, на заходе солнца (потому что ночной рыбы — сомов — Константин Георгиевич не ловил), Паустовский появлялся из-за отмели, что есть силы выгребая против течения. Он входил в дом, весь пропахший дымом и рыбой, загорелый от солнца и ветра, усталый после гребли против сильного днепровского течения, но счастливый и веселый: была рыба, было и до черта философских раздумий в тишине под плавное течение вод, и новых творческих замыслов. Казалось, что, просидев весь день за удочкой, он успел побывать во всех концах земли или перечитать кипы интересных книг, поспорить с толпой оппонентов.

Не знаю, что именно в рыбной ловле Константина Георгиевича повлияло сильнее всего на мою психику, но как-то я тайком взял его удочку и забросил ее. И вот уже который год... словом, «доезжаю» уже третью лодку...

В вечерних беседах после рыбалки принимал обычно участие и наш хозяин — дед Микола, так красочно изображенный Константином Георгиевичем в его рыбацких записях. Дед Микола был рыбак славный, известный на все днепровские берега ниже Киева, от Жукова острова до Триполья. Он разбирался во всех возможных и невозможных тонкостях рыболовного ремесла, знал досконально нравы рыб всех днепровских пород, ему были известны все места, где и какой породы рыба ловилась лучше всего и на какую именно наживку. По поводу этих деликатных материй между дедом Миколой и Константином Георгиевичем происходили постоянные дискуссии. Очерк о себе, напечатанный Константином Георгиевичем в газете, дед Микола вырезал, положил под божницу и вынимал лишь для того, чтоб за чаркой похвастаться дружбой со вторым после него, конечно, знатоком рыболовного дела, да и самому покрасоваться перед людьми. Константин Георгиевич каждый раз, когда мы встречались с ним в Москве, непременно расспрашивал про плютовского деда Миколу. А дед Микола, встречая меня в Плютах, первым делом спрашивал:

— Ну как там поживает Костик? Привет от него привезли?

— Привез, привез. От души и горячий.

— Спасибо. Вот это человек, так человек! Аж дивно, что еще такие люди не перевелись. Рыба, знаете, и та уже выводится, а люди... — Дед Микола махал рукой и добавлял: — Как

увидите снова, кланяйтесь от самого неба и аж до сырой земли. Привет передайте от наших берегов и от его родной воды днепровской...

Но тут я закончу, потому что чувствую опасность увлечься рассказом о Константине Георгиевиче в работе, в быту и во всех человеческих проявлениях, а их же, этих рассказов — лирических и душевных, серьезных и смешных, — не пересказать!

А вообще Константину Георгиевичу я, как уже сказал, завижусь.

Перевел с украинского А. Островский



Фото К. Г. Паустовского в личном деле при поступлении в Киевский университет.

В. ШКЛОВСКИЙ

О МАСТЕРЕ ЛОЦНИ

1

Повторения иногда блистательно освещают жизнь.

Константин Паустовский в книге «Золотая роза» рассказывал о похоронах, которые осветили ценность труда:

«Я ехал на пароходе по Свири, из Ладожского озера в Онежское. Где-то, кажется, в Свирице, на нижнюю палубу внесли с пристани простой сосновый гроб.

В Свирице, оказывается, умер старейший и самый опытный на Свири лоцман. Его друзья лоцманы решили провезти гроб с его телом по всей реке — от Свирицы до Вознесенья, чтобы покойный как бы простился с любимой рекой...

Свирь порожистая и стремительная река. Пароходы без опытного лоцмана не могут проходить свирские стремнины.

Поэтому на Свири с давних пор существовало целое племя лоцманов...

О том, что на нашем пароходе везут умершего лоцмана, дали телеграмму вверх по реке. Поэтому на каждой пристани пароход встречали толпы жителей. Впереди стояли старухи плакальщицы в черных платках. Как только пароход подваливал к пристани, они начинали оплакивать умершего высокими, томительными голосами.

Слова этого поэтического плача никогда не повторялись».

Для многих читателей Паустовский был лоцманом жизни и добытчиком необычайного.

Поговорим о лоциях.

Лоции — описание морей, океанов и их побережий во всех отношениях, со всеми находящимися на берегах приметными местами и знаками.

Лоции необходимы и для рек. Лоцманы рек ведут свои корабли, отмечая горы, церкви и приметные деревья.

Лоции не только описание берегов — они состояются, изменяются и пополняются работой моряков.

Лоции — кладовая делового языка моряков.

Паустовский знал лоции, как лоцман, и любил их язык.

Башня на Оке, которая, вероятно, дала имя небольшому городу Тарусе, возможно, использовалась лоцманами на Оке для опознания пути.

Тарусы (иногда произносилось — тарасы) — передвижные башни, которые ставили как передвижные русские крепости — гуляй-города; назывались они «тарусами на колесах». Тарусы на колесах использовались и при штурмах.

Это было чудо своего времени, чудо невероятное, но существовавшее. Слова не умирают.

Не умирают и положения, выражающие отношения человечества к творцам.

Вехи дорог добра не забываются.

Когда Константина Георгиевича хоронили и везли его тело от старого Серпухова к старой Тарусе, то вышли на шоссе колхозники, вышли молодые ребята, вышли мужчины и в белых кофтах, выпущенных поверх юбок, женщины. Вышел читатель — народ.

«Придается все, лишь тебе не дано примелькаться...» (Борис Пастернак) — такой эпитафия взял к повести «Черное море» Константин Паустовский.

Почему Паустовский, который никогда не прибежал к за-

нимательности сюжета, описывая всегда обычное, как будто примелькавшееся,— почему он был и остался нужным всем?

II

Тит Ливий, описывая переход Ганнибала через Альпы, говорил, что на Альпах все безобразно, бедно, скрючено, сморщено. Так описывал он не только трудности перехода войска со слонами через великую заснеженную гряду гор, так описывал он тогдашнее ощущение от Швейцарии.

Для Руссо, для Толстого, для Томаса Манна — для всех нас Швейцария красива.

Мир ограничивается писателем. Писателю поручает народ освежить впечатления действительности, дать им непреходящую ясность сверкания.

Паустовский по-своему в писательском труде соединил знания творцов «Лощий», описывающих берега морей, и труд ботаников.

Он учил видеть и любил увиденное.

В одном из его рассказов девочка учит младшего брата познавать травы и удивляться им.

Мы живем с пропусками.

Скорые поезда проходят первые двести — полтора ста километров без остановок. Железная дорога выключила ощущение непрерывности мира, превратила лес во что-то сверкающее, бегущее, растянутое по горизонтали. Это восприятие усилено автомобилем.

Мир заштрихован быстротой.

Паустовский сумел изменить восприятие обычного. Он показал нам берега Оки, красоту тихих речек, на которых можно ловить рыбу, ночь в лесу, цветение деревьев.

Он заново показал нам Черное море — то Черное море, которое удивило грека Страбона, а мы засмотрели, не увидав.

Жил долго не признаваемым критиками, любимый Паустовским Александр Грин.

В книге «Хмель» Всеволод Иванов рассказал, что в далеких библиотеках, далеких от Москвы, книги Грина вытеснили с полок приключенческие книги Джека Лондона и его предшественников.

Грин создал страну, которой до него никто не видел,— страну веселых, смелых, прямо глядящих, ничего не боящихся людей.

Когда умер в Старом Крыму, у подножья горы Аграмыш,

Александр Грин, край как будто обновился. Туристы приносили на могилу камни, матросы несли к могиле Грина самое дорогое для них. Принесли однажды из Феодосии на плечах тяжелый якорь. Положили его — свою надежду — к могиле любимого писателя. К деревьям приязывали пионеры красные галстуки.

Паустовский любил Грина, любил Юрия Олешу — писателя, только теперь увиденного широким читателем.

Паустовский писал о существующем, о самом обычном, но о таком, которое мы не умеем видеть.

Паустовский рассказывал нам об Олонецком крае, рассказывал о страшном, сказочном заливе Кара-Бугаз, который глотает воду из великого Каспия, превращая ее в соль.

Рассказал, как открывали пути к Кара-Бугазу — новой стране подвигов узнавания нашей земли.

Описал Колхиду — землю, залитую водой, которую наше время осушило, обновило.

Он заново рассказал про Одессу обыкновенную и Одессу голодных лет. Всегда рассказывал о добре — красивом и простом.

Очень трудно рассказывать так, чтобы это было четко, чеканно и достоверно.

Утреннее солнце, вставая, не только греет землю, оно дает траве и пригоркам длинные тени и обновляет следы старых культур.

Солнце Паустовского открывало на земле следы, дороги и тропинки добра.

Он не был сказочником, как Андерсен и Грин.

Он был рассказчиком, который облегчал рассказом трудность добра, трудность нового видения мира.

Горький говорил, что слова «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» неправильны.

Сказка-рассказ делается на самом деле долго.

Много рассказывал дома Алексей Максимович о людях прошлого и о Волге, о крестьянах, купцах, бродягах и гениях.

Иногда он как бы повторялся в рассказах. Так шахтер повторяет удары кайлом.

Так повторяются черновики.

III

Писатель наводил оптику на фокус, в ясное видение, освещал существенное так, что оно становилось достоверным и ясным.

Рассказы Паустовского о прошлом иногда бывали так занимательны, что казались неправдоподобными.

Он снимал с прошлого одну пленку за другой и доводил до достоверности добро, сделал достоверным тот мир, в котором мы живем, и тот мир, о котором мечтал Грин.

Он смывал с нашей литературы экзотичность и натурализм.

Не все удается, даже удачи. Может быть, неправильно или неточно название книги Паустовского «Золотая роза». Книга посвящена описанию труда писателя. Начинается она как бы цитатой — что жил под Парижем французский мусорщик Жан Шамет. Он был безмолвно влюблен в спасенную им девушку. Она от него ушла. Он стал мусорщиком ювелирных мастерских.

Знаем мы, что ювелиры сами умеют собирать золотую пыль и ищут ее даже в саже своих жилищ.

В повести Шамет собирал золотую пыль и из пыли при помощи ювелира отлил золотую розу.

Здесь раскрывается смысл заглавия книги.

Искусство — это золото, найденное в пыли и грязи.

Но уже поэт Навои говорил своим ученикам:

«Если хотите быть золотом и драгоценными камнями, будьте землею. Землею будьте! — говорю я вам».

Об этом говорила и Анна Ахматова.

Сам Паустовский любил у Михаила Пришвина рассказ о том, как весной по лугам проходят узкие потоки грязной воды и потом там вырастают полосы цветов. Это живая парча.

О живой, занимательной, простой, прочной красоте умел рассказывать Константин Паустовский.

Я любил его слушать по многу раз и не уставал.

Нужен был маленький город на высоком берегу реки Оки. Оку в старину русские называли поясом Богоматери. Она защищала самый центр России, самое святое, нерушимое, то, что могло вновь воссоздать разрушенное.

Много вокруг Москвы на реках и речках городков с укреплениями или с памятью об укреплениях.

За рекой Окой на береговой службе, около городка, названного Тарусой, отбивались русские от крымцов, отбивались они от Давлет-Гирея, прикрывшись гуляй-городами — передвижными укреплениями.

В 1572 году крымцы перешли через Оку в трех местах, и тогда сразились наши полки под начальством Одоевского и Шереметьева.

Были и тогда у русских пушки в большом количестве. Была спокойная, терпеливая храбрость.

Когда увлеклись крымцы сабельным боем у плетней, ударил на них князь Воротынский из сотен пушек и одновременно обошли наши полки татарскую рать, и тут крымцы получили позор и поражение.

Писательские рассказы и повести связаны с легким заграждением и с тяжелыми, смысловыми ударами и с каменной кладкой точно восстановленных фактов.

Итак, там, где в Оку впадает речка, названная по башне, Таруской, жил Паустовский над береговым обрывом; лодка стояла на Таруске. Речку назвали, может быть, так потому, что она «торосила» — создавала торосы на Оке.

Названия тоже «торосятся», их осмысление многослойно.

За голубой рекой синеют и зеленеют леса и поля, описанные Паустовским.

Таруса помнит его, о нем рассказывают хорошие сказки.

Мне рассказывали здесь, что когда Константин Георгиевич ловил на Оке рыбу, то к нему с берега приплывал черный кот, влезал в лодку и получал от Константина рыбу.

Этот кот никогда ни к кому за рыбой не плавал, и коты в Тарусе плавать не любят.

Старые укрепления города речка Таруска с весенним разливом смыла в 1760 году.

Не смыта память о людях.

В Тарусе с любовью хранят память о Константине Паустовском, о человеке, сумевшем увидеть утро мира, когда над землей пролит новый, еще никем не тронутый воздух.

Помнит Паустовского вся страна.

В мелколесье над берегом Таруски есть узкий мысок, как будто предназначенный для нового передового укрепления или наблюдательного поста.

Там в лесу лежит тело писателя Константина Паустовского.

Эта могила — памятник, созданный для хранения правды о душе человека.

Для того, чтобы человек не стыдился доброты и не боялся за нее, а знал, что доброта и красота — правда, за которую надо жить и умирать, не сдаваясь.

В городок Тарусу приезжают люди; оставляют машины на краю селения.

В молодом яблонево саду стоит дом Паустовского — одноэтажный, низкий домик, состоящий из нескольких сдвину-

тых срубов. Дом длинен, как тело давней, довоенной любимой собаки Паустовского — таксы Фунтика.

Белым дымом цветут весной яблони, пятнами золота, разрезанными черными тенями. В белом дыму роятся пчелы.

Осенью яблоки обламывают ветки.

Красива Таруса весной, летом, осенью, зимой.

Хорошо жить в добром мире. Хорошо уйти из этого мира любимым, остаться в памяти маяком — Тарусой в лоции добра.

Здесь создавал он внятные узоры, и переводил читателя через пороги обыкновенного, и дарил ему настоящие, наши, разнo называемые, разнo пахнущие цветы.

Любили писателя люди и звери.

Любил он парчовые краски жизни.

Они есть, они были, но о них трудно рассказывать.

Паустовский красоты и труда не боялся.

Пусть же вечно живут его книги парчою правды, цветами лета; золотом осени; серебром зимы.



К. Г. Паустовский (справа) и Р. И. Фраерман. Солотча, 1936 г.

Р. ФРАЕРМАН

ЛЮБИМЫЙ ДРУГ

Трудно писать о дорогих тебе людях, которых уже нет в живых,— трудно потому, что воспоминания — это продукт твоей собственной памяти, у которой свои законы: душевные симпатии, притязания, привязанности и, наконец, подробности, дорогие только тебе одному.

С Паустовским я познакомился полвека тому назад в Батуме, в начале 22-го года. А в Батум я был командирован как корреспондент Российского телеграфного агентства (РОСТА).

Я, конечно, прежде всего познакомился с редакцией местной газеты «Батумский рабочий», где редактором был, как мне помнится, Павчинский — человек очень добродушный и очень опытный газетчик. Он не скупился платить корреспондентам по три рубля за заметку на грузинские деньги — бонны, довольно крупного размера кредитные билеты. Однако на эту сумму можно было купить только несколько мандаринов,

кусок козьего сыру и маленькую чекушку крепкой виноградной водки «Рухадзе».

Самые интересные новости я узнавал в порту, куда приходили корабли со всех концов света.

В порту была матросская гостиница, нечто вроде бордингауза, — «Аджаристан».

В этом бордингаузе я и познакомился с Паустовским.

Он ютился в крошечной комнатке и редактировал крошечную газетку «Маяк» — орган Батумского профсоюза моряков. Мы в ту пору были молоды, мечтали о литературной деятельности. Оба были романтики. Нас манила экзотика; я, житель лесистой Белоруссии, близ Беловежской пуши, где на свободе ходили вымирающие зубры, был очарован субтропической природой.

Скромная комнатка Паустовского казалась мне заповедным уголком.

Паустовский очень радушно принял меня и пригласил приходить к нему ежедневно, так как у него за день накапливается много информации.

Я охотно принял его предложение и заходил к нему каждый день, обычно под вечер.

Мы скоро подружились. Нас связывало многое. Мы были молоды, оба маленького роста, что нас сильно огорчало.

Занимались журналистикой, любили стихи, природу, рыбную ловлю и ночевки у костра где-нибудь в лесу или около реки.

В его небольшой комнате мы вспоминали стихи, ныне уже забытых поэтов — Шенгели, Липскерова и других. Тут я осмелился читать Паустовскому наброски своей первой дальневосточной повести «Васька-гиляк», на которую Паустовский написал забавную пародию, а я в свою очередь посмеивался над его увлечением, как мы тогда говорили, экзотической чепухой. Так мы просиживали далеко за полночь под шум непрерывного дождя и морского прибоя.

За долгие годы нашей дружбы случалось, что мы и обижали друг друга, даже ссорились. Потому что и ссорятся-то ведь чаще, когда любят.

Меня иной раз спрашивают: был ли добр Паустовский? Я всегда отвечал: он был обаятелен. Говорят, обаяние опасно — рядом с ним таится и слабость. Не знаю. У Паустовского обаяние и редкий ум были огромной силой.

В 1923 году меня отозвали в Москву, я уехал весной, а осенью того же года перетянул в РОСТА и Паустовского.

Мы много лет проработали с ним в аппарате РОСТА редакторами. Жили в одном доме на Большой Дмитровке, у нас была общая дача в Мещоре — в Солотче. И, разлучаясь, всегда переписывались. У меня было более пятисот писем от Косты, так дружески мы его звали. К сожалению, почти все это богатство погибло во время пожара в нашем солотчинском доме в 1963 году. Остались только крохи — около шестидесяти писем, несколько телеграмм и разные записочки и шуточные стихи.

Но он писал нам не только во время разлуки. Он любил писать даже из Москвы, из своей квартиры № 39 (дом 20 на Большой Дмитровке, ныне Пушкинской) в мою квартиру № 52. Мы встречались по вечерам у меня почти ежедневно. Коста, бывало, придет на «Конотоп» (так А. И. Роскин прозвал наши дружеские вечера) и положит письмо мне или моей жене Валентине Сергеевне. Он записывал ночью свои мысли, впечатления, сожаления, ошибки и огорчения, а порой и забавные сценки. Однажды он принес одноактную сценку — я уже не помню точное название, кажется, она называлась «День в Росте». Это было так прелестно написано, так метко, весело и легко, что мы уговорили его прочесть эту сценку на вечере в РОСТА в канун Октября. Паустовский прочел ее с огромным успехом.

Но чаще это бывали записки, напоминающие дневники. Одна из них у меня сохранилась. Таких, как я называл, «подарочных» писем только за зиму 1932—1933 годов было больше ста.

Уже в самых ранних письмах, которые, конечно, чаще писались в спешке, где-нибудь на вокзалах в ожидании поезда, не только стилю, но и самим мыслям нельзя отказать в блеске, меткости и тонком изяществе. Зоркий глаз сразу схватывает нужную деталь. Уже в них проявляется интерес к простым бывальным людям — боцманам, рыбакам, штурманам, смотрителям маяков — и удивительный дар показывать даже прозу жизни под поэтическим углом зрения, как у фламандских живописцев.

Все это позднее вылилось в очень поэтическое восприятие обширного мира нашей современности и прошлого, в умение проникновенно рассказать о лучших людях человечества — художниках, композиторах, поэтах, о великих борцах за свободу и счастье будущих поколений и о судьбах людей простых и безвестных. И все это пронизано подлинным советским демократизмом и гуманизмом и рассказано таким пленитель-

ным языком, волшебство которого связано, по словам самого автора, «с природой, с бормотанием родников, криком журавлиных стай, с угасающими закатами, отдаленной песней девушки в лугах и тянущим издалека дымком от костров».

Мне хочется познакомить читателя с несколькими отрывками из писем К. Г., написанных в разные годы, потому что они свидетельствуют не только о том, как шлифовался язык Паустовского, но и рисуют его внутренний облик и постепенное формирование характера.

Самое раннее из сохранившихся писем датировано 28 июля 1925 года. Из Батума. Это был так называемый «Святой год» — «Дихайлиге яре», когда в Рим, на поклонение к папе, съезжаются и приходят пешком паломники (католики) со всего мира.

Мы в тот год получили визы на поездку в Италию, и наш отъезд был назначен на 7 сентября. Константин Георгиевич перед этим поехал на юг, чтобы заработать денег. Он был молод, весел. И шутил.

«Фраергон! — пишет Паустовский, шуточно коверкая мою фамилию. — Лупит сумасшедший ливень. На море шторм, пути размыты. Обычная батумская погода. По этому случаю приеду в Москву.

Внимание! На пароходе «Севастополь» по пути из Сухума в Батум мною обнаружен Сапарин¹, который едет на Зеленый мыс к родным. Мельников пьет. Сплю в редакции на столе».

А вот письмо из Балаклавы от 3 июля 1929 года:

«За десятку здесь сдают комнаты в бывшем дворце Апраксина у самого моря. Там очень тихо, пустынно, можно прекрасно работать. Есть электричество. Приезжайте. Месяц (считая дорогу) обойдется Вам в 150 р. С комфортом. Я купаюсь, ловлю бычков с затопленной шхуны и со скал. Шатаюсь по горам, в лесах из туи, стал черный, как балаклавский листригон. Перезнакомился с рыбаками, очень любопытные здесь старики ворчуны, — люди чрезмерно болтливые, скептики и философы, бывшие матросы, пьяницы и в большинстве неудачники. Особенно прославлен неудачами мой приятель Петро Димченко, бывший боцман. О нем расскажу Вам подробно при встрече.

Балаклава непохожа на весь остальной Крым — здесь много от Греции и от Палестины — серые камни и мак, полынь и сухость. Приезжайте. Первые дни поживете у нас. Комната

¹ Наш зав. редакцией провинциальной информации.

громадная. Поменьше думайте и приезжайте. На письмо ответьте».

«Петрозаводск, 18 мая 1932 года.

Дорогой Рувим Исаевич! До Петрозаводска дошли слухи, что Роскин перестал бывать на Дмитровке, 20.

Видел много любопытного и не очень голодаю. В Мурманске за 2 рубля давали обед из 4 блюд и стакан кофе. Такие обеды в Москве дают в Савое. В Петрозаводске значительно хуже. Город очень славный, а озеро все в шхерах и отражениях облаков. Вся Карелия пахнет мокрой сосновой корой. В Мурманске потерял сон из-за незаходящего солнца. Здесь отсыпаясь. Покупаете ли рыболовные принадлежности?»

«9 сентября 1932 года, Солотча.

Рувим дорогой! Не поленились позвонить в «Наши достижения» Бобрышеву или Разину и передать, что вторая часть «Лонсевиля» готова, и я ее переписываю и вышлю 12 сентября. Еще одна наглая просьба. Если вы будете в Доме Герцена, то заплатите за меня членские взносы за июнь и июль — иначе меня опять вычеркнут, — кажется, в четвертый раз. Стоят чудесные дни. Все желтеет. Пожалостинский сад, ветлы, травы, водоросли, и даже глаза ворюг котов источают особую осеннюю желтизну. Осень вошла в Солотчу и, кажется, прочно... Все в паутине и в солнце. Безветрие, какого не было даже летом, — поплавки стоят, как зачарованные, — и виден самый тонкий клев. Решил, как только заживет нога, пойти на Черное озеро. Пишу, читаю и предаюсь то горестным, то веселым размышлениям в зависимости от ветров. Ночи уже длинные и густо пересыпанные звездами, — вообще жаль, что Вы не видите здешней осени, пожалуй, это лучшее время. «И каждой осенью я расцветаю вновь».

Мы здесь каждым нервом чувствуем биение осени. Уже улетают птицы. Это очень печально, как в старом романе.

В местной больнице я подслушал несколько сюжетов, которые недорого продам Роскину.

Я занят письмами Марии Трините, по характеру напоминающей Ларису Рейснер в молодости. Мне нравится писать эту нервную женщину на фоне аракчеевской России. Как ни странно — но «Наши достижения» «Лонсевиля» печатают. От Эйхлера получил 800 рублей и холодное письмо, полное упреков и обвинений в забывчивости.

Кстати, я набрасываю рассказ для себя. Рассказ скверный. К нему очень подходит название «Преодоление». Если

увидите Югова, то убедите его отказаться от этого названия и уступить мне. Обещаю ему половину гонорара».

«20 сентября, Солотча.

Чудаки! Нет бумаги. Приходится писать на старых листах из блокнота.

На днях приеду в Москву, если мое существование не прекратит своей медлительностью Солотчинская почта. Я остался с тремя рублями и чувствуя себя, как Роскин, когда он блейфует в крупной игре. Если почта задержит деньги, я обречен на смерть от голода и холода.

Идут дожди, ненастье, угрюмость, как хорошо сейчас щелкнуть выключатель в теплой комнате с блестяще натертыми полами, сесть на диван под портретом Гамсуна и поговорить о Гудаутах, осени и «странностях любви». Не плохо выпить стакан барзака. Одним словом, я жажду культуры и дмитровских вечеров.

Я опустошен голодом и бесконечными ночами. Света нет, все кончается, — такое чувство, будто я современник всемирного потопа. Сос! Спасите наши души».

Перечитывая эти письма, нетрудно заметить, как они становились серьезнее, в них замечаешь накопление жизненных впечатлений, начитанность, тонкую культуру ума, силу мысли и силу таланта.

Вот, к примеру, как меняется стиль в письмах 37-го года: «Пушкинские горы, 4 июля 37 года.

Рувим! пишу Вам это письмо около могилы Пушкина, в Святогорском монастыре. Могила очень простая, вся в простых цветах, вокруг цветов — вековые липы. Здесь, в Михайловском, все полно громадного «неизъяснимого» очарования, и теперь понятно, почему Пушкин так любил эти места. Ничего более живописного, чем эти места, я не видел в жизни, — корабельные сосновые леса, озера, холмы, пески, вереск, чистые реки, травы, и главное — очень прозрачный и душистый воздух. (Здесь много пчел и пасек.) Заповедник почти безлюден, но охраняется очень строго, — даже в лесах можно ходить только по дорожкам, нельзя рвать цветы в лугах и т. п., и потому растительность здесь пышная и девственная, цапли на озерах подпускают к себе почти вплотную, в озерах масса рыбы (ловить разрешается).

В самых глухих местах, в лесах, на косогорах, на берегах озера стоят почти закрытые травой и цветами таблицы с пушкинскими стихами, — так здесь отмечены все любимые Пушкиным места. Впечатление очень неожиданное и очень груст-

ное,— это напоминает слова Пастернака: «Поэзия рядом, она в траве, надо только нагнуться».

Живем мы рядом с Тригорским, в погосле «Воронич»,— около церкви, где Пушкин служил панихиду по Байрону.

Пробуду здесь до 10—11 июля,— потом в Москву.

Что слышно с экспедицией? Работает ли Некрасов? Как клюет в Солотче? Устройте рыбную ловлю моего имени на Прорве. Не забывайте об экспедиции. Целую. Ваш Коста».

«Алма-Ата, 9 октября 41 года.

Рувим, дорогой, вчера у нас был первый счастливый день за все это время. Мы получили письмо от Вали из Горького и узнали, что с Вами и где Вы. До тех пор была непрерывная тревога и неизвестность. Хорошо, что Вы в редакции,— держитесь, не болейте и знайте, что мы все постоянно думаем и говорим о Вас, вспоминаем каждую мелочь из прошлой нашей жизни и верим, что снова мы будем вместе, отдохнем и... «увидим небо в алмазах». Так должно быть, и так будет. И в душистых зарослях на берегу Прорвы мы будем сидеть с Вами, старички, смотреть на поплавки в прозрачной воде и вспоминать дни войны, а на костре будет кипеть Ваш знаменитый закопченный чайник.

Мы привезли из Москвы Вашу фотографию,— она у нас стоит на столе. Рувим, где Роскин и Бобрышев? Что с ними? Напишите.

Что писать о себе? Полтора месяца я пробыл на Южном фронте, почти все время, не считая трех-четырех дней, на линии огня. Из москвичей видел Михалкова и Бориса Горбатов, в Одессе видел Олешу. Был на суше и на море. В половине августа вернулся в Москву, где ТАСС, ввиду моего преклонного возраста, решил оставить меня в Москве (в аппарате ТАССа), а затем по требованию Комитета по делам искусств — и совсем отпустили для работы над пьесой для МХАТа.

В Москве квартиру разбомбили, жил больше у Федина в Переделкино. Вскоре уехал в Чистополь.

С большим трудом переехал в Алма-Ату. Чудесный город, весь в густых садах у подножья снеговых гор, много солнца, жар, но все же очень тоскливо. Работаю над пьесой. Живем у чудесного человека — казахского писателя Мухтара Ауэзова, он уступил нам одну комнату... Из москвичей здесь почти никого нет, если не считать Сергеева и артиста Астангова (того, что играл Гарта в Театре Революции).

Напишите мне все о себе. Целую Вас крепко. Берегите себя. Ваш Коста».

И еще хочется вспомнить последнее письмо, от марта 67-го года, из Ялты. Писать сам Константин Георгиевич уже не мог. Писала Таня — Татьяна Алексеевна — милые, грустные слова. А после ее подписи — «Таня» — приписано: «И Коста. Любовь к друзьям чем старе, тем сильнее. Это становится ясно к концу жизни. Обнимаю вас, родные, милые мои. Ваш Коста».

В последний раз мы виделись незадолго до смерти Константина Георгиевича, в июне 1968 года, в Переделкине. Коста был очень слаб, взволнован и все вспоминал Солотчу, где ему так легко было дышать. Прощаясь, мы оба расплакались. И все-таки никто не думал, что конец так близок.

И вот его нет. И я уже никогда не услышу его чуть хриловатый голос, не увижу его умные, чуть прищуренные глаза, которыми он так быстро вбирал в себя мир, природу и людей. Не почувствую и его пленительную простоту в обращении с людьми, особенно с молодыми писателями, которым он часто говорил: «Наука беспрестанно движется вперед, она зачеркивает старые открытия, старые истины, но поэзия вечна. Ищите поэзию — она переживает всякие каноны, войны и открытия. Сила поэзии всегда побеждает».

Каким же остался и живет в моем сердце мой любимый друг, мой дорогой Коста?

И вновь возвращаюсь к прошлым, милым, давно ушедшим тридцатым годам, когда Паустовский написал для своей поистине лучезарной книги «Летние дни» маленькое, скромное предисловие.

Вот несколько строк из него:

«Я и Рувим, описанный в этой книге, мы оба гордимся тем, что принадлежим к великому и беззаботному племени рыбаков. Кроме рыбной ловли, мы еще пишем книги. Если кто-нибудь скажет нам, что наши книги ему не нравятся, мы не обидимся. Одному нравится одно, другому совсем иное — тут ничего не поделаешь. Но если какой-нибудь задира скажет, что мы не умеем ловить рыбу, мы долго ему этого не простим».

Милая шутка! Но во всякой шутке таится своя правда. Паустовскому всегда была присуща невыразимо прелестная скромность, которая при блистательном таланте составляла одно из свойств его обаяния.

Он принадлежал к тем счастливым избранникам, которые с глубиной ума сочетают необыкновенную тонкость, четкость, изящество мысли и внутреннюю свободу. И все это соединилось в нем с сердечностью, душевной щедростью и благоже-

лательством к людям. Он был очень добрый, хороший человек.

С этим согласится всякий, кто знает его книги и ощущает очарование его таланта. Константина Георгиевича отличали изысканный вкус, легкость пера и особая, ему, Паустовскому, присущая одухотворенность, с какой он вбирал в себя окружающий мир, трепещущую огнями и красками родную природу, которую он открывает читателю и учит понимать и любить Родину.

Но Паустовский любил природу не только солнечной или нарядной, нет, он любил ее, как истый художник, и в дождь, и в зной, когда полыхают синие зарницы, и хмурой осенью, и косматой зимой, когда по ночам снег и воздух фосфорически зелены при луне и на бледно-зеленом небе чернеют, как горы, застывшие сосны.

Родные просторы Паустовский исходил и исколесил из края в край. Ему довелось побывать и в Англии, и в Италии, и в любимой им Франции. Он наслаждался там людьми, музеями, искусством, роскошными садами и дворцами Версаля. Но ничто не могло не только вытеснить, но даже приглушить в его сердце любовь к родным местам, к скромному среднерусскому пейзажу, Мещорской стороне и ее людям.

Трудно разгадать тайну воздействия таланта, но ясно одно: Паустовский захватывает вас сразу, и читатель подчиняется ему добровольно и радостно, вбирая в себя поэтический мир художника и ощущая, как трепещет каждая его фраза, словно ветвь, «полная цветов и листьев».

Стоит только один раз прочесть «Ильинский омут», чтобы уж никогда не забыть эти синие, в дымке, леса, уходящие дали, нивы и луга и ту скромную былинку, которая помогает душевной тишине и безмятежности покоя. Как все это гармонично, проникнуто чувством, свежо, словно омытое благоуханным дождем. И как беспредельны богатство мыслей, музыка и мастерство снизывать слова, как жемчуг.

Талант Паустовского определялся и мужал в незабываемые годы первых пятилеток; тогда названия «Днепрострой» и «Магнитка» звучали поэзией.

Молодые писатели, полные буйного веселья и задора, горели желанием служить своей Родине. Они жили подвижниками в наскоро приспособленных чуланах, подвалах и мансардах, не всегда были сыты, но мечтали о большой литературе и работали без усталости. Каждый стремился участвовать в «великой стройке».

В эти годы Паустовский и написал свой «Кара-Бугаз» и «Колхиду».

В своей биографической «Повести о жизни», где слова соперничают по силе воздействия с красками живописца, Паустовский вновь вернулся к минувшему.

В «Повести о жизни» и в других произведениях Паустовского читатель встречается впечатляющие зарисовки и портреты многих писателей: А. Толстого, Маяковского, Бабеля, Багрицкого, Платонова, Бунина, Грина, Олеши, Гайдара, Луговского, Роскина, Лоскутова, Гехта, Регинина и других. И наряду с этими именами с не меньшей взыскательностью художник запечатлел дорогих для него рыбаков, боцманов, матросов, паромщиков, пастухов и старого крестьянина, землекопа Семена Васильевича Елесина. Паустовский любил вести тихие беседы с этими мудрецами из народа, чья речь свежа, словно утренняя роса.

Я не знаю человека, который, общаясь с Паустовским, не поддался бы обаянию его личности, не стал бы его почитателем или другом. Константин Георгиевич в любом обществе становился центром внимания, не прилагая к этому и малейшего усилия.

Он не разделял мудрого бесстрастия трезвых людей и всегда оставался не только прекрасным художником, но и писателем-гражданином. Со всей страстью вставал он на защиту наших лесов, лугов, рек и памятников старины, волшебства русского языка и всего, что иной раз было попираемо.

Однажды (вспоминал Константин Георгиевич) он прочел Горькому несколько строк из стихотворения:

Поверивший в слова простые,
В косых ветрах от птичьих крыл,
Поводырем по всей России
Ты сказку за руку водил...

Горький спросил:

— Да вы кто — прозаик или поэт? Пожалуй, поэт.

Да. Паустовский был поэт, художник, создатель целого мира образов. Перо его и в последние годы жизни сверкало, как и прежде.

Его уже нет, но в моей душе живет все тот же, вечно юный Паустовский, несравненный человек, наш любимый друг, эпический поэт, который всегда дарил читателю радость и звал его к подвигу и труду.

*Москва
Февраль 1972 г.*



*К. Г. Паустовский и А. П. Гайдар
в Солотче, 1937 г.*

В. ФРАЕРМАН

ГОДЫ РОСТА

Вспоминается 1923 год. Тусклый октябрьский вечер. Я работала в то время секретарем в редакции провинциальной информации РОСТА. Дежурство мое кончилось, и я собиралась домой. Вдруг дверь в редакцию открылась, и вошел Р. И. Фраерман, а с ним незнакомый мне человек невысокого роста. И очень элегантно одетый: серое в стрелку английское пальто, синие брюки клеш (по моде того времени) и на голове фуражка с крабом. Он был близорук и щурился, рассматривая нашу крошечную, не очень уютную редакционную комнату.

Элегантность посетителя особенно подчеркивалась небрежной одеждой Фраермана, на нем были старые, партизанские широкие брюки и коричневая сатиновая, очень поношенная толстовка, перепоясанная чем-то вроде веревки.

Эта эlegantность мне не понравилась — мы считали в те годы ее признаком буржуазным.

— Позвольте вам представить, — прервал мои впечатления Фраерман, — Константин Георгиевич Паустовский, превосходный журналист и молодой писатель. Я его рекомендовал редактором в вашу редакцию. С начальством вопрос уже согласован. А вас, как предместкома, я прошу поддержать кандидатуру при ее обсуждении на месткоме.

Через несколько дней Константин Георгиевич приступил к работе. Пришел он рано. Комната была еще не убрана. Новый редактор сам вычистил пепельницу. Аккуратно разложил справочники и взял папку свежих телеграмм — они горкой лежали на столе. Я предварительно объяснила ему, как мы классифицируем информацию, и дала тематический вопросник. Он просмотрел его внимательно и стал читать телеграммы. Быстро сделал разметку по вопроснику и попросил вызывать машинистку. Диктовать он стал сразу, не делая никаких поправок на оригинале, часто искаженном на телеграфе.

Быстрота его работы удивляла всех. И нередко другие редакторы этим пользовались: трудные, не очень срочные сообщения они подбрасывали к дежурству Паустовского. Он приходил в свое время и быстро ликвидировал завал, никогда не обижаясь ни на кого за эту лишнюю работу.

В те годы телеграф нередко искажал текст телеграмм. Об этом в свое время писали в «Известиях» Ильф и Петров («Высыпай кокументы»).

Паустовский обладал каким-то необыкновенным даром быстро догадываться и восстанавливать правильный текст. Конечно, если в тексте сообщалось о «полярной *курокучке*», то ясно было даже начинающему редактору, что вопрос идет о полярной курочке. Или когда академик Кулик нашел тунгусский метеорит, то, конечно, никто его не называл именем «*поппель*», так как это была фамилия нашего красноярского корреспондента Дмитрия Поппеля.

Вспоминаю кропотливую работу, которую вел в те годы Константин Георгиевич с репортерами и корреспондентами с мест. Он учил их любить *слово*, уважать *слово*. На редакционных совещаниях, на которых всегда присутствовали представители московских газет — «Правды», «Известий», «Экономической газеты», «Труда», — Паустовский постоянно напоминал о необходимости бороться с искажением и засорением языка нелепыми сокращениями (шкрабы, Уотнароб) и т. д.

Он не устал напоминать, что *слово*, отдельное *слово* — само по себе «художественное произведение».

Слово надо понимать, чувствовать, ценить и уважать. У *слова* свой характер, и, как актер на сцене, *слово* требует хорошего партнера, который помогает оттенить этот характер.

Константин Георгиевич считал, что газета — лучший воспитатель народа, что газету в советское время не читает только слепой, и добивался, чтобы информация — будь то скромная репортерская заметка о погоде или важный отчет о торжественном заседании — должна быть образцом стиля, формы и звучания, а написана точно, кратко, последовательно, чтобы *слово* было свежо, выразительно и музыкально.

Известно, что язык всегда находится в движении и непрерывно обновляется. Язык своенравен, он порой отбросит свое исконное слово (например, брадобрей), а возьмет чужое *парикмахер* (которое к тому же означает мастер париков). А слово живет и живет.

Паустовский следил за жизнью языка и советовал прислушиваться к его изменениям, вдумываться, как народ — рабочие и крестьяне — вбирает в свою речь новые понятия, новое мировоззрение, потому что жизнь перевернула весь старый, затхлый уклад жизни. Считал, что среди огромного потока новых слов обязательно родятся и такие, которые обогатят русский литературный язык. А какая-то часть отсеется.

Он не отрицал достоинств и преимуществ сказа, которым в те годы многие писатели увлекались. Но сам к сказу не прибегал и предпочитал не слова — «новотворки», а *слово* верное, много испытавшее и поумневшее. Записывать эти слова он не любил, а все держал в своей памяти. В голове его умещались самые разнообразные знания о ремеслах, о спорте, о быте одесских биндюжников с Молдаванки (фольклор этот Константин Георгиевич очень любил, как любил слушать и богатую образами крестьянскую речь). Любил читать словари, справочники по ботанике, фармакопее и др.

Он привлекал всех своей непринужденной, образной, живой речью.

Рассказчик он (и тогда уже) был превосходный. Настоящий мастер прихотливого, порой непокорного, но всегда великолепного русского языка учился языку везде — и неустанно учил этому своих многочисленных друзей. Он говорил: каждый, самый скромный журналист обязан знать строй и выразительную интонацию родного языка, чувствовать характер

каждого слова и особенно внимательно изучать русский глагол.

Часто приводил пример краткости, точности и огромной поэтической силы стиха Пушкина. «Вы послушайте только,— бывало, говорил Константин Георгиевич,— как это ясно, звучно и грозно: «Но силой ветра от залива перегражденная Нева обратно шла, гневна, бурлива, и затопляла острова».

— Нельзя,— продолжал он,— писать сереньким, будничным языком о торжественном событии. Вспомните «Пророка» Пушкина. «Встань, пророк! И виждь, и внемли!»... Неужели же слова «смотри и слушай» были бы здесь уместны! Не бойтесь церковнославянских слов. Обогащайте свой словарь! Но помните: счет — мера вещей. Чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше — и вся красота померкнет.

Он показывал, что значат красота, гибкость, изящество и глубина русского языка.

Природу он любил как поэт и художник. И сердился на «горожан», которые в выходной едут за город и раздражаются, если неожиданно начнет накрапывать дождик.

Он любил природу во всех ее проявлениях: и «осенний мелкий дождинчик», и холодный туман, и сизую росу. Особенно он любил осень и золотой листопад. И часто повторял в письмах пушкинские строки: «И каждой осенью я расцветаю вновь...».

С какой-то детской непосредственностью любил он воду — озерко, море, речушку и даже просто канавку, где тихо бормочет скромный ручеек. И удивительно — он так и не научился плавать, только барахтался около берега в воде. Но воды не боялся. Бесстрашно плавал на глубоких озерах в стареньком челне без весла, просто с помощью шеста или даже доски. А наши рязанские озера коварны, того и гляди попадешь в колдобину. Он шел искать брод, словно в каждом водоеме брод должен быть обязательно.

Однажды в праздничный день предложил побывать на Истре. Мы выехали рано утром поездом и долго добирались до реки. Надо было переправиться на другой берег, где, по уверению Константина Георгиевича, всегда хорошо брали окуни и красноперки. Переправы никакой не было. И Коста не задумываясь быстро снял брюки, повесил их на шею и, оставшись в трусах, белой крахмальной сорочке с галстуком, вошел в воду. Вероятно, со стороны картина эта была умиротворительна.

Однако нам было не до смеха. Мы его не пускали: Истра

в этом месте широка и не очень приветливо на нас смотрела — небо заволакивалось серыми, холодными тучами. Но Константин Георгиевич с какой-то кривой палкой уже был в реке.

Неожиданно из-за холмика сзади нас выехал верхом на коне красноармеец.

— Гражданин,— крикнул он,— остановись, здесь сроду нет брода, а ямины такие, что даже конь не соглашается плыть. Ворочайтесь враз к берегу. А перейдете эва вон там.

И он показал рукой вдаль, где чернелись какие-то мостушки. Едва мы добрались на противоположный берег, зарядил холодный и упрямый дождь. Он все усиливался. Мы пытались разжечь костер, но это было бесполезно — костер поминутно затухал. У Константина Георгиевича были такие грустные глаза, он едва не плакал — так ему хотелось порыбачить. Мы решили остаться на ночевку под кустом большой ивы. А дождь и не думал униматься. Когда чуть забрезжило, даже Константин Георгиевич понял, что рыбалка не состоится. И мы отправились ни с чем в обратный путь. Дорога там глинистая, мы еле плелись и только к шести часам утра добрались до вокзала. Часа два ждали поезда. Пассажиры смотрели на нас неприязненно — так мы были мокры и грязны. Приехали в Москву, день был праздничный, и трамваи не ходили. И мы, усталые, продрогшие и — что скрывать — злые, пешком тащились с Рижского вокзала до нашей Большой Дмитровки.

Но когда вошли в подъезд, Константин Георгиевич посиравшими губами и виновато улыбаясь сказал: «А ведь как хорошо всю ночь мы вдыхали запах потухающего костра».

Его выносливость и терпение всех удивляли. Недаром наша деревенская прачка говорила: «Терпенник Константин Георгиевич. Ой, какой терпенник!»

Он действительно был «терпенник». Помню, у него было опасное нагноение на ноге. И наш солотчинский доктор удивлялся, как Паустовский сохранял хорошее настроение при такой боли, оставался ровным, милым и приветливым. Вероятно, он был хорошим санитаром на фронте в годы первой мировой войны...

В РОСТА Константин Георгиевич проработал несколько лет — с конца 23-го года по конец 31-го. Сколько он воспитал хороших журналистов — репортеров, корреспондентов, молодых, начинающих писателей. И никогда никому не отказывал в помощи. Всегда был щедр, доброжелателен, прост и, как настоящий талант, обаятелен.



В окрестностях Тарусы.

Всеволод ИВАНОВ

*Из выступления на юбилейном вечере, посвященном
семидесятилетию К. Г. Паустовского*

...Свыше пятидесяти лет — полстолетия — работает Паустовский в литературе: срок огромнейший, гигантский, надо сказать, если принять во внимание те мировые катаклизмы, которые свершились в эти полстолетия. Сверхались великие и радостные события — Октябрьский переворот в России, но были события и очень мрачные: войны, голод, разрухи и разрушения, чудовищные жестокости. Наблюдая эти мрачные события, нетрудно было впасть в пессимизм, в отчаяние, нетрудно было растерять веселье в течение этих пятидесяти лет, да так и случилось с многими художниками.

Константин Паустовский не только не погрузил-

ся в пессимизм,—наоборот, с каждым годом его книги делаются все более и более оптимистичными, наполненными мятежной и благоуханной верой в человека, в его победоносный труд, в его творчество.

Этот мост радости — от широких просторов «Ка-ра-Бугаза» (1932 год) до «Повести о жизни» (1955 год) — мост через бурную реку жизни на высокий и добрый берег жизни, с которого видно все, что способен увидеть человек истинного творчества,—этот мост огромен и отлит из одного металла: звонкой и нежной фантазии.

Фантазия создала мировые шедевры: «1001 ночь», «Калила и Димна», русские сказки, «Гаргантюа и Пантагрюэля», «Восстание ангелов», «Погибшие мечтания», «Евгения Онегина» и «Пиковую даму», «Мертвые души», «Черного монаха» и сотни других великих произведений. Литература без фантазии,—а такая тоже существует,—это лесной склад, где в приблизительном порядке накатаны бревна. Подходит плотник и рубит избу,—это очень хорошее занятие — рубить теплые и красивые избы. Затем появляется столяр,—это занятие более высокое, требующее большего искусства и знаний; столяр не только делает жизнь удобной, но он делает ее и красивой, в нем уже играет фантазия. А затем появляется уже краснодеревщик или мастер скрипок — это уже подлинное искусство, которое улаживает жизнь.

Константин Паустовский — мастер скрипок и флейт,—и грустный и томный, и гневный и радостный мастер.

Я его люблю.

Я люблю его книги, его фантазию, его мастерство.

Константин Паустовский подлинно народный писатель, то есть любимец народа. Такими любимцами народа — на наших глазах — были Максим Горький, Михаил Зощенко, Сергей Есенин.

Книги любимцев народа не лежат на складах или на полках библиотек,—они на руках, в руках тех, кто создает нам счастье жизни, кто пашет зем-

лю, убирает хлеб, кто строит наши дома, фабрики и заводы, кто приводит в действие машины и гигантские гидроэлектростанции. Такой честью — быть любимцем народа — можно и следует гордиться. И я горжусь за творчество Паустовского.

Паустовский писал о Кара-Бугазе, Колхиде, Черном море — географические понятия, одушевленные подвигами и мирным трудом человека. Паустовский писал о Пушкине, Шевченко, Лермонтове, Кипренском, Левитане — о великих художниках слова и кисти. Если в географических своих повестях он приближал к нам природу, то в повестях о художниках кисти и слова он приблизил к нам историю, мрачноватую, диловатую, но родную нам русскую историю, где яркими и теплыми огнями блистали имена наших отцов, учителей, братьев, писателей и художников — Пушкина, Шевченко, Лермонтова...

И, наконец, Паустовский начал выполнять долг старшего поколения нашего советского общества, долг, который должны выполнить многие, но пока выполняют очень и очень немногие. Он стал писать мемуары, воспоминания, рассказ о своей жизни.

Наша жизнь необыкновенна, наша жизнь фантастична. Это относится к людям сорока, пятидесяти и старше лет. И относится не только к писателям. Вглядитесь каждый в свою жизнь, продумайте ее, начертите ее мысленно на бумаге, представьте ее в книге — и вы сразу поймете, что вы действительно прожили необыкновенную жизнь. Долг каждого — рассказать о своей жизни, о подвиге жизни, который вы свершили и продолжаете свершать.

Мемуары — важная веха в истории народа. Уберите из XIX века мемуары Герцена «Былое и думы» — и сразу поймете, что такое мемуары. Или возьмите автобиографические книги Максима Горького — без этих книг трудно было бы понять характер русских людей начала XX века.

Константин Паустовский написал глубокие и тревожные мемуары о своей жизни. Читая эту великолепную книгу чуткого художника, с каждой строкой понимаешь — почему люди наши порой рано седеют и почему одновременно так любят жизнь...



Ока под Тарусой.

Юрий БОНДАРЕВ

МАСТЕР

Работа писателя напоминает тяжелейшую работу землекопа, роющего колодец в выжженной степи. Обливаясь потом, он день за днем — иногда годами — вгрызается в землю с фанатичным упорством, стараясь добраться до глубинной воды и испробовать вкус ее. Потом он отдает отрытые колодцы людям. Нередко же вода в них бывает солоноватой, порой с железистым привкусом горечи, — тогда она не освежает, но люди пьют ее, испытывая еще большую жажду.

Константин Паустовский черпал из своих колодцев первозданную чистую воду — от нее исходит лесная прохлада, она утоляет жажду.

Его кристально отточенные слова сияют, переливаются, как капли на листьях, освещенные солнцем. И его книги наполнены прозрачным и душистым воздухом. Они издают запах утреннего моря, благодно тихих лугов, закатного леса с

сухим туманцем в коридорах просек; от страниц веет мягкой тишиной вечеряющих полей.

Может быть, во всем этом ощутимо умиленное созерцание окружающего мира? Умиротворенный взгляд окрест себя? Нет, в этом лиричное познание самого человека как частицы природы, рожденной ею, и познание доброты, которая подчас в сумасшедшем ритме каждодневных дел раздробляется, распадается в мелочах. И тогда уже некогда внимательно оглянуться, всмотреться в предметы, осмыслить прожитый день, ощутить вне себя и в себе извечную красоту. Но именно она делает нас добрее, цельнее, благороднее. Почему же так заметно стремление Паустовского идти через красоту мира к доброте и от доброты к красоте мира?

Пути воздействия литературы не изведаны, так же как не изведаны психология творчества, стилистические склонности или верность писателя своим героям. Мы утверждаем: оселок образа — острейший конфликт. Да, разумеется, это так. Но истина эта не может быть абсолютной, ибо, признавая ее непоколебимой, мы надеваем на нее обруч литературной догмы — и в конце концов ограничиваем самих себя. От частого употребления, от беззастенчивой заемности общеизвестных положений они нередко теряют свою воздействующую силу.

Сила таланта Паустовского в неизмеримом ощущении молодой открытости и чистоты его героев, и я беру на себя смелость сказать, что для него критерий истины и морали — красота мира и красота духовная.

Нет сомнения, что в этом неотразимость прозы Паустовского и этим объясняется его неугасающая популярность. Он никогда не был «моден» или «немоден» — его читали всегда. Он всегда был далек от всякой литературной суеты вокруг своего имени, от ложных фейерверков неудержимых восторгов, от фельдмаршалства в искусстве, разрушающих талант любой величины.

Иногда меня спрашивают, почему я так люблю Паустовского, ведь он пишет в другой манере, разрабатывает другие темы, его герои не похожи на моих героев.

Я люблю Паустовского потому, что именно он, выдающийся мастер, в самом начале моего литературного пути открыл мне изящество, алмазный блеск самого простого слова, потому, что я был покорен его любовью к человеку и в его книгах, и в жизни. Есть писатели, наделенные счастливой судьбой: книги их не теряют свежести под воздействием лет и времени и, несмотря ни на что, не стареют — всегда остаются молоды-

ми. Живые клетки таких вещей не что иное, как чистейшая позиция художника.

На книгах Паустовского воспитывалось не одно поколение. Я помню, с какой жадностью мы зачитывались в школьные годы ставшими потом знаменитыми «Колхидой», «Кара-Бугазом», «Черным морем», они переходили из парты в парту, из портфеля в портфель, из дома в дом, закапанные чернилами, с потертыми обложками, с захватанными корешками. Я только теперь понимаю, что донельзя потрепанные, с заклеенными страницами книги — самая большая награда для скромного писателя.

Мы часто говорим, часто сетуем, что многие наши книги не трогают и не греют. Я знаю иное. Я знаю молодых людей, которые захотели стать и стали моряками после того, как влюбились в «Черное море» Паустовского, — не это ли самое сильное влияние слова? Я знаю и никогда не забуду своего друга детства, который в сорок первом ушел в ополчение со страстной мечтой о море, привитой книгами Паустовского, и погиб под Москвой, сжимая жесткую деревянную ложку винтовки и видя не Черное море, а черные тела танков, ползущих сквозь черный, обугленный лес перед траншеями.

Эмоциональное воздействие Паустовского, видимо, объясняется не только человеческой чистотой, естественным благородством его героев, не встающих на цыпочки, но и тем, как писатель умеет создавать неповторимую атмосферу, настроение, тот вещественный и порой невещественный мир, окружающий героя, ту пленительную обстановку, без которой герой бестелесен и тускл. Эта поразительная игра светотеней, точное сочетание красок, звуков, запахов, ритм, тональность — завидная способность, встречающаяся не так часто в нашей литературе.

Я могу закрыть глаза и по ощущениям Паустовского вспомнить, как покойно на рассвете море и как горяча галька, прожженная солнцем, как теплы в полдень стены домов в Новороссийске и Одессе, как догорает закат в полете сосен, как ложится первый снег на проселочные дороги и подымается едкий туман над влажной, малярийной Колхидой, как скрипят половицы в старом, разошедшемся доме, наполненном бледно-снежным светом российской выюги, как вечером пахнет мокрыми заборами в маленьком приокском городке, как ровно шумит дождь по крыше, как в осенние ночи остро блестит, переливается созвездие Орион над темными лесами, отражаясь в воде.

У Константина Паустовского удивительное и завидное свойство точно передавать свои ощущения,— это, совершенно очевидно, достигается лишь высоким мастерством. Паустовский — писатель точного эпитета. Он создает пейзаж так осязаемо-отчетливо, так лаконично и просто — изумляешься его зоркому глазу, его ясности.

Герои его всегда соучастливы, мужественны, скромны и лиричны. Добр и пейзаж — пусть не покажется это странным. Неразделимо и герои, и пейзаж несут тот эмоциональный заряд человеколюбия, который неизменно вызывает ответную эмоциональную волну. И это — качество тонкого писателя.

Не много можно назвать прозаиков, наших старых мастеров, о ком бы так охотно, так нежно говорили бы многие писатели среднего поколения, учившиеся после войны у Паустовского.

Раз в одной анкете «Как мы пишем» мне пришлось отвечать на вопрос, смысл которого заключался в следующем: «Как вы относитесь к писателям, которые в жизни — одни, на бумаге — другие?»

Паустовский-писатель и Паустовский-человек слиты воедино. Он открыт и щедр как человек. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что встречи с Паустовским на семинарах в Литературном институте были праздником, которого нетерпеливо ждут, и возбуждающим импульсом, необходимым каждому читателю. Его общение со студентами высекало искру — хотелось писать лучше, глубже любить жизнь и литературу так же, как и он.

Обычно он сидел за кафедрой, низко наклонясь к листкам рукописи, чуть отставив руку с потухшей папиросой, и говорил тихим, неторопливым, слегка скрипучим голосом — разбирал только что прочитанный студентом рассказ. Он говорил о значении и весомости каждого слова, о точности единственно найденного эпитета, о ритме прозы, о непостижимом сочетании юмористического и трагедийного, о кратком пейзаже и психологическом контексте. Он говорил о любимых и нелюбимых словах, которые есть у всех писателей. Он рассказывал об остроте, зоркости и беспощадности писательского глаза. Он говорил о титаническом труде Флобера над фразой, он рассказывал о мастерстве Чехова, Куприна, Бунина. Он иногда сердился, это почти не заметно было внешне. Но фраза, сказанная им: «Это не проза, это перекачивание булыжников по мостовой», говорила о том, что прочитанный рассказ студента написан торопливо, неряшливо, без любви к слову. Однако,

сам будучи превосходным стилистом, он был терпим к разным стиливым направлениям, к разным средствам выражения, он никому не навязывал своей манеры письма. Но он был нетерпим к рационалистической манере «чистописания», к той академической гладкописи, которая навевает ощущение пыльной пустоты покинутого навек дома.

Довольно часто, разбирая сюжет, коллизии того или иного рассказа, он по ассоциациям начинал вспоминать различные случаи из своей жизни, всегда удивительно интересные, полные юмора и неожиданных поворотов. И когда смеялся, морщинки доброты звездочками собирались возле век, и он, оглядывая нас, неторопливо чиркал спичкой по коробку, зажимая забытую папиросу.

Он рассказывал нам готовые новеллы из своей жизни, и устные эти новеллы, уже тронутые писательским домислом, были настолько хороши, что я глубоко жалею — он не все их успел записать и опубликовать позднее.

Слушая Паустовского на семинарах, мы впервые понимали, что творчество писателя, его путь — это не бетонированная дорога с удручающей и легкой прямизной, это не лавры самодовольства, не честолюбивый литературный нимб, не эстрадные аплодисменты, не удовольствия жизни. А это — «сладкая каторга» человека, судьбой и талантом каждодневно прикованного к столу. Это нечастые находки и горчайшие сомнения, это труд и труд и вечная охота за неуловимым словом. Это мужество и напряжение всех физических и душевных сил. И мы понимали, что писатель — человек, который всей мощью своих усилий, опыта, ценой своих радостей и страданий должен совершить чудо — чудо, которое совершает женщина, рождая ребенка, — написать рассказ, повесть, роман, пьесу, то есть сотворить жизнь; родить героя с неповторимым лицом, характером, страстями — значит вложить в книгу самого себя без остатка, до опустошения.

Однако тогда мы, студенты, еще, по-видимому, не осознавали до конца весь смысл слов Паустовского, постоянно говорившего нам, что писать каждую книгу нужно так, будто это твоя последняя книга: не надо бояться отдавать ей все расточительно и щедро, никогда не надо откладывать свое искреннее, главное на будущее. Но кто не испытывал того неудовлетворенного ощущения, когда вещь закончена? Возникает усталость и опустошение — та сиротливая пустота, какая бывает в квартире, когда вывезена вся мебель, стены оголены и веет бедностью.

Иногда мы думаем, что нельзя расточать себя на какую-то одну вещь, надо сдерживать себя, видя впереди другую, еще не написанную книгу — цель всей твоей жизни. Порой мы не знаем, какова же будет книга, о чем она, кто главный герой ее, но, видимо, это самая лучшая, та, которой еще нет, которая не написана, но будет написана. Эту книгу и силу ее ты представляешь только по ощущениям, по неясному волнению, когда чувствуешь жаркий запах асфальта июльским днем, по фразе на улице, услышанной случайно, по походке незнакомой женщины в сумерках лета, по ее мимолетному взгляду, по запаху сырой земли, вдруг напомнившего смерть на безымянной высоте...

Эти смутные ощущения будущей вещи каждый писатель носит в себе. Они мучат его до бессонницы, они неуловимы до отчаяния — и в этом, вероятно, один из импульсов к творчеству: приближаться к непостижимому, боясь и радуясь ожиданию новых образов, слов, характеров, новой композиции, сюжета. Будущая книга кажется вам совершенством.

Опытнейший мастер слова, Паустовский прав: надо найти себя и в каждой книге выливаться полностью, не жалея себя и не скупясь.

Только так создаются честные и страстные вещи. Только так писатель начинает взвешивать и ценить свое слово. Только так рождается чудо искусства, лишь так писатель может приблизиться ко всему тому, что создано гением природы. Ведь все, что мы пишем вообще, все искусство — это лишь приближение к красоте и сложности объективного мира, которого нет лучше.

Книги Паустовского свежи, солнечны, в них туго сжата пружина молодой энергии, они искрятся, они волнуют, в них нет усталости, в них по-прежнему южный соленый запах моря, блеск жаркого южного полдня.



К. Г. Паустовский в Ялте. 1959 г.

Александр БЕК

«ДОКТОР ПАУСТ»

Записи, с которыми я решаюсь познакомить читателя, относятся к весне 1960 года. Несколько недель я прожил в Ялте, в Доме творчества писателей, бок о бок с Константином Георгиевичем. И завел тетрадь, которую впоследствии озаглавил «Месяц с Паустовским». Без дальних предисловий даю отрывки из этой тетради.

* * *

Время от времени, что называется, к слову, неторопливо, не повышая голоса, он рассказывает всякие случаи. Рассказчик божьей милостью. Богат, щедр. Нередко кажется, что он повествует о какой-то нездешней, удивительной земле, не той, на которой мы живем.

* * *

Ночью дул норд-ост. Утром заговорили о городе норд-остов — Новороссийске. И, конечно, Паустовский стал рассказывать. Там ветер скатывается с гор, дует вот отсюда (на листке бумаги появляется чертеж — залив, город, стрелка: направление ветра), поднимает густую водяную пыль, несет ее в город, залепляет льдом дома — двери, стекла, печные трубы, — и в домах люди замерзают. А на мостовой на каждом булыжнике нарастают сталактиты и поднимаются вот такими иглами, в рост человека.

Боже, какая фантастичная у него страна! И сам он верит, думается, во все это. И вот что еще поразительно: точность и фантазия соединены в его рассказах.

Он очень много знает. Зашел спор о каком-то растении. Обратились к Паустовскому. Немедленно последовала точная справка и о названии, и о свойствах, и т. д.

В другой раз:

— Константин Георгиевич, посмотрите — расцвели тюльпаны.

— Нет, это не тюльпаны. Они, правда, похожи, но у тюльпанов другой лист.

Его определения яркие, точны:

— Кипарисы серые, как слоновая кожа.

* * *

Наблюдательность Паустовского. Он шел между столиками впереди меня. Не оглядывался и все же сказал:

— Вы сначала посмотрели в ее тарелку, а потом с ней заговорили.

Черт возьми, как же он сумел заметить? И это при страшной близорукости — десять диоптрий.

У него близорукость увеличивается и иногда появляются какие-то цветные шарики перед глазами, а когда устает — серый кот у ног.

* * *

Приходя к завтраку в столовую, Паустовский захватывает по пути адресованную ему почту. Иной раз это целая кипа — книги, письма читателей.

Кстати отмечу, он как-то сказал:

— У меня занята письмами целая комната, можно было бы сделать книгу из самых интересных писем.

* * *

Кто-то прислал ему давнюю фотографию: несколько писателей в Малеевке у бильярда. Рассматриваем вместе. Константин Георгиевич говорит:

— Помните, как мы познакомились в Малеевке в 1933 году? Я после тифа был худой (действительно, на фотографии он маленький, худой, в кепочке, — ну совсем мальчик). Помните, бильярд стоял на террасе. Как дождь, так сукно в воде. Бьешь, а от борта брызжет вода.

Слушаю с улыбкой. Признаться, я брызг не запомнил. Но таков Паустовский: брызги уже дорисованы его фантазией.

* * *

Манера Паустовского-рассказчика: сначала невнятный, глухой голос, слов почти не разобрать, потом он оживляется, глаза блестят лукаво, слышно ясней.

Как-то сказал:

— Теперь говорю короткими фразами: астма.

Когда рассказывает, сразу молодеет.

Кто-то здесь его сфотографировал. Он посмотрел на это фото, произнес:

— Дед пасечник что-то рассказывает.

* * *

И вместе с тем он — гражданин мира. Всегда на его столе «Юманите». Это для него важно.

Здесь же, на столе Паустовского, обливной глиняный буйвол. Наклон головы — мощь. Это не подарок, он купил сам, понравилась эта вещица. И рядом глиняный барашек на расставленных, словно расползающихся ножках. Беспомощность. незащищенность и рядом — мощь.

* * *

Его суть — зоркость и выдумка. Но выдумка реалистична. Огромное знание и на этой основе выдумка.

Клочок разговора:

Семен Гехт:

— Вот я поймал ту секунду, когда к правде прибавляется выдумка.

Я:

— Такая секунда бывает и у Паустовского.

Паустовский:

— Да, бывает.— Помолчав.— И если уж сорвешься, то не останавлишься.

* * *

Индюк — одно из выражений Паустовского. Это о тех, кто чванливы и глупы, как индюки.

* * *

Вечер проводов «Доктора Пауста» (такое прозвание ему дал Казакевич). Устная анкета.

— Константин Георгиевич, какое качество в человеке вы больше всего цените?

— Деликатность.

— То же о писателе?

— Верность себе и дерзость.

— Какое качество находите самым отвратительным?

— Индюк.

— А у писателя?

— Подлость. Торговля своим талантом.

— Какой недостаток считаете простительным?

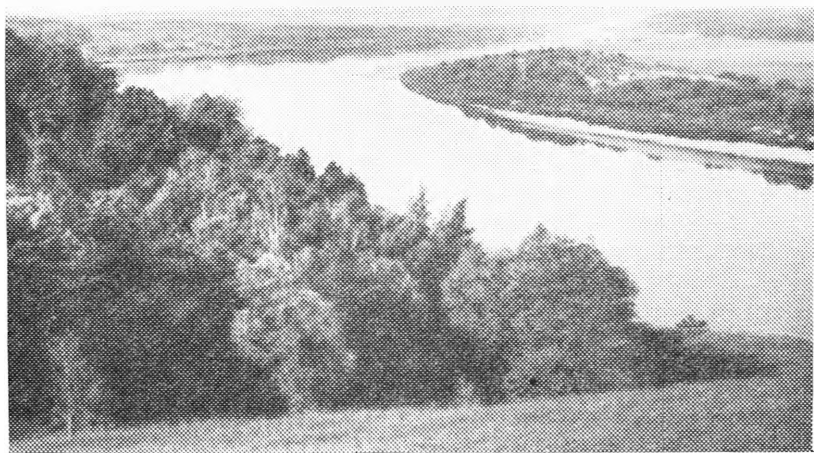
— Чрезмерное воображение.

— Напутствие-афоризм молодому писателю?

— «Останься прост, беседуя с царями. Останься честен, говоря с толпой».

* * *

Не напрасно читатели всех возрастов так любят Константина Паустовского — тонкого, сильного художника, обаятельного человека, в каждом произведении которого живет зов к будущему.



Берега Оки под Тарусой.

Сергей ЛЬВОВ

ВСТРЕЧИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Трудно сказать, что привело К. Г. Паустовского к такому решению, но вскоре после того, как в свет вышло его «Черное море», он захотел поближе познакомиться с подростками,— может быть, собирался писать для детей и о детях,— и выбрал для этого достаточно необычный путь. Я, во всяком случае, не слыхивал, чтобы кто-нибудь из писателей, даже посвятивших себя целиком детской литературе, предпринимал что-либо подобное. К. Г. Паустовский задумал взять с собой в лодочное плавание по Десне группу московских школьников. Своих питомцев в это плавание послали литературная студия Московского городского Дома пионеров и литературный кружок журнала «Пионер».

Посчастливилось попасть в это путешествие и мне. К тому времени я уже хорошо знал и «Кара-Бугаз», и «Колхиду», и книгу рассказов Паустовского, и мысль, что мне предстоит не

просто познакомиться с К. Г. Паустовским, а принять участие в экспедиции под его командованием — мы сразу стали называть наше предстоящее путешествие «экспедицией», — заставляла сердце выскакивать из груди от радости.

Вначале предполагалось, что в это плавание отправится несколько писателей, — кроме Паустовского, все это придумавшего, еще Фраерман, Гайдар и Некрасов — автор популярной детской книги «Приключения капитана Врунгеля». Но Гайдар, не знаю уж почему, к большому нашему огорчению, от этого сразу отказался. К. Г. Паустовский выехал вперед в Бежицу, откуда должно было начаться наше плавание, чтобы все заранее подготовить, так что поначалу мы его не видели. А мы под руководством А. С. Некрасова ходили по магазинам и складам — покупали и получали палатки, топоры, ведра, фонари, саперные лопатки, продукты. Много позже я узнал любопытную подробность: Дом пионеров предоставил для этой поездки кое-какое туристское имущество, редакция «Пионер» — небольшую сумму денег, но основные расходы несли писатели — инициаторы путешествия. Родители детей, отправлявшихся в плавание, не платили ничего.

Наконец мы погрузились в поезд и поехали в Бежицу. С нами из Москвы выехали Рувим Исаевич Фраерман и Андрей Сергеевич Некрасов. В пути Андрею Сергеевичу стало плохо, ему пришлось сойти на первой же станции, так что у нашей экспедиции осталось два взрослых руководителя — Паустовский и Фраерман.

Мы так набегались в Москве перед отъездом, так наволновались, что в поезде проспали почти всю дорогу.

Вечером на перроне маленькой станции Бежицы нас встретил невысокий сутулый человек.

— Здравствуйте, — сказал он. — Идемте на водную станцию. Ночевать будем там.

Это был Паустовский, которого я увидел тогда первый раз в жизни.

И мы, нагрузившись довольно тяжелым походным имуществом, пошли за ним.

На ночь мы устроились на водной станции, в легкой дощатой пристройке. Утром по потолку побежала солнечная рябь — отражение от реки, которая была совсем рядом. Нам показалось, что мы уже плывем по Десне. Хотелось как можно скорее отправиться в путь и как можно скорее познакомиться с Паустовским: встреча на станции еще не была знакомством. Фраермана мы уже знали по литературной студии, одной из

групп которой он руководил. Мы все, кроме одного, который был фотолюбителем, писали стихи или рассказы, привыкли к работе литературных кружков и студий, и знакомство с Константином Георгиевичем нам представлялось так: он сейчас же после завтрака спросит каждого из нас, что он пишет, скажет, чтобы тот что-нибудь прочитал, а потом начнется разговор о написанном — и все путешествие будет похоже на занятие литературного кружка. Днем мы будем плыть по реке, а вечером, у костра, читать Паустовскому и Фраерману то, что написали, и обстоятельно беседовать о написанном.

Но все обернулось совсем иначе. Едва мы позавтракали, он вывел нас на берег Десны, очень быстрой около Бежицы, велел нам раздеться и сказал, что сейчас мы переплывем на остров и обратно, — нам предстоит путешествие по реке, и он должен убедиться, что мы умеем плавать. Лезть в воду, которая казалась в этот утренний час очень холодной, не хотелось, но не отказываться же!

Когда мы выдержали неожиданный экзамен, Константин Георгиевич повел нас на двор лодочной станции. Здесь лежали огромные плоскодонки, заготовленные для нашего путешествия. Лодочный мастер смолил одну из них. Паустовский взял квач и банку со смолой и молча начал смолить другую. Разговора о наших стихах и рассказах опять не получилось! Мы тоже стали, как умели, смолить лодки. Потом был обед. А после обеда, когда мы твердо рассчитывали на начало литературного знакомства, надо было разбирать и укладывать походное имущество. Дел хватило до вечера.

На следующий день наш флагман — таким нам виделся Паустовский — велел опробовать лодки на воде. Мы отвалили от берега и пошли вниз по течению. Лодки шли хорошо недолго. Оказалось, что они ужасно текут. В них набралось столько воды, что пришлось причалить к берегу и тащить лодки обратно до водной станции против течения бечевой. Лодочный мастер сконфуженно оправдывался:

— Не обвыкли они на воде. Всякому предмету нужна к своему делу привычка.

Но ждать, пока лодки приобретут эту привычку, мы не могли, а лодочная станция не была приспособлена для того, чтобы жить на ней долго. Наши взрослые руководители посоветовались и объявили нам, что старт нашей экспедиции отложен не будет. Вместо плоскодонок лодочная станция Бежицы одолжит нам пять больших прогулочных лодок-трехпарок.

В каждой лодке поплывут три человека: один будет грести, второй — сидеть на руле, третий — отдыхать.

На корме каждой лодки мы подняли красные узкие треугольники флагов, а на флагманской — голубой, с инициалами Паустовского. И Константин Георгиевич сказал, что по традиции всех флотов мира мы будем теперь поднимать эти флаги каждое утро и опускать вечером, после захода солнца.

Этим и многим другим правилам плавания Константин Георгиевич обучал нас как-то незаметно. Старшего из нас он назначил боцманом, и боцман распределял нас на вахты.

От Бежицы до Брянска (по воде километров десять) нас на байдарках провожали бежицкие пионеры. Кроме того, с нами плыл интересный человек — оператор студии документальных фильмов, специально примчавшийся по этому случаю в Бежицу. К сожалению, я не запомнил его фамилию. Он снимал наше торжественное отплытие, флотилию сопровождавших нас байдарок, Паустовского на флагманской лодке, Фраермана на другой. Некоторые знакомые видели потом киножурнал с этими кадрами. Вероятно, в архиве кинофото-документов эта пленка сохранилась...

На первом привале Паустовский разговорился с кинооператором. Я не могу сейчас объяснить, в чем был секрет Константина Георгиевича, но не раз потом во время этого путешествия я замечал — самые разные люди охотно рассказывали ему о себе, хотя он вроде бы совсем не выпрашивал их, как выпрашивает литератор, имеющий газетный опыт и привыкший брать интервью. Просто очень внимательно слушал. Так вот, оператор рассказал, как снимал на маневрах выброску парашютного десанта.

После Брянска нас покинули сопровождавшие нас байдарки, потом в какой-то прибрежной деревне сошел и кинооператор, забрав наши письма в Москву. А мы продолжали путь. Было решено, что в первый день мы должны пройти километров двадцать.

Вниз по течению это в общем не так уж много. Но мы еще были совсем не втянуты в греблю, лодки у нас были большие, весла тяжелые... Первая ночь на реке, августовская, темная, безлунная, беззвездная, свалилась на нас неожиданно. Флагманская лодка повернула к берегу. А вслед за ней и четыре остальных. За день споров, проводов, отплытия и гребли мы так устали, что едва вышли на берег, сразу повалились на сухой, еще не совсем остывший песок.

У нас были с собой хорошие палатки, но когда боцман при-

казал их ставить, оказалось, что никто из нас заранее не позаботился о кольях и колышках для палаток, и первую ночь мы провели так: две палатки подстелили, а двумя накрылись. Так что и в этот вечер тоже было не до разговоров о литературе. Да и в следующие дни на них не хватало ни сил, ни времени. Весь день мы гребли, а когда причаливали к берегу, нужно было ставить палатки, выносить на берег продукты, собирать хворост, готовить ужин, заправлять фонари. Участники экспедиции были городскими ребятами, и большинство первый раз в жизни оказались в таком походе. Мы очень много не умели.

Не умели, например, готовить на костре. Когда над огнем висит огромный артельный чайник, котел с супом да котел с кашей, не так-то просто помешать в этих котлах или снять с открытого огня тяжелую посуду. Тут нужно прилаживать целую систему костровых подвесок, чтобы каждую посуду можно было снять, не тревожа другую.

Константин Георгиевич удивлялся, что в пионерских лагерях нас не обучили этой нехитрой науке, и терпеливо показывал, как это делается.

Один из нас заставил Паустовского смеяться до слез. Этот мальчик подбежал к палатке Паустовского с громким криком:

— Константин Георгиевич, что с водой? Она странная какая-то!

Паустовский подошел к костру, на котором висел котел с водой, и расхохотался. Оказалось, что мальчик никогда прежде не видел, как ключом кипит вода в открытой посуде. И неумелость большинства, а особенно избалованность тех, кому казалось, что обо всем должны заботиться взрослые, которые «за нас отвечают», вызывали у Паустовского вначале недоумение, а потом досаду. Он запомнился мне в первую неделю плавания, когда все еще не притерлось и не приладилось, молчаливым и хмурым. Во всяком случае, упрекал он тех, кто отлынивал от общей работы, резко и жестко.

Не знаю уж, каким ему представлялось это плавание в Москве, но оказалось, что быть флагманом экспедиции из пяти лодок со школьниками куда сложнее, чем он, видно, предполагал. И Константин Георгиевич не умел скрыть от нас, что настроение у него неважное. Мы, несколько человек, старавшихся изо всех сил, чтобы все было как можно лучше, даже совещались потихоньку, что сделать, чтобы Паустовский переменил свое мнение о нашей команде. И было решено: не

дождаться, пока он подскажет, что нужно делать, или через боцмана передаст приказ, а делать все, что нужно, не считаясь, чья очередь, и не боясь сделать больше, чем другие. Тянутся, чтобы выполнить это решение, приходилось из всех сил, и мне кажется, что не сразу, но постепенно Паустовский расположился к тем из нас, кто тоже многого не умел, но по крайней мере из всех сил старался.

А может быть, неважное настроение было у Константина Георгиевича поначалу потому, что решительно не сбылась надежда на любимую им и Фраерманом рыбную ловлю.

За две недели мы ни разу не смогли сварить ухи. Местные жители объясняли это тем, что в верховьях идут сильные дожди, вода в Десне стала мутной и рыба не видит приманку. Константин Георгиевич высказывал другое предположение. Все дело в том, что мы не умели устроиваться на биваке тихо. Мы громко перекликались, когда ставили палатки, бежали по берегу, махали руками. А рыба этого не любит. Константин Георгиевич этого тоже не любил. Мы обещали, что не будем шуметь, но не умели выполнить свое обещание. Мы еще не умели тогда слушать реку и лес, мы еще не понимали, что умение слушать начинается с умения молчать. Но все-таки некоторые из нас к концу путешествия этому умению у Константина Георгиевича научились. Еще он научил нас обращать внимание на приметы погоды.

Он «разговорил» однажды старого паромщика, и тот перечислил нам главнейшие приметы. Нужно заметить, какая роса была вечером. Как вел себя ветер. Усиливался ли он накануне к вечеру. Или, может быть, слабел. И какого цвета была заря. И как садилось солнце — в тучку или в белое облако. Как летали над рекой ласточки. Как вели себя лягушки. Сидел ли паук в паутине сонно и лениво или суетился, строя свой дом и подстерегая муху. И Константин Георгиевич объяснил, что если днем было жарко, а ночью холодно, если ветер днем стал сильнее, а к ночи стих, если днем небо было темно-синим и казалось высоким, если заря была золотистой или розовой, если солнце садилось на чистом небе, если дым из труб поднимался столбом, если стрижи и ласточки летали высоко, то завтра будет хорошая погода.

Но если к вечеру облака заволокли все небо, если муравьи спрятались в муравейник, если ветер усилился к ночи, если лягушки вылезли из болота, если соль стала влажной, если стрижи и ласточки летают над самой землей, если клевер складывает листочки, если зяблики громко поют с утра, если

мухи особенно надоедливы, а пауки стали вялыми, если солнце село в тучах, это к дождю.

Мне показалось, что ему доставляет удовольствие весь этот список примет.

Однажды на привале у нас все-таки состоялся разговор о литературе, которого Константин Георгиевич до поры до времени, как мне кажется, избегал. Он хорошо относился к одному из нас — Жене Разикову, который и греб отлично, и палатки ставил быстро, и первым брался за всякую работу, которой было много в плавании. (Много лет и даже десятилетий спустя, всегда, когда мы встречались, Константин Георгиевич непременно добрым словом вспоминал Женю, который погиб на фронте в начале войны.)

Как-то на привале Женя прочитал песню Багрицкого «Четыре ветра». Мы спросили Константина Георгиевича, любит ли он Багрицкого. Мы его спрашивали о стихах, а он стал рассказывать о самом Багрицком. Я не все запомнил, что он рассказывал нам тогда; точнее сказать, я уже не могу отделать, что услышал от него о Багрицком тогда, а что прочитал про Багрицкого потом в его книгах, и я расскажу только о том, чего не могу спутать с прочитанным позднее, не могу спутать потому, что сразу вслед за этим Константин Георгиевич устроил нам экзамен. Он сказал, что Багрицкий терпеть не мог, когда в стихах говорят «птицы», или «деревья», или «травы». Поэт и писатель каждое дерево, каждую птицу должны знать «в лицо» и по имени. И тут-то нам и был устроен экзамен.

Константин Георгиевич показывал то на один куст, то на другой, срывал то одну траву, то другую. Выяснилось, что никто из нас не знает, как называется растение с малиновыми соцветиями у берега заводи, мы не различали по виду и не знали по имени ни стрелолист, ни дикую рябинку-пижму, ни окопник, ни крестовник. Даже опасное растение — ядовитый вех — было нам неизвестно. Почти все деревья были для нас, городских ребят, просто «деревьями», все кусты — просто «кустами», все цветы — просто «цветами».

— Как же вы будете писать стихи и рассказы? — спросил Константин Георгиевич. — Это надо знать!

Запомнился мне один привал. Наша кильватерная колонна из пяти лодок с флагами на кормах, особенно голубой флаг Паустовского, привлекали внимание прибрежных жителей, и по берегу то вслед за нами, то опережая нас шла какая-то молва. Однажды нас догнала моторка, из нее вышел пожилой

Человек и спросил у дежурного, варившего что-то на костре: «Кто у вас главный?» Ему показали на Константина Георгиевича, сидевшего поодаль с удочкой (он все еще не потерял надежды что-нибудь поймать). Человек, приехавший на моторке, подошел к Константину Георгиевичу, потом к ним присоединился Рувим Исаевич, и между ними завязался долгий разговор. Когда незнакомец ушел, Константин Георгиевич рассказал нам, что это бакенщик, что у него случилась беда, что с ним несправедливо обошлись местные власти и он, услышав, что по Десне плывут московские писатели под голубым и красным флагами, решил догнать нас и посоветоваться. Константин Георгиевич и Рувим Исаевич разговаривали с ним долго, а потом помогли ему составить письмо, кажется, в облисполком и в редакцию газеты, к которому сделали приписку от себя.

Плыли мы по Десне недели две. В некоторых местах река очень петляла. Купол одной церковной колокольни мы видели то перед собой, то сбоку, то сзади. Казалось, вот-вот доплывем до деревни, рядом с которой решено стать на привал, а деревня то появится перед нами на холмистом правом берегу, то вновь скроется за излучиной — словно дразнит.

Нам часто приходилось перетаскивать наши груженные лодки через наплывные мосты. Лишь иногда их для нас разводили.

Мы проплыли по Десне от Бежицы до Трубчевска. Со всеми речными поворотами это будет, верно, километров сто пятьдесят. Для нас это было огромное путешествие. Десна была пленительно красива. Высокий и крутой правый берег, яры и меловые обрывы — их тут называли «лбами», и они были действительно похожи на лбы. Сейчас мне кажется, что на это слово наше внимание тоже обратил Паустовский. Густые заросли тальника на низком левом берегу, — однажды мы останавливались на ночлег около таких зарослей. Черная ольха и липа там, где берег отступает, а к воде подходят низкие мочажины. Так называются прибрежные заболоченные места. Огромные дубы среди заливных лугов. Белые кувшинки и желтые кубышки в заводях.

Мы узнали, что такое стрежень реки и как, идя в кильватере за флагманской лодкой, держаться стрелы, чтобы течение помогало грести. И как по стоячей волне распознать в воде камень-одинец, чтобы не стукнуть о него лодку. И чем корча отличается от тепляка, и почему лучше избегать и того и другого. С рассвета и до заката видели мы реку, небо, лес, а

потом у вечернего костра слушали ночные голоса в лесу и на реке: вот обвалился кусок подмытого берега, вот забила рыба, которая днем так и не идет на удочку, вот страшно заухал филин.

Это был один из самых важных уроков, который я получил в жизни,—урок двухнедельной жизни под открытым небом, урок реки и леса. И Константин Георгиевич заботился о том, чтобы мы усвоили этот урок как можно полнее. Он был конечно же важнее любых разговоров о наших стихах и рассказах. Но мы тогда не понимали этого и все ждали, ждали, ждали, когда же, наконец, состоится тот литературный разговор, на который мы так надеялись с самого начала нашего плавания.

И тут Константин Георгиевич еще раз рассердился на нас. Не на всех. На одного. Но свои слова он обратил ко всем нам. Мы взяли с собой хлеб — черные буханки и белые булки. За несколько дней пути хлеб зачерствел, но к каждой стоянке мы приплывали такими голодными, что он и черствый казался нам вкусным.

На одной стоянке дежурные по кухне разделились. Один остался готовить кашу по рецепту Константина Георгиевича — гречневую кашу, в которую добавляют пережаренный на сковороде лук с салом,— а два других пошли в соседнюю деревню с ведром для молока и мешком для хлеба. В деревне они немного задержались и пришли на наш бивак, когда мы уже начали обедать. Дежурный стал нарезать каравай деревенского хлеба, и нож так входил в хрустящую корку, каравай так дышал под ножом, что стало видно — хлеб сейчас из печи, верно, еще теплый. И пахнул каравай так, как может пахнуть только свежий деревенский хлеб. И тогда один из нас бросил на землю недоеденную черствую булку.

Паустовский посмотрел на того, кто бросил булку. Перевел глаза на недоеденную булку, брошенную на землю. Посмотрел на нас. У костра стало очень тихо.

Паустовский сказал о том, что случилось, не много, но это были суровые слова. Он рассказал нам о народном обычае — поднимать и целовать оброненный случайно хлеб. И о народном поверье: если кто-нибудь бросает недоеденный хлеб, его близкий в это время страдает где-то от голода.

Мы вовсе не были избалованными. Годы нашего детства были разными и некоторые из них очень трудными. Мы еще хорошо помнили времена хлебных карточек. И все-таки мы еще многого не понимали. А Константин Георгиевич упорно

все не хотел и не хотел говорить с нами о литературе, пока мы не поймем некоторых простых и важных вещей. Две недели плавания под его командой были совсем не идиллической прогулкой, не картинной туристской романтикой, а прекрасным и трудным уроком нравственного воспитания.

...Мы спешили к Навле — есть у Десны такой левый приток. Нам почему-то казалось, что на Десне мы уже все знаем, а Навля откроет нам что-то неизведанное. А Константин Георгиевич полагался на слова местных жителей, что в Навле рыба будет ловиться непременно. Он никак не мог примириться с тем, что так ничего и не поймал.

Переход к Навле был трудным. С утра парило. Ветер стих, Мы вошли в Навлю днем. Было так жарко и так душно, что мы даже не обрадовались речке, к которой так спешили. На небе все быстро менялось. Облака стали похожи на башни. Потом они превратились в тучи. Синие тучи стремительно становились черными.

С флагманской лодки был подан сигнал причалить к берегу. Мы причалили и вышли на скошенный луг, уставленный высокими стогами сена.

Боцман сказал:

— Нужно быстро поставить палатки и перетащить в них весь груз.

Мы понимали, что сейчас хлынет грозовой ливень и припасы нельзя оставлять в лодках. Но странное оцепенение овладело нами. Медленно, как во сне, вынесли мы из лодок мешки с палатками, медленно распаковали их, медленно начали растягивать полотнища, ставить шесты и вбивать колышки. Константин Георгиевич трудился у первой палатки, поглядывая на небо и торопясь. Мы старались не отставать от него, но руки были вялыми и движения неуверенными, словно мы первый раз ставили палатки.

Палатки были еще не закреплены, когда вспыхнула первая молния. Я не знаю, кто в этом виноват, — может, накопившаяся усталость, может, предгрозовое оцепенение, которое еще не спало с нас, только вместо того, чтобы закончить крепление палаток, мы попрятались от дождя в палатки, поставленные кое-как. Мы промешкали несколько важных минут перед ливнем, и теперь плохо натянутые палатки промокли. И когда мы спохватились, выбежали под ливень и стали под дождем перетаскивать в них рюкзаки с продуктами, палатки были уже плохой защитой от дождя.

Грозовой ливень был долгим и сильным. Когда он кон-

чился, мы не узнали Навлю — она вздулась от дождя. Мимо нас проносило смытые где-то на берегу бревна. Наши лодки, вытащенные до половины на берег, плавали теперь в воде. Хорошо, что мы их надежно привязали. Иначе их унесло бы в Десну. К. Г. Паустовский вместе с боцманом озабоченно осмотрел лодки, промокшие палатки и вещи.

— Делать нечего! Придется вернуться на Десну, пройти до ближайшей деревни, где есть школа, устроиться на ночлег,— сказал он.

Мы вычерпали воду из лодок, снова погрузили в них наше имущество, которое было вытаскано на берег, потом отчалили. Навля, вздувшаяся после ливня, помогала нам грести, и мы скоро вышли в Десну. Ее мы не узнали. Уровень воды сильно поднялся, и вода стала темно-серой. И мы вспомнили мелкие холмы, мимо которых проплывали накануне. Мел этих холмов окрасил реку. Деревня, куда Паустовский решил с нами отправиться на ночлег, была вверх по течению — утром мы проплыли мимо нее. Он высадил из каждой лодки по два человека, чтобы они пошли по берегу пешком в школу этой деревни и договорились о ночлеге. С теми, кто пошел пешком, отправился Рувим Исаевич.

А Паустовский остался с лодками, оставил с собой боцмана, еще двоих ребят и меня. Признаться, я загордился — это было выражением доверия со стороны флагмана.

Каждый из нас сел в тяжело нагруженную лодку, и мы начали выгребать против течения. Казалось, что тяжелые лодки стоят на месте. Потом стало видно, что они все-таки движутся, только очень медленно. Нельзя было ни на минуту класть весла на воду. За самую короткую передышку течение сносило лодку, и все нужно было начинать сначала. Мне было хорошо видно, как греб Константин Георгиевич: ровно и сильно — спокойный занос и длинная проводка.

Прошло, наверное, часа два трудной гребли без остановок, пока мы не дошли до переправы около деревни. Тут мы причалили. Паустовский договорился с паромщиком, что он присмотрит за лодками, а мы отправились в школу обсушиться и переночевать. До позднего вечера разбирали мы рюкзаки, сушили вещи, огорчались и оправдывались, когда увидели, как пострадали от дождя продукты. А следующее утро было ясное, тихое. Будто не было вчера ни предгрозового напряжения в воздухе, ни грозы, ни многочасового ливня.

Путешествие наше подходило к концу. Мы приближались к Трубчевску, где было решено его закончить. Последний пе-

реход был самым длинным за все плавание,—казалось, он никогда не закончится. Солнце уже садилось, когда на высоком и крутом правом берегу мы увидели фигуры людей, черные на желтом закатном небе.

Мы крикнули:

— Какое это место?

— Трубчевск! — ответили нам с обрыва.— А вы откуда такие?

— Из Москвы!

Когда мы причалили к берегу, сбежалась толпа трубчевских мальчишек: слух о нашей флотилии опередил нас.

В Трубчевске мы прожили два дня. Поселились в общежитии гостиницы. Константин Георгиевич ушел в город договариваться, как переправить наши лодки в Бежицу. Мы ждали его, и нам было грустно: путешествие наше кончилось, когда мы по-настоящему втянулись в него. Потом наш суровый флагман вернулся, повел нас осматривать город и неожиданно начал осмотр с того, что привел нас в маленькое кафе и угостил мороженым. Мороженое в Трубчевске было желтым и рассыпчатым, его накладывали в вазочки шариками, и к нему полагались костяные ложечки. И Константин Георгиевич сказал, что это кафе, облицованное кафелем, и это мороженое напоминает ему южные города. Потом мы подошли к собору XV века, побродили по городскому саду, расположенному на крутом речном берегу, и пошли в городской краеведческий музей. Кроме экспонатов, какие есть во всяком краеведческом музее,— кремневых наконечников стрел и гончарных черепков, извлеченных при раскопках, кроме чучел птиц и животных, которые водятся в этих краях,— были в этом музее экспонаты удивительные: огромные, неумело и наивно написанные картины, запечатлевшие разные эпизоды истории Трубчевска, начиная с его первого упоминания в летописях, и с такой же наивной старательностью выполненные панорамы. И под всеми картинами и панорамами стояла фамилия директора музея, который написал эти картины и делал эти панорамы. Директор, молодой застенчивый энтузиаст, показывал нам свой музей сам. Константин Георгиевич слушал его подробные объяснения внимательно — он вообще умел терпеливо слушать,— а на прощание подарил ему свою книжку. Это была только что вышедшая первым изданием детская книга «Летние дни» — первая книга К. Г. Паустовского о Мещорском крае. Она продавалась в книжном магазине Трубчевска. Мне очень хотелось, чтобы Константин Георгиевич надписал мне эту

книгу, но застенчивость помешала мне попросить его об этом, и я просто купил ее себе. Мои товарищи тоже купили себе эту книгу. Книга совсем не была похожа на прежние книги К. Г. Паустовского. В ней все происходило не на Черном, не на Каспийском морях, не в далеких краях, как в тех книгах К. Г. Паустовского, которые я знал, а в местах, похожих на те, по которым мы только что проплыли. И это была детская книга, а я был в том возрасте, когда детские книги читают неохотно. Словом, я открыл ее с некоторым сомнением.

Но скоро со всех сторон нашего гостиничного общежития стал доноситься смех. Это мои товарищи углубились в «Летние дни», доходили до рассказа «Резиновая лодка» или «Котворюга» и начинали хохотать. Меня тоже очень насмешили эти рассказы. Насмешили и удивили,— я почему-то не думал, что Константин Георгиевич может так смешно писать. А ему, видно, было приятно, с каким удовольствием мы читали его книгу, и он сказал, что будет еще писать о тех краях, о которых говорится в ней,— о Мещорском крае,— и что берега Десны, конечно, красивы, но с Мещорским краем им не сравниться.

На следующее утро к гостинице подошел грузовик, мы сели в кузов и поехали на станцию железной дороги Суземки — это от Трубчевска километров тридцать с лишним. На платформе маленькой станции мы дождались проходящего почтового поезда и не без волнений погрузились в общий вагон. Ехали мы до Москвы, помнится, долго. Устроители нашего путешествия, видно, потратили все деньги, которые взяли с собой на прокормление нашей оравы. На обратный путь были у нас лишь большая голова сыра и два каравайя черного хлеба. И вот только в этом общем вагоне почтового поезда, который, не торопясь и останавливаясь на каждом полустанке, вез нас в Москву, состоялся долгожданный разговор о литературе.

Мы собрались вокруг Константина Георгиевича. Он стал расспрашивать нас, что мы любим читать, а потом продиктовал список книг.

— Их нужно прочесть непременно,— сказал он.

Дома я переписал список, составленный со слов Паустовского, в толстую общую тетрадь, и озаглавил ее «Книги, которые должны быть прочитаны», и продолжал этот список — в старших классах школы и на первых курсах института. Во время войны список пропал. Я не хочу спустя столько лет по памяти приводить всю ту его часть, которая была указана К. Г. Паустовским. Называю только те книги, о каких совер-

шенно точно помню, что их назвал Константин Георгиевич тогда, в вагоне поезда.

Прежде всего это были не только стихи, романы и повести. Это были книги путешественников, геологов, моряков, ученых. Помню, что среди них было названо «Путешествие на корабле «Бигль» Чарлза Дарвина, записки путешественника Пржевальского, книги географов П. и В. Семеновых-Тянь-Шанских, геолога Обручева и минералога Ферсмана. Константин Георгиевич спросил нас, читали ли мы «Записки об ужении рыбы» и «Записки ружейного охотника» Сергея Аксакова, и сказал, что это прекрасные книги.

Тогда же мы — нам было тогда по четырнадцать—шестнадцать лет — впервые в жизни услышали от нашего флагмана имя Ивана Бунина.

Так как среди нас, как всегда бывает в юности, большинство писало стихи, разговор зашел, конечно, о поэтах. Константин Георгиевич горячо говорил о ранних стихах Асеева и прочитал на память строки из его «Курских стихов».

Особо подробно говорил Константин Георгиевич о горячо любимом им Грине. Когда я спустя несколько лет прочитал его предисловие к одной из книг Грина, мысли, в нем высказанные, показались мне уже знакомыми, слышанными во время этого разговора.

Помню, что разговор коснулся еще писателей, писавших о море, и Константин Георгиевич рассказал нам о судьбе и о книгах Джозефа Конрада.

Словом, я записал тогда с его слов большой список, и он надолго в значительной степени определил круг моего чтения. Долгожданный разговор о литературе, наконец начавшись, продолжался до самой Москвы.

Был вечер, когда мы вышли на площадь Киевского вокзала. Казалось странным, что мы сейчас разойдемся и вечером будем спать в комнатах, а не в палатках, а завтра не услышим глуховатого голоса Константина Георгиевича, который успел столькому научить за эти две недели и так много важного сказать нам.

...До начала войны оставалось четыре года. Для меня это были два последних года в школе — девятый и десятый классы — и два года в ИФЛИ — Институте истории, философии и литературы, откуда я ушел, когда началась война, в армию.

За эти четыре года я бывал у Паустовского реже, чем мне хотелось бы: я не решался часто ему звонить. Каждый такой звонок был для меня непростым делом, и иногда, набрав

номер, я клал трубку, так и не решившись попросить разрешения прийти к нему. Кроме огромного уважения и любви, которые остались после нашей поездки, сохранилось и ощущение некоторой его суровости, не слишком большой разговорчивости. Я помнил, как непросто возникло чувство контакта и сколько всего должно было произойти, прежде чем состоялся такой памятный мне до сих пор разговор о книгах.

В 1938 году большую группу писателей наградили орденами. Был среди них и К. Г. Паустовский.

Я исписал много черновиков, прежде чем мне удалось написать поздравительное письмо Константину Георгиевичу. Вероятно, оно было несколько стилизовано в духе романтической прозы.

— Письмо написал хорошее,— сказал Константин Георгиевич по телефону,— видно, только очень старался.

И назначил мне день, когда прийти к нему.

Это было дня два спустя после вручения орденов в Кремле. Константин Георгиевич рассказал, что М. И. Калинин, вручая ему орден и пожимая руку, сказал: «А я вас по вашим книгам представлял себе совсем другим».

— Мне, понятно, было неудобно спросить, каким он себя меня представлял,— помолчав, добавил Паустовский.— Так я и не знаю, что он имел в виду.

А мне показалось, что я представляю себе, что имел в виду М. И. Калинин. У читателей «Кара-Бугаза», «Колхиды» и «Черного моря» — рассказы о Мещорском крае еще не были популярны — складывалось представление о Паустовском как о загорелом и просоленном путешественнике. Нет, невысокий, сутуловатый Константин Георгиевич совсем не был похож на такого путешественника.

В эту встречу Константин Георгиевич дополнил список книг двумя неожиданными именами. Он подробно и с удовольствием пересказал роман французского писателя Роже Версея «Сигнал бедствия», который незадолго до того вышел в «Жургазобъединении». И почему-то вспомнил писателя Михаила Ульяновского и назвал его книгу «Мохнатый пиджачок».

— Непременно прочитай!

Роже Версея я достал тут же, прочитал и понял, чем он так понравился Константину Георгиевичу. У Версея необычайно точно, глазами человека, знающего море не понаслышке, написана отчаянная борьба команды спасательного судна за спасение терпящего бедствие парохода. Это и подвиг отваги, и адски трудная работа, и ремесло, которым они кормятся.

Константин Георгиевич восхищался, как написана в этом романе сцена, когда заслуженная награда ускользает из рук капитана-спасителя из-за предательского поступка капитана, чье судно он спас. Роман Верселя, конечно, произведение не великое, но Константин Георгиевич с большим увлечением говорил иногда о книгах, далеко не знаменитых, но примечательных. А к книгам морским у него было особое пристрастие. Верселя я недавно перечитал, и он спустя столько лет вполне выдержал перечитывание.

Ульянский же был давней привязанностью Паустовского, как я узнал впоследствии из его автобиографической книги «Бросок на юг». Тогда, когда он говорил мне об Ульяновском, он его не перечитывал, но хорошо помнил его рассказы по старым воспоминаниям. В библиотеке Константина Георгиевича книги Ульянского не было. И я смог прочитать его только тогда, когда стал студентом и записался в Библиотеку имени Ленина. Своего тогдашнего впечатления от него и разговора по этому поводу с Константином Георгиевичем я не запомнил, а придумывать задним числом не хочу.

Но, конечно, при этих встречах разговор шел не только о книгах. Вероятно, многие из тех, кто помнит Паустовского, знают, каким он был поразительным устным рассказчиком. Большинство этих рассказов известно, — многократно рассказанные, уточненные, отделанные, они вошли в его книги. Он охотно рассказывал не только свои собственные рассказы, но и пересказывал чужие. Так, например, со слов Булгакова рассказывал он о его визите к Константину Сергеевичу Станиславскому.

Все, кто слышал этот рассказ в передаче Паустовского, с огромным интересом читали потом его уже не устную, а письменную версию в «Театральном романе» Булгакова. Устный вариант Булгакова — Паустовского отличался, во-первых, некоторыми дополнительными подробностями, а во-вторых, тем, что все действующие лица были выведены под собственными именами.

Один устный рассказ Паустовского, по-моему, нигде не опубликован. Приведу его таким, каким он запомнился с довоенных лет.

Его участники — малоталантливый поэт, сосед Паустовского по дому, и такса Паустовского. Важное предлагаемое обстоятельство — устройство входной двери. В ней была прорезана щель для писем и газет.

— Н. меня совсем одолел, чтобы я прочитал его поэму и

поддержал ее, — рассказывал Паустовский. — Я уклонялся от этой чести. Но потом уклоняться стало невозможно. Мне хотелось по крайней мере избежать долгого вступительного разговора, в котором он будет объяснять мне, как доверяет моему вкусу и до какой степени полагается на мое суждение. Когда в прихожей раздался звонок, я затаился. Пусть опустит рукопись в щель для корреспонденции и уйдет. Но он продолжал настойчиво звонить. На звонки выбежала такса, залаяла. И тут мой посетитель, словно поверив, что дома никого нет, просунул манускрипт в щель. Я услышал собачье ворчание, тихо выглянул в коридор и с ужасом увидел: такса подскочила на коротеньких лапках, уцепилась за рукопись и потащила ее к себе. Мой посетитель испуганно охнул и попробовал вытянуть рукопись обратно. Но такса держала ее мертвой хваткой! Он молил собаку пощадить рукопись, он кричал, что это единственный экземпляр, он стучал в запертые двери, а она трепала его сочинение, как крысу. Только клочки летели!

Вы представьте себе мое положение! Выйти теперь нельзя, человек он страшно обидчивый, решит еще, чего доброго, что я это подстроил нарочно. Он мечется за дверью, такса терзает его рукопись, а я не знаю, что делать. Наконец, оглашая лестницу воплями, мой гость удалился. Я кинулся в коридор, отогнал таксу, схватил рукопись — вся поэма изодрана. От пролога до эпилога.

— И что же было дальше?

— Притащил на следующий день копию. Делать нечего, пришлось читать. Читаю и вижу: такса-то была права!

...Прошел еще год. Я стал студентом. Паустовский принадлежал к любимым прозаикам студентов ИФЛИ. Особенно мы увлекались тогда «Романтиками», которые передавались из рук в руки. Я подружился со студентами, которые были старше меня на курс. Мои новые друзья узнали о моем знакомстве с Паустовским, и им очень хотелось побывать у него. Константин Георгиевич, не очень-то любивший отрываться от работы для посетителей, неожиданно быстро согласился принять моих товарищей. Мне кажется, что ему было интересно познакомиться со студентами-филологами.

К Паустовскому пришли со мной два замечательно талантливых ифлийца — Марк Бершадский и Евгений Астерман. Марк отлично писал юмористические рассказы. Один из них, построенный на том, какие мытарства претерпевает скромный служащий, в характеристике которого написали, что он «фа-

натик своего дела», был напечатан в «Крокодиле», другой, торжественным слогом пародии на «Илиаду» повествовавший о войне, которая началась в учреждении, когда была получена путевка, предназначенная «достойнейшей», и на нее объявились три претендентки, ждал опубликования. Марк прекрасно знал Олешу и раннего Катаева, мог цитировать их на память страницами. О Евгении Астермане мы знали, что он пишет стихи и прозу, но он никому написанного не показывал, считал, что еще не время. Это не мешало пользоваться ему не только на своем курсе, но и во всем институте огромным авторитетом.

И Марк, и Евгений погибли в боях зимой 1941 — 1942 года. Но тогда они были полны сил, планов и замыслов, и я даже не знаю, чем я больше гордился — тем, что я знакомлю их с Константином Георгиевичем, или тем, что я знакомлю Константина Георгиевича с ними. Во всяком случае, у меня было острое ощущение значительности этой встречи.

А она поначалу не задалась.

Мы, трое, пришли из очень скромных квартир, и дорогая старинная мебель кабинета Паустовского, торжественный порядок книг в огромном книжном шкафу, тома Грина, переплетенные по специальному заказу в переплеты из декоративной ткани, — все то, к чему я, бывая в доме у Паустовского на Лаврушинском, уже привык, моих друзей в начале визита заморозило.

Константин Георгиевич, видно, почувствовал это и, чтобы преодолеть неловкость первых минут, рассказал нам один из своих устных рассказов.

— В Ялте Луговской повел меня как-то ночью очень таинственно в горы, — говорил Паустовский. — Мы остановились на тропке под обрывом. Там, внизу, кто-то в ночи хохотал хриплым голосом, стонал и плакал. Это было очень страшно! Я никак не мог понять, чьи это голоса. А Луговской не объяснял. Потом оказалось, что это вещает установленный на праздники и забытый в горах репродуктор. И только когда спустя некоторое время пришли монтеры, выключили репродуктор, он перестал оглашать ночные горы воплями, песнями и хохотом.

Марк Бершадский был замечательным выдумщиком сюжетов. Выслушав рассказ Константина Георгиевича, он неожиданно сказал:

— История эта кончилась не так.

— То есть как не так? — изумился Паустовский. — Это же было со мной и Луговским.

— И тем не менее история эта кончилась не так,— упрямо повторил Марк.

Мы с Евгением замерли от его дерзости. А он продолжал:

— Когда монтер перерезал провод, репродуктор продолжал говорить. Он уже не мог остановиться.

Константин Георгиевич посмотрел на Марка с любопытством — не ожидал, что его устный рассказ может приобрести такую парадоксальную концовку,— потом рассмеялся, натянутость прошла, и беседа пошла живее.

Константин Георгиевич показал нам поплавки, сделанные из игл дикобраза, упомянул замысел «Золотой розы» (в первоначальном замысле называлась она не «Золотой», а «Железной розой», что, признаться, нравится мне больше).

Константин Георгиевич показывал нам свои книги — тоненькую брошюру «Записки Василия Седых», первое издание «Морских рассказов». А потом посетовал, что роман «Блистающие облака» у него не сохранился. Роман был издан в 1929 году тиражом 10 тысяч экземпляров, в бумажном переплете. У «Блистающих облаков» удивительный, почти детективный сюжет. Книга, пройдя через десятки рук, к этому времени, вероятно, просто уже рассыпалась и сохранилась только в больших библиотеках с обязательным экземпляром.

— Даже Крученых,— сказал Константин Георгиевич,— не берется достать «Блистающих облаков». А он может достать любую книгу!

Выйдя от Паустовского, мы остановились в Лаврушинском переулке, оглянулись на его дом и дали друг другу торжественное обещание — достать Константину Георгиевичу экземпляр «Блистающих облаков». Это оказалось головоломной задачей. Мы посвятили в нее многих студентов. И одному из них удалось раздобыть экземпляр «Блистающих облаков», да еще такой, как будто его только что принесли из типографии. Не чувствуя под собой ног от радости, я помчался в Лаврушинский переулок. Константин Георгиевич в тот день плохо себя чувствовал, но ради такого случая я был к нему допущен на несколько минут. Он очень обрадовался находке, перелистал роман, а потом положил его на столик рядом с тахтой.

Я ушел с поручением Константина Георгиевича передать его благодарность тому, кто нашел книгу, и когда Константин Георгиевич поправится, привести к нему. По разным причинам встреча эта не состоялась.

Снова я встретился с Паустовским спустя много лет. Я принялся для Детгиза писать маленькую монографию о

Паустовском и, понятно, попросил его о встрече. Он уже жил в доме на Котельнической набережной, куда я к нему и пришел. Меня интересовали некоторые биографические подробности. Константин Георгиевич рассказал мне о своей молодости, но этого рассказа здесь можно не приводить — теперь это все хорошо известно по его автобиографическим повестям. Когда книга была написана, я послал ему рукопись и уже через несколько дней говорил с ним по телефону. Он указал на одну-две частных неточности, но не сделал ни единого замечания по существу, а ведь многое в ней должно было вызвать его несогласие. Когда мы встречались с Константином Георгиевичем уже после выхода моей скромной книги, он, ни словом ее не помянув, никак не возражая на мои критические построения, хотя, видит бог, в них было что оспорить, неизменно вспоминал наше плавание по Десне. Он как бы подчеркивал, что я для него, несмотря на прошедшие годы, мальчик, сидевший с ним у одного костра, потом благоговейно записывавший с его слов список книг, которые непременно должны быть прочитаны, а не автор первой маленькой монографии о нем. Двух людей неизменно вспоминал он при этих встречах: Александра Роскина — замечательного критика, друга Константина Георгиевича, которого я хорошо знал, потому что он руководил старшей группой нашей литературной студии в Доме пионеров, и Женю Разикова — участника нашего незабываемого путешествия по Десне. И Женя Разиков, и Александр Роскин погибли на фронте...

...Последний раз я близко видел Константина Георгиевича весной 1961 года в Доме творчества в Ялте. Незадолго до этого я вернулся из большого путешествия, во время которого побывал в Амстердаме, на острове Кюрасао, на Кубе, в Мексике, в Монреале. И теперь в Ялте, перебирая сотни снимков, сделанных в пути, перечитывая свои путевые блокноты, писал путевые очерки. Константин Георгиевич чувствовал себя неважно, я не решался его тревожить, но кто-то сказал ему о фотографиях, которые я привез из путешествия, и он попросил сам, чтобы я их ему показал. Он разглядывал их внимательно и долго, особенно все, что было связано с Мексикой. Перед тем, как побывать в Мексике, я прочитал о ней гору книг, продолжал читать и после возвращения и как-никак провел там почти две недели. И вдруг Константин Георгиевич рассказал о Мексике нечто совсем неожиданное, что мне ни в одной книге об этой стране не встречалось. Я твердо знал, что Константин Георгиевич в Латинской Америке никогда не

бывал. И тут я вспомнил, что до войны видел у него дома, на Лаврушинском, комплекты старых географических журналов на английском языке и альбомы, связанные с Латинской Америкой. Ведь литература о путешествиях смолodu была его любимейшим чтением! И вот теперь он, несмотря на то, что чувствовал себя неважно, долго рассматривал мои фотографии, карты, которые дарят пассажирам трансатлантических самолетов, расспрашивал меня об острове Сал, что подле Зеленого мыса, где мы совершили посадку, когда нас не приняли Азорские острова, об острове Кюрасао и его столице Виллемстадт, о языке папиементе, на котором говорят на этом острове.

И, рассматривая по карте маршрут нашего автомобильного путешествия по Мексике, он с удовольствием повторял названия: Мехико, Керетаро, Гуанахуато, Гвадалахара, озеро Пацкуаро, Морелия — названия тех мест, где я побывал в Мексике.

А мне вспомнились страницы ранних рассказов Паустовского и его «Этикетки для колониальных товаров». Когда я мальчишкой и студентом зачитывался этими вещами, вот уж не думал, что спустя десятилетия буду показывать флагману нашего плавания по Десне фотографии далеких земель, о которых он так много думал, так много знал, так удивительно писал...



Река Таруска.

Алексей ИОНОВ

ТРИ ЧАСА С ПИСАТЕЛЕМ

По праву признанного во всем мире художника Константин Паустовский мог бы повторить слова Жюль Ренара: «У меня работа спешная — для потомства». Поэтому мало кто из его несметных почитателей, и я в том числе, осмеливался посягнуть на его внимание и время. Но жизнь выделяет порою такие курбеты, что нам остается лишь следовать их велениям.

В мои руки попала вдохновенная книга-исповедь «Золотая роза». Я прочел в ней главу о родном городе Ливны, словно наяву увидел его мощенные каменными плитами улицы, услышал сиротливые гудки одинокого паровоза на железнодорожной станции, прошел на полоненный сиренью обрыв в городском саду. Там, у слияния струистой на перекатах Ливенки и спокойно несущей свои воды в ложе девонских извест-

няков Сосны, я долго смотрел в неоглядные заречные дали. Растревоженная память повела меня затем в разливы шелестящей ржи, в березовые перелески, на пустынные проселки родимого края...

После этого я прочел все написанное Константином Паустовским, от первой до последней страницы. Бесспорно, это кудесник слова, это, как справедливо и метко назвал его Михаил Шолохов, «писатель тончайшей наблюдательности и великолепия владения добротным русским языком...». Читать его книги — истинный праздник для ума и сердца.

Радость и боль при чтении Паустовского испытывали многие и многие поклонники его таланта, и кое-кто из них, несомненно, поверял ему свои восторги. Я, грешный, тоже не удержался от того, чтобы не высказать ему радостного изумления перед его словесным волшебством, и, насколько помнится, в сумбурной надписи на посланном ему сборнике моих рассказов «Душа шахтера» назвал себя подмастерьем. Каково же было мое удивление, когда дней восемь — десять спустя почтальон принес мне письмо и я увидел фотографический портрет К. Г. Паустовского, сидящего в непринужденной позе на скамье среди молодых деревьев, а на уголке фотографии прочел дарственную надпись: «...молодому подмастерью от старого подмастерья — по-дружески. К. Паустовский».

Эту неожиданно возникшую переписку московский литератор Александр Лесс изобразил вскоре в маленькой новелле, которую так и назвал: «Переписка». Она была напечатана в газете «Вечерняя Москва» и в журнале «Молодая гвардия».

Охваченный восторгом, я написал о Паустовском очерк, который появился в моем сборнике «О писателях и книгах», а в канун 1965 года мне принесли телеграммы, и в одной из них кроме новогодних поздравлений содержалась похвала моему очерку и благодарность. Это была телеграмма от Паустовских. Она позволила мне стать чуточку храбрее.

Приехав вскоре в Москву, я позвонил на квартиру Паустовского. Ответила мне Татьяна Алексеевна.

— Вы знаете, что Константин Георгиевич болен?

Да, об этом я знал, знал из его же книг. Но сейчас, оказывается, его подкосила не астма, терзавшая его многие годы, а вторичный инфаркт. Этот грозный недуг привел его сначала в больницу, а затем в кардиологический санаторий «Пушкино» в Подмоскowie.

— Вам, наверное, хотелось бы повидаться с ним? — не-

ожиданно спросила Татьяна Алексеевна.— У меня как раз есть машина, и я могу заехать за вами.

Я растерялся. Неужели встреча, о которой я не смел и помышлять, может состояться сегодня же и так просто? Но позволительно ли докучать больному писателю?

— Давайте посмотреть правде в лицо,— услышал я посуровевший голос.— Сейчас вы еще имеете возможность увидеть Константина Георгиевича и побеседовать с ним, а дальше такой возможности может и не быть совсем. Константин Георгиевич болен, очень болен, но вы увидите, что он будет вам рад. Если вы боитесь утомить его, давайте условимся, что беседа будет непродолжительной — часа полтора,— а там посмотрим.

Я все-таки колебался: ехать или не ехать?

Однако на другой день Татьяна Алексеевна сообщила, что Паустовскому известно о моем приезде и он хотел бы меня видеть.

— Если не можете приехать сегодня, приезжайте в любой день.

При этом она посоветовала, как удобнее добраться до санатория. К определенному часу нужно прийти в Ипатьевский переулок, что неподалеку от Красной площади. Оттуда каждый день отходит санаторный автобус, и он доставит меня в Пушкино, к главному корпусу.

Я собрался ехать на другой день, но тут возникло непредвиденное осложнение. Добраться до Ипатьевского переулка было почти невозможно: как раз в это время столица готовилась торжественно встретить у Кремля космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова. Весь центральный район, все прилегающие к Красной площади улицы и переулки были оцеплены постами милиции и народных дружинников с красными повязками на рукаве. Мне пришлось не раз объяснять постовым, куда и зачем я тороплюсь. Автобус в тот день остановился не в Ипатьевском переулке, а в Китайском проезде, и к его отходу я, конечно, опоздал. Пришлось отложить поездку на следующий день — на 24 марта 1965 года.

В Пушкино я приехал в полдень. В обширной усадьбе санатория веяло предвестьем весны. Под сумрачными елями еще синел снег, но у берез он обтаял и покрылся ледком. Пахло талым снегом и хвоей.

Паустовские в этот час были на прогулке, но ждать их пришлось недолго. Из вестибюля я увидел в окно, как по березовой аллее, по торной стежке, в сопровождении жены ти-

хонько шел, опираясь на толстую палку, Константин Георгиевич Паустовский. Он был в сером зимнем пальто и мохнатом треухе.

Татьяна Алексеевна, войдя в вестибюль первой, пристально взглянула на меня и спросила:

— Вы Алексей Васильевич? Мы ждали вас. Костенька... — сказала она, обернувшись к Паустовскому.

Он, услышав наш разговор, вскинул голову, переложил из руки в руку палку и поздоровался со мною. Рука у него, хоть он гулял и без перчаток, была сухая и теплая. Потом он снял шапку и стряхнул с нее искры снега. Ему помогли снять пальто.

Татьяна Алексеевна живнула нам на диван и пошла распоряжаться насчет обеда.

Константин Георгиевич выглядел не таким, каким я привык видеть его на снимках. Его лицо утратило бывшие аскетические черты и стало полным, если не сказать одутловатым, но лоб по-прежнему старили глубокие морщины и на переносье лежала скорбная складка. Он сел на диван и с полминуты рассматривал меня испытующе, молча.

— Вы, кажется, жили в Ливнах? — спросил он, комкая носовой платок. Голос у него был тихий, хриловатый. — Знаете, я ваших земляков, ливенских, встречал даже в Париже. Хорошие люди, мастеровые. На одном литературном вечере окружили меня русские эмигранты. Купили мои книги и просят надписать. Спрашиваю у одного, откуда он родом. Оказывается, из Ливен. Очень занятный человек. Шил сапоги — и расхождение, и для сцены — самому Шаялину. Потрафить вкусам Федора Ивановича — это, знаете ли, не шутка, но он других сапожников не признавал, а этот всегда умел ему угодить. Заговорил со мною — страшно разволновался, слова вымолвить не может. Вот она, ностальгия-то... Настоящая болезнь.

Появилась Татьяна Алексеевна и пригласила нас к столу.

За столом меня усадили рядом с Паустовским. Начавшийся непринужденный разговор коснулся жизни в Тарусе, и Константин Георгиевич, помешивая ложкой в тарелке, рассказывал, чуть хмурясь:

— Летом нас одолевают экскурсии. Мы живем там в небольшом домике. Смотришь, подходят толпою и требуют, чтоб их пустили в дом и чтобы я вышел к ним для беседы. Татьяна Алексеевна начинает объяснять, что я занят работой. Тогда экскурсовод, дерзкая такая девчонка, бросает с вызовом: «А нам какое дело, что занят? Зачем же в путеводителе напи-

сали, что в Тарусе живет известный писатель Паустовский?» Оказывается, какие-то умники действительно составили путеводитель-справочник по Подмоскovie и, как на грех, помянули там мое имя. И вот барышня ведет туристов и тараторит: «В нашем городе жил знаменитый художник Поленов. Его могила неподалёку». Идет дальше и продолжает заученно: «Жил тут и знаменитый художник Борисов-Мусатов. Вот тут он похоронен». А потом, раз уж от нее требует этого путеводитель, говорит: «Каждое лето сюда приезжает писатель Паустовский. (Этот пока жив...— вставил Константин Георгиевич с усмешкой.) Вот его дом».

— А иной раз,— заметила Татьяна Алексеевна,— требуют, правда, вежливо: «Если Константин Георгиевич болен, пусть хоть выйдет из дома и постоит немного, а мы на него посмотрим издалека».

— Меня это возмущает,— мрачно сказал Паустовский.— Идут как на какое-то поклонение. Что я, Толстой, что ли? Зачем это нужно?!

После обеда мы вышли в вестибюль и направились в конец коридора, к лифту, чтобы подняться на второй этаж. Но железная дверь оказалась на замке. Паустовскому пришлось подниматься по лестнице.

Отдохнув с минуту на первом лестничном марше и отдышавшись на площадке, остальные ступени Константин Георгиевич преодолел без отдыха и довольно бодро вошел в просторную двухкомнатную палату. В первой комнате на столике у окна стояла приготовленная для работы пишущая машинка, на другом столе в стакане тонкого стекла благоухали карминные розы.

Константин Георгиевич опустился в кресло и, отдыхая, опять очень внимательно рассматривал меня.

Я спросил, в каком году жил он в Ливнах. В «Золотой розе» он пишет, что в этом городе, где беседы с геологом Нацким навеяли ему замысел повести о Кара-Бугазе, он провел лето и осень 1931 года, в примечаниях же к его «Повести о лесах» в одном издании указано, будто в Ливнах он жил в 1932 году.

— Ну уж, за примечания-то я не отвечаю,— обронил Паустовский шутливо.— Все-таки в Ливнах я жил, думается, в тридцать первом году. Таня, дай, пожалуйста, библиографию.

Жена подала ему с другого стола толстую, кажется, гектографированную рукопись.

— Сейчас уточним,— сказал Паустовский, листая руко-

пись. Он смотрел в нее искоса, с прищуром.— Это составлено очень добросовестным человеком.

Меня удивило, что в свои семьдесят два года Константин Георгиевич читает без очков.

— Да, точно, там я был в тридцать первом году,— сказал Паустовский и отложил рукопись в сторонку.— Поселился сначала у реки, а позже перебрался ближе к станции, в дом Нины Дмитриевны Нащкой. У нее и отец был врачом, и сама она работала в железнодорожной больнице. Оттуда я, помнится, ходил в лес, но вот как он назывался, не помню.

— Наверное, Липовчик,— сказал я, уносясь мыслями в родной город.— Это за рекой, за слободой Беломестной. Других лесов там не было.

— Да-да,— поддакнул Паустовский обрадованно.— Точно, Липовчик, уютный такой лесок. Там не было ни родника, ни колодца, но было много свежей травы, цветов и птиц. И удивительный покой, тишина. Мне нравилось там отдыхать.

Он замолк. По выражению его лица нетрудно было понять, как дорого ему нынешние воспоминания и как мил его сердцу каждый уголок родной земли.

— О вашем городе,— помолчав немного, продолжал Константин Георгиевич,— очень хорошо пишет в своих мемуарах Сергей Булгаков. Не читали?

Наш разговор естественным образом коснулся и других, более известных писателей-орловцев — Бориса Зайцева и Ивана Бунина.

— Борис Зайцев,— сказал Паустовский,— это яркий и крупный писатель, но живется ему, должно быть, нелегко. В Париже он обретается в двух комнатухах.— Откинувшись к спинке кресла — в таком положении ему легче было дышать,— Константин Георгиевич спросил:— А вы читали «Дневники» Бунина? Больно читать эту книгу. Могучий талант, стилист неподражаемый — и вдруг такая ярая злоба. Я не могу этого понять. Это стариковское брюзжанье надо было навсегда оставить в архиве. Жаль, архив его не привезли на родину, оставили в Париже. Кстати сказать, в дни Отечественной войны Иван Алексеевич в небольшом домике, который он арендовал в Грассе, давал приют антифашистам, ничего не боялся. Ужасно тосковал по России.

Я сказал, что мне особенно близки и понятны те рассказы и повести Бунина, в которых он изображает жизнь земляков-орловцев, потому что я родом из тех же мест. О Бунине мне хотелось бы написать.

— Для этого не надо жалеть времени,— сказал Паустовский.— Это было бы неплохим дополнением к вашему сборнику «О писателях и книгах». Кстати, я думал над жанром вашей книги,— продолжал Паустовский.— Названия этот жанр пока не имеет, но, мне думается, это ближе к поэзии.

Говорил Константин Георгиевич сдержанно и тихо, не употребляя гремучих эпитетов. В конце каждой фразы его голос спадал до шепота. Нередко, стараясь точно выразить мысль и ища нужное слово, он беспокойно потирал пальцы, не привыкшие оставаться без работы.

Константин Георгиевич достал из кармана кожаный футлярчик, неторопливо раздернул на нем застежку «молнию», вынул миниатюрный ингалятор и укротил злодейку астму.

— Изумительное средство,— сказал он, подняв на уровень моих глаз трубку, колбочка которой была наполнена бесцветной, как вода, жидкостью.— Это подарили мне французские друзья. У нас тоже хотели сделать этот препарат, но не нашли какого-то компонента.

Я поднялся, чтобы попрощаться.

— Посидите, посидите... — мягко сказал Паустовский.

Я взглянул на Татьяну Алексеевну, не зная, какое принять решение, но она ободряюще покивала головой.

— Что вы теперь пишете? — спросил Паустовский.

Я сказал.

— И велика вещь?

— Думаю, листов пятнадцать.

— Пятнадцать? — переспросил Паустовский, как мне показалось, с оттенком порицания.— А мне никак не удастся написать больше одиннадцати. Прямо какое-то зачатое число: одиннадцать — и хоть ты что! А как перешагну на двенадцатый, не могу написать ни строчки.

— А ваша «Беспокойная юность»? Это же солидная по объему книга.

— Что вы! — решительно возразил Паустовский.— Дай бог, чтоб в этой повести набралось и одиннадцать-то листов.

Странно! Почему же эта вещь, составляющая одну из частей «Повести о жизни», производит впечатление увесистого тома? Вероятно, потому, что в ней изображено множество событий, что написана она в напряженном, динамичном стиле и вместила уйму жизненных наблюдений.

— У вас, я думаю, тоже не получится длинная вещь,— убежденно заключил Паустовский.— Вы не умеете писать длинно. Это хорошо.

Еще по дороге в Пушкино я решил посоветоваться с К. Г. Паустовским, где лучше жить писателю — в провинции или в столице. В провинции, думалось мне тогда, даже самой одаренной личности трудно или невозможно проявить себя в полной мере. Я сказал, что мне не раз представлялась возможность переехать в Москву, поближе к издательствам и редакциям журналов, но я этим пренебрег, и, наверное, ошибся.

— Москва, Москва... — заметил Паустовский со вздохом неодобрения. — Далась она всем, эта Москва. Писатель должен жить там, где ему хорошо работается. Что вам, плохо пишется в Донбассе?

Пристыженный уже самым тоном, каким был произнесен этот вопрос, я сказал, что там, конечно, пишется помаленьку, там есть о чем писать, но плохо — нет творческой среды, не с кем всерьез потолковать о литературе, о жизни. Выходят в Донецке книги, но газеты и журналы их не замечают. Одаренные литераторы, художники, артисты уезжают в Киев и Москву. В писательской организации мелочные свары и групповщина...

— Групповщина!.. — повторил Паустовский саркастично. — Вы думаете, ее нет среди московских писателей? — Он с лукавинкой посмотрел на жену, и в его взгляде мне почудилась озорная мысль: «Полюбуйся на этого наивного идеалиста, который полагает, что групповщина есть только у них в Донбассе».

— Нет, — твердо сказал Паустовский, — я бы не советовал вам стремиться в столицу. Зачем? Читателям ведь совершенно безразлично, где живет писатель, в Москве или в Калуге, им нужно только одно — хорошие книжки. Работайте, не расходуйте ваше время на переезды, на квартирное устройство.

Потом мы толковали о писательских судьбах и издательствах, о современной эстетике и литературной критике. Константин Георгиевич поражал меня исключительной осведомленностью во всем, определенностью и ясностью суждений. Одухотворенность, проникновение в тайники души, постижение сложностей человеческого существования сочетались в нем с удивительной близостью ко всему житейскому, земному, с готовностью, например, вести подобную непринужденную беседу. Догматы не имели над ним ни малейшей власти. Но самым примечательным в его духовном облике было, на мой взгляд, сознание своего достоинства и независимости, которою он, думается мне, дорожил превыше всего на свете.

Читая книги Паустовского, где каждая страница проник-

нута любовью к человеку, тревогами о его будущем, страстными призывами в защиту природы и национальной культуры, я, быть может полагаясь скорее на интуицию, задумывался: не основывается ли его гуманизм на философии всепрощения, философии, выраженной в кратком французском афоризме: «Все понять — все простить»? Теперь, когда писатель оказался в своих суждениях, к моей радости, реалистичнее, суровее, чем можно было ожидать, я понял, что это изречение он, вероятно, мог бы принять с существенной поправкой: «Все понять, но не все простить».

Не случайно в его книгах сокрыта колоссальная нравственная сила.

...Наша беседа длилась уже три часа. Я снова поднялся, чтобы наконец-то распрощаться. В светлой санаторной палате, в окружении врачующей природы, в преддверии весны мне поверилось, что Константин Георгиевич избудет свой недуг и наша встреча не окажется последней.

— Мне хотелось бы подарить вам что-либо, — озабоченно сказал Паустовский, — да жалко, нет ничего под руками.

Он попросил у Татьяны Алексеевны, как он выразился, «книжку писателей», нашел в ней мой адрес, прочел его вслух, спросил, все ли в нем правильно, и обвел его тоненькой чернильной рамочкой.

— Пришлю вам свою книжку.

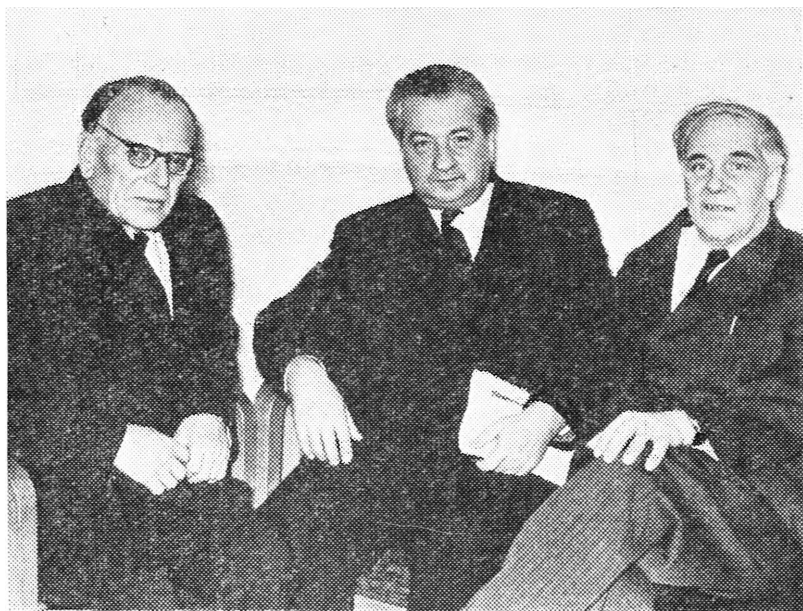
День меркнул. Порошил мелкий снежок.

В шумной подмосковной электричке я вынул из кармана записную книжку и, привалясь плечом к стенке вагона, торопился набросать впечатления уходящего дня, сохранить живую душу рассказанного Паустовским. Мне и тут все еще слышался тихий, проникновенный голос художника, очарованного Россией.

* * *

Свое обещание он исполнил в горестную для него пору. Два года спустя недуг привел его в больницу в Кунцево. В это время вышло в свет двухтомное издание «Повести о жизни». Его-то он мне и подарил. Трогательная надпись на титульной странице первого тома, под его портретом, далась ему, по-видимому, нелегко. Почерк его был малоразборчив, неузнаваем. Но, расписавшись и поставив дату, он добавил тем же шатким почерком: «Писать мне трудно».

Милый, милый человек! Он и в пору тяжелых испытаний оставался самым собою — деликатнейшим и непреклонным.



*К. Г. Паустовский (слева), И. Л. Андроников и академик П. А. Капица.
Конец пятидесятих годов (фото Ал. Лесса).*

АЛ. ЛЕСС

ВСЕГДА ЖИВОЙ

Константина Георгиевича Паустовского любили все: и те, кому посчастливилось с ним встречаться и дружить, и те, кто никогда не видел писателя и только читал его книги. Причина всеобщей любви к Паустовскому заключалась, на мой взгляд, в том, что он принадлежал к тем немногим писателям, которые являют собою Личность. Сам факт физического существования таких литераторов делает нашу повседневную жизнь богаче, содержательнее. В Паустовском воплотились лучшие черты русского писателя — принципиальность и честность, любовь к людям и преданность родной литературе.

На протяжении многих лет время от времени мне выпадала завидная возможность видаться с Паустовским, говорить с ним. Бывал я у него и дома, и на даче в Тарусе, иногда встре-

чал его в издательствах или в Доме литераторов на различных заседаниях и торжественных вечерах.

Приезжал я к нему, как правило, с «профессиональной» целью: попросить для газеты рассказ или отрывок из книги, получить ответ на анкету или новогоднее интервью, а заодно сделать новый фотографический портрет.

И если Константин Георгиевич чувствовал себя хорошо, я никогда не получал отказа: он охотно откликнулся на просьбу редакции и выполнял «заказ» точно, в назначенное время, — сказывалась культура труда старого газетчика, вошедшее в плоть и кровь правило не подводить редакцию. И мне приятно, что таким путем я смог познакомить читателей «Вечерней Москвы», «Московской правды», журналов «Москва» и «Советское фото» с некоторыми произведениями Константина Георгиевича.

Конечно, появление в редакции рукописи Паустовского производило на редакционную братию сильнейшее впечатление: страницы переходили из рук в руки, и однажды, прочтя привезенный мною из Тарусы очерк Паустовского «Две встречи» (из «Мимолетного Парижа»), ответственный секретарь «Московской правды» Виталий Мальков со слезами на глазах сказал мне:

— Удивительный писатель!.. Прочтешь любую его вещь — и кажется, что прикоснулся к чему-то очень чистому, хорошему, светлому...

Постепенно у меня образовалось большое собрание фотографий Паустовского, его записок и писем, оригиналов его произведений, книг и снимков с дарственными надписями. Я просматриваю сейчас то, к чему прикасались руки Паустовского, что было создано его талантом и мыслью, и передо мной как живой встает образ замечательного писателя и человека.

Вот несколько эпизодов, о которых я хочу рассказать читателям. Эти эпизоды кажутся мне интересными, ибо показывают разные стороны жизни и деятельности Паустовского.

Поездка с Микулиным в Тарусу

Константин Георгиевич страдал бронхиальной астмой. Однажды он писал мне из Тарусы: «Дышу точно сквозь игольное ушко». Приступы этой изнурительной болезни бывали у Паустовского довольно часто, и лето 1958 года он почти безвыездно провел в Тарусе.

Узнав, что всемирно известный конструктор авиационных моторов академик Александр Александрович Микулин изо-

брел ионизатор, с помощью которого будто бы излечивается астма, я тотчас же отправился к нему и спросил, в состоянии ли он чем-нибудь помочь Паустовскому.

— С удовольствием! — ответил Микулин не задумываясь. — Я люблю его книги и сделаю для него ионизатор специально...

О разговоре с Микулиным я написал Константину Георгиевичу, он заинтересовался моим предложением и обратился с письмом к академику.

Неделю спустя мне позвонил Александр Александрович.

— Ионизатор готов, — сказал он. — В ближайшее воскресенье мы можем поехать к Паустовскому...

Микулин, которого я давно и хорошо знал, не был знаком с Паустовским. Но по дороге в Тарусу, сидя за рулем, он то и дело вспоминал отрывки из романов его и повестей.

В полдень мы подъехали к даче Паустовского, перестроенной из простого деревенского дома и расположенной почти на самом берегу реки Таруски при впадении ее в Оку.

В то время Константин Георгиевич писал четвертую книгу своей автобиографической повести. Работал он обычно в крохотном домике-беседке в укромном уголке сада. Здесь было прохладно и тихо. Большие открытые окна с легкими занавесками, скромная обстановка — диван, письменный стол, на нем пишущая машинка, рукописи, письма — все это сразу настраивало на рабочий лад.

Когда Паустовский узнал о нашем приезде, он поспешил навстречу. Загорелый, в белой рубашке с короткими рукавами и в серо-зеленых хлопчатобумажных брюках, Константин Георгиевич быстро сумел создать атмосферу радушия, простоты, гостеприимства.

Микулин подарил Паустовскому ионизатор, подробно объяснил, как им пользоваться, и продемонстрировал приемы дыхания с его помощью. Импровизированная лекция Микулина заинтересовала Константина Георгиевича, и он слушал ее, как мне показалось, с большим вниманием.

За обедом Паустовский и Микулин много говорили, шутили, смеялись. Оказалось, что они учились в одной гимназии в Киеве и теперь с удовольствием вспоминали своих преподавателей и далекие гимназические годы. В тот день Константин Георгиевич чувствовал себя, очевидно, хорошо и был оживлен, весел, остроумен. Он с увлечением говорил о Бабеле, о недавнем путешествии на теплоходе «Победа» вокруг Европы, — не многие знают, что Паустовский был изумительным рассказчиком, и, слушая его истории о старой Одессе и

одесситах с их неповторимыми выражениями и специфическими интонациями, мы смеялись до слез.

Через два месяца, 21 августа 1958 года, я получил письмо от Паустовского.

Он писал:

«Не знаете ли Вы, где сейчас Микулин? Я хочу ему написать. Боюсь пока окончательно утверждать, но после ионизатора мне стало настолько легче, что я уже хожу, гребу на Оке и даже ловлю рыбу. Приступы стали реже и слабее. В общем, я постепенно оживаю....»

Интервью о творчестве

Через год я снова приехал в Тарусу. На этот раз — по заданию редакции журнала «Что читать». Помнится, мы долго сидели в беседке, и Константин Георгиевич рассказывал о том, что пишет, о литературных планах, замыслах. Передаю эту беседу так, как я записал ее тогда, в июльский день 1959 года.

— Последние годы,— говорил Паустовский,— я работал над автобиографической повестью. Вы, может быть, читали три первые книги этой повести — «Далекie годы», «Беспокойная юность» и «Начало неведомого века». Они вошли в собрание сочинений, недавно выпущенное Гослитиздатом. В конце прошлого года я закончил четвертую книгу повести — «Время больших ожиданий», опубликованную в мартовском, апрельском и майском номерах журнала «Октябрь» за этот год. Сейчас я пишу пятую книгу, действие которой разворачивается на Кавказе, в Армении и частично в Иране. Как и в предыдущих книгах, в ней будут фигурировать известные писатели, художники и другие интересные люди, с которыми я встречался и дружил.

По окончании пятой книги я намерен сделать небольшой перерыв. Его мне хочется использовать для работы над второй книгой «Золотой розы». Я чувствую внутреннюю потребность поделиться накопленным творческим опытом. Во второй книге «Золотой розы» я предполагаю затронуть вопросы сюжета, композиции, юмора и многообразного писательского мастерства. Ну вот, как будто и все...

И, помолчав, добавил:

— Вообще я не люблю, да и не умею рассказывать о том, что пишу...

Паустовский задумался и стал перебирать письма, которые лежали на столе.

— Знаете, что меня радует,— вдруг, оживившись, загово-

рил Константин Георгиевич.— Радует наш читатель!.. Я получаю ежедневно множество писем читателей. Радует их точный вкус, их ясный ум. Судьбы литературы волнуют их не меньше, чем нас, писателей. Вы ведь знаете, что действие четвертой книги моей автобиографической повести происходит в Одессе. Так вот, одесситы буквально засыпали меня письмами. Некоторые читатели подсказывают мне события, которые остались неотраженными в книге, другие называют интересных людей, которые не вошли в книгу. Словом, читатель хочет максимально полного и точного отражения жизни и событий. Читатель стал очень жадным до хороших вещей. Он не прощает писателю ни верхоглядства, ни неряшливости стиля. Я сказал Константину Георгиевичу, что мне хотелось бы узнать, как он работает.

— Я никогда не составляю точных планов своих вещей,— ответил Паустовский.— Если же и составляю какой-то общий план, вернее, схему, то она существует только до тех пор, пока герои вещи не становятся «живыми». Становясь «живыми», они, естественно, разрушают все планы и ведут себя в соответствии со своими взглядами и характерами.

В своей писательской работе я беру все из памяти и полагаюсь на нее. Боюсь, что с годами память мне изменит, но до сих пор — тыфу-тыфу! — она меня не подводила. И вот что интересно. Представьте себе, что я дохожу в своей книге до того места, которое помню очень смутно,— всего два-три небольших эпизода. Но когда я начинаю писать, происходит нечто удивительное: с предельной ясностью и точностью память восстанавливает время и «подает» мне, как писателю, такие детали, такие подробности, которые я считал начисто утраченными, забытыми.

Раньше я писал очень быстро. Достаточно сказать, что «Колхиду» я написал за месяц. Правда, это вовсе не значит, что любое другое свое произведение я мог бы написать за такой короткий срок. Сейчас пишу значительно медленнее. Очевидно, сил становится меньше. Гораздо больше времени у меня уходит на правку вещи, чем на ее написание. Правка — это великолепная и увлекательная работа, доставляющая огромное наслаждение.

Особое мнение

Константин Георгиевич пишет медленно, низко склонив голову над листом бумаги. Со стороны кажется, будто он что-то рассматривает в лупу.

— Разве вы пишете не на машинке? — поинтересовался я.

— Пишу только от руки, — ответил Паустовский. — Машинка — свидетель, а творчество писателя — абсолютно интимное дело. Оно требует полного одиночества. Перед тем, как сесть за работу, надо собрать все силы души, надо перестать стесняться самого себя.

О Чехове

За несколько месяцев до столетнего юбилея со дня рождения А. П. Чехова я обратился по поручению редакции к некоторым писателям с просьбой ответить на вопрос: «За что мы любим Чехова?»

Константин Георгиевич прислал такие строки:

«Самым чистым воплощением всех лучших качеств человека был для нас Чехов — человек и писатель. Он занимает огромное место в жизни каждого просвещенного человека. Без Чехова мы были бы во много раз беднее духом и сердцем.

К. Паустовский»

Из записной книжки

12 апреля 1961 года. Был у Казакевича. Чувствует себя плохо, лежит, временами читает, кое-что пишет.

— Вскоре мы с Константином Георгиевичем Паустовским уедем на месяц в Италию, — сказал он. — Будем вместе писать книгу «Русские в Италии». Поразительно интересная тема!..

25 марта 1963 года. В издательстве «Советский писатель» встретил Константина Георгиевича Паустовского. Он пришел получить какой-то гонорар. После недавно перенесенного инфаркта он, как ни странно, выглядел хорошо, был бодр, оживлен. Стоявшие в очереди у кассы расступились, предлагая Константину Георгиевичу подойти к окошечку вне очереди. Он решительно отказался и стал терпеливо ждать своей очереди. Разговорились. Константин Георгиевич сказал, улыбаясь: «На днях в Переделкине вас вспоминала добрым словом целая компания писателей, фамилии которых оканчиваются на «ий», — Чуковский, Поляновский, Паустовский».

2 июля 1963 года. Пришел к Паустовскому. В это время у него в гостях была приехавшая из Парижа писательница Наталья Кодрянская — автор книги об Алексее Ремизове. Пили чай, говорили о многом и разном.

— А знаете, Константин Георгиевич, — сказала Кодрянская, — учащиеся парижских школ, сдающие экзамены на ат-

тестат зрелости, берут для перевода некоторые ваши произведения...

— Что ж, мне это приятно,— ответил Паустовский, но тут же задумался и заговорил о Казакевиче, которого любил и с которым был связан долгой сердечной дружбой.

— Буквально за два дня до смерти Казакевича,— рассказывал Константин Георгиевич,— я приехал на Лаврушинский, чтобы проститься перед отъездом в Тарусу. Я взял его руку. Она была маленькой, худой и желтой. Моя же рука была коричневой от загара. Казакевич грустно улыбнулся и сказал: «Вот смотрите, Константин Георгиевич, трогательное соединение двух рас — желтой и коричневой, прямо как на плакатах...»

Паустовский умолк, потом продолжил прерванную мысль:

— Эммануил Генрихович написал к моему юбилею свое слово, но из-за болезни не смог приехать и прислал речь со своей машинисткой. Когда прочитали рукопись Казакевича, зал был потрясен — так блестяще он написал эти две или три странички...

И после короткой паузы:

— Какой это был талантливый писатель, какой великолепный человек!..



К. Г. Паустовский (справа) и Главный маршал бронетанковых войск П. Ротмистров на вечере, посвященном шестидесятилетию И. Эренбурга. Москва, 1956 г.

И. ЭРЕНБУРГ

Из выступления по радио 25 мая 1962 года

Людам, страдающим морской болезнью, советуют глядеть на берег. Меня не укачивает на море, но не раз меня укачивало на земле. Тогда я старался хотя бы издали взглянуть на Константина Георгиевича Паустовского.

Он поражал и поражает меня своей душевной стойкостью.

Никогда не изменял он ни народу, ни искусству, ни друзьям, ни себе.

Я благодарен ему за мастерство, за взыскательность, за вдохновенность, за редкостную чистоту.

Этот мягкий и нежный человек умеет быть удивительно строгим к себе, ограждать высокое звание писателя.

Он умеет, когда нужно, ответить «нет». Он связывает современную советскую литературу с нашими

великими предшественниками, с теми, кого называли «властителями дум», «учителями жизни», «спутниками сердца».

Вот почему так любят Паустовского молодые авторы, которые отнюдь не наивны и любовь которых заслужить не легко.

Паустовского любят за то, что он сохранил романтику, юношескую требовательность, свежесть раннего утра. Я ненавижу юбилейные приветствия, этот мед, отпускаемый по карточкам раз в десятилетие, патоку, разведенную канцелярскими чернилами.

Если я решаюсь сегодня обратиться к Паустовскому, то только потому, что для меня он не юбиляр, а моя постоянная любовь, наша любовь, наша общая гордость.

Мне хочется поблагодарить его за то, что он живет, мыслит, борется, страдает, за то, что мне выпало счастье жить с ним в одно время. За то, что не раз он помог мне сохранить вкус к искусству и к жизни.

Нужна чистота, без нее не обойдешься. И нам остается низко поклониться Константину Георгиевичу за все, что он сделал, за все, что он делает, писателю, человеку, гражданину.



По дороге на Ильинский омут.

Анатолий МЕДНИКОВ

УРОКИ МАСТЕРСТВА

1

Довоенный семинар

Сорокашестилетний и уже в предвоенные годы широко известный писатель Константин Георгиевич Паустовский оказался... не похожим на свои книги.

Я четко помню это свое удивление от того, что реальный облик писателя вовсе не вязался с тем, который складывался у меня от чтения книг Паустовского до нашей первой встречи.

Мне Паустовский почему-то представлялся высоким, худым, с прямыми, ниспадающими на лоб волосами, с легкой и стремительной походкой, с некоей романтической тоской и отстраненностью во взгляде.

Можно, конечно, юмористически отнестись к мысли о полном совпадении духа творчества с той «физической оболоч-

кой», в которой этот дух обитает. Но кто может оспорить это благородное прямотушние читателей и те невольные ассоциации, которые переносят наше воображение от книги к ее автору?

Повторяю, я был немного обескуражен тем, что Паустовский, осенью 1938 года впервые открывший дверь комнаты, где сидели его будущие ученики, был в действительности вовсе не высоким, а скорее даже небольшого роста, как говорят — приземистый, с широкими плечами, с коротко подстриженными волосами на крупной голове, которую уже тогда окаймлял на висках широкий седой ободок.

Он носил очки, которые снимал при чтении, оттого, что был близорук, и голос у него оказался не сильный и звучный, а негромкий и немного глуховатый, с той мягкостью, которую всегда окрашивала готовность улыбнуться, пошутить, присыпать солью легкой иронии пафос любого своего рассказа.

Прошло уже много лет, и я не помню, чему именно был посвящен первый семинар после знакомства с учениками. Помнится лишь, что Константин Георгиевич сразу же проявил живой интерес, так сказать, к долитературной, жизненной биографии каждого, кто решил посвятить себя литературе.

Не раз он говорил, что является противником ранней литературной профессионализации; возможно, он опирался на собственную судьбу, — сменив множество профессий и на много лет «уйдя в жизнь», он, таким образом, готовил себя к первым книгам.

Но особенно молодых, прямо с школьной скамьи, собственно, и не было в нашем семинаре. Каждый принес с собою уже какой-то багаж пережитого. Что же касается опыта литературного, печатных работ, то ими как раз, к моему удивлению, Константин Георгиевич интересовался меньше всего.

Может быть, просмотрев эти работы, он не увидел в них признаков настоящего мастерства и решил на них не опираться, ибо переучивать всегда труднее, чем учить. Не знаю. Но, во всяком случае, он с самого начала усадил всех студентов, и печатавшихся уже, и непечатавшихся, за... своего рода контрольные семинарские упражнения. Паустовский задавал нам уроки... на воображение.

Позже, в своей известной книге о писательском труде, в «Золотой розе», Константин Георгиевич уделил воображению целую главу — «Животворящее начало». Читая ее, я невольно вспомнил наши довоенные семинары. Уже тогда Константин Георгиевич формулировал те мысли, которые потом легли в

основу этой главы. Он часто повторял нам, что «человеческая мысль без воображения бесплодна, равно как и воображение бесплодно без действительности», что «без воображения нет подлинной прозы и нет поэзии».

И для того, чтобы внушить студентам трепетное уважение к этому дару природы, а заодно и проверить на этом художнические способности своих учеников, Паустовский начал с того, что попросил всех написать небольшой рассказ, сценку, просто эссе на какое-нибудь слово «с поэтическим излучением», как он любил говорить.

И он предложил нам слово — осень.

— Напишите рассказ, который можно было бы так озаглавить,— попросил он.— Пускай это слово привлечет любые ассоциации, это дело вашей фантазии.

Таково было первое мое домашнее задание на семинаре. И, признаться, вначале оно смутило и озадачило не только меня. Конечно, всем было известно знаменитое изречение Чехова, что он может написать рассказ о чем угодно, даже о чернильнице, но ведь то Чехов! И хотя каждый был согласен с тем, что надо нам учиться игре воображения и тренировать его упорно и постоянно, но все же это сознание вовсе не снимало чувства неуверенности в своих силах.

Должно быть понимая наше состояние, Константин Георгиевич решил подбодрить студентов рассказом о том, как сам он не раз с друзьями, писателями своего поколения, занимался и в шутку, и всерьез этими упражнениями на фантазию.

Сюжет, импровизационно выдуманный одним из друзей Паустовского и рассказанный Константином Георгиевичем на семинаре, мне запомнился. Слово для упражнения на фантазию тогда было такое — скелет.

— Итак,— начал рассказывать нам Константин Георгиевич,— некто решивший обворовать университет в воскресный день, когда там никого нет, обманув бдительность сторожей, проникает на биологический факультет. Вор за поживой начинает бродить по аудиториям. Но от комнаты к комнате настраение все более портится.

Это был, наверно, вор-меланхолик, без практической сметки, и среди воров встречаются малахольные,— говорил Паустовский,— иначе зачем бы он полез на биофак? Что там можно взять?

Мне казалось тогда, что этот малахольный вор-чудак чем-то нравился Паустовскому. Вор был смешон просто в силу самой придуманной ситуации, поведение его заинтересовало, а

пересказывая импровизацию своего друга, Константин Георгиевич невольно что-то добавлял и от себя — какие-то черточки, словечки, краски.

Естественно, что через столько прошедших лет я уже не помню всех художественных подробностей этого устного рассказа, а только лишь движение сюжета, которое заключалось в том, что вор ничего не может найти подходящего для себя в пустых аудиториях, среди строгих шкафов, столов, досок, среди стекла, металла и дерева различных приборов, и, уже отчаявшись в удаче, он вдруг набредает в одной из комнат на... скелет высокого человека.

И сначала вор с интересом разглядывает этот скелет с учебными наклейками названий на всех его костях и даже задумывается над тем, кому бы это мог принадлежать в былом прекрасный и мощный остов. Настроение вора становится совсем меланхоличным, он берет в руки холодный череп и думает о своей неминуемой смерти.

Но вот стучат каблук сторожа по коридору, вор хватается за скелет и, обернув его в какую-то тряпку, убегает с ним.

Далее в рассказе описывались муки вора, пытавшегося как-то отделаться от своей добычи. Однако он не находил покупателей. Пытался даже подарить скелет, но никто из приятелей не хочет украсить свою комнату этим зримым предвозвестником небытия, а в той маленькой комнате, где живет сам вор, громоздкий скелет все время мешает ему, то и дело вор толкает нечаянно ногу, руку, и кости с зловещим сухим стуком колотятся друг о друга.

Я уже и не помню всех смешных эпизодов, связанных с тем, что переживает вор, проклявший ту минуту, когда он утащил скелет, уже готовый вернуть пропажу на биофак. Но и это сделать нелегко. В конце концов неудачник просто выбрасывает скелет на свалку.

Проходит некоторое время. Наступает Первомайский праздник. По городу идут колонны демонстрантов, по шумным улицам слоняется и вор, и вдруг он с изумлением узнает знакомого скелет. Его несут во главе колонны на поднятых высоко палках. Скелет принаряжен: на черепе цилиндр, на ногах брюки, на грудной клетке плакат:

«Вот что мы сделаем с Чемберленом!»

Вор поражен! И вместе с тем испытывает даже чувство некоего удовлетворения: скелет, им украденный, как говорится, пошел в дело, правда, в руках уже других хозяев.

В общем действительно смешно, и видишь этого бедолагу

вора, а главное — в этом рассказе обозначились какие-то очень точные приметы того уже и в сороковые годы казавшегося далеким времени, когда на первомайские демонстрации выносили чучела и скелеты, обозначавшие Чемберлена, Черчилля, Керзона и других врагов молодой Советской республики.

Вот так примерно комментировал этот рассказ и Константин Георгиевич. Насколько мне помнится, он не назвал автора этой импровизации. А может быть, это был он сам? Во всяком случае, яркий пример подбодрил студентов, приступивших к испытаниям своей фантазии, связанной со словом «осень».

На следующем занятии, примерно недели через три, проверялось выполнение этого домашнего задания. Вещи были написаны коротенькие, авторы сами зачитывали эти новеллы, а по большей части просто этюды, зарисовки, не более. Однако ж Константин Георгиевич был прав в том, что как ни мал этот литературный плацдарм для вымысла, но и на трех страничках отпечатывались изобразительная манера, общая и языковая культура того или иного автора. А последняя была особенно важна для Паустовского. Возможно, именно для того, чтобы оценить стиль, манеру письма, интонационное своеобразие, Константин Георгиевич и затеял тогда, в начале наших занятий, эти домашние уроки.

Конечно, лучше всего я помню свою зарисовку. И вспоминаю о ней сейчас не только потому, что она моя и что на нее обратил тогда внимание Паустовский, а оттого, что по поводу тех или иных наших слабых семинарских опусов Константин Георгиевич высказывал поучительные и нестареющие истины, относящиеся к профессиональному мастерству, и мысли, вытекающие из своеобразия и богатства его писательского опыта.

Я прочел свою зарисовку «Осень». Это было описание предвечернего часа в наших московских Сокольниках с деревьями, уже тронутыми багрянцем осени, дорожками, усыпанными пожухлыми листьями. На одной из скамеек сидели двое, не то супруги, не то влюбленные, — молодая женщина с нервным, печальным лицом и толстый мужчина с багровой шеей и ефрейторскими складками на коже.

Эти двое ссорились, мирились, снова ссорились, какие-то фразы из их взволнованного спора долетали до сидевшего неподалеку молодого человека, которому нравилась печальная женщина и не нравился мужчина с толстыми, как сосиски, пальцами. Молодой человек был погружен в свои думы, и этот странный разговор соседей, и сам парк с его чистыми, яркими красками навевали на него ту сладкую, сосущую сердце

грусть, которая иным молодым людям кажется сродни философскому осмыслению жизни.

Зарисовка не имела четкого сюжета, ее основой было настроение, поэзия осени, желто-багряного парка, раздумий о жизни, вот это настроение и запомнилось мне, и еще кое-какие живописные детали, о которых и говорил Константин Георгиевич.

— У вас там на дорожках листья хрустят под ногами, как сахар на паркете. Немного похоже, но ведь сравнение это, если говорить придирчиво, несет в себе отпечаток этакого городского, комнатного опыта. Потом у вас березы то «похожи на белые, туго обтянутые рейтузы гусар», то в другом месте, они «как огромные свечи, зажженные изнутри». А это уже изыск, метафорическая изощренность. А сравнения, если они и нужны, надо искать ближе к самой поэзии природы.

И Константин Георгиевич заговорил о языке, его богатстве и чистоте, о языке и природе.

Он делал это часто и всегда увлекательно. По сложной цепочке ассоциаций он вдруг уходил далеко от предмета наших обсуждений и говорил о писателях, которых ценил, вспоминал какие-то встречи, эпизоды, литературные события, все это имело иногда прямое, иногда косвенное отношение к теме обсуждения, но в общем-то все равно работало на эту тему.

В этом широком и свободном полете мыслей, в чередовании припомнившихся Константину Георгиевичу жизненных случаев, литературных примеров, шуток, анекдотов, в этой всегда яркой импровизации и состояло своеобразие манеры его как руководителя семинара. Логика его суждений часто опиралась и часто подкреплялась именно образной и внутренней связью припомнившихся ему рассказов, подслушанных диалогов, иногда ассоциаций, вызванных тем или иным словом. Так, собственно, и написана «Золотая роза». Так и задолго до ее написания проводил наши беседы-занятия Константин Георгиевич.

Чувство языка у Паустовского всегда было удивительно тонким, точным и вместе с тем объемным и глубоким, ибо он языковое богатство писателя всегда связывал с уровнем его общей культуры, его остроглазостью, а отсюда и с навыками художественного исследования жизни средствами слова.

Я, пожалуй, не встречал в жизни более решительного и яркого врага серости, литературных штампов, чем Паустовский. Не раз на семинарах он говорил о том, что не приемлет ту украшательскую словесную тину, в которой вязнет чита-

тель, что словесные орнаменты отжили свой век, что образ должен быть точным и конкретным, а для этого надо уметь видеть мир.

Собственно, искусству видеть мир он и учил нас на наших занятиях.

«...У нас немало книг, написанных как будто слепыми,— писал Паустовский в «Золотой розе».— Предназначены они для зрячих, и в этом и заключается вся нелепость появления таких книг».

На том семинаре, где студенты читали свои рассказы на слово «осень», Константин Георгиевич был особенно взыскателен именно к языковым погрешностям, строго оценивая художественные подробности в наших зарисовках.

«Без подробностей вещь не живет»,— любил повторять он. Но в то же время он отметал и ту многословную наблюдательность, которая часто утомляет читателя, из достоинства превращаясь в недостаток.

Кто-то из наших студентов тяготел к так называемым красивостям. То ли из-за отсутствия хорошего вкуса, то ли из желания как-то подстроиться под стиль Паустовского. Казалось бы, Паустовский-романтик будет хотя бы снисходительным к стремлению писать «красиво». Однако ж это было совсем не так.

Был у нас в семинаре молодой прозаик С.

Он писал приподнято, пафосно, с избытком метафор, иногда удачных, чаще неудачных, но всегда в общем-то претенциозных. Запомнилась излюбленная его концовка. Герой или героиня усаживались на ноздреватый камень и смотрели куда-то в небо, размышляя о красоте природы.

Этот «ноздреватый камень» С. переносил из рассказа в рассказ. Константин Георгиевич попенял ему за это, но мягко. Вообще к его спокойной и мягкой манере разговаривать со студентами вполне относится замечание, что иной человек говорит так душевно, что кажется — хвалит, а вслушаешься — обругал. Интонация иногда обманывала. Но дело-то было не в том, как, а что именно говорил Константин Георгиевич.

Паустовский был в равной степени нетерпим и к ложной романтике, и к тому унылому бытописательству, которое одно время до войны входило в моду. Константин Георгиевич, может быть и не совсем точно, именовал эту манеру письма натурализмом. Сам он был очень далек от такой литературы, и «ползучий натурализм», как он выражался иногда,— чем-то сродни ползучему лишайю,— даже в своих малейших призна-

ках вызывал у Паустовского чувство почти физического отталкивания.

Так, однажды на семинаре он неожиданно резко раскритиковал отрывок из романа о сибирских золотоискателях, который прочла на семинаре наша студентка, молодая писательница К.

«Тов. К.— человек безусловно способный,— писал затем в своей характеристике Константин Георгиевич,— но в ее творчестве еще много сырого, натуралистического, не подвергнутого строгому отбору. Есть опасность впасть в сугубый бытовизм, в идеализацию обыденщины. Но надеюсь, что этого не произойдет, так как тов. К. непрерывно работает над собой и над совершенствованием своих вещей».

Я помню этот семинар и расстроенное, красное от волнения лицо нашей студентки, явно не согласной с оценкой ее отрывка. Большинство студентов, как водится в таких случаях, поддержало руководителя. Но, правда, нашлись и такие, которые отмечали знание материала, правдивость различных наблюдений. Однако же общий тон суждений был критическим.

На этот раз добрые надежды Константина Георгиевича оправдались, в дальнейшем из студентки К. выросла писательница, автор многих романов. Дарование ее развивалось, конечно, в соответствии с тем художественным своеобразием, которое можно было заметить и в ее первой книге.

Вообще Константин Георгиевич никогда, как говорится, «не гнул под себя», не давил на студентов своим авторитетом и меньше всего хотел плодить в семинаре эпигонов, пишущих «под Паустовского». Наоборот, он часто повторял фразу применительно к Эрнесту Хемингуэю, ставшему как раз в предвоенные годы широко известным у нас в России.

— Лучший способ подражать Хемингуэю,— говорил Константин Георгиевич,— это быть таким же оригинальным, как и он.

2

Призвание

Мне кажется, что о призвании писателя Паустовский думал всю жизнь. Эта тема занимала его и в ту пору, когда он руководил нашим семинаром, и намного раньше, и значительно позже, и даже после того, как в 1955 году он впервые опубликовал главы из «Золотой розы» в журнале «Октябрь».

Как-то, разбирая довоенные архивы Литературного инсти-

тута, я натолкнулся на рукопись Паустовского, краткую запись его мыслей и писательских судьбах.

Писателем человек обычно делается раньше того времени, когда начинает исписывать листы бумаги. Человек рождается писателем одновременно с чувством необычайности и своеобразие жизни. Когда такое чувство овладевает вами и когда вы с полной ясностью видите во всем окружающем его сущность и своеобразие, то это первый толчок для того, чтобы быть писателем, и первый источник писательской работы.

Есть люди, которые любят дарить. Писатель — это человек, который любит дарить. Легко подарить часы, но трудно подарить свои сокровенные мысли, выношенные годами, свое ощущение окружающего, свое видение мира!

Эту мысль о том, что писательство тождественно дару сердца, что оно немыслимо без внутренней потребности поделиться чем-то заветным и важным, что это не ремесло и не занятие, а призвание, Паустовский высказывал много раз на нашем семинаре.

«Что же понуждает писателя к его подчас мучительному, но прекрасному труду? — спрашивал он потом в «Золотой розе». — Прежде всего зов собственного сердца. Голос совести и вера в будущее не позволяют подлинному писателю прожить на земле как пустоцвет и не передать людям с полной щедростью всего огромного разнообразия мыслей и чувств, наполняющих его самого.

Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости...»

Я перечитываю эти строки, и мне вновь и вновь слышится глуховатый и всегда удивительно искренний голос Константина Георгиевича, и я как бы вновь слышу эти слова, наполненные пафосом, но вместе с тем очень верно определяющие всю высоту взглядов Паустовского на задачи литературы, всю степень его художественной взыскательности, которая проявлялась во всем, и даже в оценке наших робких семинарских сочинений.

Наверно, пришло время рассказать немного и об участниках семинара тех предвоенных лет. Состав семинара менялся. По-разному сложились и пути моих тогдашних однокашников. И дело сейчас, должно быть, не в том, кто стал известным писателем, кто менее известным, кто редактором, кто работником издательства, кто вовсе оставил литературную стезю. Мне же хочется рассказать о той ценной нравственной, гражданственно-психологической атмосфере, которая царила в на-

шем семинаре и во многом сформировала наши души, юношей сороковых годов, в самый канун нагрянувших испытаний Отечественной войны.

«Прежде чем давать характеристики отдельным студентам, занимающимся на моем семинаре прозы в Литературном институте,— писал Константин Георгиевич весной 1940 года,— необходимо сказать, что культурный уровень студентов за последние два года повысился. Исчезло существовавшее раньше у некоторых студентов представление о литературном труде как о «легком жизненном пути», повысились требования к себе. Писательство становится для большинства студентов их подлинным призванием, они не представляют себе дальнейшего своего существования вне литературы, и это обстоятельство должно быть и безусловно будет очень сильным стимулом для самоусовершенствования. Найден правильный «путь в литературу», но впереди еще очень много работы над языком, над обогащением своего жизненного опыта, над созданием самого себя».

С удовольствием я перечитываю сейчас эти строчки, написанные ровным, крупным почерком на слегка пожелтевшей от времени бумаге. Потому, что уж больно они «характерно паустовские», не только по знакомому начертанию букв, а по характеру мыслей, по тому запасу благожелательности и оптимизма, которые мне слышатся и сейчас, через много лет, в надежде Константина Георгиевича на то, что для всех «найден правильный путь в литературу», и на то, что писательство стало для большинства «подлинным призванием».

В общем-то, с некоторыми поправками, это и верно. Исключения не в счет, хотя кое-кто, получив литературное образование, становились педагогами, экономистами, возвращались к своей старой профессии бухгалтера или заведующего столовой. Что ж делать, если литературная судьба не получилась!

Но большинству действительно еще предстояло, как писал Паустовский, поработать «над созданием самого себя».

— Писатель должен родиться дважды,— любил говорить Паустовский,— сначала как человек, потом как гражданин и художник.

Я вспоминаю своих тогдашних товарищей, и первым Николая Заворотнова, о котором Константин Георгиевич написал в своей характеристике: «талантлив, своеобразен, но пишет очень мало — по той же причине, что и тов. Медников».

Я снимал себе угол и добывал средства дополнительно к

небольшой стипендии, работая то как грузчик на Казанском вокзале, то изредка печатаясь как рецензент в существовавшем до войны библиографическом двухнедельнике «Литературное обозрение».

Николай Заворотнов написал всего лишь несколько примечательных рассказов и, уйдя на фронт, вскоре погиб. Александр Кременской, оставивший научную работу ради литературы, служил в военной газете, воевали Николай Старжинский, Георгий Серебряков и другие наши товарищи.

Литературные уроки Паустовского, пронизанные огромной любовью писателя к родине, народу, к русской литературе, стали частью нашего сознания, наших сердец и воинского мужества.

В 1938 году, когда я впервые познакомился с Константином Георгиевичем, он опубликовал свою «Северную повесть». Иногда на семинарах он читал нам маленькие отрывки из этой повести или же в своих рассуждениях невольно возвращался мыслями к этой работе, вспоминал отдельные варианты, позже не вошедшие в текст.

Я помню, что критика в те годы холодно встала «Северную повесть». На семинарах Константин Георгиевич никогда не жаловался на рецензии и статьи, и не то чтобы он их не замечал, но внешне производил впечатление человека, притерпевшегося к попыткам критики исправить его как писателя-романтика.

Паустовского часто критиковали за то, чего у него нет, и, главным образом, за отсутствие реалистического правдоподобия фактов и ситуаций. А Паустовский шел своей дорогой, не желая походить ни на один из предлагаемых ему литературных образцов. Надо помнить, что в конце тридцатых годов признание таланта Паустовского было еще не таким всеобщим и бесспорным, как в последнее двадцатилетие его жизни.

— Надо искать в произведении прежде всего то, что в нем есть, а не то, чего нет,— часто говорил Константин Георгиевич.

Я не могу сказать, что Паустовский проверял на своих студентах, как на читательской аудитории, все те новые произведения, которые в то время выходили из-под его пера. Но, естественно, говорил о них, а мы с удовольствием читали и повесть «Мещорская сторона», появившуюся в тридцать девятом году, и за год до этого повесть «Орест Кипренский», и биографический очерк «Тарас Шевченко», смотрели в тридцать восьмом его пьесу «Созвездие Гончих псов», в сороковом пье-

су «Простые сердца», в сорок первом — «Сцены из жизни Лермонтова». И, конечно, появившиеся в те годы рассказы.

И, может быть, оттого, что Константин Георгиевич в те годы писал книги о судьбах великих художников слова и кисти, он в беседах со студентами часто возвращался к своим излюбленным мыслям о своеобразии писательского призвания и труда.

— Хорошо бы каждому писателю иметь еще одну профессию,— как-то сказал он.— Например, как Чехов, которому врачебная практика дала превосходное знание людей. А то только лишь кабинетная работа развивает близорукость.

Сам Паустовский переменял множество профессий и не только не был «кабинетным писателем», но, кажется, не очень-то любил писать дома, ему хорошо работалось и в Мещорском крае, и в маленьком городке Ливны, в Красноводске и Петрозаводске, в Ялте и в каюте парохода, плывшего зимой из Батуми в Одессу, где писатель, по собственному признанию, однажды «работал с легким сердцем, сосредоточенно и неторопливо».

Константин Георгиевич внушал нам необходимость самого разностороннего изучения жизни для каждой книги. Он как-то сказал:

— Надо быть максимально щедрым, когда пишешь книгу. Выложить все. И не пугайтесь такого ощущения, что как будто бы вы отдали книге все свои запасы, что теперь истощены и уже никакой иной книги не напишете. Пройдет некоторое время, и вновь постепенно появится желание работать, накопится новый материал.

Он недоверчиво относился к сбору материала для книги путем наблюдения со стороны или опроса тех или иных участников событий. Конечно, иногда приходится поступать и так, но это не лучший способ. В главе «Зарубки на сердце» в своей «Золотой розе» Паустовский позже напишет:

«Жизненный материал — все то, что Достоевский называл «подробностями текущей жизни», — не изучают. Просто писатели живут, если можно так выразиться, внутри этого материала — живут, страдают, думают, радуются, участвуют в больших и малых событиях, и каждый день жизни оставляет, конечно, в их памяти и сердце свои заметы и свои зарубки».

Конечно, всем нам, тогдашним студентам, не хватало еще жизненного материала. Но ездить куда-либо за ним нам не пришлось. Началась война, когда мы были на третьем курсе института. Многие сразу же ушли добровольцами в истреби-

тельный батальон, в действующую армию. Уехал на фронт и сам Константин Георгиевич.

Так что теперь мы волей-неволей стали жить «внутри нового материала жизни», внутри самой войны, а она уже действительно каждый день, да и каждый час делала каждому из нас памятные зарубки на сердце.

3

Зимой сорок четвертого

Я лежал в госпитале в Москве, в Марьиной роще — собственно, в одном из классов средней школы, переоборудованной под госпиталь, залечивал свою простреленную под городом Рославлем снайперской немецкой пулей руку. Еще на фронте я искал в газетах рассказы Паустовского. На передовой я, сержант полковой разведки, на чтение литературных журналов не имел бы времени, если бы даже они и попадались в мои руки. Но журналы к нам в разведку не поступали. Зато я их увидел в госпитале.

И вот по газетной хронике я узнал, что в июле сорок третьего на экраны вышел фильм «Лермонтов» по сценарию Паустовского, в конце декабря того же года в постановке А. Таирова состоялась премьера пьесы Константина Георгиевича в Камерном театре. Пьеса называлась «Пока не остановится сердце». Уже в госпитальной палате, куда заходили к нам книгоноши — работницы, учительницы, студентки московских вузов — с набором книг, которые можно было взять для чтения или даже заказать через этих книгонош какую-либо новинку, я получил выпущенную Военмориздатом в 1943 году небольшую книжку рассказов Паустовского «Ленинградская ночь».

И всякий раз только одно имя Паустовского на обложке книги, на газетной полосе возвращало меня к воспоминаниям довоенной поры. Сам Константин Георгиевич как-то написал, что «люди любят вспоминать, очевидно, потому, что на расстоянии яснее становится содержание прожитых лет».

Для солдата в госпитальной палате воспоминания о довоенной жизни приобретают особую силу и остроту. Мне очень хотелось увидеть Константина Георгиевича еще и потому, что с его добрыми напутствиями я связывал и свои надежды на будущее, на литературную работу, которая уже проглянулась мне в «окошке из шестимесячного отпуска» по временной инвалидности, которая потом оказалась не такой уж времен-

ной. Одним словом, в начале сорок четвертого года я получил «комиссовку» на шесть месяцев, решил за это время закончить Литературный институт и был уверен, что так или иначе, а скоро встречу Константина Георгиевича.

Я вышел из госпиталя с рукой, хотя и освобожденной от гипса, но еще висящей на повязке через плечо. Газеты в январе сорок четвертого сообщали о пуске новых линий метро. Это само по себе казалось удивительным. И хотя в толчее метро могли задеть мою больную руку, мне очень захотелось увидеть Москву подземную,— наземную, хоть и малую ее часть, я наблюдал из окна моей госпитальной палаты.

С волнением открыл я впервые дверь института. Внешне Дом Герцена тоже почти не изменился. Но все здесь стало как-то тише, в аудиториях малолюднее. Большинства студентов я уже не знал, это были новички, заменившие тех, кто еще воевал на фронтах. Одни — сами бывшие фронтовики, после ранений вернувшиеся доучиваться, другие — «белобилетчики» по разным недугам и много девушек.

Другим оказался и состав руководителей семинаров. Да и он был текучим, писатели то появлялись в Москве, а следовательно, и в институте, то «убывали» согласно командировочным предписаниям в действующую армию.

Я помню, что творческие семинары в начале сорок четвертого года вели К. А. Федин, Л. М. Леонов, И. Л. Сельвинский, П. Г. Антокольский и другие писатели. Но Паустовский в эти месяцы в институте не работал.

Я встретился с ним вскоре, вначале передав через кого-то один из своих военных рассказов, а потом получив приглашение домой, на квартиру, в Лаврушинский переулок.

Это было в конце января. Стоял мороз, и я помню, что в большом кабинете, где вдоль стен стояли книжные шкафы, было весьма прохладно. Константин Георгиевич встретил меня в коридоре, потом уселся в свое кресло у письменного стола, заваленного книгами и рукописями,— должно быть, не только своими. На Константине Георгиевиче поверх теплого костюма был надет еще и меховой жилет, который на фронте выдавали офицерам.

Разговаривая со мной, он изредка растирал мерзнувшие длинные пальцы больших красивых рук. Говорили мы об институте, которому как раз в январе исполнилось десять лет жизни, о студентах, которые были еще на фронтах, естественно, о самой войне и военной литературе тех лет.

Я заговорил о Варюше, героине рассказа «Ленинградская

ночь», юной ленинградке, которая в блокаду показала, какое у нее «маленькое мужественное сердце», вспомнил о тех девушках и женщинах, санинструкторах, разведчицах, сестрах, врачах, которых мне довелось видеть в своем полку.

— Сейчас много рассуждают о том, что война дала писателю, хотя скорее надо бы смотреть на то, что писатели делали и делают для победы, и не только в эти годы, а и в довоенные, когда литература формировала в душе народа все те качества, которые помогали нам выстоять и принесут победу. А победа уже близка, — сказал Константин Георгиевич.

Он выключил электрический рефлектор, горевший около письменного стола, погасил папиросу, потому что закашлялся — сильно, надрывно: астма, которая в послевоенные годы так мучила его, должно быть, начиналась уже тогда.

Я смотрел на рукописи, лежащие на столе, и подумал о том, что Константин Георгиевич много работает и в этой холодной, показавшейся мне даже мрачноватой квартире. А бытующее выражение «ни дня без строчки» стало давно укоренившимся правилом для Паустовского.

— Не знаю, как кому, а мне сейчас пишется трудно. Хотя вообще-то, если уж пишется слишком легко, если материал не оказывает сопротивления, это должно настораживать писателя.

Он спросил меня, как мне живется, хочется ли писать.

Жил я тогда так: учился в институте и одновременно работал ночным редактором в редакции «Последних известий» Радиокomiteта, дежурил через ночь, но все же пытался писать небольшие рассказы о войне.

— Пишите обязательно, — сказал Константин Георгиевич, — и именно рассказы, в них легче отточить мастерство. И пишите о том, что пережили сами, о чем хочется написать раньше всего. И ничего не надо выдумывать. Да, наверно, вам теперь и не хочется выдумывать.

Я кивнул, соглашаясь.

— Война дело жестокое, но не надо воспевать ожесточившиеся характеры. Все-таки писать надо о добром, о хорошем, благородном и красивом в человеческой душе, — сказал Константин Георгиевич подчеркнуто серьезно, как о чем-то очень важном для себя. — И показывать, как добро в человеке, даже на войне, накапливается постепенно, так же постепенно, как и сама литература оказывает влияние на формирование в нас коренных представлений о добре и зле, о цели жизни, о любви к родине.

Я понимал, что Константин Георгиевич говорил тогда и о своей работе, о том, как ему хочется писать о войне. Он отстаивал права романтики в литературе тех суровых лет.

— Романтика не исключает ненависти к врагам, этой святой для нас ненависти к фашизму.

И, подумав, добавил:

— Я много раз наблюдал и сам, как бывает страшен гнев доброго человека!

Константин Георгиевич пообещал порекомендовать куда-нибудь в журнал мои рассказы. Я знал многих молодых литераторов, которые приходили в редакцию с рекомендательными письмами от Паустовского. Он любил это делать.

Мне самому до войны Константин Георгиевич как-то написал рекомендацию в институте для установления повышенной стипендии, которые тогда существовали. Однако вышло так, что он просит установить мне пенсию! Я и сам заметил опisku, когда уже сдавал бумагу директору.

Мы вспомнили об этом и посмеялись. Но Константин Георгиевич как-то грустно посмотрел на мою раненую руку. Пенсия ко мне действительно пришла, и неожиданно скоро, только уже как инвалиду войны.

Я покинул тогда квартиру в Лаврушинском переулке с тем чувством душевной окрыленности, которое всегда возникало у меня от общения с Константином Георгиевичем. Талант доброжелательности был частью его писательского видения мира, его искусства.

* * *

Через некоторое время, в первой декаде февраля сорок четвертого года, в Москве состоялся девятый пленум Правления Союза писателей СССР. Впервые за время войны съехались в старинный особняк на улице Воровского писатели почти всех национальностей страны. Это был большой и представительный форум литературы сражающегося народа.

«Правда» приветствовала пленум напоминанием о том, что «быть может, никогда раньше не было так нужно народу слово писателя, как теперь, в обстановке тягчайшей войны, невиданных героических усилий советского народа».

Я попал в зал заседаний, совершенно неожиданно для себя, получив пригласительный гостевой билет в институте. Сейчас этот зал с небольшой сценой и красного цвета трибуной не существует. Он располагался в левом крыле здания

Союза писателей и уже после войны был переоборудован под небольшие комнаты отдела кадров и бухгалтерии.

Но в феврале сорок четвертого из окон этого помещения была видна улица Герцена со следами осколков на облупившейся штукатурке некоторых зданий, а по другую сторону, из коридора, примыкавшего к залу, открывался овальный двор с серым памятником в центре, называвшимся «Мысль». Он изображал угрюмого, лобастого человека, устремившего свой взор куда-то вдаль. А около него, хотя уже давно в Москве не ожидалось бомбежки, но все же на всякий случай торчала в сугробе бочка с песком и лежали лом и лопаты.

Я помню доклад Николая Семеновича Тихонова.

«...Мы не хотим забывать ни претерпленных нами бедствий, — говорил он, — ни дней жестоких сражений. Мы не хотим рядить наших воинов, наших офицеров в пышные одежды сказочных удалцов или ограничиваться батальными описаниями. Правда о войне — это рассказ, который должен потрясти душу и сердце, раскрыть все моральное богатство, всю глубину могущественного духа советского человека...»

Очень хорошие слова, ничуть не потерявшие своего значения и в наши дни.

Я слышал еще и выступление Ольги Берггольц, взволнованно, страстно говорившей о блокаде Ленинграда, о мужестве его защитников; в одной части своей речи она коснулась и той самой маленькой книжечки Паустовского, которую я прочел в госпитале.

Она покритиковала рассказ «Ленинградская ночь», в журнальном варианте он назывался «Ленинградская симфония». За неточности деталей. Ворона не могла вырвать у девочки кусок хлеба, потому что тогда в Ленинграде не было ни одной птицы. Матросы не могли отдать девочке банку лососины, консервов у них не могло быть. Архитектор не мог поднять к себе на этаж обломки чугунных решеток, вряд ли у него хватило бы силы самому подняться на пятый этаж.

«На самом деле все было страшнее», — сказала Ольга Берггольц.

Да, конечно! И страшнее, и ужаснее, чем это могут представить себе люди, сами не пережившие ужасов блокады. И все же, слушая Ольгу Берггольц, я подумал, что она подходит к романтическому, светлому, жизнеутверждающему рассказу Паустовского о благородстве человеческих сердец со слишком жестокими и сухими мерками.

И не в том дело, могла летать или нет хотя бы одна-един-

ственная ворона в тогдашнем Ленинграде, могла оказаться или нет банка лососины у матросов, мог или не мог ленинградский архитектор притащить домой кусок чугунной решетки? Все равно волнует в этом рассказе правда душевного подвига, та правда и достоверность романтического произведения, которая имеет в искусстве свои законы и особенности.

В те дни ни в зале заседаний пленума, ни в коридорах я не встречал Константина Георгиевича. Может быть, он болел. Или же, будучи военным корреспондентом, как раз в эти дни, получив задание, уехал на Южный фронт...

* * *

Прошло много лет... В Центральном Доме литераторов отмечалось семидесятилетие Константина Георгиевича Паустовского. Работая тогда в объединении прозы, я имел непосредственное отношение к организации этого вечера, держал в своих руках огромное количество поздравительных писем, телеграмм, адресов, в том числе и от прозаиков Москвы, где были и такие точные и особенно дорогие для меня лично строчки:

«Паустовский-писатель и Паустовский-человек неразделимы. Вы добры и щедры как писатель. Вы добры и щедры как человек высоких гражданственных принципов и как воспитатель целой плеяды молодых писателей, которым Вы помогли войти в литературу и занять в ней достойное место.

Вашим замечательным книгам, Константин Георгиевич, суждена долгая и счастливая жизнь...»

Сам Константин Георгиевич не смог приехать на этот вечер по состоянию здоровья. Но речи выступавших записывались на магнитофонную ленту, с тем чтобы больной писатель мог их потом прослушать дома.

Однажды сам Константин Георгиевич написал:

«...Мне хочется хотя бы маленькой, но светлой памяти о себе. Такой же слабой, как мимолетная улыбка».

О любимом писателе говорили с трибуны друзья, ученики, поэты читали свои стихи, актеры — рассказы Паустовского, говорили студенты Литературного института, читатели.

Мне запомнилось, как выступал на сцене в честь юбиляра артист Иван Семенович Козловский, вышедший к микрофону с группой мальчиков — маленьким хором, который аккомпанировал его пению. Ребята в черных костюмах и пионерских галстуках, смущенные и взволнованные, стояли перед затих-

шим зрительным залом. Козловский перед тем, как начать петь, показав на маленьких исполнителей, сказал:

— Спасибо этим ребятам. Когда-нибудь они напишут мемуары о том, что присутствовали на таком замечательном вечере.

Никогда я не видел нашего клубного зрительного зала таким переполненным. Люди заняли весь балкон, стояли в проходах между рядами кресел от фойе до самой сцены, стояли почти три часа в накопившейся духоте, усиливаемой еще и жаром от ярко светящихся киноюпитеров. Но я не заметил никого, кто бы покинул зал. Редко когда-либо потом я встречался с таким непосредственным и сильным выражением читательской признательности тому, кого в этот памятный вечер единодушно называли лучшим среди писателей советской романтической школы.



*К. Г. Паустовский после рыбной ловли.
Конец сороковых годов.*

Ю. ГОНЧАРОВ

СЕРДЦЕ, ПОЛНОЕ СВЕТА

Теперь в этих местах поселилась обыкновенность. Теперь они людны, маленькие тихие деревеньки раздвинулись, иные так сомкнулись в одно бесконечно длинное село, телевизионные антенны торчат на крышах, транзисторы, силясь друг друга перекричать, орут вечерами на улицах, в кучках парней и девушек. Асфальтовые шоссе пролегли через поля, машины гудят даже ночью. До Малой Приваловки, до Никольского теперь можно домчаться из Воронежа за сорок минут...

А тогда, сразу же после войны, это была дальняя сторона. Оттого, что мужские крестьянские руки четыре года были заняты совсем другим делом, здесь так задичали луга, так разрослись камыши и кустарник, так загустел заповедный лес вдоль Усманки, такая вязкая устоялась здесь тишина, что край этот стал совсем глухим, погрузился как бы в дремоту,

вернулся куда-то далеко назад, к временам почти что первобытно-древним.

Тогда между Малой Приваловкой и Никольским, возле деревушки Лаптевки, в бывшую усадьбу писателя Александра Ивановича Эртеля, современника Чехова, приезжали литераторы из Москвы, Ленинграда и других городов, чтобы пожить в тишине, на деревенском воздухе и поработать над своими книгами.

1

В Эртелевке два лета прожил и Паустовский — в 1946-м и 1947 годах.

Помню утренний дачный поезд до Графской, просвеченный желтым солнцем, набитый сеном грузовик, который повез нас дальше. Мысль познакомиться с Паустовским, поговорить — у воронежских писателей и журналистов родилась как-то сама собой, сейчас уже не вспомнить, кто первый ее высказал...

Дорога через заповедный лес и потом по лугам и полям показалась длинной и трудной оттого, что дребезжащий, вдрызг избитый на ухабах грузовик едва полз, стреляя синим дымом, с натугой взбирался даже на невысокие подъемы, подолгу буксовал в песке, петлял по мокрым лугам, выбирая, где тверже и суше.

Паустовский шел по тенистой липовой аллее из глубины парка к дому. Я никогда не видел его раньше, только один или два фотопортрета в журналах. Но что может рассказать тусклое клише? Его портрет я сложил из его книг. Я видел его сухощавым, рослым, с той крепостью мышц, какая отличает спортсменов и моряков. Каким же еще может быть путешественник, искатель необычного, оставивший свои следы и на песке закаспийских пустынь, и на болотистых тропах северной тундры, человек стольких профессий, сколько было их у Паустовского, такого обширного жизненного опыта, такой богатой судьбы?

И меня поразило, что Паустовский так невысок и при невысокости своей еще и сутуловат, что совсем уменьшает его рост, что шагжки у него мелкие, а ступни какие-то даже не мужские, почти как у мальчика... Вот руки у него действительно оказались примечательные: крепкие, совсем не кабинетного, книжного человека, — с широкими ладонями, широкими, плоскими пальцами. Такие руки, такие ладони видишь у тех, кто в своей жизни поделал немало нелегкой работы, — у плотников, каменщиков.

И еще меня удивило то, что плохо передавали фотографии,— его совсем не русское, а какое-то южное, турецкое, что ли, лицо: смуглое, горбоносое, с резкими морщинами по краям рта, с глубоко вдавленными под крутые надбровные дуги темными, блестящими, как два каштана, глазами.

Паустовский без торопливости пожал всем руки, вслушиваясь в фамилию каждого, вглядываясь каждому в лицо, как бы желая навсегда запомнить. Это была не просто вежливость — это был интерес к людям, человеку. Взгляд казался очень пронизательным, зорким. Потом мне предстояло удивиться еще раз — когда я узнал, что Паустовский страшно близорук, что обычно он носит очки и что стекла в этих очках равны минус восьми диоптриям. Однако, как видно, дело не в зоркости, а во внимании. Близорукость не помешала ему всех нас разглядеть и запомнить и никого потом уже не забывать, не путать имена, сколько бы ни проходило лет между встречами.

— А с вами мы были в Коктебеле в тридцать... да, в тридцать девятом году, — сказал Паустовский писателю Сергеенко. И тут же пустился вспоминать: кто был тогда в Коктебеле еще, события того лета. К поезду на Москву ехали почему-то не в Феодосию, а в Симферополь, и Паустовский с видимым удовольствием припомнил детали этой поездки, забытые Сергеенко.

— Вот говорят, для писательского труда нужно то, нужно это... Прежде всего писателю нужна память. Память — это основа писательства, — своим характерным, медлительным, хрипловатым голосом сказал Паустовский, растягивая по углам рта морщины и стараясь улыбкой смягчить учительское звучание этой, как видно, любимой им и не в первый раз повторяемой мысли. Почувствовалось, что он гордится своей памятью и не прочь ее продемонстрировать себе и другим...

2

Настоящая беседа о писательском труде началась после вечернего чая. Паустовскому на террасе поставили маленький столик, на который он ничего не положил, никакой бумажки, никакого конспекта, только коробочку спичек. Слушатели расселись на стульях.

В речи Паустовского не было слов, снимающих с писательского дела дымку романтики, необычности, делающих этот труд совсем простым, общедоступным и во всем до конца объяснимым. Он не учительствовал, это был не метр перед тол-

пою, он говорил как с людьми душевно себе близкими, как бы вслух делясь своим удивлением и своими размышлениями по поводу того, как рождаются книги, из чего, из какого сложного сплава они возникают. Его занимала та химия, что происходит в мозгу и сердце, когда окружающее, мысль, чувство, воображение, соединяясь, рожают образы, картины, сцены, и мы, читатели, потом храним все это в себе, и это придуманное, никогда не существовавшее в действительности живет в нас с силой и яркостью реального мира и зачастую владеет нами сильнее, чем то, что пережито в нашей собственной жизни. Писательский труд, писательское творчество, на взгляд Паустовского, было своеобразное таинство, не всегда понятное даже творящему, находящееся какою-то своей частью за пределами сознания, контроля рассудка. Вскочил же однажды ночью Державин, чтобы второпях записать приснившуюся ему оду «Бог», и напечатал потом так, как приснилось, не помавав ни одного слова...

Из многих составных частей слагается писательский труд. Он не только тогда, когда писатель за столом, над бумагой. Он постоянен, всегда, в любую минуту жизни. Писателю надо уметь слушать — слушать природу, слушать людей, их язык, характерности их речи, потому что за этим открывается биография человека, его профессия. Паустовский заговорил об особом писательском зрении, о наблюдательности, привел в пример Грина. После Грина осталось много незавершенных рукописей, черновиков. В одном из них — описание сада, который был при доме Грина в Старом Крыму. Сад у Грина был маленький, а описание составило больше ста страниц — так умел Грин видеть и рассказывать о своих наблюдениях.

Тон беседы Паустовского постепенно менялся, где-то на середине он заговорил так, будто не просто излагал свои взгляды и принципы, но отвечал кому-то, с кем-то спорил — спорил со старым своим оппонентом, который ему давно уже надоел, от которого он давно уже устал, но вот приходится повторять и повторять, ибо это истина, а от истины отступать нельзя и нельзя оставлять ее беззащитной, тогда творчество и литература погибнут и воцарится одно пронырливое ремесло.

— Надо не бояться выражать себя, — с напористой убежденностью сказал Паустовский. — Нужно непосредственное выражение самого себя, своего мироощущения. А то многие стали бояться самих себя — как бы не впасть в ошибку! Забывается, что индивидуальные свойства, даже, бывает, недостатки превращаются потом в достоинства. Стиль Толстого. У Ро-

дена был какой-то дефект зрения, предметы и людей он видел удлинненно и так их изображал, и это помогло ему достичь особой выразительности... Когда пишешь, внутри надо открыть все «шлюзы», писать так, как будто только для самого себя, не сдерживать себя, не стесняться...

Как писать? В чисто техническом смысле — на машинке или от руки? А если от руки, то пером, карандашом? Я не совсем без багажа явился в Эртелевку, на встречу с Паустовским, у меня уже было написано несколько рассказов, мне уже были привычны редакции, маленькая комнатка воронежского писательского союза в старом кирпичном доме возле Каменного моста, где регулярно собирались профессиональные литераторы и любители литературы, читали вслух и обсуждали чьи-нибудь произведения. Но я никогда не слышал, чтобы говорилось хоть что-то о самом процессе писания, никогда не наблюдал, чтобы это кого-нибудь интересовало.

Паустовский коснулся и техники писания. Ведь это входило составной частью в писательство, волшебство, создаваемое буквами, черточками и крючочками на бумаге, — как же можно было пребывать безразличным к писательской технике, не выработать каких-то своих приемов, не поинтересоваться: а как писали великие, те, у кого так сильно и здорово получалось, — Толстой, Гоголь, Достоевский...

Раздвинув крепкие, загорелые, по локоть обнаженные руки, ребром поставленными ладонями Паустовский показал на столе, на каких широких листах он пишет. Так нужно ему потому, что мысль во время писания — это непрерывный поток, рождается много других, непредусмотренных мыслей, и все это требует быстрой фиксации, большой бумажной площади, на которой, не отрывая руки, можно было бы все это закрепить. Потом можно переписывать как угодно долго, не торопясь, выпалывая словесный мусор, шлифуя фразы. А первый черновик, первая запись — это всегда стремительность, ключковатость, неразборчивые для других строки...

Все эти мысли, некоторые даже в том же словесном выражении, как было это произнесено на веранде эртелевского дома, я нашел потом, спустя несколько лет, читая «Золотую розу». Паустовский произносил перед нами конспект своей уже обдуманной, но еще не написанной книги, в которой он собирался оставить свой опыт, свое толкование писательского волшебства, советы молодым литераторам, всем, кто вздумает ступить на писательский путь, не зная, сколь он нелегок, сколь мало заключает в себе комфорта и благ и каких внут-

ренных трат, какой энергии, какой выносливости он требует.

Пачка папирос лежала у Паустовского в левом нагрудном кармане рубашки. Опустив туда два пальца, он нашаривал папиросу, вытаскивал, разминал в пальцах — почти что одну за другой. Интересно он прикуривал — прямо от шипящей серной головки, не ожидая, пока загорится дерево спички. Попав года через два на Белое море, я увидел этот способ зажигать папиросы, крученные из газеты цигарки у матросов и рыбаков, у всех, кто работает на сильном ветру и знает, что прятать спичку в ладонях, загораживаться спиной — безнадежное на таком ветру дело...

3

Зимой Паустовский напечатал в «Новом мире» два рассказа под общим названием «Воронежское лето». В них были Эртелевка, ее старый парк с необхватной липой в глубине главной аллеи, деревушка Лаптевка, стоявшая по соседству, за оврагом, деревенские мальчишки, приходившие на усадьбу выпросить рыболовные крючки и поглазеть на «настоящего» писателя, двенадцатилетний пастушонок Федя, каждый день пригонявший к опушке парка лаптевских коров. Этот Федя и после два или три лета пас стадо вблизи парка. Со всеми приезжавшими в Эртелевку он был знаком, и его знали все. С какою-то своей тайной мыслью он все допытывался, когда кто «заступил в писатели» и сколько надо знать, чтобы самому писать книги. Еще Феде нравилась городская стрижка «под бокс», и однажды он попросил ножницы, через час пришел к эртелевскому дому, снял шапку и, страшно довольный, выставил на всеобщее обозрение затылок, выстриженный ступеньками...

4

Летом сорок седьмого года Паустовский приехал в Эртелевку снова. Он не очень любил бывать в одних и тех же местах, предпочитал видеть новые, но Эртелевка и ее окрестности заставили его сделать исключение из своих правил.

В комнате Паустовского стояли только кровать с металлической сеткой и, боком к окну, письменный стол из темного полированного дерева — громоздкое, тяжелое бюро прошлого века, сейчас только в музеях увидишь такое: с массой ящиков и ящичков, полок и полочек для хранения писем и бумаг, с гибкой шторкой из деревянных реек, которую можно было

вытащить откуда-то из скрипучих древесных недр и сразу наглухо закрыть и запереть на ключ, и многоярусные полочки, и все, что на столе разложено.

На террасе, в беленом известкой углу, стояли удочки Паустовского.

К рыбалке я был привержен с детства и много повидал разных рыбацких снастей. Встретить красивые и дорогие удилица было не в редкость: после войны их много повывезли из Германии. Удочки Паустовского были до удивления просты: из кривоватых прутьев, срезанных в орешнике, что рос неподалеку от дома, за конюшней. Вблизи у комля, где держит рука, он очистил их от коры, а дальше не тронул, оставил кору, чтоб древесина не сохла и не теряла гибкости.

Для рыбной ловли вокруг Эртелевки существовало несколько мест.

5

Первый раз мы пошли на Каменку.

Но вначале отправились накопать червей.

Паустовский вытащил из-под террасы ржавую консервную банку, выплеснул набравшуюся в нее дождевую воду.

За конюшней он палкой разрыл старый навоз. Вокруг нас с сердитым жужжанием бесновались зеленые мухи, угрожающе гудели серые настырные слепни.

Зрелище мясистых, розовых, потревоженно извивающихся червей, норивших скрыться в трубчатых ходах, пронизывающих пласты навоза, было не из приятных. Червей я поддевал палочкой и бросал в банку. Потом, когда они присыпаны песком и как бы очищены им, не слизисто-скользки, а шершавы от песчаных крупинок, их уже не так противно брать рукою. Но прямо из навоза... Никогда мне не удавалось преодолеть чувство брезгливости, которое невольно является.

Паустовский же, как истинный рыболов, давно привычный ко всему, с чем сопряжено это занятие, без всякого отвращения, спокойно хватал червяков пальцами, вытягивал их, как резиновых, из навозных комков, деловито высматривал сквозь очки молодых, потоньше, — для наших некрупных крючков.

Гудящий рой слепней двинулся за нами на Каменку. Наверное, они явились бы с нами к самой воде и испортили бы все удовольствие, но мы нарочно прошли мимо Федино стада, и слепни переключились на коров.

— Вон идет Роза, враг нашей Пальмы, — сказал Паустовский.

За Каменкой, на другом боку лощины, вдоль лаптевских огородов, трусила белая длинноногая собака, недружелюбно поглядывая в нашу сторону. Паустовский знал клички всех деревенских псов, знал, в каких они отношениях — кто с кем друг, кто кому враг.

Пальма, серая лохматая дворняга, добровольная и бескорыстная спутница Паустовского во всех окрестных экспедициях, забежавшая далеко вперед, — будто бы не заметив Розы, без поспешности, не роняя своего достоинства, вернулась к нам и пошла рядом. Этот скрытый, замаскированный ее вольт был насквозь понятен. Она как бы хотела сказать лаптевской Розе: ничего у тебя не выйдет, со мной мои друзья, и в обиду они меня не дадут.

Роза это уже поняла. Постояв на склоне, она рыкнула раза два для порядка, лязгнув зубами, поймала пролетающую мимо бабочку и с притворным равнодушием затрусила обратно к лаптевским измам. То, что выражала ее лениво-самоуверенная трусца, тоже было понятно. Ладно, думала про себя Роза, еще будет случай, ты мне попадешься...

Паустовский подстелил под себя специально взятый для этого зеленый брезентовый вещмешок, сел на берегу, на короткую, сбрызнутую утренним дождем травку. Ловко, с одного раза, не возясь, как бывает у иных рыбаков, насадил на крючок червяка, взмахнул удилищем. Свистнула леса, алый поплавок из гусяного пера кувыркнулся в воздухе над его головой, как-то очень красиво и точно, описывая параболическую кривую, полетел тонким концом вперед и вонзился в густую синь бочага. Рядом с первым поплавком встал второй, немного в стороне — третий.

Закинул и я свои удочки.

Подождали. Не клевало.

Уже хорошо мне знакомым жестом Паустовский нашарил в нагрудном кармане папиросу. На нем была та же, прошлогодняя, выгоревшая светло-песочная рубашка необычного, какого-то полувоенного покроя, с рукавами по локоть, вызывавшая представление о Средней Азии, палящем солнце, границе, протянувшейся по барханам, загорелых солдат-туркестанцев с голыми ногами, в пыльных ботинках, в широкополых шляпах вместо фуражек. Рубашка действительно была оттуда, из каракумских песков. Сейчас я уже не помню, как она появилась у Паустовского, но помню, что он об этом рассказывал. То ли он сам был в тех местах в исходе войны, то ли кто-то из друзей-журналистов привез ему этот подарок, чтобы

напомнить об азнатском зное, закаспийском безводье, голых берегах Кара-Бугаза...

— Чтобы клевало, надо отвлечься,— как всегда, глуховатым, медлительно текущим голосом сказал Паустовский.— Надо или закурить, или посмотреть в сторону. Обязательно начнет клевать, это я уже знаю...

Синий папиросный дымок поплыл с бережка над неподвижным зеркалом заводи.

Раз уж я это вспомнил, скажу и о других рыбацких приметах Паустовского. Были у него всякие. Но главным у него был принцип противоположности. Например, он считал: если река широкая, рыба будет лучше ловиться в узком месте. И наоборот. Если река быстрая, надо искать тихую заводь. Если движение медленное, ищи быстрину. Если плес открытый, весь под солнцем, устраивайся с удочками под деревом, в тени. Если плес в лесу и берега притенены, выбирай бережок открытый, прогретый солнцем. В мутных водоемах он предпочитал участки с чистой водой. Если не клевало в чистой воде, Паустовский говорил, что надо слегка взмутить палкой донный ил—это привлечет рыбу. Я послушно пробовал применять его советы, и, случалось, они помогали. Как было не поверить, не послушаться, если свои приметы Паустовский подкреплял ссылками на авторитет Гайдара, Фраермана? Как-то вечером мы сидели с удочками на карасином пруду возле эртелевского дома. Сначала караси брали хорошо, а потом клев стал слабеть и пропал совсем. Было совершенно непонятно: тихий, спокойный вечер с абсолютно ясным небом, безветренно, ласточки летают высоко, непогодой не пахнет, по всем признакам должна быть самая ловля, а караси не берут, как будто их уже ни одного не осталось в пруду. Паустовский сказал: «Это они обленились, в дремоту впали, тихо уж очень, надо их расшевелить»,—и попросил меня кинуть что-нибудь в воду с другого бока пруда. Всегда я знал, что когда рыбу пугают, она затаивается, уходит прочь от шума, бултыханья, и без всякой надежды начал шлепать по воде веткой, кидать на середину пруда мелкие яблоки-дички. И что же? Действительно, караси будто проснулись, вспомнили о своих обязанностях, и пошел такой клев, что успевай таскать...

Но в этот раз, на Каменке, рыбацкие хитрости Паустовского не действовали. Мы закуривали и вместе, и поодиночке; оторвав глаза от поплавков, как бы совсем не интересуясь ими, смотрели на Лаптевку, на то, как женщины рыхлят на огородах грядки с картошкой, играли с Пальмой, уже выче-

савшей мешавших ей блох и покойно растянувшейся подле нас на траве,— все было напрасно. Поплавки торчали, как впаянные. На один из них села стрекоза, наклонила его косо и тоже застыла — вместе со своим отражением в мертвой, неподвижной воде...

6

Задумчиво глядя на стрекозу, оцепеневшую на кончике поплавка, Паустовский говорил:

— Выражение самосознания миллионных народных масс через искусство — это процесс широкий, нельзя без вреда затиснуть его в узкие рамки... Нужно все — и юмор, и сатира, и воспоминание о прошлом, и полезное, плодотворное раздумье над настоящим. И такие мастера, как Ильф, Петров, Бабель, Багрицкий... Артем Веселый, Андрей Платонов, Булгаков. Вычеркнуть из литературы хотя бы одно из этих имен — это тяжкая потеря. Я уже не говорю о Грине. Вы читали Грина?

Сейчас Грин — любимый писатель юношества. На дереве у его могилы в Старом Крыму пионеры оставляют красные галстуки. В Феодосии, где он жил, в его квартире устроен музей — памятник писателю и героям его книг. Собрание сочинений Грина в шести томах издано полумиллионным тиражом.

Но тогда отношение литературной критики к Грину было иным: Грина не переиздавали, книг его не было в библиотеках. Иногда появлялись статьи, в которых все валилось в одну кучу — Джек Лондон, Эдгар По, Грин, Дюма, Конан Дойль, Фенимор Купер, Жюль Верн — и доказывалось, что эти писатели могут только разлагать нашу молодежь, повредить ее воспитанию. «Обойдемся без этих Джеков!» — решительно и категорично заявлялось в одной из статей.

Все же я кое-что читал из рассказов Грина.

Паустовский спросил, что мне больше всего понравилось.

Я сказал: «Алые паруса», «Автобиографическая повесть». И еще — рассказ. Не помню названия. Ночь, какой-то человек, — кажется, его зовут Рег, — въезжает на коне в город, охваченный чумой. На улицах — трупы. В подвале пирует компания обреченных. Человек приехал затем, что тут, в городе, хранится карта. Она не должна пропасть, ее надо спасти: на ней обозначен источник, способный исцелять людей, возвращать им силу и молодость.

— «Синий каскад Теллури»... — сказал Паустовский.

Я и сейчас слышу, как произнес он это слово: «Теллури...» С характерной своей глуховатостью в голосе, растянув два

«л», как-то очень наполненно — как говорят о чем-то реальном, заветном, запечатлевшемся во всех своих красках, подробностях. Синий каскад Теллури был для него не сказкой, он существовал в мысленном зрении Паустовского как реальность: в тишине накаленных зноем африканских дебрей фиолетовые ковры цветов окружали скалы, стояли непонятные, искривленные деревья с огромными листьями, бежала из тенистой расселины жгуче холодная синяя вода, со звоном струй стекая в обширный природный водоем...

...Ворчание грома объяснило, почему неподвижны поплавки. За нашими спинами над потемневшей полосой эртелевского сада, заставив примолкнуть птичий щебет, расплывалось тугое облако. Нижний край его был тяжко налит предостерегающей синевой.

Усадьба была рядом, но вернуться мы не успели. Дождь ударил небывало крупными, как желуди, каплями. Сразу же белая завеса закрыла от нас парк.

Пальма могла бы домчаться единым духом, но собачья преданность не позволила ей покинуть нас, она предпочла терпеливо трусить вприпрыжку и так же насквозь измокнуть, как вымокли мы с Паустовским...

7

Бурная гроза, прошумевшая над парком, посшибала с деревьев сучья, запалила в Никольском колхозный коровник. За ней наступило затяжное, многодневное ненастье.

Похолодало. Пепельная мгла волоклась над верхушками кленов. Не переставая сыпал дождь, барабанил по крыше, на разные голоса журчал в водосточных трубах.

Паустовского мучило удушье. Он лежал в своей комнате, читал старые журналы из эртелевской библиотеки — «Русское богатство», «Северный вестник». Когда астма отпускала, надевал плащ, берет, выходил на террасу и с поднятым воротником, засунув руки в карманы, съжившись от сырости, подолгу пристально смотрел в небо, на вяло плывущую, серую, безнадежно унылую мглу. Не знаю, хотел ли он понять, долго ли еще протянется ненастье, или, может быть, ему были интересны эта пепельно-серая мгла, смена ее красок, игра света и тьмы, медлительное движение туч, прижатых к земле собственной тяжестью.

Через год он написал «Повесть о лесах», где многие страницы звучат как поэма в прозе — благодарственное слово природе за все то доброе, что она дарит человеку, низкий

поклон русскому лесу, извечному источнику здоровья, радости, творческого вдохновения. В ней, как почти во всех книгах Паустовского, действовали излюбленные им персонажи, особый тип людей, любимый им и в жизни,— мечтатели, художники, творцы, положившие своим кредо, своим жизненным назначением служить созиданию, благородной задаче спасать и увеличивать естественные богатства мира, его красоту.

В одной из глав было описание летней грозы. Открывая на этом месте книгу, я всегда вспоминаю эртелевскую грозу, ненастные дни и то, как он, сумрачный, горбоносый, похожий в мятом просторном плаще на нахохлившуюся птицу, в одиночестве, неизвестно о чем думая, подолгу пристально смотрел с мокрой веранды дома в серое, плачущее дождем небо...

8

Из Воронежа приехал композитор Массалитинов, шумным обществом явились московские литературные дамы, сотрудницы каких-то редакций и издательств, вместе с ними приехал хилый юноша, сын московского поэта, известного не столько своими стихами, сколько тем, что он входил в окружение Маяковского двадцатых годов,— и наше уединенное, отшельническое житье с Паустовским кончилось.

Теперь по вечерам в столовой горели сильные керосиновые лампы. За чайным столом засиживались до полуночи.

Паустовский, близоруко щурясь, если надо было отыскать горчицу или солонку, на углу стола съедал свой ужин, пил чай, помешивая ложечкой в тонком стакане. Обычно он молчал, но при этом заинтересованно слушал застольные разговоры. Тонкая, доброжелательная улыбка таилась в резких складках его лица, все время меняя оттенки, готовая проявиться открыто при каждой шутке, взрыве смеха за столом. Чувствовалось, что ему нравятся эти вечерние сборища за самоваром, роняющим красные угольки, непринужденность, общее оживление, остроумные реплики. От него ждали рассказов; незаметно он включался в беседу, начинал вспоминать что-нибудь из прошлого, и всякий раз непременно выходило, что главным рассказчиком вечера становился он. Общество за столом перегруппировывалось так, чтобы быть ближе к Паустовскому, лучше его видеть и слышать. Годы спустя, когда стали появляться его «Повести о жизни», в них оказалось много такого, что было рассказано в часы вечерних бесед за чайным столом эртелевского дома...

Вспоминал он без хронологии и последовательности — как приходило на память, перемешивая эпизоды юности и своих уже писательских поездок в разные концы страны, службу в газете «Моряк» и пребывание на Южном фронте и в осажденной Одессе во время Отечественной войны. Ему пришлось жить в совершенно пустой, полуразрушенной гостинице с выбитыми стеклами, без электричества; чтобы умыться, надо было сойти в котельную, где из разбитых, порванных труб еще капала вода. И каждый раз при умывании он встречался еще с одним постояльцем, пожилым человеком в черных элегантных брюках от вечернего костюма и подтяжках поверх нижней бязевой рубашки. Иногда Паустовский ждал своей очереди у капающей трубы, иногда молчаливый постоялец. Это был норвежский король, покинувший свою оккупированную страну и совершенно одиноко, забыто застрявший в блокированной Одессе.

Правдоподобность этого рассказа была сомнительна, сомнительным он кажется мне и сейчас: что-то больше не приходилось мне слышать о норвежском короле, занесенном к нам войною. Паустовский, наверное, просто выдумал. Но даже если это и сочинено им, то сочинено талантливо, так, что не забудешь, как будто бы сам видел все это: Одессу, сотрясаемую мощной корабельной артиллерией, бьющей с моря по немецким позициям, пересохший во всем городе водопровод, пустую, брошенную гостиницу с хрустальными люстрами, качающимися от пальбы и сквозняков, и благовоспитанного, вежливого норвежского короля, затерявшегося в вихревом потоке событий, покинутого спутниками, не знающего русского языка, с последним сохранившимся имуществом — зубною щеткой и полотенцем — в темной котельной у капающей трубы...

За длинным столом, покрытым клеенкой, при жарко горящих керосиновых лампах, вокруг которых кружились налетевшие из парка бабочки, в закутанном в полумрак зале с портретом Эртеля на стене Паустовский рассказал почти все, что было потом им написано об Ильфе и Бабеле, Багрицком, Юрии Олеше, множество разных историй — и вот эту, теперь широко известную: про жадного и хитрого старика, который ездил в трамваях старой Москвы бесплатно, потому что каждый раз подавал кондукторам такую крупную ассигнацию, что ее нечем было разменять. Рассказал, что стоила ему «Колхида» — как он едва не умер от лихорадки, которую схватил в болотах Риони.

Композитор Массалитинов тоже оказался рыбаком, но иного типа: не согласным довольствоваться тем, что могли предоставить любителю рыбной ловли ближайшие окрестности. Усадебный пруд вызвал у него презрительную усмешку, на карасей, плескавшихся в наших ведерках, он едва глянул, не признав их за рыбу. На Каменке даже не стал разматывать удочки. На Усманке, под железнодорожным мостом, где широкий черный плес рождал самые заманчивые ожидания, Массалитинов приготовился к единоборству с серьезной рыбой, положил около себя в боевой готовности подсак. Но на стальные шведские крючки и английские, окрашенные в цвет воды лески ловились одни плоские серебристые москленцы, похожие на кильку. В досаде Массалитинов даже не нанизывал их на кукан — швырял Пальме. Пальма широко разевала пасть, и серебристые рыбки прямым путем пролетали в ее желудок. Именно ради таких подачек Пальма и увязывалась за рыбаками. Технику ловли она знала не хуже самих рыболовов: пристально, не спуская глаз, следила за поплавками, повизгивала и дергалась азартно всем телом, когда они начинали шевелиться и тонуть.

Дня на два Массалитинов погрузился в уныние. Хмурый, озабоченный, отправился потолковать с лаптевскими стариками и вернулся от них с просветленным лицом, в деятельном оживлении, принес название Лёдовского кордона. Вот там, по словам стариков, в тех труднодоступных дебрях, Усманка еще сберегла в себе настоящую рыбу, какая в ней когда-то водилась по всему руслу, — крупных щук, окуней, двухфунтовую плотву.

Паустовского не пришлось уговаривать. Он соблазнился одним этим словом «кордон».

Рано утром эртелевский конюх, шуплый и шустрый мужичонка с раздвоенной по-заячьи нижней губой, запряг в пароконную телегу с щедро натрушенным сеном двух усадебных лошадей — Муху и Зорьку, положил таган и объемистый чугунок, мешок с харчами, и, провожаемая напутствиями: «Ни пуха ни пера!», экспедиция к таинственному, заманчивому Лёдовскому кордону двинулась в путь.

В кармане у композитора лежала бумажка, которой накануне он заручился в конторе заповедника от начальника лесной охраны. Начальник, как видно, был не шибкий грамотей. На бумажке бледными фиолетовыми чернилами было напи-

сано так: «Разрешение. Разрешается писателю Пусовскому и музыканту Мусолини в пределах заповедной территории ловить». Кого ловить, что ловить, указать писавший забыл. Далее следовала размашистая подпись.

Паустовский, прочитав бумажку, сказал, что хотя она из конторы, все же лучше ее не показывать лесным сторожам, ибо если разнесется весть, что в лесу находится Муссолини, добром такое дело не кончится.

Час или два мы ехали по просекам.

Близость Усманки угадалась по тому, что появились ольха, осина, деревья стали тоньше, жиже, гуще подлесок.

Бревенчатый дом лесного кордона стоял на тенистой поляне.

На стук лошадиных копыт и на звяканье упряжи вышел лесник в форменной куртке и фуражке с зеленым кантом. Пропуск он даже не стал читать, взглянул на него мельком в руках композитора, — видать, почерк писавшего был ему хорошо знаком. Объяснил, как лучше проехать к реке, крикнул жене, чтобы вынесла молока.

На Усманку возле Лёдовского кордона не стоило ехать, это стало понятно сразу, когда, оставив лошадей и телегу на сухой солнечной полянке, мы по зыбким кочкам пробрались к ней сквозь кусты. Реки как таковой не было, в русле сплошной стеной высился светло-желтый, в наш рост, камыш.

Полазив в шуршащих камышах в ту и другую сторону, промочив обувь, мы все же нашли открытую воду — две-три приличных бочажины. Без особой охоты и ожидания, только из того, что не возвращаться же сразу назад, забросили удочки.

Солнце висело уже высоко, воздух был неподвижен, густ, духовит, банно горяч. Пришлось почти все с себя скинуть, но от этого только комарам стало легче жалить наши открытые шеи, руки, плечи.

Мои поплавки долго пребывали в мертвом оцепенении. Потом один из них мелко задержался, не погружаясь, пошел в сторону, описал полукруг и остановился. Было похоже, что рыба лишь потянула приманку, не заглотав крючка, и бросила ее, и я не стал вытаскивать удочку.

Справа над камышами медленно всплывал синий папиросный дымок. Там устроился Паустовский.

Бездеятельно взирать на поплавки скоро надоело. Надое-

ли пекущее солнце над головой, хлюпающая грязь под ногами, пузатые черные головастики, неподвижно висящие у берега в воде с бессмысленно вытаращенными выпуклыми глазами, жадно сосавшие с поверхности воздух кругленькими дырочками ртов. Грех было мешать, но все же я пошел проведать Паустовского.

Я увидел его сажающим на кукан приличного окуня. Еще два ходили на конце кукана, поменьше, но все-таки это была рыба,— такую уже не бросишь Пальме. На Усманке, у моста, и на Каменке таких окуней мы не ловили ни разу.

— Странно тут окуни клюют...— сказал Паустовский.— Поплавок не топят. Отойдет в сторону и станет. Думаешь — ничего, а потянешь — сидит...

Раздвигая руками камыш, я бросился к своему месту. Пробковый поплавок, что подергался и отъехал в сторону, краснел, как вишня, точно там же, где я его оставил.

Я схватил удилище, взмахнул и — непередаваемый, желанно-блаженный миг! — почувствовал упругое сопротивление, тяжесть на конце лесы, еще глубоко под водой, тяжесть, которую ни один мало-мальски смыслящий рыбак не спутает с зацепом: она живая, трепещущая, в ней сила, непокорность, отчаянная борьба; в ответ на нее еще раньше, чем сознание скажет рыбаку, что ему повезло, такой же живой трепет азарта, удачи пробегает сквозь все его тело, электрическим током пронизывает пальцы и руку, поднимающую удилище...

Домой мы попали за полночь. Кучер умудрился заблудиться возле самой Эртелевки, заехав сначала на овсы, а потом в лог.

В усадьбе не спали, тревожась, что с нами случилось, почему так долго нас нет.

А наутро, за завтраком, Паустовский рассказывал обитателям дома обо всем, что с нами приключилось. Для всех это был занимательный, веселый рассказ, возбуждавший то и дело хохот.

А для меня это был еще и маленький, но памятный и дорогой мне урок, наглядный пример, как надо писателю видеть, запоминать, находить слова для выражения своих впечатлений. Это было тем более поучительно, что то, о чем рассказывал Паустовский, произошло только что, у меня на глазах и при моем участии. Вроде бы все до последней мелочи я видел

сам, а вот, оказывается, не все и не так зорко, как он. И не такие точные изобразительные слова нашлись бы у меня, если бы я вздумал рассказывать.

Паустовский упомянул о пнях на Усманке от поваленных бобрами деревьев; я вспомнил, что действительно видел стесанные на конус пни, а вот же — не остановил на них внимания, не заинтересовался, и так бы, наверное, осталось для меня неизвестным, что это следы долгой ночной работы бобров, совершенно удивительных животных, обитающих в двух разных сферах — на суше и под водой.

Паустовский рассказал, как страшно одному возле бучила, в камышах. Кромка берега тонка, гнется, оседает под ногами, вода бутылочная, темная, как в левитановском омуте, со дня временами возносятся крупные пузыри и не лопаются на поверхности, увязают в ряске, тине, и кажется, что это чьи-то глаза, каких-то подводных чудищ, которые всплыли из глубины, затаились и с пристальным недобрым вниманием следят за тобой из своих тайных засад, ожидая какой-то минуты, мига...

10

В одно из воскресений за Паустовским приехали из соседнего Никольского.

Это было не совсем обычное село. Издавна в нем действовал кружок любителей сцены. Основание ему положили сестра Станиславского и ее муж, доктор Соколов, в конце прошлого века поселившиеся в Никольском с благородной целью — не только лечить местных крестьян, но и всеми способами просвещать их, возбуждать в них любовь к образованию, наукам, искусству. Соколов умер от тифа в годы гражданской войны, но доброе дело, которое он начал, не погибло, третий десяток лет продолжалось уже само по себе, превратившись для местного населения в потребность и привычку.

Случалось, что драматический кружок ставил и большие пьесы — Островского, «Власть тьмы» Толстого. До войны даже опера была поставлена — «Русалка» Даргомыжского.

Узнав, что Паустовский в Эртелевке, кружковцы решили превратить его пребывание в памятное для всех событие, подготовили спектакль по его небольшой пьесе, оповестили всю округу и пригласили Паустовского присутствовать. Такого в истории Никольского театра еще не бывало: спектакль с присутствием самого автора!

Вместе с Паустовским в Никольское отправились и все обитатели Эртелевки.

Я понимаю, как было бы сейчас интересно описать этот спектакль. Роль деда в нем играл колхозный пасечник, его внуки — ученица шестого класса.

Но на спектакль из спутников Паустовского никто не пошел. В никольскую школу, где должно было произойти представление, нельзя было проникнуть. Она была обложена плотной толпой. Известие, что придет сам автор, собрало такую массу публики, какой не бывало еще никогда. На выгоне перед школой, как во время ярмарки, стояли телеги с распряженными лошадьми, жующими сено, несколько полуторок, привезших зрителей из отдаленных деревень.

Занавес собирались поднять в шесть часов, но школа была набита уже с половины дня. Люди сидели внутри, распаренные, как в бане. Не втиснувшиеся в зал грудились снаружи, возле окон. Опоздавшие мальчишки ловчили ввинтиться в толпу, проползти под ногами у взрослых.

Паустовского все же повели в зал. Плечистые деревенские парни, активисты порядка, действуя своими могучими плечами, прокладывали ему сквозь толпу путь.

В шесть часов в летнюю пору совсем еще светло. Но потому, что окна во всю высоту заполняли зрители, оставшиеся снаружи, в помещении пришлось зажечь керосиновые лампы.

Раз уж собралось столько народу, следовало, конечно, перенести спектакль на воздух. Но декорации соорудили на школьной сцене, перестраивать заново было уже некогда.

Изнутри слышалась игра на баяне — увертюра. Спектакль начался.

Можно представить, каково было высидеть Паустовскому с его астмой полтора часа без кислорода, в банном пару человеческого дыхания, в чаду керосиновых ламп и каким получился спектакль, в котором по лицам актеров тек грим, а суфлер с последней репликой бросил свои суфлерские тетрадки, опрометью выскочил из школы и прямо в штанах и рубаше бухнулся в пруд.

Но Паустовский, несмотря на все, что пришлось претерпеть, вернулся со спектакля в настроении полного удовольствия ото всего виденного. Удовольствия особого, писательского, в преизбытке нагруженный всякого рода наблюдениями, подробностями, каких не выдумать за писательским столом, а можно встретить только в живой жизни.

— С потолка капал пот. Как дожди! — морща в улыбке кожу у глаз, весь так и светясь мягким юмором, рассказывал в Эртелевке Паустовский. — Не хватало только зонтиков...

Так же смешно, в острых выражениях, но совсем не обидно для актеров, изобразил он их игру — как они путали слова от волнения, что в зале сидит автор. Он шутил, остроловил, складки его лица раздвигала сдержанная улыбка. Не помню случая, когда бы в ком-либо еще так наглядно было видно, что главное чувство, которое наполняет, главная черта характера, натуры — это доброта, снисхождение к людям, их несовершенствам, благодарность за их попытки делать хорошее — как они это могут и умеют...

Между прочим, его пьеса, что была разыграна николевскими драмкружковцами, своим рождением была обязана тоже его доброте.

В первую послевоенную осень вместе с писателем Фраерманом Паустовский жил в своей любимой Солотче, на Рязанщине. Погода стояла прескверная — дождь, грязь. Дороги раскисли, никакого движения — ни на машинах, ни на лошадях. И вот в один из дней, когда дождь лил особенно нудно, из Москвы с поручением к Паустовскому приехала молодая женщина. Она служила в учреждении, ведавшем художественной самодеятельностью. Начальство этого учреждения осенила блестящая идея. Репертуар беден, драмкружкам нечего ставить. Нельзя больше терпеть такое положение. Пусть все советские писатели срочно напишут по одной пьесе. Сколько получится пьес! У кружковцев сразу будет широкий выбор — на все темы, ко всем праздникам и памятным датам. Молодой женщине выпало ехать к Паустовскому. В Солотчу ей пришлось идти пешком, по жуткой грязи. Она вымокла до нитки, пока добралась.

Ей дали вина, чтобы согреться, хозяйка дома передела ее во все сухое, уложила на жаркую печь.

Желание руководителей клубных кружков видеть Паустовского в числе своих драматургов его совсем не обрадовало. Но нелегкое путешествие, что ради этого совершила послушная сотрудница, ее бронхит и насморк, которые она схватила, ее детский страх, что непременно уволят, если она вернется с пустыми руками, тронули Паустовского. И за пару дней, пока женщина с помощью сердобольной хозяйки, горячего молока и жарко натопленной лежанки лечила простуду, он, отложив в сторону свою работу, написал пьесу в одном акте. Благо

сюжет не надо было искать — будни Солотчи при всей их внешней простоте и незамысловатости давали сколько угодно сюжетов...

11

Долго я собирался с духом, но все-таки собрался: попросил Паустовского прочитать мой рассказ.

Сейчас я вполне понимаю, как он был плох. Даже год спустя я бы уже не полез к Паустовскому с таким рассказом. Но тогда мне было не до самокритики: альманах только что вышел из типографии, страницы еще пахли краской, слова, что я писал водянистыми чернилами на шершавой газетной бумаге, чернели ровно и четко, набранные тем самым шрифтом, каким типография незадолго до этого напечатала «Героя нашего времени» и «Хаджи Мурата»; еще больше радовали меня глазастые литеры, которые составляли мою фамилию, повторенную в оглавлении. Это был мой первый такой большой рассказ, по сути дела его даже можно назвать повестью — целых пятьдесят страниц...

Не так много, но я уже бывал в столичных редакциях и успел познакомиться с тем, как неохотно профессиональные писатели соглашались заглянуть в книги и рукописи начинающих. Гораздо чаще следует вежливый отказ со ссылками на занятость, на предстоящий отъезд, на срочную работу, на здоровье.

Паустовский согласился при первых же моих заикающихся словах, взял книжку воронежского альманаха, унес в свою комнату.

Я приготовился ждать долго.

Но уже на другой день он сказал, что прочитал и можно поговорить.

Мы сели в столовой за широкий обеденный стол, покрытый всегда прохладной клеенкой, какая бы жара ни стояла за окнами зала.

Паустовский раскрыл сборник, пригладил топорщившиеся листы ладонями. Руки его остались лежать на раскрытой книге, как бы обнимая ее. Его прикосновения к ней были мягки, любовно-ласкательны. Не потому, что она уж так ему нравилась, — просто это была книга, то высокое, чему Паустовский служил вот уже сорок лет своей жизни.

Мускулистые, загорелые, широкие у локтей руки его в бултых вен, совсем близко лежавшие передо мною и всякий раз наводившие на мысль о труде каменотеса, землекопа,

плотника, помню, вызвали у меня чувство, всегда повторявшееся впоследствии, при других встречах с Паустовским: что пишет он хорошо еще и потому, что у него вот такие руки — истинного труженика, работника. Такие руки не могут делать работу плохо, небрежно, некрепко, неосновательно, как-нибудь; всё, за что они берутся, они исполняют только добротнo, на совесть.

Первый вопрос Паустовского меня удивил:

— У вас своя фамилия или псевдоним?

Никто прежде об этом у меня не спрашивал, никого это не интересовало.

А Паустовский спрашивал не беспричинно, вовсе не пустой, не праздный был этот вопрос. Он начинал печататься, входил в литературную среду, когда псевдонимы были знаменем времени, когда казались скучны, по-будничному приземлены и потому неприемлемы обыкновенные людские имена и фамилии. Литературный псевдоним для писателей одного с Паустовским поколения составлял частичку творчества, вырастал из биографий, зачастую служил ключом к пониманию личности автора, был его боевым девизом и, естественно, не мог не интересовать и не быть важным для Паустовского, которому в писательской деятельности было одинаково важно и интересно все: все ее моменты, все детали, подробности, даже мелочи техники — кто как пишет, карандашом или чернилами, на отдельных листках или в общей тетради...

Услышав мой ответ, что у меня своя фамилия, Паустовский кивнул в знак того, что вопрос для него выяснился, и, обратившись к моему рассказу, заговорил о его качествах.

— Рассказ вам испортил редактор, — сказал Паустовский.

Редактор действительно помучил меня и мое творение. Рассказ был о мальчишке, который наврал о себе в документах, прибавил год и «пробрался» на фронт. Он попал к зенитчикам, солдатам уже с опытом; это был народ простой, бывалый, грубоватый, с крепким, смачным языком (именно так говорили мои друзья-однополчане летом сорок третьего года на передовых под Белгородом и Харьковом), и редактор «чистил» этот язык, ибо считал, что, воспроизводя его, я «приземляю», «огрубляю» и «оглупляю» наших бойцов и командиров. Мне казалось, что я совершенно ясно изобразил, какой порыв повлек мальчишку на фронт, туда, где идет борьба с фашизмом; редактор же боялся, как бы не расценили, что его поступок лишен «социального смысла», что это лишь мальчишество, и вписывал в мой текст такие фразы: «...его привела

на фронт настоящая самоотверженная любовь к своему отечеству, готовность пожертвовать ради его свободы своей жизнью». Мы спорили, я говорил, что эта декларация не нужна, она чужеродна в тексте. Редактор и сам знал, что это так, что от таких привесков рассказ становится хуже, но упрямо твердил: «Зато критики не придерутся!»

Однако Паустовского я понял не вполне, односторонне. Он имел в виду не только «внешнего» редактора.

— Тот редактор, что сидит в редакции и портит рукописи, чтобы ему спокойней, без хлопот и осложнений, жилось, еще не так опасен. С ним можно воевать, можно поругаться, уйти от него, забрать рукопись, поискать другого редактора, который умнее и не труслив. Гораздо опасней тот редактор, что сидит внутри нас и держит за руку, когда мы пишем. Окорачиваешь мысль, бег воображения, порывы сердца, обедняешь свой язык. Малодушно подчиняясь этому голосу, мы заранее, уже в процессе писания, подгоняем себя под шаблон, сами лишаем себя самостоятельности.

Писать надо дерзко. Не думать о канонах, традициях, правилах. Только так приходит в искусство новое...

Он заговорил о том, что когда пишешь, надо ни на кого и ни на что не оглядываться. Ну что ж, что Пушкин писал не так, Толстой писал не так... Их надо любить, знать, ценить, но писать надо свое и по-своему.

Затем Паустовский заговорил о боязни печального, трагических сторон жизни, которых все равно не избежать, как бы на них ни закрывали глаза, о розовых, благополучных концах и сказал, что по логике событий рассказ у меня должен был кончиться печально — смертью главного героя, мальчишки, раненного в первом же бою, но мне или навязывали другой конец, или же я сам испугался, подчинился шаблону, неверному представлению об «оптимизме»: рассказ завершается выражением надежды, что мальчишка выживет, поправится и снова будет воевать.

Паустовский угадал, я вправду хотел закончить рассказ смертью: именно так случилось с худеньким белобрысым пареньком, который лежал рядом со мною на соломе в колхозном сарае, занятом под медсанбат (сарай редактор переправил на зерносклад — так ему казалось приличней); это было в селе, которое звалось Старый Мерчик, в начале сентября сорок третьего, после освобождения Харькова...

Сюжет, персонажей рассказа Паустовский не стал разби-

рать подробно. Впоследствии я узнал, что так он поступал почти всегда в беседах с литературной молодежью, это был его метод: больше говорить об общих законах прозы, творчества, в тонком психологическом расчете, что автор, если он не глуп, соотнесет все это с собою и сам поймет, как оценить свой рассказ — что у него получилось, что нет, где жизнь, правда, а где фальшь литературности, бессознательные заимствования. А главное — увидит, как писать дальше, не повторяя сделанных ошибок.

Но, слушая Паустовского в зале эртелевского дома, я еще не знал этого, и, каюсь, у меня мелькнуло подозрение, что немногословие в отношении моего рассказа оттого, что Паустовский прочитал его бегло.

Перелистав страницы у себя в комнате, я, однако, убедился, что Паустовский читал внимательно, даже пристрасно, с карандашом в руке, ставил на полях плюсы и минусы против тех мест, которые полагал нужным отметить. Минусов было порядочно, но стояли и плюсы. Один, например, возле абзаца, в котором описывалась горящая сосновая роща, подожженная разрывами артснарядов, то, как языки пламени, сорванные ветром с верхних ветвей, пролетают над дорогой, а по ней, наддавая моторам предельные обороты, несутся бронетранспортеры, и был такой штришок, не придуманный за столом, когда я писал, а взятый из того, что привезла моя память с фронта: пожар уже перебрался через дорогу, и там, «...одеваясь желтым, как дымящийся пух, дымом, горела высушенная летним зноем трава...».

...Бумага под обложкою альманаха сейчас желта от времени, почти как тот дым горящей стерни и травы, что знойным летом сорок третьего года выедал на Харьковщине солдатам переднего края глаза, типографская краска поблекла. Но они и сейчас еще видны на полях, эти деликатные карандашные пометки Паустовского...

12

В эти же недели Паустовский должен был испытать чувствительный удар: появилась статья, направленная против воронежских его рассказов «Мальчики» и «Аннушка». Ее написал местный, воронежский литератор.

Паустовский привык к упрекам. За романтизацию, смелое, творческое, свободное обращение с впечатлениями реальной жизни и не буквальное ей следование, за избыток воображе-

ния, чувства. Спорить с критиками, не понимающими природы и особенностей его дарования, законности таких восприятий и такого изображения, он не считал для себя нужным, видя полную бесполезность каких-либо разъяснений и споров. Но тут против него выступил не критик, а профессиональный писатель, автор нескольких книг с рассказами и повестями, обязанный знать и понимать многообразные законы, приемы искусства, художественного творчества. Это Паустовского заделало уже как-то по-особому, — противником был не глухо-слепой, замороженный догмами законоучитель на час, а собрат по профессии; это казалось недоразумением, ошибкой, в которой следует разобраться для пользы заблуждающегося. И, движимый надеждой на взаимопонимание, Паустовский написал автору критики письмо.

Письмо он назвал «открытым», то есть направленным не только адресату, но и общественности, как высшей судебной инстанции в возникшем споре.

Критика давно уже нет в живых, печатное выступление его забыто, сейчас оно воспринимается лишь как критический курьез. Письмо же Паустовского сохранилось в архиве «Литературного Воронежа». Редкое для Паустовского по остроте выражений при его крайне деликатном обращении с людьми, оно продолжает быть интересным, представляет ценный документ для биографии писателя, ибо в нем четко выражены литературно-творческая позиция Паустовского, взгляды и принципы, которыми он руководствовался в своем писательском деле.

«Я уверен, — писал Паустовский воронежскому критику, — что Вы знаете, в чем заключается сила художественной прозы, что ее создает и что ее двигает. Это — воображение, основанное на реальности. Писатель — не фотограф, и принцип натуралистического изображения действительности не является подлинным искусством.

Только с этих позиций и следует оценивать те два рассказа, которые вызвали Вашу негодующую статью.

Что вызвало это негодование?

1. То, что заповедный лес на реке Усмани назван «последним на границе донских степей». Здесь у Вас — добросовестное заблуждение. Слово «последний» употреблено обобщенно, так как леса Воронежской области (о которых я, кстати, знаю) — последние острова лесов на границе степей. Мне, как писателю, важно передать это ощущение последних лесов,

ощущение внезапного перехода лесов в жаркую и бескрайнюю степь. Чего же Вы хотите? Написать «один из последних»? Вы сами понимаете, что эта точность снимает силу впечатления, какое я должен вызвать у читателя.

2. Пейзаж, на который Вы ссылаетесь, совершенно точен. Вам не нравятся, очевидно, «острова старых усадебных садов». Но — это действительность и с этим ничего не поделаешь. Кстати, Эртелево тоже расположено в одном из таких «старых усадебных садов». Что одиозного в этом пейзаже — непонятно.

3. В чем Вы видите мое желание изобразить колхозную жизнь как убогую и темную? В том, что старик ходит в лаптях? Пора уже отказаться от городского предрассудка, что лапти — признак нищеты. Лапти — очень удобная производственная обувь для крестьян, для полевых работ. Поэтому колхозники (особенно на сенокосе) охотно ее носят. И в Воронежской области я видел многих колхозников в лаптях. Вас возмущает то, что старик спит на сене, — это Вы тоже считаете признаком нищеты. Я не понимаю, зачем Вам в этом Вашем заявлении понадобилось делать некоторую легкую передержку. Старик болен, ему душно на кровати в избе, он переполз с кровати в прихожую, где и лег на сене, — вполне возможная частность, говорящая о болезни, о желании старика лежать на свежем воздухе. При чем здесь нищета? И с каких это пор то, что человек укрывается полушубком от озноба, является проявлением «убогости и нищеты»? Зачем Вам нужны эти натяжки? А они, между прочим, совершенно засорили в Вашем восприятии образ старика (с его глубокой любовью к дочери и напряженным ее ожиданием). Вместо сущности рассказа Вы восприняли только несколько частных, не имеющих большого значения и к тому же неправильно Вами истолкованных.

4. Где противопоставление города и деревни? В чем? В том, что дочь привезла из города старику гостинцы? Зачем внешнюю разницу между городом и деревней (совершенно бесспорную) изображать как противопоставление?

5. Вас возмущает то, что в рассказе говорится о будущем урожае, о «добром лете», тогда как лето 1946 года было засушливым и не сулило урожая. Но я не датирую свой рассказ и вовсе не говорю в нем о лете 1946 года. Откуда Вы это взяли? Из того факта, что, как Вам известно, я был в Эртелево именно летом 1946 года? Но читатель этого не знает, не должен знать, и, наконец, ему это совершенно не нужно знать.

Я пишу вообще о Воронежской области. Рассказы пишутся с обобщением, со взглядом на будущее, и несколько наивно приурочивать действие таких рассказов к какой-либо дате — и приурочивать при этом совершенно произвольно.

6. Теперь последнее — о Никитине. Из всего контекста рассказа совершенно ясно, даже для самого неискущенного читателя, что рассказ о Никитине — легенда, переданная косарем. Он дан не от автора. И ничего порочащего Никитина в этой легенде нет. Народные легенды о наших великих людях очень распространены (в частности, на Псковщине легенды о Пушкине). Они свидетельствуют о живости народной фантазии.

Итак, критикуя, следует исходить из основного содержания вещи, а не из мелочного выискивания кажущихся неточностей. Это — обывательский, а не писательский подход к литературе...»

13

Было бы, наверное, интересно порассуждать о проблемах, затронутых Паустовским в письме, о не стесненном шорами и предписаниями творчестве и педантизме, столкнувшихся в этом споре, но мне не хочется погружаться в рассуждения, более подходящие литературоведам, тем более что жизнь давно уже во многое сама внесла ясность.

В сочинениях, оставленных Паустовским, в его «Книге о жизни» мы можем сейчас прочесть такое признание: «В жизни мне пришлось много действовать. Действие соединялось с жаждой наблюдений, разглядыванием жизни вблизи, как сквозь лупу, и стремлением придавать жизни (в своем воображении) гораздо больше поэтичности, чем это было на деле. От этого она наполнялась в моих глазах добавочной прелестью. Даже если бы я очень захотел, то не мог бы уничтожить в себе это свойство, ставшее, как я понял потом, одной из основ писательской работы».

Может ли быть отрицательной оценка такого обращения писателя с материалом жизни, таких свойств писательской личности, такого творческого метода и его результатов?

«Трудно уметь смотреть далеко, но самое высокое искусство — это уметь видеть рядом и оживлять для человека обыденное, как изумительное и прекрасное, как способное питать душу», — написал Шкловский в статье к семидесятилетию со дня рождения Паустовского.

Вскоре Паустовский уехал в Москву.

Он засобирался внезапно. Говорил, что еще поживет в Эртелевке, посмотрит осень, и вдруг какое-то внутреннее беспокойство погнало его, он объявил, что уезжает.

Уложил чемодан, старомодным утюгом на углях очень ловко погладил на веранде свои светло-серые костюмные брюки, давно уже утратившие складку, измятые на рыбалках, обзеленные о траву спереди и сзади.

Не знаю, с какими мыслями, с какими ожиданиями Паустовский уезжал из Эртелевки.

Тряская тележная дорога на Графскую была не так уж длинна, но всегда казалась долгой, тянучей. Разъезженные колеи, кочковатый луг за Малой Приваловкой с реденьким стадом пасущихся коров, бревенчатый мосток через Усманку; прежде чем переехать, его надо было проверять ногами — такой он был хлипкий, ненадежный... Потом километра четыре сквозь сосновый лес, по узловатым корневищам, по пыльному сыпучему песку, перемешанному с раздавленными шишками и рыжими хвоями...

Но вот это уж точно: ни в каком предчувствии не было у Паустовского, что ожидает его в Москве...

А в Москве его ожидало письмо Бунина, присланное из Франции.

«С юных лет,— оставил Паустовский признание в одной из последних своих книг,— я любил Бунина за его беспощадную точность и печаль, за его любовь к России и удивительное знание народа, за его мудрое восхищение миром со всей его разнообразной красотой... Уже в то время Бунин был для меня классиком».

Прославленный писатель, придирчивый и бескомпромиссно строгий судья, принявший в творчестве эстафету от Толстого и Чехова, как бы от имени двухвековой русской литературы называл Паустовского в своем письме собратом:

«Дорогой собрат! Я прочел Ваш рассказ «Корчма на Брагинке» и хочу Вам сказать о той редкой радости, которую испытал я... Он принадлежит к наилучшим рассказам русской литературы».

Паустовского я увидел только через четыре года, в Ростове-на-Дону, на конференции писателей Юга.

Календарь терял последние листки октября. Обычно в такую пору уже властвует ненастье, но осень в Приазовье выдалась отменная: солнечная, теплая — совсем как та, эртелевская.

Четыре года, казалось, не прибавились к возрасту Паустовского, и не чувствовалось, что ему под шестьдесят. Движения его были легки, в теле совсем спортивная сухость, никакой дряблости, ничего старческого, крепкий загар покрывал его лицо, выпуклый костистый лоб, крупные кисти рук. Выглядел он элегантно: приехал из Москвы в тонком, не нашего покроя и шитья пальто, в зеленой шляпе с укороченными полями.

Мы поговорили об Эртелевке, я рассказал, что на Каменке, между усадьбой и Лаптевкой, строится плотина, создается огромный пруд.

— Да неужели? — с какой-то милой детскостью обрадовался Паустовский.

Пятьдесят первый год был самым разгаром деятельности по преобразованию природы, чтобы избавить сельское хозяйство от засух и неурожаев. Специально созданные лесозащитные станции, оснащенные солидной техникой, закладывали на колхозных полях лесные посадки, строили водоемы, оросительные каналы; на Дону, в районе Цимлянкой, завершалось сооружение гигантской плотины, превращавшей сотни квадратных километров донской поймы в грандиозный водный бассейн.

Полезность мероприятий, что намечал общесоюзный план, была несомненна, доказана опытом и наукой, в плане выразились мечты и желания сельского населения засушливых районов, работы развернулись высокими темпами, с редким энтузиазмом. Но это имело и обратную сторону: как нередко бывает при излишней поспешности, немало трудовых усилий пропадало даром, было истрачено впустую. К примеру сказать, из Лаптевского пруда, как и из очень многих прудов, что сооружались тогда на колхозных землях, ничего не вышло. Мощными бульдозерами, скреперами были передвинуты огромные массы грунта, но сказались неосновательность замысла, отсутствие серьезного расчета. Плотины поставили без прочного замка — без крепкого, долговечного, водонепрони-

цаемого основания, не утрамбовали как надо, водосброс для спуска талой весенней воды оставили незацементированным. Из Никольского приходил продавец сельпо, самоучка-изобретатель, смотрел, как вгрызаются в берега ножи мощных С-80, как двигают они на плотину бугры глины высотой в крестьянский дом, и вместо восторга от техники и размаха строительства только сокрушенно, жалеючи труд и затраты, качал головой.

— Вы бы хоть у старых людей поучились... Как они делали. Вон в Никольском сто лет плотина стоит. И пруд всегда чистый, не мелеет. А почему? Водосток под плотиной, у дна. Откроют его по весне — и лишняя вода сходит, а зараз со дна уносит всю муть, пруд очищает. А у вас, во-первых, такой водослив размоет враз, а второе — какой с него толк, он же для одной верховой воды. Пускай даже плотина устоит — два, три года, ну, пять от силы, — и заилится пруд полностью, не станет его...

Хромой сельповский продавец оказался умнее торопливых техников и инженеров. Вышло так, как он предсказывал: в первую же весну полая вода размыва неукрепленный водосток, утащила с собою тысячи кубов грунта. Пруд весь ушел, Каменка ниже его полностью пропала, погребенная под наносами, и теперь там, где «боролись с природой», только печальный памятник неумелым «борцам»: высоченная, ни на что не годная насыпь и разрезающий ее глубочайший овраг; подойдешь к краю, заглянешь — голова закружится...

Паустовский вспомнил про Усманку, про последнюю нашу рыбалку у моста — не забыл! — когда в сумерках подступающей ночи таинственно и страшно по неизвестной причине поднималась в реке вода, затапливая наш крохотный островок, и так же неизвестно почему, добавляя таинственности, как никогда дружно, один за другим, шли на крючки молодые окуни.

Путь на Усманку помнился ему так отчетливо, будто только вчера ходил он к ней в последний раз — тропинкой через клеверное поле, мимо обгорелого стога, вдоль железнодорожной насыпи...

— А помните, — спросил он, — когда поле подняли под зябь и запахали тропинку, как приходилось нам переть по шпалам?

Он так и сказал «переть», с мальчишеским блеском в глазах, как бы заново переживая удовольствие прошлых путешествий.

Я умышленно подчеркиваю эту маленькую языковую деталь. Некоторые, наверное, представляют, что Паустовский, так много и горячо ратовавший за чистоту литературного языка, в своей разговорной речи был пуристом, держался эталонного салонно-изысканного стиля. Совсем это не так. Паустовский не гурманствовал в языке, жизнь, скитания позволили ему узнать языковое своеобразие всех слоев народа, разных областей обширной России, ухо его слышало и как говорят портовые грузчики в Одессе, и на каком наречии общаются жители северных заонежских деревень, он не чуждался просторечных слов и оборотов и зачастую для выразительности мог употребить что-нибудь такое из одесского или матросского словаря, что иной щепетильный слушатель, полагающий, что писатель должен разговаривать не иначе, как светские тургеневские дамы девятнадцатого века, внутренне весьма бы поехился...

Из собравшихся в Ростове писателей многие были увлечены развернувшимися в стране работами по реконструкции природных условий, старались внести и свой вклад: одни уже кое-что написали об этом, другие готовились писать. В газете я читал интервью с Паустовским, где говорилось, что он хочет создать книгу, подобную «Кара-Бугазу», в той же стилистической манере, что для этого он ездил на стройку Волго-Донского канала и книга эта уже почти закончена.

— Да, это так,— подтвердил Паустовский.— Назвал «Рождение моря». Все лето сидел,— сказал он отчасти с гордостью за свою усидчивость, писательскую оперативность — за три месяца одиннадцать печатных листов, отчасти с оттенком некоторого сожаления, что стороною прошло лето, самая пора отдыха, далеких и близких путешествий, рыбалок.

Тут же, по своей любви и одесской привычке ко всякого рода анекдотам, Паустовский рассказал случай, который произошел с ним на Волго-Доне. Ради технической информации пришлось посетить одного начальника.

— Здравствуйте,— сказал Паустовский, войдя в кабинет.— Я из Москвы, писатель. Моя фамилия Паустовский.

— Так. Ну и что? — спросило начальственное лицо, не отрываясь от бумаг.

Паустовский слегка опешил от такого приема.

— Вы разве ничего не читали из написанного мной?

— А вы мне ничего и не писали,— веско ответил начальник.

Конференция собрала редкое множество участников. Шумные встречи давно не видевшихся друзей, суета размещения в гостиничных номерах, торжественное открытие в переполненном зале. А потом несколько дней неспешная работа по секциям, обсуждение произведений.

Я был гостем, «обсуждению» не подлежал, мог тратить свое время как угодно, присутствовать на любом семинаре, по выбору.

Группа у Паустовского была небольшой, человек шесть. Молодыми «семинаристов» было не назвать, по возрасту это были уже зрелые люди, от тридцати и выше, успевшие много повидать, с очень своеобразными, даже необычными биографиями. В литературном же деле почти все были молодыми, малоопытными — не больше, чем с одной книгой, а кое-кто и без книги, с рассказами в журналах или еще только с рукописями.

Два слова о манере Паустовского руководить обсуждением творчества молодых литераторов.

В разное время, участвуя в творческих семинарах, мне пришлось наблюдать в роли руководителей многих писателей, и должен сказать — редко еще у кого бывала такая атмосфера равноправия, коллективной работы, коллективного анализа, как у Паустовского. Большинство руководителей свою главенствующую, учительскую роль вольно или невольно исполняло по-чапаевски: «На все, что вы тут говорите, наплевать и забыть, слушайте, что буду я говорить!»

У Паустовского не было резкого разграничения на учеников и учителей, ничем не подчеркивал он своего преобладающего опыта, знаний. В ходе каждого обсуждения почти до самого конца роль его была чисто организационной: короткой информацией об авторе и его произведении Паустовский лишь начинал беседу, а затем как бы отступал в тень, давая рядовым участникам полную свободу высказывать свои впечатления, спорить, искать истину. Каждое мнение имело одинаковое право на то, чтобы быть выслушанным, подразумевалось, что в отыскании истины все равны, все мастеровые одного цеха, все подданные одной державы — литературы, у каждого, независимо от стажа, опыта, успехов, количества напечатанного, есть чем поделиться с другими, в каждой точке зрения всегда

найдется такое, что обогатит других, послужит другим в науку.

И такая методика оправдывала себя вполне: если не литературными навыками, то жизненными впечатлениями у участников семинара всегда происходил щедрый, ко взаимной пользе, обмен.

Паустовский неспроста создавал обстановку для таких разговоров: он не уставал повторять, что писателю нужно знание разнообразных сторон жизни, общение с людьми всевозможных профессий, с людьми, много повидавшими и испытывавшими, и когда такие разговоры начинались, он при всех тех богатствах, которыми владела его память, тоже зажигался увлечением и слушал жадно, даже с заметной глазу завистью — что это все видел, пережил кто-то другой, а не он сам.

Книги и рукописи, подлежащие обсуждению, были прочитаны Паустовским заранее. На столе перед ним лежали листки бумаги с набросанными заметками, и в ходе обсуждения Паустовский без очков, низко склонясь над столом, почти воткнувшись лицом в бумаги, карандашом вычеркивал из своих листков мысли и замечания, сходные с теми, что высказывали выступающие. Часто оказывалось, что участники семинара так или иначе, но коснулись всего, что приготовил для автора Паустовский, и ему оставалось только подвести краткие итоги и высказать автору пожелания на дальнейшее. И вот эти-то заключительные слова сплошь и рядом превращались в монологи, насыщенные бездной всевозможных примеров: о природе и психологии творчества, о писательских «секретах», о том, чем нужно обладать писателю, как развить в себе эти качества, каким выразительным может быть слово, если оно удачно найдено и точно употреблено. Можно ли прочесть получасовую лекцию о союзе «и»? А Паустовский, натолкнувшись на что-нибудь в рукописи, мог, — опять же с примерами из разных писателей, цитируя по памяти, так и этак наглядно показывая, какая сила и какая слабость заключены в этом незначительном «и», как может окрепнуть, усилиться фраза, если умело распорядиться ритмом и музыкой этого звука, и как может фраза ослабеть, размягчиться, а мысль потерять мускулистость, собранность, энергию, если оставить «и» там, где оно не нужно, где не положено ему стоять.

Первый свой большой монолог, местами даже в очень гневном тоне, Паустовский произнес против омеханичивания в литературе человека. Разговор же об этом возник по поводу

того, как изображены в одной из книг бойцы и главным образом центральный персонаж — комиссар.

— Механизация человека, обеднение его души, психологии — страшная вещь! — так начал Паустовский, от волнения даже слегка астматически задыхаясь. — Такие люди — это не люди, это мертвые схемы, говорящие по готовым тезисам. Существование в литературе механического робота, который к тому же превращен как бы в образец для других писателей, — большая вина тех, кто его создал, и горе для читателей. Нельзя все разнообразие человеческой души, психики, все богатство внутренней жизни сводить к убогой, примитивной схеме. Мы должны запечатлеть своего современника, а разве наш современник — это механический робот? Схема, как всякая схема, потому что она несложна, сама дается в руки, заразительна для других, обладает повышенной приживаемостью и начинает кочевать по рукописям и книгам. Вот бойцы нашего молодого автора. Сколько бойцов видели вы своими глазами? А в книге не те, что воевали с вами рядом, а фальшивые, неживые схемы, перекочевавшие из посредственных и просто плохих книг. Вы их читали, критика их хвалила, и вы невольно равнялись на эти книги как на образец. Вот там, где вы писали самостоятельно, как видели сами, — там у вас хорошо: как бойцы едят, перематывают портянки. Но хорошо только до той минуты, пока они не открывают рта. А когда открывают, все они оказываются на одно лицо и начинают изрекать вещи, известные грудным детям. Смотрите, они у вас не произносят ни одного худого, «неправильного» слова. А боец иногда выругается, и в этой его ругани больше смысла и понимания обстановки, чем в велеречивых тирадах. Когда пишете, читайте самому себе вслух, тогда скорее и легче поймаете фальшь. С приятными персонажами хочется встретиться, увидеть их воочию, как живых. Читая Толстого, все время хочется встретиться с Пьером, князем Андреем. Поделиться с ними своими раздумьями, послушать их, спросить совета. С вашим комиссаром хочется встретиться только затем, чтобы снять его с должности — чтобы он не ходил больше и не говорил так скучно, такие прописные истины. По замыслу вашему он должен вливать в людей бодрость, энергию, а он вливает только тошнотворную скуку. Речи его для бойцов, их душ и сердец, не живая вода, а мертвая, от них все в человеке съедается, увядает. А ведь в жизни, вероятно, у этого комиссара был прототип, и он не был таким, от его появления мухи не дохли!

— Нет, конечно! — вместе со всеми засмеялся и раскритикованный автор. Сконфуженный «поркой», он сидел, весь залитый густой краской. В лице его было полное согласие с Паустовским. Все, что тот говорил, нутром он чувствовал и сам, когда писал свою книгу, да, как это часто бывает с начинающими, не хватило писательского мужества, свободы духа и мысли довериться своему внутреннему «компасу», не мешать ему холодной рассудочностью, оглядками на уже существующее.

— Вот видите! — горячо сказал Паустовский. — И убежден, если бы вы покопались в памяти, припомнили бы поточнее его характер, привычки, манеры, особенности языка, бросили хотя бы десяток этих подлинных черточек в книгу — сейчас перед нами был бы живой, ни на кого не похожий человек, настоящий комиссар... А вы пошли не за жизнью, а за литературной схемой, подпали под гипноз шаблонов...

Было бы, наверное, длинно продолжать дальше. И уж конечно было бы длинно пересказывать подробно все, что говорилось Паустовским в ходе работы семинара. Чтобы не «размазывать», я остановлюсь только на самых общих его мыслях, бегло перелистаю страницы сохранившегося блокнота.

— ...Это несомненная ошибка — требовать от писателя вещей, которые ему чужды. Писателя влечет исторический материал, а ему говорят: сейчас надо о колхозе, заводе... Писатель, допустим, поэт, романтик по складу своей натуры, дарования, а ему говорят: надо ходить по земле, а не летать по воздуху... А другой — бытовик, человек сугубо земной, весь нагруженный знанием текущей жизни, забот и хлопот простых трудящихся людей. В этом — его сила как писателя, такой у него глаз, такая устремленность сердца, другим он не может быть. А его отвергают: дескать, «приземленность», «бескрылость». Одному летать не дают, другому ходить не дают, а в общем абсурд, обезличивание, солдатская стрижка, унификация дарований...

— ...Читателя нужно все время держать в строгих берегах повествования, вести к цели — к итогу того, что хотите ему рассказать, к тому последнему впечатлению, которое хотите вызвать, оставить. Мысль о несамостоятельности автора, о заимствовании хотя бы мелочи разрушает плен искусства. Вы написали: море было большое... Но это фраза Чехова. Доверие к вам нарушено, читатель выпал из ваших рук. Своих

образных средств у писателя в запасе не так уж много. Память в процессе писания все время подсказывает чужие понравившиеся образы, эпитеты,— словом, читанное, ставшее штампами. Необходима борьба с шаблоном у самого себя. Полезно перечитать свою рукопись в целях строгого контроля: вычеркнуть все штампы. (Реплика: «А если ничего не останется?») Что ж, это тоже нужный результат, горький, но правдивый: значит, как писатель вы не существуете...

— ...Благополучный язык. Он встречается все чаще. Редакторы его любят: не надо править. Иногда, заблуждаясь, его называют «чистый литературный язык». А он просто дистиллированная вода. Для чего же жил Пушкин и все наши великие предки, которые создали яркий, богатый русский язык? Так думаю я всегда, когда встречаю тошнотворно приглаженную прозу. Органическое чувство языка никогда не позволит поставить в рукописи мертвое слово. Надо выработать в себе это органическое чувство. Ищите бывалых людей, говорите с ними. Языковые богатства рассыпаны не только в художественной литературе. Ищите их в литературе научной, в справочниках. Лощи. Это — фольклор. Они писались десятилетиями, поколения моряков вносили в них изменения, прибавляли к ним свое. По лощиям можно изучить язык различных эпох...

— ...Писательская биография — великое дело. Если ее нет, ее надо создавать. Насыщать свою жизнь впечатлениями и событиями. Ведь автор пишет о том, что он знает, что он видел, пережил,— даже в исторических романах. Кстати, о романах. Романы писать легче. Молодых писателей я толкаю на писание коротких рассказов. Это — школа мастерства. Каждый рассказ должен быть посвящен одной теме и одному эпизоду. Вырабатывается чувство композиции. Молодой автор постигает роль детали, учится создавать обстановку экономными средствами...

— ...Автор должен любить своих героев, но не должен ими открыто восхищаться. Такой автор мешает читать книгу. Не надо так много красивых, широкоплечих. Читая, я начинаю тосковать по обыкновенному человеку — курносому, застенчивому, не знающему, что такое «работать на публику», говорящему без восклицательных знаков.

— ...Вещь должна быть написана искренне. Состояние писателя, с которым он пишет, читатель всегда почувствует. Почувствует и фальшь, если не от души. Надо знать материал, из которого строишь книгу. Если автор видит точно, всегда

точно увидит и читатель. А если знания автора приблизительны, то и у читателя в глазах туман...

— ...Я против записных книжек, потому что считаю, что основа литературы — это воображение и память. Когда вы берете фразу из записной книжки и вставляете в текст, который пишется уже в другое время, при другом вашем настроении, — она сразу жухнет и умирает. Записные книжки я признаю только как жанр.

— ...Книга написана иллюстративно: была тема, был план — и вот иллюстрация к каждому пункту плана. Вопрос о планах очень любопытный, серьезный. Существует много канонов, предрассудков. Например: каждое произведение требует точного плана. Но если люди в произведении живые, они ломают план. Татьяна, к удивлению Пушкина, вышла замуж, хотя это не было предусмотрено планом. План не дает возможности вводить новых людей, все то, что возникает в голове во время писания; короче — план сковывает, связывает. Но это дело индивидуальное. Есть писатели, которые совершенно не могут без плана: затеряются эти бумажки — и писатель как заблудившееся в лесу дитя...

— ...Нужно помнить о внутреннем соответствии материала, теме. Писатель, который пишет о молодежи, должен быть молодым. О первой любви нельзя писать под бременем годов. («Но Бунин же написал!») Бунин! Бунин — гений, гении могут все, а мы писатели обычные...

— ...Какие задачи выполняет писатель своими книгами? Самые различные. Пробудить любовь к профессии — это тоже задача, и задача благородная. Для многих людей — это указание друга: куда, в каком направлении устремить свою жизнь. Профессий множество, а книг, зовущих людей к труду, соблазняющих их поэзией труда, пока еще очень мало, несмотря на то, что как будто только о труде мы и пишем... Вот эта вещь (повесть Маргариты Мигуновой «Степная глушь». — Ю. Г.) написана так, что когда вы ее читаете, вам захочется немедленно участвовать в труде, в работе на комбайне. Штурвальный говорит о машине как о живом существе. Комбайн, машина — и та стала действующим лицом. В повести нет умиления, но есть хорошее удивление перед теми вещами, которые описывает автор. Чтобы хорошо писать, надо иметь детский взгляд, видеть все так, как будто видишь в первый раз. Автор это умеет. У нее — непосредственность впечатлений, и она это умеет передавать. Вот так — неповторимо и неподражаемо — умел Пришвин. Под Москву, на речку Дубну,

он ездил будто в экспедицию на неизведанную землю. Горе для писателя, если окружающий мир становится для него привычным и глаза его потухают. Это потеря связи с миром, это конец писательства... Я знаю, напечатать эту повесть автору помог Павленко. А критики ее изругали. К сожалению, у критиков для ругани все еще находится больше слов и больше энтузиазма, чем для похвалы...

— ...Писатель призван к своему делу данным ему природою талантом, как на действительную службу, и от этого не уйдешь. А раз это так, надо отдать этому целиком всю жизнь. Писательская работа накладывает на нас огромную ответственность. Мы наследники культуры прошлого. Мы должны выразить свое время, свою эпоху, запечатлеть нашего современника. И все это — передать дальше, в будущее. Мы отвечаем не только перед своим поколением, через свои книги мы будем говорить с людьми будущего. Мы будем свидетельствовать обо всем, что было при нас, о всех победах и свершениях, о всем, что несло в себе наше время, о всех его величественных, героических и трагедийных чертах. Мы должны показать все хорошее, что было при нас сделано и достигнуто, и ни о чем не умолчать, так как любое свидетельство, чтобы таковым называться, должно быть всесторонним и правдивым. Хочу подчеркнуть это еще раз — нашу моральную ответственность и то, что мы должны быть достойны своей задачи...

19

— Вы видели последнюю фотографию Грина? — этот вопрос задал мне Паустовский в Ялте, уже много-много лет спустя после Эртелевки, Ростова, коротких встреч и бесед в Москве.

Крымская весна была в самом нежном начале, когда солнца и света больше, чем тепла. Розовато-дымчато цвел миндаль, сады на склонах гор походили на пушистые облака. Яйлинская каменистая гряда снежно сверкала, плотный студеный воздух стекал с нее вниз, к морю, разгонисто проносился по склонам. При его накатах свистели ветви голых дубов в саду литфондовской дачи, раскачивались и гибались на кипарисах венчавшие их тонкие, остроконечные кисточки.

— Без этой фотографии Грина по-настоящему нельзя почувствовать, — сказал Паустовский. — Представьте, больной, высохший Грин лежит в постели, а поверх простыни сложены его руки, длинные, сухие... огромные кисти в жилах и венах, узловатые пальцы переплетены, как корни могучего дерева. На фотографии есть и его лицо, но настоящий его портрет не

лицо, а вот эти руки... В них повесть всей его жизни, по ним видно, какой непосильный груз пронес он на себе, сколько грубой, тяжелой работы пришлось ему переделать, как много эти руки написали... Я вам пришлю эту фотографию. У меня есть несколько копий. Мне подарила его вдова...

Фотографию он не прислал. Забыл.

Руки Грина я увидел много времени спустя, когда уже не было в живых Паустовского, побывав в Старом Крыму, в маленьком музейчике, открытом Ниной Николаевной Грин.

Да, фотография способна поразить, остаться в глазах навсегда... А руки Грина вызвали у меня в памяти руки самого Паустовского. Нет, они не были близко похожи, но все же в них было сходство, нечто общее; казалось, их выковала одна наковальня, та не знающая жалости и снисхождения наковальня тяжелого мускульного труда, что формирует руки моряка и рабочего, наковальня пожизненной писательской работы, тысячи написанных страниц...

Вслед за словами о последней гриновской фотографии Паустовский стал рассказывать о своем пребывании в тридцать четвертом году в гриновских местах — Севастополе, Феодосии, Старом Крыму, — когда он задумывал и писал «Черное море». Это была «гриновская полоса» в его жизни. Потом были другие полосы, другие увлечения, и вот теперь, на склоне жизни, к нему как бы вернулась его старая страсть; о Грине и его рассказах он говорил юношески просветленно, мог говорить долго, без усталости, — «Гринландия» снова явственно влекла его к себе...

Но это были уже не прежний интерес и прежняя любовь. В этой тяге было уже что-то другое, грустное, предрасставанное: так тянет в заветную страну молодости, к чистым ее родникам, когда стрелки на циферблате жизни готовятся уже замкнуть круг...

Когда бы, о чем бы ни рассказывал Паустовский, всегда это действовало зазывно-соблазнительно: звало в дорогу, в путешествие, или же к хорошей книге, или же в чью-нибудь выдающуюся биографию — полюбить сильного и замечательного человека.

Мне тоже захотелось в «Гринландию», захотелось перечитать знакомые рассказы Грина, его «Автобиографическую повесть», — перечитать по-другому, не как раньше, а как требует этого уже зрелый возраст — не ради сюзжетов, острых и необычных, а ради той мудрости, что от безграничного богатства мысли, ума, как бы даже небрежно, походя, без осознания ее

ценности, рассыпана по страницам гриновских книг и стала причиной того,— именно она, а не пресловутая сюжетность,— что Грину оказалось не страшным быстротекущее время с его беспощадно действующим забвением.

Я взял в библиотеке томик гриновских рассказов. Чистенький, незатрепанный, не заслуживший на уголках страниц — как в любой общественной читальне. Писатели, приезжающие в ялтинский Дом творчества, берегут время для работы, и книгам, имеющимся к их услугам в библиотеке Дома, не угрожает быстрый износ...

Но кто-то этот томик все же читал. В середину его были вложены закладки — узенькие полоски бумаги. Может быть, Паустовский? Живя в Ялте, он постоянно передавал библиотекарше записочки, что ему подобрать, и книги в его комнату носили тяжелыми стопками.

Я открыл, где открылось,— одну из заложенных страниц,— прочитал:

«Беззащитно сердце человеческое. А защищенное — оно лишено света, и мало в нем горячих углей, не хватит даже, чтобы согреть руки...»

20

Здоровье у Паустовского уже сильно сдало. По-прежнему его влекло странствовать, хотя бы в малых пределах — поехать в Дом Чехова, в Гурзуф, в массандровские пещеры, где хранится вековое вино, на вершину Ай-Петри, к зубцам, что все еще огненно горят, когда солнце уже скрылось в море и весь остальной горный хребет окутан сиренево-серым сумраком. Но перетруженное сердце лишало его радости общения с миром, свободы, делало пленником кровати, комнаты, парковых дорожек, на все его порывы и желания накладывало запрет, ограничения. Даже если ходить, то медленно и недалеко, разговаривать — недолго и только о таких вещах, которые не могли бы разволновать, огорчить, вывести из душевного равновесия.

В руках у Паустовского теперь постоянно была перетянутая резинкой коробочка с пульверизатором и противоастматическим составом, привезенным из Франции. Когда удушье перехватывало дыхание, он вдвух в горло одну-другую шипящую струйку, и дыхание через несколько мгновений возвращалось.

Он любил бильярд и, когда чувствовал себя сносно, приходил в бильярдную, брал кий. Профессионально мелил его,

ложбинку на левой руке между большим и указательным пальцем. Ему уважительно предоставляли право первого удара. Однажды он прицелился, щурясь, но не ударил, поднял кий и, как бы печально иронизируя над самим собой, сказал:

— Вы думаете, я вижу эту пирамидку?

При каждой малейшей возможности, даруемой ему сердцем, если набиралась хоть горсточка сил, он старался улизнуть из-под медицинского присмотра, из-под опеки членов своей семьи и хоть полчаса, но провести так, как ему хочется, не помня о режиме, лекарствах, врачебных запретах и предуждениях.

И если это удавалось — в какие неожиданные места он забирался! На оконечность мола, к маяку, на зверское хлестанье ветра — посмотреть, как будет входить в порт утробно урчащая дизелями «Россия», на шумный, многолюдный базар, в ряды, где какие-то старцы, знахари не знахари, представители народной «травяной» медицины, продают непонятные корешки, уверенно обещая быстрое исцеление от разнообразных болезней, в холодные кладовые краеведческого музея, где стоят скифские брюхатые курганные бабы и недавно появился редкостный древнегреческий пифос — сосуд для воды и засолки рыбы, найденный в окрестностях Ялты...

На ялтинской набережной, в конце ее, там, где она переходит в приморский парк, стоит старых времен гостиница «Ореанда». При ней — кафе, в которое надо подниматься по внешней железной, гулко гудящей под ногами лестнице. Кафе как бы висит над береговой полосой, над пенной белизной прибоя. Во всю ширь окна — море, каждый раз по-новому окрашенное, с размеренным, неторопливым движением увенчанных седыми гривами валов, взявших свое начало бесконечно далеко — у турецких берегов. Ветер треплет жесткие веерные листья пальм, клочья войлока на зазубренных стволах; на горизонте в мгlistой дымке — трехмачтовый парусник. Учебный, для одесских курсантов мореходной школы.

Капелька воображения — и, сидя за чашкой кофе у окна, можно перенестись на любые долготы и широты, увидеть себя где угодно — в Марселе и на Гаити, на набережной Пирея. Можно вообразить и другое — что живешь столетие назад, когда Ялта была Джалтой, маленьким белым селеньицем на склоне массандровской горы, с церковной колокольней, слышнейшей еще и маяком, а у береговых камней в таком же вот прибое качались на якорях рыбацьи лодки с бедными заплаканными парусами, а за камнями и пеной, на глубине рейда,

вздымали ввысь свои тонкие мачты романтические бриги и баркентины с флагами далеких стран за кормой.

Можно вынести себя вообще за границы реального и переместиться в гриновский Зурбаган или Лисс. Ялта легко может быть чем угодно,—недаром ее так любят киношники, и все экзотические фильмы, в том числе и про пиратов «Острова кровищ», накручены в ней и в ее окрестностях.

Приморское кафе, в котором смешались запахи крепкого трубочного табака и морской соли, апельсинов и тут же зажариваемого кофе, в котором не диво услышать английскую или французскую речь иностранных туристов, для каждого, в ком есть живое чувство, кто способен перешагнуть за черту обычного,—это как бы корабль, путешествующий в пространстве и времени, и именно из-за этого его свойства, чувствуя его и ценя, вероятно, и любил приходить сюда Паустовский.

Нарушая наложенные запреты, он уединялся здесь с кем-нибудь из близких себе по духу и настроению людей. Чашечка черного пахучего кофе, у собеседника еще и рюмка коньяку... Синий берет Паустовского небрежно брошен на стол, идет неторопливая беседа, ее тема почти всегда одна: сила, звучность, великолепие слова...

Положенная на стол рука Паустовского протянута вперед, к собеседнику, ладонью вверх, широкая ладонь раскрыта. Паустовский как бы держит на ней слова, что достал из своей памяти, показывая собеседнику их цвет, их зримый облик, их весомость. Это его наслаждение, одна из последних, еще доступных ему радостей: вспоминать стихи, что были когда-то читаны и с юности оставались с ним, как образцы той высоты, какой способно достигать мастерское владение мыслью и словом, самым звуком русской речи. Память уже не та, от иных стихов уцелели только строфы, строчки, но все равно это богатство, россыпи драгоценностей, собранные тонким и точным вкусом, строгой взыскательностью; даже одна какая-нибудь рифма, один какой-нибудь эпитет,—но в них пронзительная сила, как в ударе колокола, свете молнии...

В такие минуты, случайно обнаружив в кафе Паустовского, лучше было не подходить к нему, не разрушать магию, волшебство поэзии, царившей за столом,—лучше всего было сесть где-нибудь в стороне и смотреть и слушать издали...

— А помните? — глуховато, с хрипотцой спрашивал Паустовский у собеседника и неторопливо, сам первый вслушиваясь в ритмику, музыку стиха, произносил несколько строк, как бы слово за словом кладя на свою широкую, протянутую ла-

донь: — «...А небо так нетленно-чисто, так беспредельно над землей...» Или вот это, помните, тоже из Тютчева... «Назло людскому суесловью, велик и свят был жребий твой...»

21

Каждый шаг давал ему возможность убедиться, как известно и популярно его писательское имя, его книги. К нему тянулись люди, казалось бы, невозможно было пожаловаться на недостаток внимания, заботы, жизненного устройства, нужного писателю. Однако же при всем этом чувствовалось, угадывалось, что в жизни его нет настоящего, желанного ему уюта, что окружает его ненужная, обременительная суета, мешающая его работе, его сосредоточенности, размышлениям и на пустяки расхищающая его время, которого у него осталось уже так мало.

— Работать негде...— однажды, страшно удивив меня, пожаловался он.

Я спросил: а в Тарусе? Ведь там у него дом на обрыве над Окой, стало быть — уединение, тишина...

— Да, там у меня для работы есть комната. Но все заходят...

В Ялте, которую он любил, к которой привык и куда приезжал обязательно каждой весной, в марте — апреле, чтобы избавиться от вредной ему московской слякоти, туманов, у него тоже не было покоя и уединения. Ему бессовестно надоедали, прося прочитать книги, сказать свое мнение, познакомиться с рукописью, написать в издательство рекомендательное письмо. Другие просто докучно толклись около, если он выходил подышать, увязывались сопровождать на прогулках, теснились у его обеденного стола — поговорить, послушать, очень часто из одного лишь тщеславного желания числиться в «близких знакомых» Паустовского и потом в кругу приятелей пересказывать, как он о чем отзывался, как что оценил, рассказанные им эпизоды, истории. Деликатно и застенчиво, — если страдая, то молча, про себя, — он терпел всех, и тех, кто искал в нем поддержку для своих отношений с издательствами, и просто говорунов, растративших свои жизни, свое время на болтовню друг с другом и все только собирающихся что-то такое написать...

22

Однажды у него были серые губы, неподвижно, тяжело, как неживая, обвисала кожа лица, резко чернели глубокие складки по сторонам рта. Он был среди людей, но в одиночестве: су-

мрачно замкнут, погружен в себя. О чем должно было ему думать? Просилось естественное движение — отвлечь, оторвать его от себя, и я сказал что-то неуклюжее, бледное, — потому что нет в человеческой речи слов нужного при таких случаях смысла и звучания, — что-то с жалкой потугой ободрить его, заверить, что ему еще долго жить и работать...

— Нет, это все скоро кончится... — откровенно и просто, с полным бесстрашием, не принимая фальшивых надежд, ответил Паустовский.

Однако он ошибся. Кончилось еще не скоро, а главное — не легко: мученичеством, медленным, растянувшимся на долгий срок угасанием — при беспощадно ясном сознании, способном до последнего часа беспощадно ясно все понимать и оценивать...

Когда пришли газеты с траурной рамкой вокруг его портрета, я кинулся на вокзал: ехать в Москву, увидеть его в последний раз.

Было лето, июль, после экзаменов разъезжались студенты, билеты были распроданы на десять дней вперед.

Я безнадежно потолкался у касс, разыскал кабинетик дежурного по вокзалу. Он сидел под вентилятором, в духоте, замороженный, издерганный. У него уже перебивали сотни людей, и каждый просил, умолял, требовал билета.

Но на столе у дежурного лежала газета, раскрытая на странице с траурной рамкой...

Я не разобрал его отрывистых начальственных слов, сказанных по селектору кассирше.

Пробиваясь сквозь плотную толпу к окошечку кассы, за которым меня ожидал билет, я вдруг остановился. Понял, почувствовал, что брать его не надо. Не надо ничего этого делать: ехать в Москву, видеть мертвое, не похожее на *его* лицо, гроб, утопающий в ритуальных цветах...



К. Г. Паустовский на Южном фронте. 1941 г.

Н. КРУЖКОВ

НА ЮЖНОМ ФРОНТЕ

Это было более тридцати лет тому назад, в жаркие летние дни. Горячее марево висело над Одессой. Город еще жил мирной жизнью, торговали в магазинах и на базарах, по вечерам одесситы гуляли, сидели на лавочках в скверах, шумно обсуждали текущие события, но уже тревога все сильнее и сильнее разливалась по городу: фронт приближался с жестокой неотвратимостью. 22 июля Одессу бомбила фашистская авиация. На Пушкинской улице израненные деревья стояли обнаженные, с засохшими листьями и поломанными ветвями. В дом, где когда-то жил Пушкин, угодила тонная фугаска. Редакция фронтовой газеты «Во славу Родины» перебралась на Большой Фонтан, море было от нас в нескольких шагах. Город ошетинился зенитными орудиями. Воздушные тревоги стали неотъемлемой и постоянной принадлежностью нашего бытия. В это время и появился у нас Константин Георгиевич

Паустовский. Прибыл он к нам из-под Тирасполя, где был в командировке от ТАСС. Про это время Сергей Михалков писал в одном из своих шуточных «внутриредакционных» стихотворений:

В степи под Одессой
Не так интересно,
В степи под Одессой
Бомбят...

Константина Паустовского редакционный коллектив встретил с большой радостью и приязнью. В газете с первых дней войны трудилась немалая писательская группа — Борис Горбатов, Сергей Михалков, Илья Френкель, Владимир Поляков...

Я увидел Константина Георгиевича в военной гимнастерке, в сапогах, на голове у него красовалась выдавшая виды пилотка. «На вооружении» у него были еще каска и противогаз в брезентовом чехле. При всем том он сохранял вполне гражданский вид — знаков различия Константин Георгиевич не имел. Что-то стойко штатское было во всем его облике, что-то неистребимо домашнее — от Лаврушинского переулка, от привычного кабинета, заваленного книгами. Он оказался старше нас всех, ему уже было в ту пору пятьдесят лет или около того.

Паустовский поселился с нами в редакционном общежитии, ему уступили койку получше, поудобнее, и он сразу, легко и просто вошел в редакционную жизнь: был он человеком покладистым, легким, добродушным, любящим и понимавшим острое словцо. Часто на его лице появлялась слегка ироническая улыбка и срывалась с губ шутка. Казалось, что трудности и невзгоды времени он переносит легко, но это только казалось: Константин Георгиевич любил Одессу, и терзания города, который он знал веселым, несколько легкомысленным и жизнерадостным, мучили его. Где-то в чехле от противогаза у него находилась потрепанная записная книжка, в которую он заносил заметки и все, что приходило в голову, — книжка была изрядно ветхой, видимо, достаточно долго служила хозяину.

Его появление в коллективе газеты «Во славу Родины» как-то неприметно и вместе с тем совершенно явственно повысило тонус редакционной жизни. Невозможно было писать плохо или даже средне: требовалось писать хорошо, по мере своих сил и возможностей, разумеется... Даже наша тогдаш-

няя зеленая молодежь — лихие, беззаботные политруки, целыми неделями пропадавшие на переднем крае, — и те невольно подтянулись и, когда возвращались в редакцию, садились за стол и тщательно писали на длинных листах газетного «срыва» — диктовать машинисткам «с ходу» стало считаться неприличным.

Константин Георгиевич любил выезжать в воинские фронтовые части вместе с нашими молодыми сотрудниками. Обычно перед выездом редактор газеты полковой комиссар Погарский вызывал к себе такого сопровождающего и сурово предупреждал его: «Смотрите у меня, следите, чтобы чего-нибудь не случилось, не суйтесь куда не следует». На что политрук, вытягиваясь по-военному, козырял и говорил: «Есть, товарищ полковой комиссар, будет сделано».

Три очерка опубликовал Константин Георгиевич в газете «Во славу Родины» — «Рассказ бойца Петренко», «Боец Садыков» и «Разведчик Волков». От них пахло пороховым дымом, в них ощущалась суровая подлинность фронтовой жизни. Какие-то точные, удивительно ясно увиденные детали, острая зоркость взгляда и несравненная прелесть языка резко выделяли их из остального газетного материала. Паустовский и в этих очерках, написанных на скорую руку, «с пылу, с жару», оставался самим собой. Его работы украсили газету и остались в сердцах у ее читателей.

Мне запомнилась одна из задушевных бесед с Константином Георгиевичем под густой акацией — деревом, так любимым одесситами. Обстановку вокруг трудно было бы назвать лирической. Был очередной авиационный налет. Где-то вдали слышались разрывы бомб. Совсем рядом бухали зенитки. Особенно гулко выделялись голоса морских зенитных орудий, стоявших неподалеку от редакции. Константин Георгиевич говорил:

— Я люблю города, не похожие на другие. Каждый город, как и человек, должен иметь свой, только ему присущий облик. Мне дороги Киев, Москва — и вот Одесса. Она мне напоминает красивую женщину, нежную и ласковую. И очень больно видеть ее страдания. Мне дороги леса Подмосковья, — когда бродишь по их тропам, сладко щемит сердце; радостны просторные донские степи — там пахнет чабрецом, полынью, а вокруг Одессы все пахнет морем, его дыхание огромно... Нет, не верю, что немцы займут ее, не могу представить. Но если такая беда и случится, то недолго они здесь пробудут, горячо им будет здесь.

Голос его стал взволнованным и звонким.

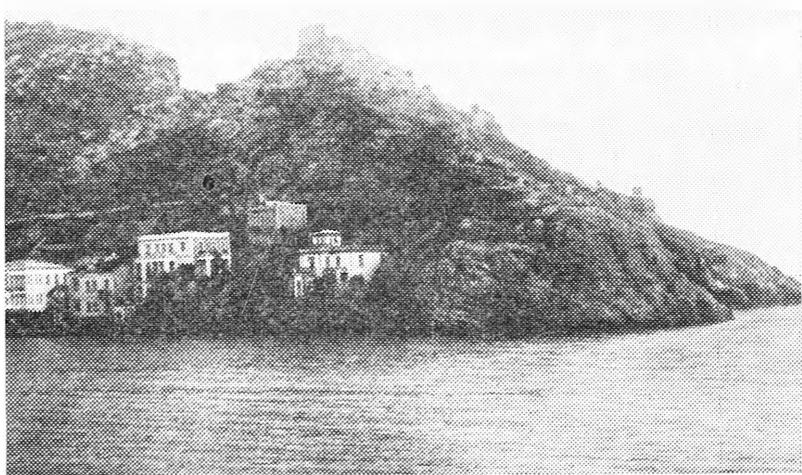
Я не могу назвать дня, когда Паустовский уехал от нас. Помнится пасмурное, серое утро, синие тучи, бродившие над морем и старый, залатанный грузовичок, стоявший на улице. Все, кто был в редакции, вышли провожать Паустовского. Он влез в кузов, ветер раздул парусом его гимнастерку, по обыкновению плохо заправленную, и пытался сорвать с головы пилотку. Константин Георгиевич нахлобучил ее на уши, улыбнулся нам добро и печально.

— Привет Москве,— крикнули ему.

— Передам,— ответил он,— и письма доставлю.

Карманы его были полны письмами.

Он уехал, и что-то оборвалось в нашей жизни. Газета по-прежнему выходила, редакция по-прежнему работала, но... не было Паустовского. И его нам не хватало.



В Крыму (фото привезено К. Г. Паустовским в 1929 г.).

Э. КАЗАКЕВИЧ

Из письма, прочитанного на вечере, посвященном семидесятилетию К. Г. Паустовского

Я хвораю, и хотя как-то перемогаюсь, но все же не в состоянии буду присутствовать на публичных чествованиях, посвященных Вашему семидесятилетию. Однако не написать Вам о моих чувствах и мыслях, связанных с Вашим семидесятилетием, я не могу и потому пишу Вам эти строки.

Значение, которое Ваша работа имеет для советской литературы и общественной мысли, огромно. В своем творчестве Вы затронули столько важнейших вопросов, уничтожили столько белых пятен на карте нашей литературы — художественной и географической, тематической и нравственной, — что это впору не одному человеку, а литературе целого поколения. При этом надо помнить, в какое время

Вам пришлось работать — в эпоху великую и страшную, полную чистейших помыслов и уродливейших страстей, необыкновенно сложную, поразительно многоликую — и только помня это, можно вполне оценить Ваш подвиг. В железный век, прогрохотавший над нашими головами, Вы не только сохранили мягкое сердце, открытое для любви к людям, ясный ум, но и несгибаемую волю, чувство собственного достоинства и уважение к искусству.

В течение многих лет Вы развивали в своих читателях с упорством, ломавшим все преграды, простые правила высокой нравственности. Вы неустанно пропагандировали простые добродетели, без которых, оказывается, нельзя строить коммунизма, хотя некоторые считали, что только без них и можно строить коммунизм. Рапповские деятели и их наследники, которых все еще много, не раз высокомерно и брезгливо Вашу благородную борьбу за высокую нравственность советского человека третируют как «мещанство». Но настоящим советским писателем и настоящим борцом за новый мир оказались Вы, а не они.

В самые тяжелые времена Вам удалось сохранить то великое свойство, которое Гёте называл «Die Lust zu fabulieren» — то есть страсть к выдумке, причудливую и свободную игру воображения — единственное подлинное счастье художника.

Север и Юг, Запад и Восток — многоликая, многоязыкая Россия, которую Вы знаете в совершенстве, как никто другой, и Италия либо Франция, где Вы, никогда там не бывав еще, были как у себя дома, говорок рязанских баб и говор грузинских духанщиков, пестрота одесской портовой вольницы и суровая простота Мещорского края — все вошло в широкий круг Ваших интересов и в магический круг Вашего творчества. Вы заставили нас понять и полюбить людей и местности, занятия и стремления, которые были нам чужды.

На днях я перечитал «Кара-Бугаз» и «Черное море», «Шарля Лонсевиля» и «Левитана». За кажущейся повествовательной скороговоркой вырисовываются с такой четкостью времена, люди и местности, что кажется — Вы сопутствовали Вашим геро-

ям, жившим сто пятьдесят лет назад, что в тех местностях Вы прожили в каждой — по целой жизни. Описание залива Кара-Бугаз, вернее — образ этого залива — одно из Ваших прекраснейших открытий. Залив имеет характер, лицо, запах, он — целая драма, — как, впрочем, и Мещорские леса, и многое, что Вы описали. Судьба затерянного на чужбине Лонсевиля, несмотря на точность описания данного времени и данного места, становится обобщением высокого класса в наш век, изобилующий запутанными судьбами.

Разнообразие Ваших сюжетов, широта интересов могут показаться кому-нибудь отсутствием «своей темы». Таким же «отсутствием» своей темы известны Пушкин, Гёте, Рафаэль и Рембрандт. Универсальность Ваших интересов — великое достоинство само по себе. У Вас оно является особым достоинством еще и потому, что Вы, сознательно или бессознательно, заполняли пробелы, зияющие в нашей литературе, которая при всех ее несомненных достоинствах развивалась односторонне. Вы выполнили труд, посильный для целого Союза писателей.

Пушкина я вспомнил не случайно. Не случайно и Ваша к нему трогательная любовь, которая видна во многих Ваших вещах. Ваш дар напоминает мне пушкинский гений с его щедростью, душевной широтой, с его оптимизмом и элегичностью, с его божественной объективностью при необыкновенно развитой индивидуальности, наконец, его легкую воспламеняемость, способность быстро вдохновляться разнообразнейшими явлениями природы и человеческой жизни — при наличии умения воплотить мимолетное пламя в долговечные создания настоящего искусства.

У Вас надо учиться современной русской фразе, чистой и сладостной, как мед, естественной, как птичье пенье. Такой слух нельзя приобрести, он дается от бога, но его можно заглушить и можно развивать. Вы развили его в высочайшей степени; в последний раз я испытал наслаждение Вашей фразой, читая Ваши только что появившиеся дорожные очерки об Италии. Язык Ваш приобрел величайшее совершенство, не потеряв ничего в силе.

Вот кто Вы для нас.

Теперь я скажу, что такое Вы, К. Паустовский, для меня.

Я, вероятно, не встречал человека, который бы так мне нравился. Жизнерадостность и доброта, скромность, доходящая до святости,—общение на равных правах с любыми людьми, даже совсем плохими писателями,—удивительный дар собеседника и слушателя, поразительная работоспособность, умение ребячески восхищаться людьми, морем, небом, Ваш тихий, дружелюбный голос, даже Ваш внешний вид — свойственная Вам врожденная элгантность — все это привязало меня к Вам, все это образец для меня и многих других.

Бога ради, не примите мое письмо за юбилейное похвальное слово. Поверьте мне, что все написанное здесь — только то, что я чувствую, а юбилей — просто единственный повод для того, чтобы это высказать. В обычное время это невозможно — разве что спьяна, но мы с Вами уже давно не напиваемся до такой степени.

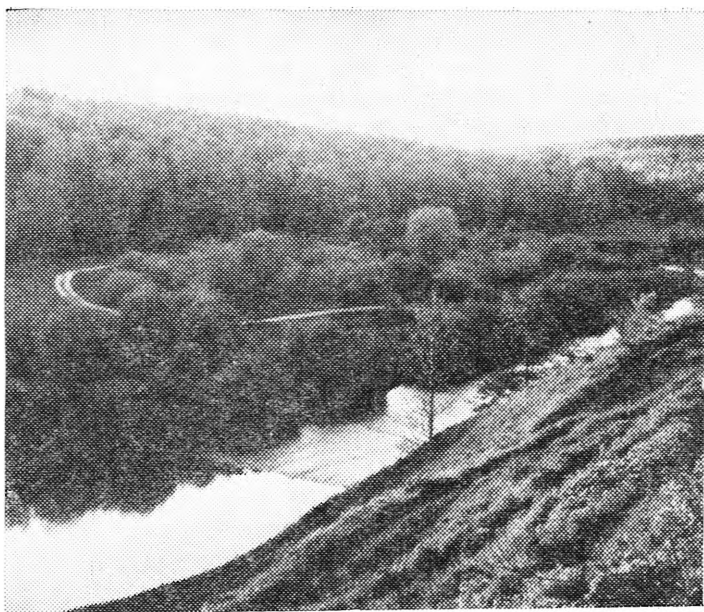
На этом кончу, ибо чувствую, что заболеваю «болезнью Вишневого» (страсть к писанию писем, от которой мазь Вишневого не лечит).

Дружески и почтительно обнимаю Вас, дорогой друг и мастер. Поздравляю и желаю выздоровления, долголетия и счастья.

Самый сердечный привет Вашей преданной жене, пленительной Татьяне Алексеевне.

Ваш *Эм. Казакевич*

30 мая 1962 года



На берегах Таруски.

Григорий БАКЛАНОВ

ЧУВСТВА ДОБРЫЕ

Вскоре после войны, когда мы еще ходили в тех самых галифе, в которых вернулись с фронта, с пехотными, или красными артиллерийскими, или голубыми летными кантами, донашивали по институтским коридорам свои офицерские гимнастерки, попал я на семинар к Константину Георгиевичу Паустовскому. У нашего первого курса был другой руководитель, но к Паустовскому, послушать его, шли со всех семинаров.

Сейчас, после нескольких внутренних перестроек, нет уже той аудитории, и дверь, через которую входили в нее, забита и заштукатурена вровень со стенами. Мне же она памятна особенно потому, что я сел в тот раз около двери: больше в аудитории сесть было негде.

Читала главы из повести студентка, со временем ставшая детской писательницей. Я не случайно не называю ее фами-

лий: с этим человеком связано одно обстоятельство, которое я понять не могу. Дело было так: сидя на лекции, я написал письмо своему приятелю. Я писал, что учусь в Литературном институте имени Горького, но что ни из меня, ни из тех, кто учится со мною вместе, писателей, конечно, не получится. Я с детства очень высоко ценил само это слово «писатель», мне казалось невозможным, чтобы кто-то из моих знакомых или даже живущих в нашем городе людей стал бы писателем. Словом, я считал, что писателем не становятся, а рождаются; я и сейчас так считаю.

Написал я это письмо, но не понес в почтовый ящик, а оставил секретарю учебной части, которая в тот день отправляла почту. Как уж оно попало в руки будущей детской писательницы, не знаю. Известно мне только, что она сочла возможным и даже нужным вскрыть его, прочесть, а прочтя, отнести директору института: вот, дескать, какие студенты учатся в нашем институте.

Директором, точнее, ректором, в то время был Федор Васильевич Гладков, человек весьма своеобразный. Он не терпел, когда при нем произносили слова «творчество», «талант». Во всех случаях следовало говорить «работа».

Много лет спустя его спросили, были ли при нем в институте способные студенты, так сказать, подававшие надежды. Он сказал примерно то же, что и я писал в том письме: способных, сказал он, не было. Был там один, сказки писал, но и он тоже... И назвал, сильно исказив, фамилию, по звучанию которой все же можно было догадаться, что речь идет о ныне известном писателе Владимире Тендрякове.

Мы в равной степени ошибались, студент первого курса и ректор института. При Федоре Васильевиче Гладкове в Литературном институте училось столько ныне широко известных писателей, что не просто всех перечислить. А наш курс, прозаики которого были в семинаре Гладкова первый год, вообще оказался исключительным, таких за историю института, как говорят, было всего два.

Но Федор Васильевич так считал. И для меня это обернулось благом. Патристический поступок студентки не был оценен, карательных мер не последовало.

Вот она-то и читала главы своей повести. Речь в них шла о том, как люди куда-то плыли на пароходе. Среди пассажиров была старуха. Сидя на палубе, она ела хлеб, держа у подбородка сложенную лодочкой ладонь, чтоб ни крошки не уронить.

Когда она прочла эту подробность, Паустовский стал что-то быстро записывать, улыбаясь.

Были ранние сумерки, в четырех казенных матовых шарах, свисавших с потолка на бронзовых штангах, горели три лампочки. Наклоненное лицо Паустовского было в тени, белый лист бумаги отсвечивал на него снизу. И блестели очки, в выпуклых стеклах которых электрический свет собрался, как в фокусе. Константин Георгиевич писал сощурился и производил впечатление человека, занятого филигранной отделкой.

Сидя люди обычно мало различаются в росте. Но тут сразу было видно, что он невысок и, главное, удивительно штатский, на мой тогдашний взгляд. Армия воспитывает в людях не только внешнюю выправку, но и определенные качества, приучая именно эти качества отличать и ценить. А тут каждый мог понять, что в строевых частях Константин Георгиевич не служил и, даже наоборот, есть в этом согнувшемся над листом бумаги человеке что-то принципиально противоположное строевому воспитанию.

Потом, когда он говорил, он вспомнил эту живую подробность — подставленную под подбородок ладонь старухи. Среди словесного мусора он сразу разглядел ее, очистил от всего лишнего и показал нам, вытащив на свет. Потому я и запомнил ее, ничего больше не запомнив из тех глав.

Через много лет я прочел в его книге о писательском труде — «Золотой розе» — слова старого литератора:

«Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы песчинок, собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом выковываем из этого сплава свою «золотую розу» — повесть, роман или поэму... наше творчество предназначается для того, чтобы красота земли, призыв к борьбе за счастье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце».

Крупинки добра, сердечности, которые рассеянный взгляд современного человека не всегда замечает за делами своими и заботами, всю свою жизнь собирал Паустовский. Переплавленные силой таланта, они потом поражали взгляд.

А скольким людям открыл он неведомые края! Не где-то там, за дальними далями, куда путешествуют избранные, рассказывая после всем остальным о том, что они видели, пили-ели, утешительно сообщая под конец, что, мол, ничего нет краше и милей родной земли. Неведомые края Паустовского — это прежде всего те края, которые каждый из нас с детства знает

должен. Так он открыл людям Мещорские леса. И сотни паломников устремились по следам Паустовского.

Родина для каждого из нас — это не только дымящие трубы заводов, электростанции и машины, как правило, менее всего наделенные отличительными чертами своего народа, одинаковые во всех странах, но это и реки среди лугов, боры сосновые, солнечные и в пасмурный день, полевая дорога в хлебах, небо, под которым мы родились, запах костра в сыром лесу — тысячи тысяч примет, знакомых с детства. Власть их над нами огромна, а годы и расстояния только усиливают ее.

Помню, как на Северо-Западном фронте, где местами невозможно было вырыть землянку — так близко подступала подпочвенная вода, — я проснулся однажды утром в лесу. Было серо, тихо, еще не всходило солнце. Солдаты после ночного перехода спали на земле, сырой туман укрывал их. Лес этот, реденький, росший на болоте, засох от обилия влаги: голые, как кость, сухие, с отпавшей корой стояли мертвые деревья в воде. Горел ли где-то поблизости костер, не знаю, но я почувствовал явственно запах дыма, того дыма, какой по весне стелется над огородами, когда земля еще полна снеговой воды, а уже в кучах жгут прошлогоднюю картофельную ботву. Я не могу сказать, какое сильное действие на меня, горожанина, произвел этот запах, донесший столько памятного. И Воронеж, и детство — все было в нем.

Со страниц книг Паустовского смотрит на нас родина. Можно поражаться удивительной художественной памяти этого человека, для которого не было границ времени.

Из тех паломников, что устремлялись по следам Паустовского, были и такие, которые возвращались после разочарованными. Они не увидели того, что прочли в книге, им казалось, он обманул их. Но человеческий глаз не видит, если сердце незрячее. Зато скольких сделали зрячими его книги, полные любви к людям, к родной земле, скольким открыли они мир.

В одном из своих рассказов Паустовский пишет, как по утрам особенно чист воздух, за ночь отстоявшийся в гигантских сосудах горных ущелий. Вот так прозрачен и чист язык его прозы. В нем слово несет зрительный образ, а фраза необычайно емка.

«В поселке этом сотни лет живут латышские рыбаки. Поколения сменяют друг друга. Светловолосые девушки с застенчивыми глазами и певучим говором становятся обветренными, кряжистыми старухами, закутанными в тяжелые плат-

ки. Румяные юноши в щегольских кепках превращаются в щетинистых стариков с невозмутимыми глазами».

Написано мало, но много сказано. Тут и жизнь, тут и сказка про людей, которая живет в каждой книге Паустовского.

То первое впечатление человека необычайно мягкого оказалось, как я убедился после, обманчивым. Года два спустя на семинарском занятии один из студентов читал свой рассказ. Как всегда, Паустовский записывал отдельные фразы. Потом положил карандаш.

— Как можно в стране, где писали Пушкин, Чехов, где создавал свои книги Толстой, как можно в этой стране писать таким канцелярским языком?

Когда Паустовский говорил это, у него было лицо человека, испытывавшего физическую боль. Он не мог слышать убогий язык, способный выражать только убогие мысли, язык канцелярских бумаг.

— Вам надо бросить писать,— сказал он.

Великий, наделенный сердцем и разумом, духовно богатый народ создал русский язык. Читая Паустовского, всякий раз поражаешься удивительной красоте, бесконечному богатству русского языка.

В день, когда наш курс заканчивал Литературный институт, Паустовский говорил:

— Я верю, что мои ученики не используют литературу как средство наживы или достижения карьеры, верю, что для них литература всегда будет делом жизни.

Это был завет, которому сам Паустовский следовал всю жизнь. Он писал в книге «Золотая роза»:

«Что же понуждает писателя к его подчас мучительному, но прекрасному труду?

Прежде всего — зов собственного сердца. Голос совести и вера в будущее не позволяют подлинному писателю прожить жизнь на земле как пустоцвет и не передать людям с полной щедростью всего огромного разнообразия мыслей и чувств, наполняющих его самого.

Тот не писатель, кто не прибавит к зрению человека хотя бы немного зоркости».

Как бы ни была значительна главная цель, к которой движется общество, на долгом пути люди не раз поставят перед собой временные, ограниченные задачи. Но и эта ограниченная задача должна казаться людям необычайно важной, чтобы иметь решимость и волю достичь ее, чтобы приносить во имя ее жертвы. Иными словами, чтобы достичь цели, надо ви-

доть дальше нее. Вот здесь в большой степени помогает людям литература.

Однако проходит время, и как бы ни было значительно, как бы ни было благородно и необходимо само по себе увлечение, оно кончается. И остывает интерес к тем книгам, которые порождены были временной заботой. На главном пути к главной цели другие заботы выходят на первый план, торопя появление новых книг. Но за этой литературой, «...отражающей временные интересы общества, как ни необходима она для народного развития, есть другая литература, отражающая в себе вечные, общечеловеческие интересы, самые дорогие, задушевные создания народа, литература,— писал Лев Толстой,— доступная человеку всякого народа и всякого времени, без которой не развивался ни один народ, имеющий силу и сочность».

Лишь время, а не временные соображения позволяют оценить значение такой литературы. Впитав в себя опыт поколений, народное представление добра, такие книги становятся духовным богатством человека, освещая людям их многотрудный путь.

При всем могуществе современной техники не изобретено, нет еще таких устройств, которые могли бы подсчитать в душах людей то действие, которое произвели на них книги. А впрочем, надо ли считать? Важно, что книги пробуждают в людях добрые чувства, делают их способными воспринимать радость других как свою, бороться за победу разума и счастья. Этими драгоценными свойствами наделены книги Паустовского.



*К. Г. Паустовский в своем кабинете в Тарусе.
Начало шестидесятых годов.*

Константин КОНИЧЕВ

РАБОТАЛ ОН ПОВСЕДНЕВНО

Мое знакомство с Константином Георгиевичем было довольно длительным, однако я не могу похвалиться дружбой с ним, дружбы в полном смысле этого слова не было. Между нами существовали те отношения, которые можно назвать скорее близкими, товарищескими. Он — большой, знаменитый — не смотрел свысока на меня и был мне понятен, люб и дорог, как опытный, талантливый писатель и человек, видевший свет и жизнь со всеми оттенками...

Однажды Константин Георгиевич приехал в Ленинград. Из «Европейской» гостиницы позвонил мне:

— Рад бы видеть вас, хотел зайти. Но ленинградский климат меня неприветливо встретил. Всю ночь промучился. Днем никуда не выхожу. То ли грипп, то ли простуда. Всего скорей простыл...

Я ему отвечаю:

— От простуды и подобных болезней знает всякие средства моя жена. Передаю ей трубку...

— Константин Георгиевич, здравствуйте. С приездом. Простуда — пустяк. Не пичкайте себя лекарствами. Я сейчас вам pošлю малинового варенья. Напейтесь крепкого чаю с малиновым вареньем — и под одеяло. Самое верное вологодское средство...

— Ну, раз вологодское, то без обмана. По вашемуговору слышу, что вологодское. Присылайте варенье с мужем. Спасибо за добрый совет...

Он не раз поминал это варенье добрым словом. Однажды в письме: «...Всего хорошего. Обнимаю Вас. Сердечный привет Вашей жене, — я никогда не забуду ее малиновое варенье» (24 октября 1962 года). В другой раз на первом томе своих сочинений, под фотографией, учинил мне такую надпись:

«Константину Ивановичу Коничеву с большим уважением и благодарностью за его внимание ко мне, за его любовь к живой истории России и к нашему прекрасному Северу. Антону Михайловну я благодарю от всего сердца за малиновое варенье и ее заботу. 4 марта 61. Ялта. К. Паустовский».

Сам он делал доброе и не забывал добрым словом отозваться о людях. Хвалил Александра Яшина за смелость, за упорный труд, без чего не бывает таланта, а в литературе без одержимого трудолюбия и таланта никак нельзя. Нравился ему и широко щагающий Тендряков, и любознательный, ездивший тогда по Северу Юрий Казаков.

В разное время в ялтинском Доме творчества мне довелось с Константином Георгиевичем провести в общей сложности не менее десяти месяцев. За такой срок можно было при встречах переговорить о многом. Меньше всего разговаривали о литературе, больше — о жизни людской, о колхозном крестьянстве, о прошлом и настоящем русского Севера, о художественных промыслах, о произведениях древнего искусства, сохранившихся на Севере.

В одной из моих записных книжек помечено:

1 марта 61 г. Приехал в Ялту. Встретил К. Г. Паустовского. Он сказал, что к астме привык и она ему не мешает в мае поехать, вернее, полететь в Америку. Да не как-нибудь, а через Кубу, где он очень хочет побывать в гостях у Хемингуэя. «Благо в Америке вышли в свет шесть моих томов и, стало быть, есть у меня читатели в этой части света». Но за этими словами чувствовалось, что он не особенно верит в свои наме-

рения из-за слабости здоровья. Рассказывал, что в Ялте были на днях признаки землетрясения:

— Я спал и, понимаете, сквозь сон ощутительно слышу, будто бы кто-то спрятался за кроватью и дергает ее руками. И кажется, я вижу руки, дергающие меня вместе с кроватью. Наутро меня спрашивают: «А вы слышали подземные толчки?» — «Нет, не слышал, но кровать кто-то словно бы передвигал». Так я и проспал это слабенькое беспокойство земного шара...

Во время этой встречи я подарил К. Г. старинную, медную, с эмалью чернильницу работы строгановских литейщиков, рукописный свиток петровской эпохи и юбилейную медаль столетия Одессы. Оба были довольны: он — подарком, а я — тем, что сумел порадовать его редкими диковинами.

2 Марта 61 г. Встретились с К. Г., он сказал, что зажился в Ялте, исписал все тетради.

— Люблю писать в больших тетрадях. Нет ли у вас лишней?

Принес я ему «амбарную книгу». Бумага отличная, в клетку. Подарил еще два иноземных карандаша. Один сделан в Чехословакии для арабов, куплен мною в Дамаске. Другой — немецкий — сделан для Греции, куплен в Коринфе.

— Пишите, на два больших рассказа хватит.

— Нет, на одну целую повесть. Вы всегда дарите мне с каким-то подтекстом: «амбарная книга», иностранные карандаши...

И как-то стеснительно и скромно пригласил меня:

— Сегодня после ужина покажут на экране мою «Северную повесть». Если не видели, приходите посмотреть...

Смотрели. Аплодировали. Поздравляли.

— Просто, добро, понятно, — сказал и я ему. — Дойдет до каждого... А знаете, ваш солдат Тихонов из той самой Белозерской Мегры, откуда сразу вышли два поэта — Сергей Орлов и Сергей Викулов.

— Не бездарный край. Сказочный, и народ там тороватый и не вороватый, — отозвался Константин Георгиевич. — Где еще есть такие сказки, как в Белозерье, записанные братьями Соколовыми!.. Проходное бурлацко-крестьянское место. Водная дорога в Питер... — Подумав, добавил: — Такое совпадение: из одной деревни два поэта, и оба заметные, — не случайное совпадение. Получилось — один глядя на другого. Подражание, соревнование — как хотите называйте, но одаренность при целеустремленности великое дело!..

Я заметил, что в разговорах со мной Константин Георгиевич всегда был не прочь послушать исторические «байки» или неожиданные сведения о далеком прошлом.

Рассказывая о своем происхождении, Паустовский похвалился, что по линии прабабушки он истый славянин, происходящий из болгар, и что в одном из городов Болгарии его считают зачисленным в почетное гражданство того города.

В тот же приезд в Ялту в театре, на вечере Виктора Ардова, Паустовский сиял от удовольствия, весело смеясь над остроумными рассказами. Иногда он тихонько сообщал об Ардове окружающим:

— Трудится он много. Вы знаете, сколько усилий от него потребовала подготовка такого выступления? О, это, братцы, нелегко дается...

Отличительной чертой Паустовского была любовь к молодежи, особенно к умеющим быть веселыми и остроумными. Он подчеркнуто говорил:

— Не терплю ханжества.

Вспоминается один юбилейный вечер, устроенный Александром Яшиным.

В ялтинском Доме творчества в яшинский день рождения приурочили к ужину банкет. Было на вечере много писателей — москвичей и ленинградцев, были ялтинские газетчики и артисты. Юбиляр восседал в центре обширного застолья, рядом с Паустовским. (Ни тот, ни другой не помышляли тогда, что немилосердная судьба уготовит им некрологи и портреты в траурных обрамлениях в одном и том же номере «Литературной газеты».)

Было весело, торжественно. Тосты, шутки. Я зачитал прерываемый смехом зарифмованный «Акафист» Яшину.

Когда начались танцы, Константин Георгиевич подошел ко мне и сказал:

— А здорово вы сочинили акафист. Это из вас прет аввакумовский дух и стиль ваших предков, которые не иначе были скоморохами. Ну-ка, повторите то место со слов: «Радуйся, воспевший свою вотчину...»

Я повторил:

...Радуйся, воспевший свою вотчину,
Нашу славную Вологодчину!
Не скорбь, от критики потерпевший,
Но паки радуйся, воспевший,
Изрекший слова вольные и невольные
Про посевы многопольные.
Радуйся, болящий за урожай скудные,

Радуйся, хвалящий дела многотрудные
Пахарей, доярок и свиначок,
Возлюбя их хлеб и приварок,
Воспой же сторицей дворы скотские,
Восхити похвалою телят и коров.
Превознеси все прелести вологодские
И будь счастлив и здоров —
На многие, многие лета,
Пока песня твоя не допета!
«Покрый нас честным омофором!»
Мы же воскликнем хором,
Преклонши колена почета ради,
Восхвалим тя спереди и сзади,
Одесную и ошую
Воздадим тебе славу большую...

— Добро! — сказал Паустовский. — Вам бы жить не только в наше время... Впрочем, может быть, вы, и сами того не ведая, жили в шестнадцатом веке и толкались около кабацких ярыжек, этих языкастых смехачей?.. Яшина, я вижу, ваш акафист не обидел, он остался доволен.

После обеденной поры в Доме творчества мы иногда развлекались игрой на бильярде.

Константин Георгиевич был близорук и охотно играл со мной, равным ему по неумению играть. Когда мы играли на бильярде, в комнате собиралось много любопытных. Позабавиться было над чем. Я проигрывал и тогда начинал хитрить: как только вижу, что мою подставку соперник может загнать в лузу, я начинаю походя декламировать Багрицкого, из его поэмы «Дума про Опанаса». Я знаю, что Константин Георгиевич очень любит поэзию Багрицкого и Светлова и других, кого следует любить. Знаю, он заслушается и промажет. Так было много раз. Но Паустовский не обижался на такую «провокацию».

— Откуда вы уловили так точно интонацию Багрицкого? — спрашивал он.

— Я его слушал только однажды, в двадцать шестом году в Вологде. Туда Багрицкий приезжал с Воронским. Остался в моей памяти Багрицкий на весь мой век.

— Хорошо иметь добрую память. В таком случае не жаль, что я промазал...

Как-то за бильярдом Паустовский сказал в шутку:

— Когда играют настоящие игроки, зрители смотрят на их *побоище*. А когда «сражаемся» мы с вами, они глядят как на стариковское *посмеище*. А ну-ка, давайте покажем им наше мастерство!..

Константин Георгиевич получал много писем от друзей и читателей-почитателей. Особенно его читала, читает, любила и любит средняя городская и сельская интеллигенция, восхищаемая содержанием, стилем и языком его книг, его авторским дружелюбным отношением к человеку и природе.

Позже, помню, Паустовский чувствовал себя неважно. Электрокардиограмма подсказывала, что находиться ему на юге совсем не обязательно. Он все чаще и чаще выходил в тень и сидел, просматривая иностранные газеты или беседуя с кем-либо. Поступающую пачками корреспонденцию читала ему Татьяна Алексеевна — надежный друг, жена писателя. Она говорила:

— Что ни письмо, то советы-рецепты Константину Георгиевичу, как лечиться, как избавиться от астмы. Вот и сейчас письмо от вдовы писателя З... с рецептом. Если составить обзор таких писем, получится целый сборник советов.

Корреспонденты и фотографы, крымские и приезжие, назойливо осаждали его, интересуясь творческими планами, замыслами и состоянием здоровья.

В ту пору Константин Георгиевич, несмотря на слабость, находил в себе достаточно творческой энергии. Работал он повседневно над второй частью книги «Золотая роза». И говорил, что после этой работы у него на очереди биографические рассказы-воспоминания, охватывающие 1924—1928 годы.

Жил он в зимние и весенние месяцы в Ялте. Отличался гостеприимством, с близкими ему друзьями совершал на автомашине прогулки в Ливадию, в Никитский ботанический сад. Там он особенно любил встречаться с ботаниками-садоводами, считая их профессию привлекательной и благодарной.

Паустовский интересовался в беседе со мной мастерством вологодских кружевниц. Я, конечно, не скупился на подробности. Рассказал ему, что и моя мать была «плетей», плела какие угодно кружева, сама придумывала рисунки, а то и списывала их на картон с зимних рам, на которых мороз вырисовывал чуду подобные узоры.

— Бывало, обрядит мать корову и лошадь, вымоет руки, переоденется в новую кофту — и за пальцы. Кружева несла закупщику. Зарабатывала пятнадцать копеек в день...

— Что, в деревне тогда это были большие деньги? — спрашивал Паустовский.

— Почти на фунт сахара.

Заговорили о выносливости северян. О знаменитых землепроходцах, прошедших от Устья Великого до берегов Тихого

океана и дальше, до самой Аляски, где был управителем каргопольский купец Баранов. Многих вспомнили добрым словом, ушедших и ныне здравствующих.

— Вот такие северяне! — говорил Паустовский. — Удивительный народ. Как бы хотелось побывать у вас на Севере. Счастливы вы народ, в интересных старорусских местах ухитрились родиться...

Здоровье Константина Георгиевича окончательно расшаталось. 14 ноября 1966 года он зашел ко мне в комнату, поблагодарил меня за какие-то (забытые мною) посланные в его адрес нумизматические подарки. Я передал ему вчерашний номер «Известий», где Атаров поместил хорошую, прочувствованную и проникновенную статью о Паустовском. На усталом и грустном лице Константина Георгиевича появилась чуть заметная улыбка.

На другой день в столовой Дома творчества семейный литературный вечер. Двое писателей под руки довели до столовой Паустовского и помогли ему подняться по лестнице. Окруженный вниманием близких к нему людей, он слушал воспоминания Романа Кима. И едва ли не самое последнее на том вечере было выступление Константина Георгиевича. С большим трудом, преодолевая физическую слабость здоровьем душевным, он рассказывал тогда о своей поездке в Англию. О традициях в этой стране, о веселых англичанах, не терпящих скуки. Тогда же, как бы мимоходом, говорил о Пастернаке и Цветаевой. Смерть этих поэтов он считал преждевременной, наступившей раньше «отпущенного» им срока.

Не забудутся поздние вечерние ялтинские поэтические «бдения»-читки, устраиваемые в вестибюле Дома творчества.

Душой и организатором этих чтений был писатель Павел Лукницкий. Он наизусть мог читать целыми часами стихи Киплинга и других поэтов.

Мы сидели в ярко освещенном вестибюле и внимательно слушали Лукницкого. Наверху, над нами, как на галерке, за балюстрадой сидел, завернувшись в теплый халат, Константин Георгиевич. Случалось, что Лукницкий, читая стихи из Киплинга, сбивался, забывал отдельные строки. И мы тогда слышали сверху хрипловатый голос Паустовского:

— А дальше у Киплинга так сказано:

Умей поставить в радостной надежде
На карту все, что накопил трудом,
И проиграть. И нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том...

Почти в каждый приезд в Ялту при встречах с Паустовским мне приходилось во время наших бесед заниматься составлением на бумаге маршрутов предполагаемых поездок по Северу.

Делалось это с чувством и толком и ни разу не претворялось в действительность.

— Давайте так: начнем с Вологды... оттуда на Кубенское озеро и дальше в Кириллов и Ферапонтово. Потом в Устюг и Сольвычегодск, затем по Двине — Холмогоры и Архангельск. Ну, а там обязательно в Соловки заглянем...

— Все это очень интересно!.. Как, Таня, соберемся? — спрашивал он жену.

— Обязательно, Костя, обязательно, — отвечала она ему, не веря в эти уже несбыточные мечты и задумки.

И когда мы в тот раз в Ялте расстались, Константин Георгиевич писал мне, все еще не теряя надежд на поездку по Северу:

«Дорогой Константин Иванович!

Спасибо огромное за фотографии Кирилло-Белозерского монастыря. Спасибо Вам за Вашу любовь к удивительной нашей северной старине. И, кроме того, за все Ваши многочисленные и щедрые (и к тому же всегда какие-то необыкновенные) подарки. А я бездарен в деле подарков и просто боюсь дарить, — что ни подарю, то, как говорится, «мимо».

Я могу дарить только книги, что и сделаю при первой возможности. Я негодую на свою болезнь (я недавно только вышел из инфаркта) главным образом за то, что мне пока не позволяют ездить. Это хуже смерти. Но все-таки я надеюсь в конце лета будущего года попасть на север — в Кирилло-Белозерский монастырь, в Каргополь и другие замечательные и умирающие места. Пока не поздно...

Не собираетесь ли в Ялту? Я, может быть, поеду в декабре. А пока я у себя в Тарусе (с наездами в Москву). Всего хорошего. Обнимаю Вас.

К. Паустовский»

В одну из следующих и предпоследнюю встречу там же, в Ялте, увидев меня, он спросил:

— Вы сильно пополнели. Как с сердцем?

— Очень пошаливает. Но в Ялту тянет...

— Надо и вам что-то предпринимать. Знаете, вчера я вас вспомнил. Прочел «Русский самородок»... А сегодня даже вы мне приснились. Сколько вам лет?

— Шестьдесят три...

— А семьдесят четыре не хотите? — спрашивает он, называя свой возраст.

— Хочу, и восемьдесят четыре пусть будет мне и вам, да чтоб в добром здравии...

— Это верно, но сердце, сердце сдает...

В последний раз я видел его мимоходом в Переделкине. Очень хотел навестить больного, лежавшего в коттедже, но стеснялся и боялся его потревожить. Знал, что он в тяжелом состоянии и нуждается больше в покое, нежели во встречах.

В те дни в Переделкине я позвонил на дачу Яшина. Ответила грустным голосом старшая дочь:

— Папа в тяжелом состоянии в больнице. Была операция...

И вот — на одной неделе двое: Паустовский и Яшин.

Слишком заметная, большая потеря для нашей литературы...



К. Г. Паустовский в Солотче. 1951 г.

Л. КРИВЕНКО

НА СЕМИНАРЕ

Добро — не разменная монета. И грустно, что осознаешь это всегда с запозданием. Остается долг, который заставляет братья за перо.

1

Обнаружив себя в списке студентов, зачисленных на первый курс Литературного института имени А. М. Горького, я, ставя ногу на первую ступеньку лестницы, пробежал как бы всю лестницу сразу: главного в жизни вдруг достиг.

Как и все первокурсники, я был в том приподнятом настроении, когда трудности представляются только радостными препятствиями.

Свою отвоеванную землю мы вдруг увидели словно впервые в жизни и, внезапно открыв, оценили по-настоящему

только сейчас, когда вокруг наконец-то ничто не могло отнять у нас завтрашнего дня.

Вызывая в памяти пройденные дороги (война никого от себя сразу не отпускала — вдруг машинально вздрогнешь, разыскивая глазами укрытие), мы, обращаясь к настоящему, жили уже и будущим. Обращались к настоящему, как к ступеньке, которая поведет всех нас вместе в лучший завтрашний день.

15 декабря 1945 года

Приказ вывесили — велели срочно сдать работы.

Разнесся слух: работы затребовали на кафедру творчества, чтобы освободиться от так называемых творчески несостоятельных студентов.

Я отдал тетрадь, шитую мною из разных лоскутков бумаги, разбитую на главы. В этих главах — начало повести — я захотел воздать должное нашему ротному старшине Беляеву из города Таганрога. Между собой мы, подтрунивая над старшиной, звали его «Службистом». До придирчивости Беляев любил, чтобы все было сработано по-положенному: портянки наматывай по-положенному, оружие чисти по-положенному и веди себя еще тоже по-положенному. Зато к самому себе — редкое качество — он был еще требовательней, чем к другим, и на маршах наш ротный котел, — были, помню, такие случаи, примирявшие всех со старшиной, — обгонял даже роту. Приводят нас, помню, на новое место — вокруг ни одного сарая, только лягушки квакают, земля стынет, а под котлом уже огонь гудит, и дым стелется по болоту, дым, пахнувший наваром.

На подступах к Витебску, за передним краем нашей обороны, мы разыскали тело Беляева возле разбитой повозки с ротным имуществом: он не хотел оторваться от наступавшей роты.

Вернувшись домой из госпиталя, я, восстанавливая в памяти протоптанные дороги, вдруг понял: умирает совсем только то, что сам хоронишь.

Вот я и начал с Беляева собирать людей снова в строй, в котором я стоял вместе со всеми.

Заключение на эти три главы было для меня неожиданно обескураживающим: «Отрывки не дают возможности судить о способностях автора в мастерстве композиции. Сфера наблюдательности автора довольно ограниченная — он описы-

вает только то, что им лично пережито. Нужна связь с газетой».

Все верно. Может быть, и верно. Но при чем здесь композиция, связь с газетой? Разве только в этом дело?

И на этот раз уйти сразу домой мне не удалось. Мы, когда заканчивались лекции, обычно долго не расходились. До прихода ночного сторожа на весь институтский коридор раздавались громкие голоса, читающие стихи. А на этот раз задержал меня Н. Он, перехватив меня в раздевалке, начал читать свои новые стихи, отбивая размер рукой. И меня, загнанного им в конец коридора, нашла постоянно чем-то недовольная лаборантка творческой кафедры и сказала:

— Вы зачислены в семинар Паустовского. Занятие семинара состоится сегодня, на квартире у Паустовского, в Лаврушинском переулке. В этом же доме размещено Управление по охране авторских прав. Знаете?

Я не знал. И она, недовольно жмурясь, написала мне адрес и предупредила:

— Если поторопитесь, то успеете. Семинар начинает работу в шесть часов.

Стрелки институтских часов показывали уже без двадцати минут шесть.

Я поехал к Паустовскому как за приговором. Хотя, признаюсь, считал бы любой обвинительный приговор в данном случае несправедливым. Несправедливым, если бы он исходил даже от самого... От кого угодно. Нужно было воздать должное еще и командиру нашей роты Леушину, который если был доволен, то сдержанно улыбался, а если был недоволен, то сдержанно хмурился.

Нельзя было никому отдавать на откуп людей, с которыми ты жил и жизнь которых составила и тебя самого.

И все же... Все же закралось сомнение. Все же не обманываюсь ли я? Одно дело — восстанавливать следы, которые стирало время. Одно дело — правдоподобие... Другое... Не цепляюсь ли я за устремления, порожденные воображением? Может быть, это еще детство не выветрилось, когда мы, размахивая палками-шпагами, играли во дворе в войну? Или все не оставляла юность, когда, читая жизнеописания великих людей, легко было воображать себя Бальзаком, решившим сделать пером то, что не удалось самому Наполеону мечом? Легко во-

ображением объехать землю, став одним из спутников Магеллана или перенестись мысленно в джунгли Индии... Перенестись — это одно дело. Перенестись — это еще не означает быть. И хотеть, желать не означает быть.

А чтобы стать?..

Всегда ускользало Нечто, что заставляло бы произведение жить.

Счет времени возвратился, когда я взбежал на площадку и остановился перед дверью с номером квартиры Паустовского. Я достал папиросу и, затянувшись, смял окуроч и затолкал в спичечный коробок. Потом спустился на этаж ниже и перед чьей-то обитой клеенкой дверью стряхнул снег с пальто, выбил шапку. Опять поднялся вверх по лестнице к уже знакомой двери, прислушался и позвонил.

Прежде чем меня впустить, спросили:

— Кто это?

— Я.

— Кто это — «я»?

Ну как отрекомендоваться, кто я?

— Студент! — крикнул я.

Тогда дверь отворилась. Женщина, пропуская меня, сухо сказала:

— Пройдите. Вот в ту комнату налево.

Я почему-то начал извиняться за этот крик и за это без предварительного телефонного звонка вторжение.

Паустовский сидел в кресле. Староста семинара представила меня Паустовскому. Он встал и протянул руку. Я пожал руку, стараясь ее не сдавить: такой легкой вдруг оказалась у него рука.

— Устраивайтесь поудобней, — сказал он.

И сразу чувство неловкости исчезло. Я занял место за столом возле самой лампы с абажуром, рассеивающей розовато-зеленоватый свет.

Впереди в полутьме — книги. Книги составили стену.

— Сегодня мы начнем с вас, — говорит Паустовский.

Смотрю, в руках у него моя тетрадь с резолюцией. Он отложил тетрадь в сторону и спросил:

— А в каких местах вы воевали?

Я начал перечислять фронты: Ленинградский, Калининский, Центральный...

Он, слушая, ждал еще чего-то.

— В местах? — спросил он.

Паустовского, понял я, не столько занимало перечисление фронтов, сколько название местности. Я назвал свои перевалочные пункты — от станции Тиенхары, что за Выборгом, потом Ленинград, потом через Ладожское озеро к Тихвину — так до Великих Лук, Невеля и Ханина Бора.

— Хорошо, — сразу заинтересовался он и спросил: — Были ранены?

— Все было, — сказал я.

Паустовский засмеялся и спросил:

— Москвич?

— Родился я в Верхнеудинске, в Бурятии. Пятилетним меня привезли в Москву.

— Так. Так. Хорошо, — сказал Паустовский.

Что в этом было хорошего, я не видел, только сразу почувствовал, что дело обстоит не так уж плохо, раз он был доволен и не скрывал того, что радуется.

Он сказал:

— В главе «Красные яблоки» есть некоторое самолюбование, но почти не заметно. Оно заметно, если только вчитываешься.

Он вопросительно взглянул, как бы спрашивая у меня, согласен ли я с этим его не замечанием, не утверждением, нет, нет, а только соображением, или не согласен. Он ждал. Получалось, что не я ждал приговора от него, а он, проверяя себя, ожидал от меня подтверждения верности своего впечатления.

Я не согласился.

— Говорят, — сказал я, — молодости свойственно некоторое самолюбование.

Паустовский прищурился, взвешивая это контрсоображение, и, уступая мне, кивнул утвердительно головой, а вскользь заметил:

— Тогда отчетливей нужно было бы показать молодость. Обратите внимание на то, как у вас разговаривают солдаты. Они все у вас одного возраста.

И мне сразу ясно стало, в чем я допустил промах. Все они у меня были вроде одногодками — и «старик» Суслов, и старшина, и ротный Леушин.

Паустовский говорит:

— Встречаются, правда, фразы... Я их подчеркнул, слегка подчеркнул. Читаем: «С трудом удерживая застрывший смех,

готовый прорваться». Или: «Тягуче захрипела прерывчатыми звуками резинового ржания».

Я вспыхнул, разыскивая глазами укрытие, куда можно было бы спрятать себя. Достаточно, оказывается, прочитать другому вслух то, что написал ты сам, и сразу со стороны ты увидишь собственную неуклюжесть, глухоту и слепоту.

Паустовский наклонил лицо к тетради и долго что-то разыскивал, как бы не замечая и не придавая значения тому, что я смешался. Наконец, отыскав то, что нужно, сказал:

— Тягуче... И прерывисто. И резво еще. Сама конструкция фразы разрушает картину. Один процесс разрушает другой как бы внутри самого движения. И результат получился обратный тому, которого вы добивались. Глава «Красные яблоки» — о госпитале — слабее. Но есть сильные куски, особенно о возвращении.

И, завершая разбор, он обращается уже ко всем участникам семинара:

— Что же касается сюжета, композиции, то у нас... У нас с вами еще будет достаточно времени и в этом разобраться. Попробуем и это сделать.

Я внутренне ликовал. Сам Паустовский как бы выдал мне санкцию на тот путь, который я избрал себе.

И, сдерживаясь, чтобы невзначай не хлопнуть соседа по плечу от избытка радости, я в общем завязавшемся теперь разговоре улавливал только отдельные выражения и слышал глуховатый, отдалившийся голос Паустовского. Мы и не заметили, как семинарское занятие перешло в беседу.

Паустовский рассказывал о своей поездке в Синдзян.

— Там, как и у нас, — вспоминал Паустовский, — те же цепи каменистых гор. Выжженная солнцем земля. Совсем наша Средняя Азия. Только в домах мы всюду обнаруживали дремавших сов. Эти совы, оказывается, заменяли жителям домашних кошек.

Я перестаю записывать и только сейчас начинаю разглядывать убранство комнаты. На абажуре из восковой бумаги изображены каравеллы Колумба, индейцы. На стене фотография Гарибальди, в шкафу макет парусника, на стене снимки каких-то кораблей.

— Позже, — вспоминал Паустовский, — мы заметили, что печи в Синдзяне топились с улицы. Вот только такими «местными» деталями и можно дать читателю почувствовать различия. А горы вокруг... Горы те же. Но уже и другие, не такие, как наши. Другие.

Паустовский на кафедре, еще пахнувшей краской. Во все аудитории только что завезли такие кафедры, они превращали комнаты в лекционные залы.

В институте начался период реформ.

Паустовский то вытягивал голову, приподнимаясь, то втягивал, то отходил к окну, то приближался и облокачивался, то клал руки, то снимал. Голос его, затихая, совсем пропадал.

Он вдруг взял стул и придвинул к столу, расправил на столе чистый лист бумаги.

— Я кафедр не люблю,— сказал он. И возвратился к разбору рассказа: — Стремление к какому-то единому впечатлению нужно. Вы начали со стихов?

— Да. Так вышло.

— Это чувствуется.

И разбор уже был как бы продолжением беседы, начатой у него на квартире: опять он, как бы разговаривая с самим собой, обращался сразу ко всем нам.

— А те впечатления, которые вы получаете в быту,— утверждал он,— это еще необязательные впечатления. Чувства обязательности именно вот этой, а не какой-нибудь другой, первой попавшейся под руку детали нет.

— Если вы ничего не можете рассказать о войне, а только судите обо всем, то лучше молчите.

Не будем выражать собственные домыслы, не вникая в то, о чем написана повесть.

— Есть элементы, которые трудно передать аналитически.— Паустовский задумывается и уточняет: — Порой вообще нельзя передать аналитически. В каждой настоящей вещи заложена сердцевина, которая не поддается анализу. Она-то и сообщает произведению непосредственность, создает впечатление... что перед нами течение самой жизни.

Над столом закружилась откуда-то влетевшая муха. Паустовский с собранными у глаз морщинками старался разглядеть гудевшую муху. Это ему никак не удавалось. Жужжание мухи оборвалось. К чему-то она прилепилась.

Паустовский удивился:

— Вот-вот морозы ударят, а тут муха?

В удивлении был вопрос, требующий исследования.

— Сегодня у нас затопили батареи,— объясняет кто-то.— Жара. Вот муха и отогрелась.

— Возможно,— Паустовский подумал и согласился: — Так и есть.— И вернулся к рассказу: — В этом рассказе есть доля яда, присущая каждому произведению, если автор только не равнодушный человек.

— Есть боязнь конкретности, и это очень плохо. Даже чисто географической конкретности. Конкретность дает особую колоритную краску. Придает сугубую реальность, сообщая вещам и событиям поэтичность и достоверность. Это очень усиливает прозу. Кроме того,— и это главное — конкретность не позволяет подменять реальную жизнь сочинительством.

В удивлении Паустовского, заметил я, часто был вопрос, требующий исследования.

Д. читал рассказ. Разгорелся спор. Когда спорят, Паустовский, обычно молча и как бы отдыхая, ждет, когда восстановится тишина. На этот раз, поспорив, мы все сошлись на том, что узловыми звеньями в сюжете должны быть события, определяющие жизнь человека в масштабах исторических.

Паустовский согласился, но задумался,— было видно, что он согласился с выводом, который еще требует проверки и уточнения. И прежде, чем окончательно согласиться, нужно выяснить еще что-то и для себя самого.

— От рассказа осталось впечатление... Оно мне самому еще неясно. А когда я начинаю разбираться в этом впечатлении, то вижу... Вижу, что рассказ рассыпается. Нужна соразмерность частей.

Лицо у него вдруг разглаживается. Он говорит, как внешне вспомнив что-то:

— Есть минуты... На первый взгляд эти события не воспринимаются узловыми. Только на первый взгляд, зато позже, когда оглянешься... Да, бывали узловые моменты в жизни, которые не имели размер события.

Паустовскому, я вижу, все кажется, что мы смотрим на него как на старого солдата. Вот так новобранцы, попав на позиции, глазуют на старого солдата, думая, что он-то наверняка знает какую-то скрытую от них тайну о том, как вести бой, чтобы выиграть сражение и остаться в живых. И Паустовский, чтобы мы не обманывались, больше рассчитывая на кого-то, чем на самих себя, не раз подчеркивал:

— Я вообще опасаясь давать советы,— и улыбался, как бы извиняясь и постоянно напоминая: прежде чем окончательно соглашаться, нужно выяснить еще что-то.

— Человек... в том, что он пишет, он большей частью разоблачает себя самого.

— Вы литератор довольно бойкий,— говорит Паустовский М.,— и это меня... Вы не думайте, что бойкость — это достоинство.

Прочел вслух:

— «Мы покидаем клуб» — ведомственный язык. Просто: мы ушли из клуба. Вместо того чтобы сказать: «Мы приехали в Москву», вы пишете: «Мы прибыли». Ведомственный язык... Недостает культуры человеческого чувства.

Вдруг запнулся, утерял нить разговора и сказал то, что давно хотел сказать, но вот сейчас об этом только вспомнил.

— Да, вот об этих узловых моментах в жизни... Они формируют нас в течение всей жизни. Через пустяки мы порой общаемся... Я был недавно на Кавказе.

Представьте себе Кавказ,— начал он рассказывать.— Мыс Пицунда. Плоский мыс, заросший сосновым лесом. Пустынный берег с выброшенными на песок, почерневшими корягами. На берегу остов корабля с ржавыми листами железа,— листы свисают, как лохмотья. Когда-то, давно очень, старожилы только помнили: фелюгу эту на песок штормом выбросило.

Рыбаки выбирали сеть. Вдали дым вился. И тишина такая, что оглохнуть можно.

А когда я вернулся в Москву, я начал перечитывать Гомера, и, представьте себе, Гомер ожил. Невольно, прислушиваясь к равномерному рокоту прибоя, я перенес действие в обстановку, которую я не только видел, но в которой и сам теперь жил. Зевс Олимпиец вдруг заговорил языком нашего современника. «Странно,— сказал Зевс,— как смертные люди за все нас, богов, обвиняют. Зло от нас, утверждают они. Но не сами ли часто гибель, судьбе вопреки, на себя навлекают безумством?»

Увидев такое совпадение, вы уже никогда не забудете плоский мыс, набегающие зеленые волны, остов корабля, дымок и оглушающую тишину. Вы начнете жить по-другому. И мне тогда стало понятно то, что подразумевал Гёте, сказав, что он живет в тысячелетиях.

Да, вот и узловые моменты... Это незаметно создает вас не только как писателя, но и как человека.

— Писателя без биографии не бывает. Нужно создавать свою писательскую биографию. Свою... И создавать.

Никогда он не выделял голосом или жестом значительность высказанного довода, но всегда, предостерегая от чего-то, невольно подчеркивал, если даже и говорил о чем-нибудь в утвердительной форме. В утвердительной форме, заметили мы, он говорил только о вещах, которые его возмущали или вызывали у него неприязнь.

В основном он предостережением подчеркивал.

— Взяться за большую вещь! — удивлялся он одобрительно. В то же самое время говорил с сомнением: — Это смелость и вместе с тем... Может быть, в данном случае это скорее риск, чем смелость? Вас нужно предостеречь от очень многого. Разговаривают люди, обедненные мыслью. Их переживания если и не всегда, то в каких-то узловых положениях должны быть на уровне событий.

Нужно предостеречь и от нескольких влияний. Прохоров у вас говорит псевдонародным языком. Сказуемое на конце. Сибирское влияние. Сказ накладывает отпечаток псевдонародности. А в пятой главе материал в другой манере. Стилизовое разнообразие — это прекрасно. А может быть, и стилизованной. Боюсь, что это разнотой.

Для всех нас очевидно, что это разнотой. Он смотрит на нас, опять как бы проверяя правомочность своего впечатления.

Никто из нас возражать не стал. Тогда он снова вернулся к повести.

— Экспозиция у вас затянута, — сказал он. — Экспозиция существует для того, чтобы ввести героев в жизнь, а дальше они должны проявлять себя по внутренней логике своего существования. Когда вы закончите повесть... Я боюсь быть пророком... Вы отсечете экспозицию. Так чаще всего и бывает. Экспозиция чаще всего лабораторная часть работы.

Роман не терпит обнаженной композиции. Если композиция обнажена, то мы видим остоу, прикрытый только одеждой, скроенной по моде. И вот уже перед нами не люди, а манекены, которых автор, дергая веревочку, заставляет механически передвигаться и механически произносить речи.

Паустовский, завершая обсуждение, не вступал в споры с участниками семинара, не говорил запелляционно, что такой-то прав, а другой в запальчивости хватил через край, он делился просто своими впечатлениями, и мы видели, насколько

ко обоснованно было высказано мнение. Мнение должно быть только обоснованным — вот его требование.

И он, собрав все разноречивые оценки в один узел, медленно, со свойственной ему неторопливостью, начинал распутывать этот узел, идя по следам главным образом собственных впечатлений.

— Двумя-тремя фразами вы отделяетесь от людей... Способность увязывать части, избегая искусственных мостков, — хорошая способность... Язык же у вас без индивидуальной окраски.

Ф., слушая разбор, насупился.

Паустовский удивился, развел руками и заметил:

— Как это можно, руководствуясь лучшими побуждениями, так замораживать себя? Как это можно?

Это всегда Паустовского удивляло. И, как бы желая вывести автора из состояния хмурой сосредоточенности, он сказал:

— Зачем вам жить на чужой счет? Зачем? Когда — и это видно — вы можете быть хозяином собственной вещи. А вещь, несмотря на огромный размер, написана скучно. А не скучной она может быть только в том случае... когда станет каким-то событием для вас. Тогда она может оказаться событием и для литературы. Нужно каждой вещью опустошать себя. Страшное ощущение, что вы как писатель кончились. Выложились. Это чувство обманчиво. Вскоре вас опять потянет к чистому листу бумаги. Снова почувствуете желание писать с особым подъемом.

И, наклонившись, он сказал, входя в колею спокойного разбора:

— Совершенно неправильно расставлены абзацы. Никогда не следует забывать о пределе восприимчивости читателя. Когда вы чувствуете этот предел, останавливайтесь. Естественная пауза. Для вдоха.

Нужно, чтобы была мысль о событии. К сожалению, эта ответственная часть у вас бывает притупленной.

Не надо засорять вещь людьми, которые ничего не дают вещи. Присутствуют только.

Для меня интересен подтекст этой вещи. Народ не показан как масса, а он существует.

По утвердившемуся на семинаре порядку после всех предоставлялось слово автору. Автор мог согласиться, если был доволен, мог и просто поблагодарить, если был недоволен или обрадован, мог оспаривать и высказать свою точку зрения.

Чаще же всего автор в результате обсуждения, обнаружив

несоответствие между тем, что он хотел сказать, изобразить, и тем, что у него на бумаге получилось, старался объяснить самому себе — найти суть этого расхождения.

Так вышло и на этот раз.

Ф. начал рассказывать о том, как задуман был им этот роман. Что он хотел сказать. И когда он стал рассказывать о замысле, то вещь его ожила.

Паустовский, одобрительно закивав головой, сказал:

— Вот так и пишите, как только что рассказали нам. Только не давайте себе сомнительных поблажек как писатель. За письменным столом забывайте, что вы писатель. Забудьте о циркулях и линейках. Опустошайте себя. Откройте все шлюзы. Зато потом... По-то-м, почувствовав себя конченным писателем, вы вырастаете как человек и снова потянетесь к бумаге. По-то-м, по-то-м.

3

Мы снова собрались на квартире Паустовского.

В шкафу под стеклом знакомый свежевыкрашенный бриг с расправленными для полета парусами.

Знакомые фотографии мачтовых кораблей, но уже односторонних.

Знакомый портрет Гарибальди в феске.

Пристань, уткнувшиеся в берег лодки, дальше — поворот реки, еще дальше светился дальний лес в лиловом паре, — только что ливень пролился: это картина.

А в раме окна — розовая раскаленная полоска холодного заката, обещающая на завтра солнечный, ветреный день.

Паустовский спросил вслух у себя:

— Ну, чему и как я вас буду учить?

И на этот раз, подумали мы, он скажет, как уже не раз нам говорил: «Я вообще опасаясь давать советы».

Закурив, он придвинул к себе чистый лист бумаги и машинально — это он всегда делал на семинаре — карандашом прочертил вертикальную линию, разделив лист на две части. На одной половине листа, знали мы, он записывал то, что одобрял, на другой — то, в чем нам вместе нужно было еще разобраться.

Он курил, морщась, словно рылся в памяти, неторопливо листая книгу, твердо помня, что именно в этой книге и есть нужная страница. Казалось, что он всегда что-то постоянно вспоминает, — это уже стало его состоянием.

Вдруг погасил папиросу. Лицо у него просветлело, разглядилось,— видно, набрел на нужное место.

Сказал:

— К Огюсту Ренуару зашел мсье Дюран, торговец картинами. Мсье Дюран был другом художника, а не просто торговцем, извлекающим из всего прибыль. Мсье Дюрана интересовало все.

Он сказал Ренуару:

«Я только что с выставки картин Ван-Гога. И знаете, что меня поразило... Всегда поражает. Художники, можно сказать... всех эпох и самых крайних направлений, несмотря на различия, непохожесть... все они клялись в верности Природе. Звали учиться у Природы. Постигать законы Природы. А вы, мэтр?»

Ренуар ответил:

«Да. Это так. И я не исключение. На днях,— сказал Ренуар,— собрату по ремеслу я изложил свое кредо. «Вот колонна,— заметил я,— если вы ее напишете, выверив все по циркулю, она будет выглядеть на холсте безжизненной. Сделайте опыт: нагребите охапку листьев с одного дерева и разглядите. И ни один лист, обнаружите вы, не будет копией другого листа. Заметьте, не будет копией, несмотря на сходство. Чем мы дальше от объекта изображения, тем схожесть увеличивается; чем ближе, тем разительней различия. Как все это совместить в самом объекте, а? Как? В самом деле, а?»

Я, мсье Дюран, пишу листья. Вы знаете, что он мне на это ответил, ответил с вызовом: «А я пишу не листья, а зелень. Я — обобщаю!» Тогда я рассердился и сказал ему: «Зачем же кричать? Извините, дорогой, вот именно потому, что вы не пишете листья, то, прошу прощения, у вас получается размазанная на холсте краска,— вы не пишете, вы не думаете руками, вы просто выдавливаете из тюбика краску». — «Значит, я маляр!» — закричал он. «Это говорите вы, а не я», — сказал я на это».

Дюран засмеялся.

Тут вошла экономка и сказала, что какой-то молодой человек требует, чтобы его пропустили к господину Ренуару по срочному делу.

«Требуется! Требуется!» — вскипел Ренуар. — Куда мы идем? Все только требуют, требуют! Я же сказал вам, Мадлен... меня нет дома. Нету. Ни для кого теперь».

«Но, мсье, он так просительно требовал, что...»

«Ох, уж эти женщины! — проворчал Ренуар. — У него чер-

ные глаза, светлая борода, статный такой, весь подвижной, как ртуть».

«Вы его знаете, мсье?» — удивилась Мадлен.

«Ладно, пригласите».

И действительно, вошел человек с бородашкой и черными живыми глазами. Он подбежал к Ренуару и начал извиняться за вторжение и что...

Ренуар перебил его:

«Говорите о цели».

«Я хочу быть вашим учеником», — сказал он Ренуару.

Ренуар растерянно взглянул на Дюрана, как бы ожидая от него помощи и поддержки. Но «папаша Дюран» — так звали его художники — сам любил внезапные наскоки. Он изобразил на лице гримасу человека, который ничем в жизни не интересовался. Это всегда заставляло клиентов набавлять цену.

Тогда Ренуар сослался на загруженность. За ним уже столько заказов, как долговых обязательств.

«А заказчики, — сказал Ренуар, — это знаете, что за люди? Они лишают нас чувства времени, напоминая то и дело о сроках... Они, они... Не связывайтесь никогда с заказчиками. Это...»

«Я хочу быть вашим учеником!»

Тогда Ренуар сослался на старость и что, если бы... если бы можно было хотя бы лет десять сбросить, тогда конечно, но... Ренуар вздохнул и пожал плечами.

«Увы», — сказал он.

Старость — это был не довод для молодого художника и недостаточный повод для того, чтобы так просто быть отвергнутым. Молодой художник слышал только самого себя и бесвязно твердил:

«Я хочу быть вашим учеником. Я хочу быть вашим учеником. Я хочу...»

«Ну хорошо, — сдался Ренуар. — Вот возьмите яблоко. Из вазы. Не это, а вот рядом, свежее, еще с черенком и завядшим листком. И напишите. Посмотрим, что из вас выйдет. Пробовать нужно, молодой человек, дерзать, пробовать».

Дюран, когда за художником закрылась дверь, сказал со смехом Ренуару: «Дорогой мэтр, вы нашли легкий способ отделаться... Почему же вы не попытались внушить молодому художнику свои принципы, о которых столь красноречиво рассказывали мне? Я ждал первого урока».

Ренуар отмахнулся и пробормотал: «Знаете... Принципы, принципы... Я знал многих людей, испортивших жизнь себе и

своим близким. Принципы, принципы... Я знал многих, кто, заглянув от нечего делать в Лувр, выходил из музея, решив стать художником. Видите, как само же искусство порождает людей, убивающих искусство? А вы мне о принципах каких-то толкуете».

Ренуар добавил:

«А руки у него, видно, неглупые».

Паустовский смахнул пепел с папиросы и, прикурив, затянулся дымом. Наконец сказал:

— И что же?.. На второй день явился художник с картиной.

Мы засмеялись, отдавая дань уважения напору молодости, а вместе с ней и самим себе.

Нужен порыв, это каждому ясно.

— Ренуар ощупал картину глазами. Сказал:

«Понимаете, что-то не то. Чего-то не хватает. Может быть, воздуха? Когда дышать нечем, то жизни нет. Бутафория только. Может, света? В темноте можно только копошиться, жизни нет. Что это яблоко — это сразу видно. Попробуйте еще. Вот здесь не то, тут не то... Пробуйте, молодой человек, пробуйте!»

...Целый год прошел, прежде чем художник напомнил о себе новой картиной. Ренуар, разглядывая картину, оживился и сказал:

«Теперь это не вывеска для лавки зеленщика, не бутафория, а картина. Чего-то чуть-чуть не хватает. Яблоко есть, среда есть. Может быть, все дело в этом? — Ренуар дотронулся рукой до пожухлого листка на черенке. — Еще бы чуть-чуть — было бы уже не яблоко. Яблоко бы исчезло как предмет. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как ослепляюще контрастирует жизнь в соседстве с увяданием?»

Художник молчал.

«Попробуйте еще», — сказал Ренуар.

— Неудачи художника не обескуражили, потому что благодаря им он открыл в самом себе и вокруг новые возможности, которые искали не только своего выражения, но и применения. Неудачи, казалось художнику, — это просто сопротивление материала: вдохнуть в этот инертный материал жизнь можно было, пересоздавая в это же самое время и самого себя.

Художник бился над этим «чуть-чуть» пять лет.

Когда он внес новое полотно к Ренуару, то Ренуар, взглянув на картину, застыл, как от удара электрического разряда. Лицо у него вытянулось.

Вдруг он весь расцвел и воскликнул:

«Вот это... Мой дорогой брат... Это можно выставить в Лувре.— И удивился: — Как это вам удалось? Как это вам удалось?»

— Итак,— сказал Паустовский, подвигая к себе расчерченный на две половинки чистый лист бумаги,— начнем работу. Кто у нас сегодня читает?

Староста семинара назвала Н.

— Расскажите что-нибудь о себе,— попросил Паустовский.

4

Есть люди по взятой на себя роли экзаменаторы. Они все знают, ничего не понимая и ничему не удивляясь. Паустовский же никогда никого не экзаменовал, поэтому быть в его обществе было никогда не тягостно,— всегда радостно не чувствовать себя школьником, записывающим чьи-то выкладки, постоянно готовящимся к экзаменационной сессии, опасаясь быть в чем-то уличенным, уличенным с оскорбительным пристрастием.

На семинаре Ш.

Трубка, зажата в кулаке. Массивный весь. Внушаетстораживающую почтительность. Он присутствует, как бы «уйдя» куда-то: не то, углубившись, слушает внимательно, не то думает о чем-то своем. Ни один мускул не дрогнет у него на лице. Вдруг он резко рванул лист бумаги и что-то быстро записал, как расписавшись, и опять самоуглубился.

Говорит так, что уже и возразить ему словно права не имеешь. И не заслужил еще. И не заслужишь. Запоминай только.

Такие обороты речи, как «я думаю», «возможно», «может быть», ему чужды.

Говорит значительно:

— Нужно рассматривать явления в перспективе... Гм... Над языком... Засушенность. Стерильный язык. Впечатления от рассказа у меня не осталось. Я не вижу выраженного главного чувства. Холостое впечатление. Затуманены какие-то

вещи, которые должны быть высказаны яснее. Я не знаю, что здесь главное, хотя герой и говорит в лоб. Много нужно разгадать, а материала для этого нет. Гм... Он, герой, слепой... Как показать? Да не называйте его слепым, а покажите, что он все делает не как зрячий. Достаточно одного момента. Ну, не туда ткнулся.

Глаза у Ш. похожи на объективы фотоаппарата. Невольно, когда эти глаза задерживались на тебе, ты принимал позу — невольно клал руку на лоб и сдвигал брови.

Может быть, поэтому в его книгах все как-то не так и не то: есть правдоподобие, есть уподобление, но чего-то не хватало, потому что он заставлял действительность только позировать себе.

— «Я — вынесу», «Я — сильный», — это как-то театрально, — говорит Ш. — Примитив: госпиталь, сиделка, роман с сестрой... Связующие вещи не ясны. Не вижу живых связей. Должно быть все ясно... Все ясно, даже если бы мы были не согласны с авторским решением. Гм... «Перед рассветом»... Так рассказ озаглавлен... Я рассвета этого-то и не заметил. Не стоит писать рассказ, если нет правильного решения. Гм... Нота возвышенная, а средства не возвышенные.

И встал, как бы говоря: «Вот и все на этот раз».

Я думаю: может, и стоит писать именно для того, чтобы уяснить что-то себе, найти правильное решение и правильную «линию» поведения.

Паустовский со свойственной ему доброжелательностью не способен был, казалось, злиться, раздражаться даже тогда, когда его что-то вдруг задевало, выводило из устойчивого равновесия. Но мы всегда видели, что это равновесие кажущееся, если он говорил устало:

— Вы себя как писатель оклеветали в этом рассказе. Да, да. Оклеветали. Рассказ написан по шаблону благочесия. Это не дело. Изображать нашу жизнь так нельзя. Рассказ о горе. Горе погашается продекларированным чувством долга. Изображение человеческого горя требует необыкновенной чистоты и простоты — сказал бы через тире — авторского сострадания... Не в смысле сентиментальности... Горе идет своими точными путями, и вы должны следовать за горем, искать разрешения в нем, самом же горе, а не в авторском домыслии.

И, недоумевая, разводит руками:

— Лазить пальцами в чужое горе?

Устало говорит:

— Нужно самому много перестрадать, чтобы знать, как писать об этом. Писать о горе — это прикасаться к ране, не беря ее, не растравляя, а врачую.

О манере чтения

— По манере чтения можно составить себе представление и об авторе... Как о серьезном и несколько печальном человеке. Это в какой-то мере объясняет и характер его рассказов. Первый рассказ очень затянут. Рассказ идет ровным течением, несколько монотонным. Усыпляет. Во втором рассказе... Дети? Есть что-то шаржированное. Нельзя же на протяжении всего рассказа смеяться над ребенком.

Вы очень часто впадаете в шаблон, но самое удивительное, что когда этот шаблон согрет искренностью, он уже не шаблон.

О точности

— Вы, желая усилить впечатление, начинаете искать некоторой оригинальности. Переигрываете и впадаете в оригинальничанье. Здесь есть стремление избежать трафарета, стремление это естественное. Но вы гонитесь за эффектом. Это привело... Вот читаем «Прутья рельсов». Прутья — тонкая, гибкая вещь, никогда не вяжется с нашим представлением о рельсах. Скажете, частный случай? Нет. У вас таких неточностей много, и в сумме мы имеем дело с чем-то условным, приблизительным.

Когда вы ощущаете, что язык правильно передает внутреннее состояние писателя, то это дойдет и до читателя. Только в этом случае вы сможете достигнуть того эффекта, который вам необходим.

А так все ваши образы требуют большой проверки.

О наблюдательности

— У вас порой не просто наблюдательность... Любовь к своей наблюдательности, ко всему своему — вещь хорошая, если только этой любовью не злоупотреблять. А злоупотреблять — это все равно что иметь дело с человеком, который при встрече всегда рассказывает об одном и том же. Уже на третий раз вам будет скучно и страшно тоскливо. Невольно этого человека вы начнете избегать.

Есть точные детали, но не нужно их стирать повторением.

Оставить по возможности самое необходимое... Оставить самое необходимое — это и значит написать рассказ.

Смерть — вещь необратимая, и излечиваются от нее только любовью.

Совесть

— Рассказ многословен. Герои передвигаются, едят, действуют, а о них как о людях никакого представления не возникает.

Как избежать этого? Нужно писать о герое как о самом себе, то есть не быть посторонним зрителем для собственной вещи. О себе как о манекене писать не будешь. Против показаний собственных чувств трудно идти. Совесть воспротивится.

Читал сегодня три рукописи,— устало говорит Паустовский,— и у всех положительных героев глаза синие.

Воображение

— Сила воображения нужна не для того, чтобы сочинять несуществующую действительность, а для того, чтобы конкретно представлять людей в конкретной обстановке.

— Вся значительная литература основана на утверждении жизни.

— «Пахло туманом» — это сказано очень точно, потому что туман пахнет.

— Когда человек глух к юмору, это катастрофа.

Так хочется написать что-нибудь такое, чтобы он удивился и сказал: «Как это вам удалось! Как это вам удалось!»

5

Записная книжка 1948 года.

...Разговор зашел о рассказах настроения.

— Особое состояние,— сказал Паустовский.— Происходит какая-то вторая жизнь. Стараешься передать только свое настроение — то, что переполняет, и тогда все представляется реальным, вплоть до зрительных, слуховых галлюцинаций. И если вы полны таким состоянием до краев, то одна какая-нибудь не та деталь, одно неосторожное лишнее движение... И все может рассыпаться. Состояние... Это может быть радость, грусть, захватившая вдруг вас в дороге, у окна вагона... Скажем, состояние грусти от несовершившегося счастья дождливых рассветов.

— Вы пишете, что он «запретил себе думать о Ксении»... Запретить себе думать нельзя. Можно забыть, пожалуй. Но потому и пишут еще, чтобы не забыть, пишут и тогда, когда забыть не могут, если бы даже и хотели позабыть.

— Нужно осмысление жизни, и не только автором, но и действующими лицами.

Одиночество

— Поймите, одиночество возникает именно из-за непонимания твоих устремлений окружающими, занятыми только собою... Одиночество — это и тогда, когда человек даже самого себя уже не может занять самим собою.

Во втором рассказе тема одиночества смыкается с темой старости. Есть желание найти выход, но не убедительное. Старость?..

В таком возрасте, как ваш, трудно поднять эту тему.

Трагедия старости сводится, в частности, к отсутствию сверстников,—это одно из чувств старости. Страшно, что прошлое исчезает не само по себе только, а еще и потому, что с каждым днем все убывает число свидетелей твоей жизни, и наконец остаешься единственным свидетелем собственной жизни,— вот старость.

Свидетелем того, чего уже как бы и не было совсем.

— Рассказ даже вне территории. Тут герой вскользь упомянул об Элладе. Так просто... Эллада.

И, будто получив радостную весть, Паустовский сжался весь от удовольствия. На его всегда смуглом лице еще сильнее проступил загар.

— Эллада,— произносит он с особой почтительностью.

И, оставив разбор, он начал рассказывать:

— Недавно на берегу моря, среди голых скал, раскопали целый город. А город был открыт не благодаря случаю. Знаете, кто дал координаты? Гомер. Нашелся человек, который изучил «Илиаду» и «Одиссею» с географической точки зрения. Теперь многие данные пересматриваются. Что вчера еще представлялось поэтическим вымыслом, сегодня — факты научной достоверности. Эллада... Для многих это только глава из всеобщей истории междоусобиц, скучный учебник по истории Древней Греции. Но это не так... Эллада! Это исток. Припадая к этому роднику, мы входим как бы в русло новой истории.

В русло цивилизации. А вы так, вскользь упомянули Элладу и проскочили мимо. Так мимо всего в жизни можно пробежать.

— Весь вопрос в том, какие намерения кроются за этими высокопарными фразами.

— Есть вещи, которые заставляют меня не доверять автору. Мальчик не знает о существовании такого города, как Берлин. Если бы это было еще до войны. Незначительная деталь, но она убивает доверие к автору.

— У вас нет того, о чем мы на семинаре не раз говорили,— поэзии прозы.— И утверждал: — Литература — это не ремесло, не профессия, а призвание и долг,— это общественное самосознание. Это орган совести.

— Вы можете не быть в Америке, но если уж вы взялись о ней писать, то вы должны ее знать. Это вопрос честности перед читателем. Вопрос авторской совести.

Нужно изучать страну, а не только читать газеты. Изучая, подойдете к той грани, когда уже почувствуете, что теперь получили право писать.

— Диалог у вас является простой констатацией факта. В таком случае его не следует пускать в ход.

— Вы восклицаниями подменяете действие чувств.

— В иронии всегда есть какой-то задевающий оттенок превосходства автора. Есть и оттенок скепсиса.

Ирония, пропитанная сердечностью, обаятельная черта. А без сердечности придает оттенок некоторой преждевременной старости.

— Если автор не сострадает своим героям, не сорадуется, то это уже не искусство, а номенклатурная литература.

Н., мой друг, любил все уточнять и, уточняя, только запутывал, ставя под сомнение даже вещи сами собой разумеющиеся.

— Константин Георгиевич,— спрашивает Н.,— это как бы, вывертывая руку, не понимают, что причиняют боль. Когда выкручивают руку, должно быть больно всем, да?

Паустовский подумал и, будто положив что-то в свою память — записную книжку (он не раз сравнивал память с записной книжкой), сказал, медленно подбирая слова:

— Я бы, пожалуй, сказал так... Это литература, лишенная способности перевоплощения, способности ставить себя на место других, понимать... состояние другого. — И уточнил: — Литература — это и определенные обязанности перед читателем, и перед самим собой, и близкими тебе людьми.

6

Сегодня на семинаре разбирали главы...

— Первая часть задуманной мною эпопеи, — поведал мне Н.

Н., мой друг, тот самый, который всегда все уточнял.

— О чем писать? — сказал он. — Такого затруднения я не испытываю. Начну хоть с повестки военкомата. Развертывая дальше всю войну от деревни Семеновки до Берлина.

...Пока Н. читал главы из своей эпопеи, Константин Георгиевич начал что-то записывать. Потом он отодвинул лист в сторону и больше уже ничего не записывал.

Что это за главы были? Автор рвался к чему-то, обкрученный путами, расталкивая все, что мешало последнему усилию... Еще одно движение... освобождение от собственной тяжести. Победа! Одна фраза разматывалась на целую страницу. Люди не разговаривали, а философствовали, чтобы не раствориться в стихии, осмыслили события, чтобы овладеть событиями и управлять ими... Впереди уже виден клочок спокойного синего неба. И вдруг все снова смешалось. Вспышки, крик: «А-а-а!» — это кто-то на шальную пулю нарвался. И внезапно наступила тишина, особенная, ничем теперь не угрожающая тишина. Война теперь становилась воспоминанием.

Ошибка Н. была ясна: он на марафонской дистанции бежал так, как спринтеры берут стометровку.

Все участники — а среди них были и люди снисходительные — раскритиковали эти главы:

— Нет главной идеи.

— Ни начала, ни конца.

— Нет ничего законченного.

Я попытался прийти на помощь другу, сказав:

— А разве это не идея, когда конец снова оказывается началом.

Но меня оборвали.

Паустовский спокойно слушал, никого не одобряя и ничего

не отвергая. Он всегда сникал, когда вынужден был говорить вещи неприятные.

Когда стало тихо, Паустовский сказал:

— Все, что здесь говорилось, было сказано правильно. Добавь мне совсем нечего. Почти все верно. Но вот что меня удивило... Недостатки недостаткам рознь. Есть такие недостатки, которые со временем перерастают в достоинства. Порой у нас пишут так: «На душе было тревожно» или: «На душе было радостно» — отделяются одной фразой. Почему об этом «на душе было тревожно» не написать две-три страницы? Расшифровать это «тревно». Может быть, именно для того, чтобы объяснить это состояние, и нужно написать целый рассказ.

Н. объясняет состояния.

— Вы, — сказал Паустовский, — будете писать рассказы. Что вы нам на это скажете?

Н. обескураженно смотрел на Паустовского. Я знал, что его так обескуражило: как же быть с эпоеей?

Отдавая ему папку с главами, Паустовский, довольный, сказал:

— Посмотрите, пожалуйста. Я тут не удержался и прошелся карандашом. Так, прополос только. — И говорит с таким уважением к авторскому тексту, а нам только что казалось, что здесь пока ничего и нет, о чем стоило бы рассуждать по гамбургскому счету.

...На другой день Н. сообщил мне радостно:

— Статуя начинает оживать. Вот только тронул, а берега уже обозначились, объемность появилась.

7

«Нечего сказать» — эти слова — обвинительный приговор Паустовского.

Д. читал рассказ. У него несколько рассказов и повесть напечатаны в толстых и тонких журналах, был он замечен и критикой. Пока другие студенты разыскивали «искмое», «суть», он начал давать советы, снисходительно улыбаясь.

И разбор вдруг удивил участников семинара неожиданной для Паустовского категоричностью. Он сухо, не делая никаких скидок, сказал:

— Не за свой счет в литературе жить нельзя. Скороговоркой вы отделяетесь от вещей, которые требуют осмысления, и подробно рассуждаете о том, мимо чего можно спокойно пройти без всякого ущерба для вещи.

Вы как автор снижаете уровень своего героя, чтобы выглядеть выше героя. Что это за герой и что это за уровень? Герой настолько ослеплен собственным значением, что ничего вокруг не замечает.

Рассказ лишен живой крови. Создается впечатление, что вам нечего сказать.

На следующее занятие Д. не пришел,— это был первый человек, покинувший наш семинар.

— Экспансивностью заменяют одаренность.

— Пейзаж очищает человека во всех его проявлениях.

— Нужно предостеречь себя от предрассудков. И если мы себе в голову с юности вбиваем предрассудки, это очень плохо.

— Не оканчивать эффектно каждую главу.

— Морская мечта! Это целый мир.

— Вы ходите по жизни как оценщик, и оценщик довольно холодный. Вот что меня беспокоит.

— Ритм не должен быть назойливым.

Не выдвигает ли он перед нами те же самые требования, которые предъявляет и к себе самому?

— Сегодня,— сказал Паустовский,— мы попробуем проделать один опыт.

И он дал задание:

— Каждый из вас должен написать... О чем — это не столь важно. Это может быть эпизод. Или незначительный на первый взгляд случай. Или просто пейзажная зарисовка. Одно условие: только чтобы это не выглядело анкетно. Попробуйте ответить на вопрос, что заставило вас взяться за перо. Что заставило взглянуть на окружающее как-то по-другому, открыв вдруг для себя нечто новое, разорвав круг шаблонных представлений. Пишите свободно, не оглядываясь то и дело, не примеряясь к чему-то.

— Недавно,— сказал он,— в журнале «Иностранная литература» я прочел интервью с американским писателем. На вопрос об истоках творчества американец засмеялся и сказал не то серьезно, не то в шутку, что в детстве он мечтал стать футболистом, но природа обделила его,— разумеется, неспра-

ведливо, — здоровьем и мускулами. Тогда он отомстил природе за ее несправедливость по отношению к нему тем, что начал писать. И, разумеется, только о футболе. Писал с азартом, как бы сам забивая голы и побеждая чемпионов.

Мы засмеялись.

— Я не выдумываю, — сказал Паустовский и улыбнулся. — Seriously. И такое может быть. Главное — открыть для себя что-то новое, выйти из круга привычных, готовых представлений.

И кажется, когда он, улыбаясь, предупреждает, что он говорит серьезно, то сам он еще должен увериться в этой своей серьезности.

Чтение задания. Паустовский доволен.

— Вот видите, — говорит он, — почти все вещи написаны раскованно, свежо. Вы избавитесь от многих недостатков, если сохраните эту раскованность письма. Как ее сохранить? Да пишите так, как вы пишете письма близким вам людям, которых вам не нужно остерегаться.

Порой он, прерывая семинар, напоминал нам, что жизнь имеет ценность и сама по себе. Есть же вещи, которые не требуют истолкования для того, чтобы обрести какую-то цену. Одним словом, есть вещи, не имеющие стоимостного выражения.

Есть же солнце, настоящее небо, настоящий лес, настоящая река. И первый весенний гром. И первый грибной дождь. И первый рыхлый снег. Все только настоящее.

И можно, и нужно увидеть все это настоящее как бы в первый раз.

И начинал рассказывать о своих поездках в Мещору, в Карелию, в Среднюю Азию, на Кавказ, Украину, в Зауралье.

А то вдруг вспоминал о вступлении частей Красной Армии в Киев, бегстве петлюровцев.

Рассказывая, он сверял свое восприятие с нашим впечатлением.

И не только сверял.

Многие эпизоды вошли в его книги, а о том, чтобы видеть все как бы в первый раз, он написал в «Золотой розе», книге, основу которой составили семинарские занятия.

«Способность видеть жизнь, — писал он, — всегда как бы вновь, как бы в первый раз, в необыкновенной свежести и зна-

чительности каждого явления, каким бы малым оно ни казалось... Это качество — видеть все как бы впервые, без тяжелого груза привычки, видеть всегда как бы вновь — присущее детям и художникам, необходимо и писателям... Тогда каждый человек, каждый его поступок, жест, слово, каждая вещь — будь то радуга или изломанный кусок антрацита — приобретает силу новизны, силу открытия».

Паустовский доволен. Всем своим видом он призывает и нас разделить вместе с ним чувство удовлетворения.

— Вот что значит писать раскованно,— говорит он.— Вы писали стихи? — спрашивает он у О.

— Да, писала,— признается О.

— Это сразу видно. Я боялся, что это будет типичная проза поэта, разуверившегося в своих силах. Проза довольно падающая, расплывчатая. К счастью, все опасения не оправдались. Хорошо, что писали стихи. Это детская болезнь прозаика. Повесть привлекает тем, что она очень искренна. Выдуманной войны в этой повести нет. Повесть очень любопытна. Чем?

И начинает разгадывать:

— Очень любопытна. Понимаете, война в ней показана неожиданно... Даже в аспекте какой-то светлости. Вот в таком отношении автора к пережитому и проявляется индивидуальность автора. Людей я вижу. Люди бы эти не существовали, а были бы только названы, если бы автор не любил их. Сила авторского сочувствия и расположения и любви к людям здесь такова, что люди оживают только благодаря авторскому расположению к ним.

— Что значит хорошо написано? — и отвечал: — Когда хорошо написано, то не замечаешь, как написано.

— Рассказы произвели впечатление раскрашенных фотографий. Они иллюстративны. Мне было неинтересно общаться с этими людьми — они очень обыденны. У меня такое впечатление, что вам скучно с вашими героями. В чем счастье двух любящих? Я ожидал — в ребенке, вы же сводите все, по существу, к квартирным делам.

— У каждого вырабатывается слух на свою фразу. Если вы чувствуете, что есть фразы, которые вас царапают, вы их вычеркиваете как чужеродные, не зная еще, в чем дело. Просто вы сбились с тона вашей прозы.

— Если есть свое, то чужеродное всегда чувствуешь.

— Не бояться резкостей, а у вас все углы сглаживаются.

— Вы как-то прохладно относитесь к тем идеям, которые вы вкладываете в произведение. Это для меня непонятно.

Нужно выйти из тех узких рамок, в которые вы сами себя искусственно поставили, изолировавшись от действительной жизни.

— Это угадываешь, но не чувствуешь. Этот рассказ я не могу оценивать как факт литературный.

И Паустовский досадно морщится от неприятной обязанности не разбирать рассказ, а как бы выговаривать.

— Что вы на это скажете? — Он всегда так спрашивал; чтобы убедиться, не слишком ли он, разбирая рассказ, сгустил краски, судя об авторе как человеку больше по рассказу, а не по достаточному знакомству с автором как с человеком.

Паустовский быстро вошел, чем-то возмущенный и одновременно недоумевающий.

Начал рассказывать с вдруг зазвучавшей в голосе явственной усталостью:

— Плыли мы на лодке в сторону Велигожа. Левый берег Оки уже туманом заволокло. Вечер наступал. Впереди увидели лодку, захотели обогнать ее, а то обзор сужала. На веслах, видим, женщина — и гребет. А на корме, за рулем, сидел мужчина и курил. Мы подумали: издалека, очевидно, плывут. Меняются, наверно, местами. Проходит час — картина та же. Женщина гребла, мужчина курил.

Мы стали возмущаться — вот тип!

Пристань показалась. Огни зажглись в окнах. Мужчина хоть бы что... Только изредка разомнется, чтобы не дать онеметь телу: то шевельнет рукой, то ногу переложит.

Как только лодки наши поравнялись, мы закричали: «Эй, там, скажи, пожалуйста, сколько же можно!»

Мужчина даже не взглянул в нашу сторону. Он смотрел перед собой как-то слепо.

Женщина, толкая лодку вперед, сказала нам сердито:

«Не трожь его. Он думает, как нам жить завтра».

1949 год.

Вручили нам дипломы.

Получил рецензию из издательства на рукопись. То, что было в самом деле, рецензент считал «кочкой зрения», «взглядом из окопа».

Трудности теперь не представлялись радостными препятствиями,— как было когда-то, давно, уже словно в другую эпоху.

Н., мой друг, считал, что мне просто не повезло.

— Напоролся на человека, не нюхавшего пороху,— утверждал он.

Оба мы уже знали, что дело не в этом. А в чем? — вставляли новые вопросы.

Сразу не отрываешься от института. Нет-нет да и придешь на семинар к Паустовскому.

На семинаре новые студенты. Они совсем не похожи на первые послевоенные наборы: громко разглагольствовались, суетливые, все куда-то торопятся, поглядывая на часы — опасались что-то прозевать, куда-то не успеть.

Студент З. подозвал меня и выразил желание, чтобы я прочел его рассказ и высказал свое мнение.

Рассказ, озаглавленный «В пути», похвалить было не за что, и обидеть как-то не хотелось за оказанное доверие. Я начал подыскивать слова:

— Видишь ли, собственно, разбирать, если, видишь ли...

— К чему? Зачем разбирать еще? — остановил он меня. — Ты вот мне посоветуй, скажи, куда рассказ лучше отнести. В журналы «Огонек», «Смену», «Крокодил». Пристроить рассказ нужно.

Я обрадовался и сказал:

— В «Крокодил» неси!

Месяца через два я встретил З. в пестром галстуке, в разрисованной яркими пятнами импортной рубашке. Он шумно меня обнял и позвал в шашлычную.

— У тебя нюх,— сказал он мне покровительственно.

Да... задумаешься.

Студент Р., первокурсник, защищая свой рассказ, стал доказывать на семинаре, что есть люди первого сорта и есть люди второго сорта.

Паустовский, у нас, помню, спокойный, здесь вдруг не глуховатым своим обычным, экономившим словно силы голосом, а резким — чуть не вскрикнул, так ему сразу стало больно:

— Что за гигантомания?

И он, как устыдившись, что на этот раз не сдержался, сразу сник, не столько, было видно, успокаиваясь, сколько просто сжимаясь.

У нас, помню, наступала обычно тишина, если сразу не находили способа, как замять и рассеять шуткой напряжение. Здесь паузы не наступило. Какая-то крупная девица с голубой лентой, вплетенной в волосы, — под школьницу, — взвизгнула с проступившими на лице пятнами:

— Есть! Есть! — И, еще сильнее бледнея от негодования, сказала с вызовом: — Я не могу уважать официанта за то, что он берет на чай.

Паустовский, никогда не вступавший в спор, тут отрезал:

— Не уважайте лучше тех, кто дает чаевые.

Ш. вскочил с места. Его, знал я, звали «лириком» за постоянно восторженное лицо. Этого человека ничего по-настоящему не удивляло, а только все изумляло. Он быстро, захлебываясь, сказал:

— Мне лично рассказ так понравился! Так понравился! Но... Потом, обдумав, я решил, что это шаг назад от социалистического реализма.

Паустовский — этого он у нас никогда не делал — перебил Ш.

— Когда же мне вам верить? — спросил Паустовский. — Когда вам рассказ понравился или тогда, когда вы, обдумав рассказ, решили, что рассказ вам не должен нравиться?

Я увидел, что в слово «не должен» Паустовский вложил особый смысл.

— Я вам вообще не верю, — сказал Паустовский. — Если вы глубоко советский человек, то ваше субъективное впечатление от рассказа не должно быть так противоположно рациональному истолкованию рассказа.

И, успокаиваясь, он с какой-то царашнувшей меня интонацией — чуть ли не просительной — сказал:

— Художественность в этом.

Ш., нисколько не обескураженный, сел с изумленным лицом.

После долгого перерыва я зашел на семинар, чтобы увидеть Константина Георгиевича.

На семинаре какие-то далекие от литературы разговоры.

В рассказе, который обсуждали, был ощутимо изображен сенокос. Новый студент с бородкой пренебрежительно вслух заметил:

— Коса — это архаизм. Коса? Когда шагающие эскаваторы, косилки, комбайны.

В другом рассказе речь шла о солдатах, помогавших колхозу. Разгорелся спор, можно ли сейчас и нужно ли писать о солдатах на уборке урожая. Одни утверждали, что можно, другие, усмехаясь над наивностью таких утверждений, говорили, что нельзя.

Паустовский, ссутулясь, безучастно выслушал прения сторон.

Сказал:

— Мне очень важно знать, куда идет автор. Разговор должен идти о том пути, который вы избрали, и правилен ли этот путь.

И то, что он советовал, выглядело здесь как-то архаично: все равно что убеждать, что нужно видеть жизнь как бы впервые, и вдруг почувствовать ненужность собственного здесь присутствия.

Он говорил, с трудом выжимая слова, то разговаривал машинально, по инерции, попав в уже знакомую колею.

Нас, помню, упрекал за срывы, а тут вдруг начал уговаривать, чтобы хоть какие-то срывы были.

Говорит:

— Даже хотелось бы, чтобы в рассказе были свои срывы, которые бы нас, читателей, задевали. А боязнь ошибок убивает авторский темперамент. Может быть, дело не в темпераменте, а в скрупулезной обдуманности. Мы говорим: идея — основа... Но я думаю — в прозе головная идея должна органически сливаться с авторским существом.

Все, что он говорил, возвращалось к нему же обратно и отдавало здесь архаизмом.

Паустовский чем-то здесь был скован, отделен барьером. Когда он, помню, у нас на семинаре говорил «я думаю», «возможно», «может быть, лучше», то все эти обороты речи, заключая в себе что-то утвердительное, оставляли всегда дверь открытой для поисков и обнадеживали, разрушая перегородки между людьми, здесь же эти самые обороты, казалось, были вызваны предосторожностью, чтобы не быть превратно истолкованным.

На улице он сказал мне:

— Скоро уйду. Доведу семинар до конца учебного года и уйду.

Вдруг оживился и сказал:

— Приходите ко мне завтра вечером. Я достал старую, подробную карту Рима. Вот мы и побродим по Вечному городу.

Унывающим Паустовского я никогда не видел. «Главное — это не сдаваться», — внушал он мне всегда всем своим существом.

На семинаре

— Вы бросаетесь, — говорит Паустовский, — в боковые переулки, оставляя главную улицу пустой. Главное у вас — любовь. А здесь и заседание профкома, и теория относительности. Если на греческую колонну со строгим орнаментом повесить прекрасную картину, то все будет убито — и колонна, и картина. Хочется снять с архитектуры рассказа все эти украшения.

Много деепричастий, — это делает фразу бесхребетной. Несколько изысканные образы. «Стройные плечи»... Не совсем понимаю.

Любовь? Рассказ, здесь посчитали, написан о любви. Рассказ этот, собственно, не о любви, а об увлечении. Между увлечением и любовью большая разница.

Чаще всего Паустовский теперь напоминает о том, что:

— Не за свой счет в литературе жить нельзя.

На этом семинаре я встретил старого друга — Н.

— Как дела? Статуя ожила? Неведомый шедевр ожил? — спросил я.

— С кем-нибудь из однокурсников встречаешься? — спросил он, не отвечая на мои вопросы.

— Так, эпизодически.

— Да, — сказал он. — Вот к Паустовскому пришел. Послушаешь его — как поговоришь откровенно.

...Читали очерк о гидроузле Цимлянской ГЭС.

Паустовский заметил:

— Не получилось. Гора родила мышь. В чем тут дело? Что такое, по существу, очерк? Вы думали об этом?

— Строгая достоверность, — сказал автор.

— Верно. Очерк должен быть достоверен, а насчет строгости можно поспорить. Легко сбиться на простое описательст-

во. И если вы очерк будете разбавлять элементами прозы, то от этого очерк не станет лучше. Мое мнение: в очерке допустим авторский вымысел, но в границах материала. Вы пошли по неверному пути, бойко и мелко говоря о большом. Нужно бороться со стандартизацией темы, жизни. И относиться к строительству как к самоцели только тоже нельзя. Нужно помнить, что писать — это то же строительство. Недавно я побывал на стройке. Повстречал там знакомого. Он поэт. Написал стихотворение. Местная газета опубликовала. Какова же была реакция со стороны тех, кто строил? Начальника участка это стихотворение привело даже в уныние. Начальник сказал мне: «Черт подери, сколько раз я стоял на дне этого моря и никогда об этом не думал. Для меня это была просто зона затопления. Теперь море... Так вот она, поэзия». — «А что вы думаете о поэзии?» — спросил я у него. «Думал, стишки, — ответил он. — А здесь — философия».

Да, это философия... О людях. Не нужно думать, что люди на строительстве какие-то особые. Там не актеры. Говорят не передовицами, а простым языком. Не нахожу юмора... К начальнику участка, помню, вбежал прораб Захаркин. Он не разговаривал, а только выкрикивал, даже когда вокруг тишина была. Кричит: «Скажи, начальник, долги нужно отдавать?!» — «Ну да, — отвечает начальник, — по-моему, нужно». Захаркин закричал: «И по-моему, нужно! А вот Петров ничего не отдает». Стали узнавать, в чем дело. Выяснилось, Петров взял в долг у Захаркина пятьсот кубов земли. Прораб Захаркин горячился: «Да еще какой земли! Песок. Да еще как увидит меня, так прячется».

Мы засмеялись.

Паустовский заметил:

— А у вас люди почему-то даны только под углом строительного пафоса.

В это время он писал очерковую повесть «Рождение моря».

— Зайдем ко мне, — сказал Н. — Посидим на чемодане.

Оказывается, он уезжал на Алтай, завербовался рабочим в геологическую партию.

— Жизнь изучать еду, — сказал он не то серьезно, не то пошутил: теперь нужно было угадывать, когда он говорил серьезно, а когда шутил.

— В самом деле? — спросил я.

— Деньги нужны, — сказал он.

— Всем нужны, но... В самом деле? — опять спросил я.

— А... — сказал он. — Профессиональным писателем мне стать не дано... Лучше ходить с отбойным молотком.

.

— Когда я читаю Стендаля, мне очень хочется писать, — говорит мне Паустовский и задумывается.

...Чувствую, что у нас в оставленных позади годах и впереди стояли долговыми обязательствами воспоминания-устремления. Совместные, общие обязательства. Перед кем? Перед чем? Что это за обязательства? Обязательства наставника перед учениками? Обязательство учеников перед наставником? Собственно, он никогда не учительствовал, никогда не навязывал своих притязаний, оценок и даже своих пристрастий. Что-то еще...

Уже не просто хочется писать... Просто писать уже не тянет.

Осенью Паустовский институт оставил.

9

В Тарусе, на Оке.

...Таяло. Всю ложину заволок туман, и мост как бы покачивался в воде.

И солнце слепило.

Настоящее солнце. Настоящая весна.

Все вокруг только настоящее.

Константин Георгиевич, разбирая путеводители, книги, проспекты и каталоги с репродукциями, с увлечением рассказывал о своей поездке во Францию. Помолодевший, с прорывающимся чувством удовлетворения, он показал мне с таинственным видом сувенир — набор рыбацких принадлежностей. Он выдавил из тюбика вязкую жидкость. Жидкость сразу затвердела.

— Наживка эта. Искусственная. Прямо живой мотыль! — все удивлялся он с мальчишеским восторгом.

...Восхищение это не вызвало у меня чувство зависти, хотя сам я постоянно собираюсь в дорогу, с детства все в дороге.

Я радовался вместе с ним, как за самого себя, словно наконец-то — через Паустовского — я восстановил непосредственную связь с родиной Монтеня, Рабле, Дидро, Стендаля, Бальзака, революции: Свободы, Равенства и Братства.

— У них о нас превратные представления,— делится он своими впечатлениями.— Встретился я с Моруа. Моруа упрекнул нашу литературу в отсталости. Пишем все как-то по старинке. Над формой не экспериментируем. Я сказал: нам было не до формы. Моруа удивился и спросил: чем же тогда все эти годы писатели занимались? Чем мы занимались? Что я мог ему на это ответить. Я сказал: спасали культуру. Моруа смотрел на меня недоверчиво и вежливо улыбался, как проверяя, серьезно я это в самом деле говорю.

Путешествие вокруг Европы на теплоходе «Победа» все никак не оставляет Паустовского. Для него это путешествие — сон, ставший явью. Явью возвратившейся молодости. Наконец-то ему удалось осуществить мечту детства.

Обветренный, с морским на лице красноватым загаром, с выглядывающей в распахнутом вороте полосатой тельняшке рассказывал:

— В Неаполе стояли. Я вышел на набережную — размяться. Взял с собой лаковую матрешку. Смотрю, мальчишки мяч гоняют. И так они были увлечены игрой, что вокруг ничего не замечали. Один мальчик, подвижный... юла прямо... Наткнулся на меня, чуть не сбил меня с ног. Я подозвал его и показал матрешку. Ребятишки облепили меня, и я, предвкушая взрыв ликования, отвинтил матрешке голову. Столпились возле нас и взрослые. Подошел и медлительный полицейский. И все заинтересовались, принимая меня за фокусника. Я и у второй матрешки открутил голову. Крик восторга и ликования. Выглянула голова третьей, самой крохотной матрешки.

Я сложил одну матрешку в другую и отдал эту игрушку мальчику, чуть не сбившему меня с ног. Он подпрыгнул и, прижав матрешку к груди, побежал к дому. Побежал удивлять кого-то еще и еще.

«А, синьор русс!» — сказал полицейский с упреком.

Я почувствовал, что промах какой-то невольной допустил.

Полицейский сказал:

«Ах, синьор русс, вы могли бы осчастливить сразу трех человек».

Раздался выстрел. Мы выбежали во двор. Возле конуры лежал Тобик с поджатыми лапами. Он был мертв. Калитка была запертой. Кто-то со стороны речки Таруски выломил доску в заборе, просунул в щель ствол ружья.

За что? Тобик всегда при встрече поровил каждого лизнуть.

Паустовский сразу обмяк, сгорбился. Близоруко жмурясь, он глядел вокруг, недоумевая и в то же самое время негодуя.

Негодует и в то же самое время недоумевает.

У нас на семинаре он, помню, больше удивлялся, чем недоумевал, потом больше недоумевал, чем удивлялся.

Теперь он всегда негодовал и одновременно недоумевал, когда сталкивался со всем тем, что противоречило даже простому здравому смыслу, — и протестует против такого противоречия уже все существо.

Восстает все твое существо.

Внизу, за оградой, — вдруг слышно стало — особенно громко зазвенела речка Таруска в какой-то вдруг отдельности ото всего — леса, Оки, луга.

Все стало вдруг в отдельности друг от друга.

На другой день Паустовский рассказывал:

— Стояли мы в Неаполе...

Он позабыл, что только вчера он уже поведал нам о Неаполе.

Теперь он рассказывал глухим голосом, — мял в руке неприкуренную папиросу, говорил без воодушевления, которое в нем обычно пробуждало краски, восстанавливало переживания, закрепляло пережитое, останавливая бег времени. Рассказывал уже не для того, чтобы закрепить в памяти-отборе что-то существенное из хаоса увиденного, пережитого, как он рассказывал на семинаре, а потому только сейчас не молчал, что в доме были гости. Гостей как-то нужно было занять, чтобы вместе с ними и самому отвлечься.

И, не досказав о Неаполе, он, прервав рассказ, начал вдруг вспоминать первую встречу с Гайдаром.

Теперь, заметил я, о чем бы он ни рассказывал, он неожиданно для слушателей, — может, и для самого себя, — возвращался к годам своей молодости.

Последний семинар

Кто-то сказал: «Как медленно тянутся дни и как быстро проходят годы».

.

Да, казалось, что в Тарусе и на этот раз ничего не изменилось.

И в этот приезд все оставалось на своих местах: солнце, небо, лес, и овраг, и мост, и Ока.

Как прежде, шумела речка Таруска, ускорявшая бег,— здесь, возле дома Паустовского, речка скатывалась в Оку. Струи, разбиваясь о камни, крутятся, свертываясь в пену.

Только яблони разрослись, заглядывают ветками в окна.

И цветы уже подобрались к самой террасе.

А так все как прежде... Солнце зашло за черту леса, и картофельное поле заболачивалось речным туманом, и Таруска здесь только угадывалась по густоте тумана в ложбине. Дальше, если идти по тропе вдоль берега,— Ильинский омут.

А с правой стороны, над Окой, еще было светло — остывало небо с остановившимися розовыми тучками.

На Оке зажглись фарватерные огни.

Паустовский вдруг разрушил затянувшуюся паузу наступающего медленно вечера.

— Да,— сказал он.— Нужно... Можно... Можно и заставить себя видеть, как в первый раз. И не принуждая себя можно видеть все вокруг, как в последний раз. При таком взгляде на жизнь всегда все узнаешь глубже и осмысленней.

Он не раз говорил на семинаре в институте, утверждал и своими произведениями: воспринимайте вещи так, как будто бы вы видите их впервые.

Никогда я не слышал от него, чтобы смотреть, как в последний раз.

Что он подразумевал, сказав «в последний раз», в своем действительном значении приоткрылось мне в рассказе «Ильинский омут» — в этом гимне родной земле.

Здесь он уже начал прощаться.

...Быстрые годы застопорились в своем движении, зато стали обрываться дни.

Но это видишь, когда уже оглядываешься.



К. Г. Паустовский на вечере, посвященном шестидесятилетию В. А. Каверина. Москва, 1962 г.

В. КАВЕРИН

Из письма, прочитанного на вечере, посвященном семидесятилетию К. Г. Паустовского.

Почему так любят Паустовского? Почему его книги неизменно вызывают чувство нежности, глубокой симпатии? Почему радостное волнение вспыхивает в любой аудитории, едва упоминается это имя? Можно по-разному ответить на этот вопрос: его любят потому, что его произведения выразительны, полны чистоты. Его любят потому, что он — художник с головы до ног, он артистичен, изящен. Его любят потому, что его книги интересуют всех, потому, что по каждой строке, по каждой странице видно, что ему самому необычайно интересно писать — и это мгновенно передается читателю.

Но дело не только в этом. Мало быть художником, мало умения выразительно, оригинально писать. Чтобы пробудить такую любовь, надо нахо-

дить в человеческом сердце то самое светлое, что, может быть, давно забыто или потеряно в шуме времени, в сутолоке ежедневных забот.

Паустовский заставляет людей вспомнить о том, какими они были в детстве, как чиста была их юность. Он заставляет людей прислушаться к голосу собственной юности и оценить ее снова и снова.

Паустовский принадлежит к старшему поколению нашей литературы, подошедшему к тому рубежу, с которого видно многое — и то, что совершенно, и то, что еще не начиналось. И становится ясным, что почти ничего не пропадает даром, что жизнь писателя со всеми ее тревогами, сомнениями, разочарованиями в конечном счете направлена к тому, чтобы выразить себя до конца, отдать себя другим. Это удается не многим. Но есть среди нас счастливицы, которые работают не повторяясь, постоянно развиваясь, люди сильной, непреклонной души, подлинными властителями дум, потому что их книги принадлежат всем поколениям. Паустовский один из этих счастливицев. Умение восхищаться — о, какая это редкая, драгоценная черта!

Я не знаю, откуда она у Паустовского — от юношеского ли восприятия действительности, или от страстного увлечения людьми? Паустовский без памяти влюблен во все удивительное, необыкновенное. Во всем, что он пишет, звучит эта то далекая, то еле слышная, но отчетливая, чистая нота. Вот почему ему так близко все небывалое, что происходит в нашей стране! Вот почему сказка как бы сама собой звучит в глубине его повестей и рассказов.

Константину Георгиевичу семьдесят лет. Но что значат эти семьдесят лет для такого неутомимого, легкого на подъем путешественника, как он, для такого умного любителя необыкновенных историй?

Что же пожелать большому писателю, человеку могучей и скромной души? Новых книг. Я вижу эти еще не написанные книги о волшебниках, которые не догадываются, что они волшебники. О прошлом, которое Паустовский видит с поразительной зоркостью. О том, как надо любить природу, искусство, честь — и как сделать эту любовь деятельной, разумной и веселой.



Беседка в Тарусе, в которой часто работал К. Г. Паустовский.

Эм. МИНДЛИН

ДОБРЫЙ ХУДОЖНИК

Ныне приходится не дописывать ранее написанные и уже напечатанные воспоминания мои о Константине Паустовском, а как бы предварять их рассказом о нашей последней встрече. И рассказ этот писать в том самом Переделкине, где произошла последняя, короткая встреча. Для меня она была осознанным прощанием с человеком, которого я любил и с которым дружил много десятилетий...

Я пишу эти строки в писательском Доме творчества и только что проходил мимо коттеджа, где в то лето доживал свою ясную жизнь Паустовский. Его поселили в двух маленьких комнатах; распахнутые окна выходили на участок, густо заросший елями, соснами, и было похоже — за окнами ветвится и зеленеет лес. Но в комнате, где лежал Паустовский, было также похоже, что в окнах светится и играет море: два шара толстого стекла, из тех, что нормандские рыбаки привязывают

к сетям, были подвешены к рамам окон. Свет, проходивший сквозь них, наполнял комнату блеском морской воды, и право, стоило потянуть носом, чтобы услышать йодистый запах моря. Шары были присланы из Нормандии — Паустовскому они создавали иллюзию моря. Он неотрывно смотрел на них. Через них — в лес, за окно.

— Потом скажете мне, как вы его нашли, — шепнула его жена Татьяна Алексеевна, вводя меня к нему.

Как я его нашел? Он всегда был невысокого роста, но теперь стал маленьким, как ребенок. Голова светилась, почти не приминая подушки, и легкие, высохшие руки лежали поверх одеяла так, словно кто-то другой, не он сам, положил их, чтобы они лежали.

Я нагнулся, мы поцеловались. Он заговорил голосом куда менее хриплым, нежели обычно. Голос не соответствовал его немощи, худобе. Вся сила духа, живого в нем, вся ясность мысли, лучащейся в тихих глазах, проявилась в голосе, отвердевшем вдруг напоследок.

Татьяна Алексеевна оставила нас вдвоем. Будь она свидетельницей нашей последней встречи, я не отважился бы при ней говорить о том, о чем говорил тогда с Паустовским. Мы не впервые, но в последний раз говорили с ним о смерти и умирание, я — зная, что он умирает, он — очевидно, понимая это.

Татьяна Алексеевна и прежде не любила этих наших с ним разговоров — они пугали ее. Хотя в Ялте однажды Паустовский сказал при ней, что разговоры такие скорее успокаивают. Но кого? Его, не ее.

Он сразу приступил к тому, о чем, видимо, напряженно, не выдавая себя, размышлял все эти дни, смотря сквозь стекла рыбачьих шаров в лес за окном. Он думал о смерти. Он ждал от меня слов, способных внести в его душу успокоение.

Мне стало страшно: где найти такие слова? Вдруг я еще больше растревожу его?

Сейчас я сам дивлюсь укрепившей меня тогда отваге. Я ответил словами философа, что «философствовать — значит учиться умирать».

— Вы думаете, это не страшно? Ей-богу?

Я ответил, что в этом уверен. Я призвал в свидетели самого Монтеня: кто научился умирать, тот разучился быть рабом.

— Вы знаете, что еще говорил Монтень? Он говорил, что

лекарство, применяемое невежественными людьми,— это вовсе не думать о смерти.

— Боюсь, я слишком долго был невежественным человеком,— тихо сказал Паустовский, и на лице его на мгновение проступила улыбка.

— Естественно, что вам некогда было думать об этом,— возразил я.— Вы всегда были деятельным человеком. Всегда писали и путешествовали.— Я вдруг решил переменить тему разговора: — Слушайте, вам можно позавидовать. Вы по-настоящему счастливый человек. Вы слышите? Вы счастливец. В конце концов, что такое счастье, как не возможность осуществить себя, быть собой? Вы всегда были собой. В сущности, вы сделали все, что хотели, и все, что могли. Вы должны быть довольны, вы счастливы. Это удавалось не многим.

— Нет,— сказал Паустовский.

— Что нет?

Я привожу здесь наш разговор по памяти, приблизительно. Мы говорили только примерно такими словами, может быть, мысли были выражены не точно так, но мысли были именно те же.

— Нет,— повторил Паустовский,— Я не осуществил себя. По крайней мере не всего себя. У меня такое чувство, будто я только сейчас начинаю писать. Только сейчас кое-чему научился. И будто впереди первая книга.

— Дорогой, вам лучше, чем многим другим, известно, что каждая книга всегда первая книга. И что первая всегда впереди. Это счастливое чувство каждого настоящего, каждого большого писателя. Нет, нет, вы очень счастливый писатель, человек очень счастливой жизни. Вас признали с первой же вашей книги. Ваша популярность в народе огромна. Вы это знаете.

— Признание... Популярность... А все-таки, как знать, кто может назвать себя счастливым?

— Тот, у кого хорошо на душе,— уверенно сказал я.— А хорошо на душе у того, кто хорошо сделал дело своей жизни. Вот вы...

— Не будем отвлекаться,— перебил меня Паустовский,— а то нас прервут. Так вы говорите?

— Что я говорю?

— Что можно себя приучить? И что это не страшно?

— Это не я говорю. Это говорили величайшие умы человечества. От Эпикура и Марка Аврелия до Монтеня и даже до Энгельса. И все в общем одно и то же, приблизительно одно

и то же об этом. А когда все умы, разделенные веками и даже тысячелетиями, сходятся на одном, то это значит, что они постигли истину.

— Да... Может быть... На чем же, по-вашему, все они сходятся?

— На чем? На том, что жить — значит умирать. Это сказал Энгельс, и примерно это же самое многие говорили до него. На том, что смерти нечего бояться, она не страшна. Что такое смерть? — спрашивал Марк Аврелий. И отвечал, что она не что иное, как действие природы, бояться же действия природы — это ребячество. По Монтеню жить и умереть — это одно и то же. И он же писал, что если вы прожили один-единственный день, вы видели уже все. И то же писал Марк Аврелий. А главное, главное — мера жизни не в длительности ее, а в том, как вы ее используете. Голубчик, Константин Георгиевич, вы вспомните только, сколько было у нас с вами разговоров о том, что мы все воспитаны на предрассудках в отношении старости и смерти. И еще о том, что жизнь человека — это не то, сколько он прожил, а то, что он сделал.

— Так вы правда думаете, что это не страшно? — повторил он вопрос. — Значит, смерть не страшна? Сама по себе?

— Мы сами себя запугиваем. Просто потому, что никто оттуда не может вернуться и сказать нам: «Братцы, это совсем не страшно».

— А хорошо бы... — И он оборвал себя: в комнату вошла Татьяна Алексеевна.

Я поднялся. Надо было прощаться. Я знал, что больше не увижу его.

— Спасибо, дорогой, что зашли...

Вскоре его увезли снова в больницу. На этот раз — умирать.

Сколько мы с ним дружили? Не счислить годов.

Впервые имя его я услышал еще в начале двадцатых годов, от Семена Гехта. Он и спросил меня, знаю ли я Паустовского. Фамилия показалась знакомой.

— Ах, этот... Он, кажется, работает в РОСТА?

— Очень талантливый человек. Когда-нибудь станет настоящим писателем. Увидите.

Гехт уже надоел мне своими пророчествами. Если поверить Гехту, все его знакомые молодые люди должны были стать настоящими писателями.

И они действительно стали писателями, все эти знакомые Гехту молодые люди, — Ильф, Петров, Славин, Катаев, Оле-

ша, Қирсанов, Багрицкий, Бондарин и самый старший из них — Константин Паустовский.

И, наконец, он сам, Семен Григорьевич Гехт, написавший несколько добрых и светлых книг и лучшую среди них — повесть «Будка соловья», так и светящуюся чувством чистосердечной любви к человеку.

Да, конечно, сотрудника РОСТА Константина Паустовского я знал, как не мог не знать любого из журналистов двадцатых годов. Паустовский несколько не выделялся из беспокойного общества московских газетчиков, — скорее, терялся в нем.

Мы много раз пытались припомнить время нашей первой с ним встречи. И всякий раз это отодвигалось все глубже назад. Весной 1962 года в Ялте мы снова затеяли разговор о том, когда же, наконец, мы познакомились. Сидел и слушал нас известный киноактер Алексей Баталов. Не выдержав, предложил: поладить на том, что Паустовский и я знаем друг друга со времени битвы на Калке, и считать вопрос раз навсегда решенным.

Калка не Калка, а лет сорок без малого мы, конечно, знакомы. Но дружеским отношениям из этих сорока лет, вероятно, немногим больше лет тридцати. На последней из подаренных мне Паустовским книг он надписал: «Дорогому Эмилию Львовичу Миндлину с большой любовью — в память многолетней дружбы (1930 год — «Наши достижения» — 1963 год — Ялта). *К. Паустовский*».

В двадцатых годах мы уже были знакомы, и хотя более или менее часто встречались, но, должно быть, редко беседовали друг с другом. Ни одна из встреч того шумного и пестрого времени не запомнилась мне.

В конце двадцатых годов молодые московские писатели один за другим начали издаваться в харьковском издательстве «Пролетарий». Вышли в этом издательстве и «Блестающие облака» Паустовского. О Паустовском стали поговаривать как об очень способном литераторе, от которого можно многого ожидать. Рассказы его уже появлялись в московских журналах. Но по-настоящему пророчества Гехта подтвердились только в 1932 году, когда вышел и всеми был единодушно признан знаменитый «Қара-Бугаз» Паустовского.

Почти сорокалетний Константин Паустовский вошел в большую литературу и стал любимым писателем.

Я как-то встретил его на Большой Дмитровке, мы пошли вместе, и Паустовский сказал, что только что получил письмо от Ромена Роллана. Приехал из Франции Муссинак и привез

Паустовскому полное добрых чувств письмо автора «Жана-Кристофа».

Паустовский был очень обрадован — еще бы! — но выражал радость со сдержанностью, с которой он всегда выражал свои чувства. Пожалуй, наименее удавалось ему скрыть их только тогда, когда он тревожился за близких ему людей, товарищей...

Он словно смущался литературного успеха — еще не успел привыкнуть к нему. Поделится новостью — передал содержание письма — и, как бы стесняясь собственной радости, виновато сказал:

— Приятно все-таки получить письмо от Ромена Роллана.

Добрые наши отношения с Паустовским крепили от встречи к встрече.

Мы стали бывать друг у друга, Паустовский — у меня, в «келье» Страстного монастыря, а я — у него, на Большой Дмитровке, по соседству.

Бог знает, что за кабинет был у него в его тогдашней квартире — какой-то чулан без окна, крошечная часть комнаты, отгороженная тонкой перегородкой! Но, как и тогда, когда мы жили вместе в Голицыне, в доме с постоянно коптившими керосиновыми лампами, никакие неудобства не могли оторвать его от стола.

Как Флобер о себе, он мог бы сказать: «Я человек-перо».

Как-то зимой мы вместе поехали в Голицыно, в писательский Дом творчества, двухэтажный уютный домик, когда-то принадлежавший Федору Коршу, основателю известного драматического театра. От станции до дома расстояние небольшое, обычно его проходили за пятнадцать минут. Но был очень холодный, ветреный вечер, ветер бил в лицо сухим и колючим снегом. В темноте я оскользнулся и шлепнулся посреди дороги, выронив чемодан. Когда я поднялся, Паустовский был уже по крайней мере на десять шагов впереди и, ссутулившись, тяжело тащил два чемодана — свой и мой. Я еле догнал его, он ни за что не хотел остановиться и выпустить мой чемодан из рук. Он, на восемь лет старше, тогда уверял, что и сильнее меня и поэтому ему ничего не стоит донести мой чемодан. Но уже и тогда, отбирая у него чемодан, я по его дыханию понял, что эти десять шагов стоили ему немалых усилий. Конечно, он в этом ни за что не сознался бы.

Мы ввалились в голицынский домик, обдутые встречным ледяным ветром, осыпанные сухим, медленно тающим снегом, застывшие на морозе до мозга костей. Маленький, о девяти

крохотных комнатках, домик (три внизу, шесть наверху) был погружен в сонную вечернюю тишину. Из девяти его комнат только две или три были заняты. К ужину мы опоздали, и в очень большой теплой кухне, освещенной мигающей керосиновой лампочкой, ночной сторож и друг писателей Петр Иванович предложил нам согреться чаем: на огромной, еще не остывшей плите стоял ведерных размеров, тяжелый чайник.

Я был за то, чтоб согреться чаем тут же, на кухне,— сейчас, прямо с морозу,— а уж потом подняться в комнаты. Но Паустовский наотрез отказался: жалко время терять. По едва освещенной лесенке он потащил свой чемодан на второй этаж. А когда тридцать минут спустя я зашел к нему посмотреть как он устроился, я не поверил своим глазам: Паустовский уже сидел за столом и писал. Сел за работу «с ходу», еще не успев согреться с мороза, минуты не отдохнув после недолгой, но нелегкой дороги, даже не разрешив себе выпить стакан чаю! Чемодан лежал на кровати, раскрытый, но не разобранный — Паустовский успел только вынуть рукопись. Желтый мигающий свет керосиновой лампочки освещал верхнюю часть лежавшего перед ним листа бумаги — три или четыре строки были уже написаны.

— Здесь хорошо работается,— с удовлетворением произнес Паустовский, поворачиваясь ко мне.

Ни один из писателей в голицынском доме не работал так подолгу, как Паустовский. Жили там Фридрих Вольф, известный немецкий драматург, Мариэтта Шагинян, Иван Катаев, Александр Малышкин, Юрий Слезкин, другие... Иногда комнаты дома пустели. Была такая неделя, когда мы с Паустовским остались вдвоем во всем доме... После обеда и после ужина обычно выходили гулять. Ходили по большой дороге от дома к станции и обратно. Паустовский ходил легко и часто на прогулках рассказывал «истории из жизни». Право, прежде чем я прочитал его воспоминания,— да, пожалуй, еще раньше, чем он написал их,— страницы этих воспоминаний стали мне знакомы по его устным рассказам. Читая Паустовского, так и слышишь интонации его голоса, но и слушая его словно читаешь. Рассказывая, он с поразительной точностью интонировал прямую речь любого из действующих лиц рассказа. Любимой его устный рассказ — это всегда рассказ в лицах. Не только слышишь, как любой персонаж говорит каждый на свой лад, но и видишь любого из них. Паустовский живописал, рассказывая. Вот он рассказывает о Гайдаре, и, помня Гайдара, я узнаю его речь в устах Паустовского,— право же, говорит

оживший Гайдар!.. Но это Гайдар Паустовского. Это мастерский писательский рассказ о Гайдаре.

Мне не раз казалось, что устные рассказы Паустовского чаще всего заготовки задуманных им рассказов — он либо еще только пишет их, либо собирается написать...

Да и не только законченные рассказы, а и отдельные образы, фразы. Он словно сначала их проверял на слух.

Сидим за обедом в голицынской столовой с большим, почти во всю стену, окном. Паустовский смотрит на свежевыпавший, рыхлый снег за окном, потом вновь принимается за еду, ест рассеянно, вяло, снова поднимает голову, смотрит на снег и вдруг произносит тихим, слегка хриловатым голосом:

— Снег как старое серебро.

На другой день за столом я слышу от него ту же фразу. Он все еще как бы проверяет себя.

— Снег как старое серебро.

Потом я читаю эту фразу в одном из его рассказов.

И в те ранние годы в Голицыне, и позже в Малеевке, и еще много позднее в Дубултах, и когда мы с ним вдвоем уезжали из Дубулт в Ригу, Паустовский всегда бывал легким спутником на прогулках — собеседником таким же завидным, как и рассказчиком. Он мог очень легко и подолгу ходить. Но всегда надо было быть готовым к тому, что он вдруг заторопится домой, вдруг начнет томиться прогулкой, вдруг бросит свое: «Надо идти работать». словно, прервав ненадолго работу, чувствовал себя беспокойно, пока вновь не возвращался к столу. Но усталым после работы я никогда его не видел. Похоже, что труд за столом — сколько бы он ни сидел, ни писал — не утомлял его. Скорее он выглядел утомленным, когда по каким-либо причинам слишком долго не садился за стол. Нервничал в перерывах между окончанием одной работы и началом другой. Помню совсем недавние слова его жены Татьяны Алексеевны о нем:

— Слава богу, начал работать и успокоился.

Впервые в Малеевку я попал в 1931 году. Малеевкой называлась тогда только уцелевшая дача Лаврова на высоком лесистом холме. По утрам белки прыгали под самыми окнами, а в двух шагах от дома человек становился невидим в высокой траве.

Поначалу в Малеевке жили небольшой писательской коммуной. Коммуны я уже не застал. Но жизнь в Малеевке в начале тридцатых годов была еще идиллична. В девяти или десяти комнатах дачи поселялись на все лето человек двена-

дцать, кое-кто с семьями. Кормили плохо, удобств не было никаких, на железнодорожную станцию Дорохово, за пятнадцать километров, отправлялись пешком либо, выйдя на шоссе, поджидали попутного возницу и уговаривали его подвезти.

Место, где стояла дача Лаврова,— старая наша Малеевка — ныне так заросло травой, что его уже трудно найти. В пятидесятых годах малеевский старожил писатель Замойский чуть ли не полдня потратил на то, чтобы найти это место. И потом с гордостью открывателя показывал его мне.

Писатели помоложе и вовсе ничего не знают о старой Малеевке. Не знают они и о втором — деревянном — доме, построенном Литфондом в середине тридцатых годов. Мы называли его крольчатником. Этот второй дом вместе с лавровской дачей тоже был уничтожен гитлеровцами. И только потом уже построили роскошное, с колоннами, здание современной Малеевки, редко кому из московских писателей неизвестное.

В первое лето моей жизни в Малеевке Паустовского в ней еще не было. Но несколько позднее он тоже стал малеевским патриотом. Малеевка с ее лесистыми холмами, невчими лесными речушками в глубине заросших оврагов, с хрустальной ее тишиной и пахнущими сеном лугами, разумеется, не могла не полюбитьсЯ ему. В старом малеевском доме, на бывшей даче Лаврова, я Паустовского не помню. Но в доме-крольчатнике он был единственным, кто не ворчал и не возмущался порядками дома. Директором был простодушный, невежественный человек, бог весть по чьему произволу ставший хозяином тогдашней Малеевки. Обкрадывали Малеевку неопишимо. Только позднее стало известно, что незадачливый директор и не замечал, что служащие малеевского дома бесстыже выносят из дома корзины уворованного добра. Кормили нас тогда подчас даже голодно. В столовой то и дело вспыхивали протесты. Мы пробовали жаловаться директору. Но жалобы и протесты выводили его из себя.

И только Паустовский заменял справедливое возмущение спасительной иронией. С неизменным юмором он повторял «афоризмы» директора и безропотно переносил неудобства. Он попросту умел их не замечать. В том, что всех злило и возмущало, Паустовский видел прежде всего смешное. Директор скорее его потешал, чем злил.

На расстоянии полутора километров от Малеевки, у шоссе, в помещении сельской школы, разместили пионерский лагерь детей писателей. Сын Паустовского Дима и мой сын Толя, двенадцатилетние мальчуганы, дружили. Оба, должно

быть по отцовским традициям, начитались Майн Рида и Фенимора Купера и сговорились тайно бежать из пионерского лагеря в поисках приключений. Бежать собрались то ли в Африку, то ли к американским индейцам,— одним словом, куда-то за океан. Набили карманы кусками черствого хлеба, прихватили бутылку молока, что-то еще необходимое в столь трудном путешествии — и покинули пионерский лагерь, в котором умирали со скуки. Мальчики бросились наутек через лес и далее — лесными тропинками, стороной от шоссе — к станции железной дороги. Впоследствии они с упоением вспоминали об этом «полном опасностей» и таинственности путешествии пешком за пятнадцать километров от пионерского лагеря. Увы, на станции Дорохово их настигли неумолимые преследователи. И уж как отчитывали потом и всячески поносили на пионерской линейке!

Никто так не понял мальчишек, как Паустовский.

К нам пришли жаловаться на наших сыновей. Паустовский сказал «начальству», что на месте мальчишек он тоже удрал бы. Он даже выразил сожаление, что их схватили в Дорохово, а не где-нибудь подальше. По крайней мере больше бы насмотрелись, дольше поиграли бы в приключения. Все же лучше, чемдохнуть со скуки в лагере.

От тех лет сохранилась у меня фотография — снимали нас на террасе дома-крольчатника за билльярдом. С киями в руках — Павел Дорохов, автор романа «Колчаковцы» и несправедливо ныне забытый Сергей Буданцев. Рядом с ним — Яков Рыкачев, Константин Паустовский, Василий Шкваркин, известный комедиограф, автор прославленного в свое время «Чужого ребенка», и я.

Взглянув на фотографию, чего доброго, заподозришь во всех завязятых билльярдистов. Но было это не так. По крайней мере Паустовский, Шкваркин и я взяли кии в руки только по просьбе фотографа. По-настоящему увлекались билльярдом Буданцев и Рыкачев. Паустовского я вообще не помню с кием в руках, если не считать, разумеется, этой групповой фотографии за билльярным столом.

Он, как всегда, ежедневно на много часов запирался в своей клетушке и работал больше, чем все другие. Работать в крольчатнике было не так-то легко. Иван Катаев и Шалва Сослани жаловались, что мешают жуки древоточцы. Особенно донимали они Сослани.

Дом был выстроен из зараженного дерева. Изнутри бревенчатых стен неслоь тонкое однообразное пиликанье без

устали точившего древоточца. В комнатах стоял сухой ритмичный звон. И вдруг звон этот обрывался и на пол, на подоконник, а то даже прямо на стол писателя шлепался черный жук древоточец, просверливший из бревна выход на божий свет. В такие моменты весь коридор оглашался воплями Шалвы Сослани. Распахивались двери всех комнат — словно радовались предлогу прервать работу. Да, двери всех комнат, за исключением комнаты Паустовского!

Писатели выскакивали в коридор, и начиналось шумное обсуждение, что делать с этим проклятым домом.

Александр Малышкин деловито успокаивал: самое большее через два года весь дом будет съеден древоточцем дотла, и вопрос решится само собой. Не так уж долго терпеть, товарищи! Пока что давайте работать.

Сергей Буданцев произносил гневную речь о жуках древоточцах, подтачивающих Литфонд, требовал расследования: почему дом построили из зараженного дерева? Кто нажился на строительстве, кого привлекать к суду?

Тарасов-Родионов, автор нашумевшей когда-то книги «Шоколад», острил:

Братья-писатели, в вашей судьбе
Слышится что-то такое...

Мате Залка пытался всех успокоить и, чтобы отвлечь от жука древоточца, принимался, немилосердно коверкая русский язык, рассказывать анекдот, в котором самым смешным был русский язык рассказчика...

Паустовский продолжал писать у себя, словно шум, крики, возгласы возмущения, смех не доносились до него сквозь тонкую, дощатую дверь.

Он был неуязвимо сосредоточен.

Четыре года — с 1932-го по 1936-й — мы с женой жили в ныне уже несуществующем Страстном монастыре.

Розовый монастырь стоял в самом центре Москвы, на нынешней Пушкинской площади, где теперь сквер с фонтанами и памятник Пушкину, перенесенный сюда с Тверского бульвара.

Наша «келья» — она когда-то была одной из келий женского Страстного монастыря — очень нравилась Паустовскому.

Не слишком, правда, было светло. Солнечные лучи даже в самые ясные летние дни не просачивались сюда. Зимой электричество горело с утра, но летом келья ублажала про-

хладой: два окна ее выходили в затененный деревьями монастырский двор.

Бывшую келью, довольно просторную, превратили в уютную однокомнатную квартиру с прихожей, кухонькой и даже с кое-чем прочим, необходимым в жилище.

Стены были заставлены книжными шкафами, и Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, известная писательница, ко времени нашего с ней доброго знакомства маленькая, милая седая старушка, называла нашу квартирку жилым книжным шкафом.

В келье Страстного монастыря я заболел воспалением легких. В лишенном солнца жилище лечение подвигалось трудно. А между тем это было четвертое или пятое воспаление легких в моей жизни. Врачи предложили поскорее перевезти меня в больницу. Паустовский стал хлопотать. Директором Детиздата и общим другом «детских» писателей был тогда Николай Александрович Семашко, старый большевик, сподвижник Ленина и бывший народный комиссар здравоохранения. Паустовский отправился к нему для переговоров об устройстве меня в больницу. Семашко написал записку в больницу, носившую его имя, и Паустовский принес эту записку моей жене, а вместе с запиской и деньги, которые получил для меня в Детиздате. Так в результате его хлопот я был помещен в больницу имени Семашко.

Одним из моих соседей в палате оказался могильщик с Ваганькова кладбища — опухший от страшной болезни, бритоголовый, с лиловым лицом, тучный и свистяще вздыхающий. Солнечные лучи ударяли в белую стену, у которой стояла кровать могильщика. Умиравший могильщик целыми днями сетовал на свое невезенье: не вовремя заболел!

В летние дни ягодного сезона, по словам могильщика, дети что мухи мрут. Только успевай хоронить их. А детскую могилку не в пример быстрее выкопаешь, чем взрослую. Раздва копнул — и готово. А что детская, что взрослая могилка — все одно, все вровень, в норму идет. Да и благодарностей, то есть, иначе сказать, чаевых, на детских похоронах перепадает могильщикам больше, чем на похоронах взрослого человека.

И долго еще вздыхал и убивался могильщик. Так, вздыхая и кляня свое невезенье, и умер, задохнувшись как-то под утро.

Я вернулся из больницы домой и рассказал Паустовскому о своем соседе в больничной палате — могильщике.

— Изумительная тема для рассказа! — воскликнул Паустовский.

— Берите ее и пишите.

— А вы?

Я сказал, что не буду писать. И снова стал уговаривать его «взять» тему себе. Паустовский подумал и отказался. Тема была не его. Он не умеет писать об уродливом, о безнравственном. Он и о духовном убожестве не может писать. Жизнь раскрывается для него только через прекрасное в жизни.

Однажды я пришел к нему, когда он жил еще на Большой Дмитровке, ныне Пушкинской. В его отгороженном от остальной части комнаты рабочем углу — вернее сказать, уголке! — среди бела дня горела настольная лампа. Уголок был без дневного света. Паустовский держал только что перепечатанную машинисткой рукопись. Он смотрел на заполненные машинописью листы бумаги как-то сбоку, не вчитываясь. Можно было подумать, что любитесь работой машинистки — тем, как она перепечатала. Его радовал общий вид начисто перепечатанной рукописи — аккуратные ряды буковок, уложенных в линейно прямые строки.

Он сказал:

— Самый приятный момент работы, когда садишься править впервые перепечатанное на машинке.

Должно было пройти уж не знаю сколько времени — и пленяющие своей чистотой машинописные страницы покроются его рукописной правкой.

Он как бы предвкушал наслаждение работой.

В молодости Паустовский ездил по окраинным землям России, как немногие из русских писателей. Книга Паустовского, сделавшая его известным русским писателем, — «Кара-Бугаз». Герои этой первой прославившей его книги живут на солнечных берегах удивительного залива Каспийского моря. Вслед за «Кара-Бугазом» он написал «Колхиду» и увлек читателя в жаркие субтропики Черноморья... И тем не менее Паустовский поэт прежде всего среднерусской равнины. Он способен восхищаться Ван-Гогом и с благодарностью писать о книге Стоуна, посвященной Ван-Гогю. Но как бы он сам ни восхищался Ван-Гогом, по-настоящему близок ему Левитан, о котором он написал, как можно написать только о сокровенном.

К природе средней полосы России у Паустовского отноше-

ние нравственно-философское. Для него природа России — нравственное начало в жизни русского человека.

Четче, чем когда бы то ни было, он сам выразил это весной 1936 года в редакции журнала «Наши достижения» — редакции, неповторимой во многом и в своем роде единственной в истории советских журналов. Редактировал этот журнал его основатель М. Горький. Коллектив литературных сотрудников журнала был коллективом дружных и тем не менее далеко не во всем согласных между собой людей. Это была редакция, в которой решающее слово принадлежало ее сотрудникам. Так было задумано Горьким. Каждый из нас чувствовал себя в какой-то мере сохозяином «Наших достижений» — Сергей Третьяков и Иван Катаев, С. Гехт и А. Письменный, Павел Нилин и Николай Атаров, Константин Паустовский и Михаил Лоскутов, Е. Босняцкий и В. Василевский, Борис Губер и С. Диковский, А. Марьямов и В. Козин, П. Слетов и Н. Зарудин, Михаил Пришвин и Борис Агапов, Д. Стонов, В. Канторович, Макс Зингер, П. Скосырев, В. Важдаев, Вадим Кожевников, Г. Мунблит, П. Далецкий...

Каждый на свой лад, у каждого свой голос и свой взгляд на то, что и как писать. Послушал бы кто-нибудь, как обсуждали мы уже вышедший номер или план будущего номера журнала, наверное, диву дался бы: как только уживаются под кровлей одного ежемесячника столь несходные друг с другом писатели!

Чем же объединялось разномыслие, разноречие ближайших и постоянных сотрудников этого горьковского журнала? Только ли тем, что капитаном журнала был Максим Горький, а старпомом журнального корабля — старшим помощником капитана — общий наш друг, очаровательный Вася Бобрышев, заведующий редакцией?

Ничто так не объединяло всех нас, как господство в этой редакции уважения к праву каждого на инакомыслие, на инаковзгляд!

Сам Горький ценил в пишущем человеке «необщее выражение» — личный пишущего человека взгляд на мир, личное пишущего человека отношение к миру — не тонущий в хоре голос! Весь дух жизни этой редакции определяло горьковское признание права писателя на собственный взгляд, горьковское уважение к личному суждению литератора да еще интерес к нему!

В журнале было не только интересно печататься, но порой еще более интересно заходить в эту редакцию, как в клуб.

Диспуты вспыхивали здесь всякий раз, как только собирались пять-шесть литераторов. Такое уж было время, да и обстановка редакции на Спиридоновке, 2, располагала, чтобы зайти без видимой надобности, даже без рукописи, и даже если не надо гранки читать, и даже если тебе не следует гонорара. Заходили — повидаться с товарищами. Нередко с инакомыслящими товарищами. А коли зашел, ну как не ввязаться в спор! И о чем только не спорили, чего только не обсуждали, рассевшись в пальто на стульях и на диване, в редакторской комнате Василия Бобрышева!

Дом редакции во дворе, входили во двор со Спиридоновки. Горький жил в доме направо. «Наши достижения» — в доме налево. В глубине двора, во флигеле, — редакция журнала «СССР на стройке», тоже горьковская.

Собрались как-то в комнате Бобрышева — Паустовский, Иван Катаев, Гехт, Зарудин, Стонов, Козин и я. Как всегда, по-домашнему, будто не в редакции ежемесячного журнала, а забежали к товарищу поболтать. Зарудин вспоминал недавнюю поездку в Армению, восхищался Севаном. И вдруг Паустовский заворчал, перебил Зарудина, стал упрекать нас. Слишком мы все увлекаемся экзотикой. Ездим в Среднюю Азию, в Грузию, в Армению... Неохотнее всего мы ездим в нашу Россию, товарищи. Живописуем пейзажи узбекские, армянские, абхазские, горы Тянь-Шаня, башни хевсуров, да только не пейзажи Русской равнины! Традиционный для всей русской литературы пейзаж Тургенева, Льва Толстого, Лескова, Чехова — пейзаж средней России — исчезает из русской советской литературы. Пожалуй, один только Михаил Михайлович Пришвин остался верен ему... и себе.

Паустовский не сказал, но имел бы право сказать, что и он сам, как и Пришвин, верен пейзажу средней России.

Для него верность русского писателя пейзажу родной страны — это верность нравственным началам русской литературы. Нравственную силу великих русских писателей, всю их поразительную способность влиять на людей объяснял прежде всего их верностью природе, родной русскому человеку. Только любя, чувствуя, слыша, умея видеть природу и только оберегая ее, люди становятся нравственно совершеннее. Невозможно нравственное совершенствование человека, равнодушного к окружающей природе. И невозможно нравственное воздействие русского писателя на русских читателей, если этот писатель равнодушен к русской природе.

Конечно, Паустовский выражал свои мысли другими сло-

вами и не прямо, не пытаюсь нравоучить, наставлять нас. Этого Паустовский не любил и не умел. Но из всего, что он тогда говорил о нравственных задачах писателя и о среднерусском пейзаже, сами собой возникали все эти мысли. От затеянного Паустовским разговора о забвении пейзажа Русской равнины перешли к спорам о национальном начале в литературе. Потом и сами не заметили, как перескочили к спорам о творческой среде. Стали говорить о среде потому, что в редакции «Наших достижений» чувствовали среду, в которой можно говорить обо всем, что наболело... В конце концов у нас разгорелась внутри редакции дискуссия: что же такое творческая среда?

Впоследствии в «Наших достижениях», в номере пятом за 1936 год, были напечатаны наши высказывания — Паустовского, Гехта, Зарудина, Агапова, Катаева, Скосырева, Атарова, Овалова и мои.

В середине тридцатых годов много спорили о том, какой же должна быть творческая среда.

Была ли в «Наших достижениях» среда идеальной? О, разумеется, нет! И все-таки она была едва ли не лучшей из «творческих сред» многих тогдашних редакций. Паустовский до конца жизни вспоминал о «Наших достижениях» с нежностью.

В наших встречах возникали иногда долгие перерывы. В середине тридцатых годов Паустовский переехал в Лаврушинский переулок. Я — из Страстного монастыря на улицу Фурманова. Монастырь в том же году снесли.

Паустовского я теперь встречал редко. Как-то он пригласил меня на премьеру своей пьесы «Созвездие Гончих псов» в Центральном детском театре. Пьесу мы смотрели вместе, но и потом после спектакля долго с ним не встречались.

В годы войны мы с ним почти не виделись. Да и первое время после войны встречи были случайны.

В 1953 году он уже жил в высотном доме на Котельнической набережной. К этому времени наши встречи возобновились. Я закончил роман «Дорога к дому» и сдал в издательство. И вдруг, когда со знакомым каждому литератору нетерпением я ждал первых рецензий, узнаю, что мою рукопись читает Паустовский. Я был удивлен: почему он даже не

сообщил мне об этом? Мне и в голову не могло прийти, что книгу пошлют ему. Я и обрадовался, и смутился. Осуждение рукописи Паустовским было бы горше вдвойне. Мнение другого рецензента я мог бы оспаривать, не признавать. Но Паустовскому, зная его доброе ко мне отношение, как не поверить! Уж он-то никогда не лукавит, и в каких бы дружественных отношениях с автором ни был, скидки на дружбу не жди от него!

Мне не хотелось ему звонить, спрашивать, торопить. Я выжидал — и, по счастью, очень недолго. Позвонил телефон — Паустовский. На первых порах — устный отзыв, короткий и без подробностей:

— Прочитал! Здорово!

Когда рецензия им была написана и сдана, я приехал к нему на Котельническую. Он не ограничился письменными советами и многие из них дал устно, в беседе. Но вот любопытная черта настоящего писателя — его уважение к рукописи товарища: Паустовский не позволил себе сделать ни одного замечания на полях! Он с раздражением говорил о редакторах и рецензентах, не стесняющихся писать «разухабистые», как он выразился, замечания (все равно, критические или положительные, в данном случае, по мнению Паустовского, это не имело значения) на полях авторской рукописи!

Паустовские еще только устраивались на новой квартире на пятом этаже высотного дома. Квартира из двух хотя и очень больших комнат была недостаточна для семьи из четырех человек. Дверь с лестничной площадки открывалась в холл, и этот холл они превратили в столовую. Тут же, в столовой, их гости снимали и вешали на стенку свои пальто.

Татьяна Алексеевна Паустовская придумала и заказала нечто вроде арки, разделяющей пополам очень большую комнату, — стало похоже на две.

Книжные полки были почти пусты, кипы неразобранных книг сложены на паркете. А за аркой, в глубине комнаты, у рабочего стола Паустовского, на полу штабелями лежали папки с рукописями. Для архива еще не было найдено место...

Уже в следующий визит к Паустовским я застал полный порядок. Каждый предмет стоял именно там, где этому предмету (если бы он мог выражать свое желание) хотелось стоять.

Уже висел на стене портрет Гарибальди с автографом великого итальянца и среди книг на полках ярко синел том автобиографии Джавахарлала Неру — дар переводчика Паустовскому.

Автобиографию Неру я тут же взял у него почитать, а Константину Георгиевичу пообещал четырехтомное собрание сочинений А. И. Куприна.

Паустовский собирался писать предисловие к новому изданию Куприна. Старых изданий у него не было. Он знал, что у меня «нивское» марксовское издание, и хотел, прежде чем начать предисловие, заново перечитать всего Куприна. Приехал ко мне за Куприным и разговорился о литературе, о положении в Союзе писателей, в литературных издательствах. Со времени Первого съезда писателей прошло более двух трудных десятилетий. И если коротко определить, о чем все возмечтали в канун Второго съезда, то это была «прозрачная ясность отношений в литературе».

О том, что литературе как воздух необходима эта самая «прозрачная ясность отношений в литературной среде», долго и убежденно своим хриплым голосом говорил тогда Паустовский, сидя в моем кабинете...

В феврале 1957 года Паустовский собрался в Дубулты. Год назад он был в Риге и на Рижском взморье, и тихие Дубулты очаровали его. Он много раз повторял, что нигде так хорошо не работается, как в Дубултах.

— Едемте,— говорил Паустовский.— В это время года там изумительно.

Билет он уже заказал. Выехать вместе не удалось. Я выехал на другой день после него.

В те времена литфондовый Дом творчества писателей в Дубултах — это шесть или семь многокомнатных двухэтажных особнячков в обширном парке на дюнах, над песчаным берегом моря. Когда-то все эти дачи принадлежали разным владельцам. Литфонд скупил их и несколько живописных участков объединил в общий зеленый парк.

У каждого особнячка свое прозвище,— «белый», «охотничий», «шведский», «дом у фонтана» и уж не помню, какие еще.

Зимой, в малолюдь, заселяются только два или три из этих особнячков, остальные заколочены до начала позднего прибалтийского лета.

Паустовский уже озаботился о моем месте в столовой — резервировал его за столиком, отведенным ему и писателю Гранину.

О Данииле Гранине он с места в карьер предупредил:
— Изумительный человек!

С Граниным он сдружился еще во время совместного путешествия на «Победе» вокруг Европы.

Снег в Дубултах держался очень недолго. Весна начиналась раньше обычного. Дубултские белки были еще не пуганы. Они спускались на нижние ветви деревьев и бисерными глазами безбоязненно смотрели на нас.

По пути от нашего дома у фонтана в столовую мы обыкновенно сворачивали с дорожки в сторону, чтобы полюбоваться белками. Стояли вдвоем — Паустовский, Гранин и я. Белка перепрыгнет с ветки на ветку, взглянет на нас, и прыг на другую, и снова на мгновение застынет. И опять новый прыжок — и взгляд на нас, взгляд — и прыжок. Сейчас в Дубултах они и вовсе не хотят глядеть на людей — взглянут, увидят и скроются в густоте ветвей.

Как-то мы устроили вечеринку в комнате Паустовского: шесть-семь человек пили коньяк под дьявольски вкусную рыбку копчушку — неизменное прибалтийское лакомство.

Паустовский рассказывал о Гайдаре, потом вспоминал Одессу и наконец перешел к сценам из «гранинианы» — рассказам о Гранине за границей.

Полный юмора и энергии, Даниил Гранин не скрывал и даже подчеркивал свою любовь и уважение к Паустовскому. Он слушал его рассказы с видимым удовольствием, даже когда Паустовский дружески подшучивал над ним.

Несколько месяцев спустя, уже живя в Ялте и вспоминая там нашу жизнь в Дубултах, он писал мне в Москву:

«Как мне не хватает Дубултов, разговоров с Вами, снежного моря, лукавых глаз Гранина».

Время в Дубултах было доброй порой бесед обо всем на свете — и веселых воспоминаний, и шуточной болтовни, и философствований о жизни и смерти, о старости, о книгах, о живописи, о музыке и бог весть еще о чем. Однажды о поэзии мы заспорили с ним даже в бане. Не о поэзии вообще, а о поэзии Фета. Баня в нашем дубултском писательском доме работала раз в неделю, рассчитана была на двоих, и мыться ходили по двое. Вот мы и пошли вдвоем с Паустовским. В жарко натопленной баньке, в пару и в клочьях мыльной пены, когда терли друг другу спины, он вдруг стал читать фетовские стихи. Мыльная пена хлопьями срывалась с моей мочалки, шлепалась на мокрые стены, пузырчатыми белыми струйками стекала на шпательки пола. Я замер с мочалкой в руках, чтобы звонкое поскрипывание мочалки и всхлипывающие шлепки мыльных клочьев по стенам не перебивали родниковой музыки фетов-

ских поэтических строк. И хотя в баньке, плотно набитой паром, трудно было читать, а голос Паустовского и на чистом воздухе глух и хрипл, родниковый звон стихотворных строк не мерк, не тускнел: ни банный пар, ни хриплый голос чтеца не глушили эту прозрачную музыку. Дочитав, Паустовский спросил: люблю ли я Фета? Но Фет никогда не был мне близок. Невозможно даже сравнить значение для меня поэзии Фета с громадной, ни с чем не сравнимой ролью Тютчева в воспитании моих чувств. Я и сказал тогда Паустовскому, что Фет никогда не был в числе моих «вечных спутников», а Тютчев был, есть и пребудет вовек! С Тютчевым я прожил жизнь. Тютчев был вечным моим собеседником. Поэзия Тютчева помогала мне жить в юности, в зрелые годы и в старости помогает еще больше, чем прежде. А Фет... но Фет не был моим помощником в жизни, не становился моим собеседником. Паустовский никак не мог понять: как это так? Но ведь Фет изумительный поэт! Выхватив из моих рук намыленную мочалку, Паустовский принялся яростно тереть мою спину и, задыхаясь в пару, хрипло кричал, что прекрасное не может не быть помощником в жизни. А раз Фет прекрасен...

Я сознался, что как бы я ни любовался Фетом, как бы ни вслушивался в него, он не становился *моим*. Стоило мне это сказать, как Паустовский прислонился к деревянной перегородке и тяжело задышал. И только тут я спохватился и вспомнил, что ему запрещено всякое напряжение и я не должен был позволять Паустовскому тереть мне спину мочалкой. По счастью, все обошлось, и он уже более спокойным голосом заговорил о Фете. Нет, он не понимает моего отношения к Фету, хотя понимает и разделяет мое отношение к Тютчеву. Тютчев прекрасен потому, что мудр. Но Фет мудр потому, что прекрасен. В мудрости — красота. Но ведь и в красоте своя мудрость!

Для Паустовского неприемлемо противопоставление художника-философа художнику «чистому». Раскрывая красоту мира, художник тем самым решает нравственную задачу, — стало быть, философскую.

По Паустовскому, «чистый» художник Фет — философ только потому, что он прекрасный поэт. Мы зорче, мы чутче благодаря ему. Значит, мы нравственно совершеннее — и тоже благодаря ему...

И, одеваясь в предбаннике, натягивая на себя белье, снова читал фетовские строки, — ими он убеждал меня...

Мы решили прервать работу и съездить в Ригу. Паустовский знал ее еще с прошлого года и взялся показать мне.

Выехали пригородным поездом после завтрака. Паустовский вооружился фотоаппаратом и потом на узких улицах старой Риги фотографировал меня чуть ли не возле каждого достопримечательного здания. Недавно я нашел у себя фотографию: мы оба засняты на какой-то из улиц Риги, но кто и когда нас тогда заснял, не помню.

Паустовский, как многоопытный гид, гордясь красотой старой Риги, водил меня по каменному островерхому городу.

Еще в Москве, перед отъездом, я позвонил свояченице: не надо ли привезти ей чего-нибудь из Риги?

— Привези голубой колпак для дамской шляпы.

Я принял просьбу всерьез и рассказал о ней Паустовскому. Он вызвался помочь в трудных поисках голубого колпака. Тогда он стал объяснять многообразие голубых тонов.

Я понятия не имел, какого тона нужен колпак. Мы обошли чуть ли не все магазины дамских шляп в Риге. Паустовским уже овладело спортивное чувство. Он готов был продолжать поиски без конца. Я наотрез отказался.

Когда в Москве я рассказал свояченице о безуспешных поисках колпака, она расхохоталась.

— Боже мой, да ведь я пошутила! Неужели ты всерьез поверил, что я могла поручить мужчине такую серьезную вещь!

Впрочем, наши с Паустовским поиски колпака не были все безрезультатны. В поисках колпака мы попали в магазин галстуков и сговорились: он выберет галстук для меня, я — для него. Выбрали, купили и оба остались довольны...

После этого мы несколько раз ездили с ним вдвоем в Ригу и каждый раз надевали эти рижские галстуки.

Легче припомнить, о чем мы не говорили во время этих поездок, чем перечислить темы всех наших бесед. Не бывало, чтобы мы сколько-нибудь расходились во мнениях, взглядах. Спор в бане о Фете все еще оставался единственным случаем разногласия. Но однажды произошел второй — и последний за все сорок лет нашего с Паустовским знакомства.

Все той же ранней весной 1957 года в одном из рижских кафе мы снова поспорили, и Паустовского всерьез рассердили мои слова. Даже обычное дружелюбие его вдруг погасло, по крайней мере на бесконечно длинные десять минут.

С утра мы долго бродили по старому городу, осматривали амбары XVI века, заходили в католические соборы, слушали службы, и, когда выходили на площадь перед собором, Паустовский повторял латинские строки католических молитв. Он хорошо помнил латынь.

Мы устали бродить по Риге, проголодались, и Паустовский никак не мог найти кафе, знакомое ему по прошлому году. В этом кафе подавали кофе, ароматный, как в аравийском раю, и обольстительные пирожные. И наконец кафе отыскалось, уставленное столиками карминного цвета и стульями голубыми и салатно-зелеными, с вогнутыми низкими спинками.

Мы уселись в самом затененном углу, отдыхая после прогулок по городу и католических служб в старинных соборах с серебряным песнопением органов. Мы находились под впечатлением этих служб и, вероятно, поэтому заговорили о судьбах христианской проповеди любви и добра. Подействовала ли на совесть людей двухтысячелетняя христианская проповедь? Стали ли в нравственном отношении современные нам народы христианской религии выше и совершеннее, чем были их пращур-ы две тысячи лет назад?

Увы, две тысячи лет проповеди всепрощения, любви к ближнему своему и добра не сделали людей нравственно благороднее. Люди и христианских цивилизаций становятся все неуживчивей, злее, жесточе. Число себялюбцев, безнравственных и развратных в мире не убывает. И это в мире, создавшем многовековое искусство, полное образов христианства! Ведь величайшее из всего, что в прошлом создано живописью, музыкой, литературой, скульптурой, архитектурой, насыщено христианскими образами любви, добра, всепрощения! Но почему, почему же эти великие творения гениев нравственно не преобразили людей? Я спрашивал Паустовского: не означает ли это, что даже самое великое искусство не в состоянии преобразить нравственную сущность людей? Я переживал период мрачных и безнадежных сомнений. Я должен был высказаться в надежде, что собеседник рассеет мои сомнения. Я говорил, в душе надеясь быть опровергнутым.

— А как знать, какими были бы люди, если бы эти образы искусства не оказали на них влияния? — спросил Паустовский, хмурясь.

Он верил, что не будь в истории человечества великих произведений искусства, в нравственном отношении мир был бы хуже.

Я напомнил ему, что Бетховен не предотвратил нацизм в Германии. И Толстой не спас человечество от жесточайших войн. И люди не относятся друг к другу приятней, чуточку оттого, что среди них жили Леонардо, Рафаэль, Данте, Бетховен, Гёте, Толстой, Бах, Достоевский, Шекспир и Рембрандт!

— А откуда вы знаете, не были ли бы люди так называемые

мых христианских цивилизаций еще безнравственное, если бы в свое время на них не влияли Рембрандт, Шекспир, Достоевский, Бах? — Паустовский повторил свой вопрос, мрачно глядя в недопитый стакан. Он сидел, расстегнув пальто, пыжиковая шапка лежала на небесно-голубом стуле рядом. Морщины в углах его губ и на скулах стали резче, маленький подбородок затвердел.

Мне надо было, чтоб он рассеял мои сомнения. Они душили меня. Я умоляюще смотрел на него: рассей, опровергни, убеди меня в том, что я неправ! И вдруг — надо же! — вырвалось:

— Не преувеличиваем ли мы силу влияния искусства и литературы на души людей? Не обманываем ли сами себя?

Вот этого он уже не мог перенести.

Ну нет, в силу воздействия истинных произведений искусства на души людей Паустовский не сомневался. С непривычной для него горячностью он стал убеждать меня в том, что если что-нибудь и способно влиять на души людей, то это проповедь образами искусства — музыки, литературы, живописи, скульптуры. Действенная сила искусства для него священна.

Если бы мне пришлось отвечать на вопрос, во что неизбежно свято верит Константин Паустовский, я бы не задумываясь ответил: в преобразующую силу искусства! И, быть может, прежде всего литературы. Вероятно, поэтому он так бескомпромиссен в суждениях об искусстве, с такой последовательностью на протяжении всей своей писательской жизни отстаивал чистоту, честность, прямоту и нежную суровость долга художника — совесть художника!

Но тогда там, в рижском кафе за столиком карминного цвета, я мучил его своими сомнениями. Я спрашивал: где видимые результаты воздействия искусства на поведение людей? Что изменило явление гениев в нравственной жизни человечества?

Паустовский в гневе отодвинул от себя недопитый стакан кофе. Никогда до этого я не видел его таким разгневанным. Как смею я сомневаться в силе воздействия литературы? Как могу я сомневаться в нравственно преобразующей силе искусства?

Сурово, хрипловатым голосом он спрашивал, осуждающе смотря на меня:

— Разве можно представить себе, что за жизнь была бы теперь, каковы были бы люди, если бы не Бетховен, Рембрандт, Толстой? Разве мир смог объединиться против фашизма, если бы в мире не было Толстого, Гёте, Бетховена, Леонардо?

О, если бы еще больше прислушались к этим великим — к Данте, Шекспиру, Сервантесу, Чехову, Достоевскому, Баху, Чайковскому, Левитану, если бы еще лучше научились слышать и видеть землю, небо, деревья, травы, цветы, озера, реки, моря, — мы стали бы нравственно еще совершеннее! И мы станем, не мы — потомки, когда научатся беречь окружающую их природу...

И, больше не возвращаясь к искусству, он заговорил о том, что мы вырубает леса, не бережем наши реки, рушим памятники родной старины... Вот еще почему мы не становимся нравственно лучше.

Для него здесь — заколдованный круг: оттого и вырубает леса, что в нравственном отношении мы хуже, и оттого хуже, что вырубает леса. Если бы люди лучше сохраняли природу, они были бы сами нравственно лучше. И он верил, что это нравственное совершенство придет: мы иначе станем относиться к природе и именно к ней обратимся как к источнику наших нравственных сил. Для Константина Паустовского нравственная сила природы и нравственная сила искусства в их красоте. Искусство должно так же воспитывать чувства человека, как и природа, — не нраву, не наставляя, — силой своей красоты, правдой красоты и красотой правды, будь это красота линий, красок, форм, красота человеческой речи, голоса человека, звуков, мелодии, красота поступков, красота образа, сотворенного добрым художником.

Эта была пора, когда я усомнился в «преобразующей силе искусства». И Паустовского возмутили мои сомнения. Он стал бить меня моим же оружием: вспомнил мой недавний рассказ, как в тяжелый период моей жизни, когда я жил в глуши, вдали от семьи, мне помогали воспоминания о рембрандтовских стариках и старухах. Лежа, я закрывал глаза и вызывал в памяти видения рембрандтовских портретов стариков и старух. Я писал тогда письма дочери о мудрых портретах Рембрандта, о великом познании жизни и меры вещей во всепонимающих глазах его стариков и старух и вызывавших во мне душевный трепет, благоговение, благодарность старческих их добрых руках, исполненных терпимости, любви, чувства чуда прожитой жизни. Разве одно только воспоминание об этих портретах, писанных божественным чудотворцем, не сделало меня сильнее, выносливее?

Что бы случилось со мной, если бы в мире не было портретов стариков и старух Рембрандта, которых я мог вспоминать!

Так как же еще сомневаться в преобразующей силе искусства?

Я затронул то, что было святая святых в его незыблемой вере. Он писал, пишет, всю свою жизнь пишет, веруя, что нет силы сильнее слова, нет слова сильнее слова живописующего.

Из множества наших бесед это была единственная рассердившая Паустовского. Вероятно, он вспомнил о ней да еще о нашем споре в бане о Фете, когда писал свою статью «Через тридцать лет» для «Литературной газеты» в июне 1966 года и назвал в ней меня «милым спорщиком и философом». Во всяком случае, не припомню, когда бы мы с ним спорили до этих двух споров или после. Но спор в рижском кафе не помешал ему вскоре на одной из подаренных им своих книг надписать: «С многолетней любовью и дружбой». А потом еще на одной: «Старому испытанному другу».

Всю зиму 1961—1962 годов Паустовский жил в Ялте, в писательском доме. Остался там и на весенние месяцы. Татьяна Алексеевна жила с ним, но часто навещалась в Москву, к сыну Алеше. В марте и я собрался в Ялту. И мы поехали вместе, в одном вагоне.

Паустовский с падчерицей и с артистом Баталовым встретили нас на шоссе у Массандры. Мой приезд был для него неожиданным.

— Ехали вместе?

— Вместе.

И вопрос, обращенный уже непосредственно к жене:

— И Миндлин, конечно, в пути говорил о старости? Восхвалял ее?

— Говорил, Костенька, говорил. Восхвалял!

Он любил подшучивать над моими восхвалениями старости. Но когда мы оставались вдвоем, разговор о старости поддерживал с интересом. И еще в 1953 году на книге своих повестей и рассказов, подаренной мне, написал: «Да здравствует наша общая старость!»

Ему и хотелось поверить, что «старость — это свобода», и долго не верилось в это. И хотелось почувствовать самому, что старость впрямь лучшее время жизни, и что-то не чувствовалось. Он и с недоверием и с интересом прислушивался к моим восхвалениям старости. И вот уже сколько лет торопит меня дописать еще в мои молодые годы задуманный мной философский роман «во славу крылатой старости». От «крылатой старости» отшучивается, а об «искусстве быть старым» готов говорить всерьез.

Как-то он горько посетовал на общего нашего с ним знакомого, к которому много лет относился с приязнью. Вдруг на примере этого знакомого старца Н. Н. увидел, как не надо быть старым.

— Взгляните вы на Н. Н.—какой он брюзга, в нем уже нет его былой доброты! И уж не завидует ли он молодым, что так часто их осуждает? Он стал недобрый,—посмотрите вы на него, он разучился по-доброму разговаривать с молодыми, ему с ними нехорошо, и, кажется, им тоже нехорошо с ним.

Паустовский с жалостью говорил о Н. Н. и не понимал старика. В старости человек становится зорче духовно, душевно четче, все видит, все понимает, владеет мерой вещей, явлений. В старости человек терпим... В старости... Да, да, все это в старости, если человек овладел великим искусством быть старым!

Наблюдая Н. Н., утратившего к старости доброту и духовную зоркость, Паустовский увидел вдруг то, что мешает наслаждению старостью. Ну вот мы и договорились.

Самому ему легко с молодыми. И молодым с Паустовским легко.

В Ялте работал он, как всегда, по многу часов. Иногда — в перерывах — заходил в мою комнату:

— У меня нам поговорить не дадут. Народ...

Поговорить у него действительно не давали. Как везде и всегда, его осаждали писатели, пионеры, приходившие из города с букетами цветов, работники чеховского музея, а главное — читатели. Они приезжали в Ялту лечиться и отдыхать со всех концов нашей страны. В Ялте узнавали, что в доме Литфонда живет их любимый писатель, и приходили, большей частью без надобности — просто поглядеть на него.

То же бывало и в Дубултах в 1957 году. Там администрации дома приходилось лгать приходившим почитателям Паустовского — уверять их, что Паустовский уже уехал.

В Ялте по вечерам у Паустовского собирались и допоздна засиживались, попивая легкое белое вино, обитатели дома. Паустовский привык вставать рано — с утра работать, — и ежедневные поздние гости утомляли его.

Близился его юбилей — семидесятилетие писателя. Но семидесятилетие Паустовский встретил в Кремлевской больнице в Москве. Наступили дни, полные тревог и напряжения. Почти ежедневно я разговаривал по телефону с Татьяной Алексеевной — надежды ее перемежались со страхом: состояние больного было очень тяжелым. В квартире Паустовских не

переставая звонил телефон: тревожились не только друзья, близкие, о здоровье писателя справлялись незнакомые люди. Звонили и тем, о чьей дружбе с Паустовским было известно. Ежедневно звонили мне: как Константин Георгиевич? Что говорят врачи?

Ко дню юбилея почтальоны завалили квартиру Паустовского кипами писем и телеграмм. Множество телеграмм было адресовано прямо в больницу. По письмам и телеграммам можно было судить, что празднование юбилея писателя повсюду в стране происходило стихийно. Его праздновали даже в далеком Магадане, на Колыме. Все это были празднования неофициальные, не везде даже отмеченные газетами, но празднования чистосердечные, читательские.

Наконец опасность прошла — Паустовского из Кремлевской больницы перевезли в Барвиху, он поправился, к осени снова был дома, даже стал поговаривать о давно задуманной поездке в Париж, продолжал прерванную было работу, много читал, стремился наверстать упущенное.

Зимой он уехал с Татьяной Алексеевной в Париж. Вернулся только под Новый год, кажется, даже 31 декабря. Первый его вопрос после возвращения — о Гехте. Только что Гехт перенес очень тяжелую операцию, лежал в больнице. С каждым днем состояние его становилось серьезнее. Сепсис развивался в его истощенном, обессиленном организме, медленно, но угрожающе нарастая.

Паустовский переслал в больницу для Гехта привезенный им из Парижа запас редчайшего и дорогого лекарства — сигмамицина, тогда еще малоизвестного нашим врачам. Он звонил врачу, лечащему Гехта, уговаривая его применить сигмамицин, незаменимый при сепсисе. Звонил профессору, знающему, как обращаться с сигмамицином, и умолял его дать наставления лечащим Гехта врачам... Потом Паустовский передавал мне свой разговор с этим профессором:

— Я сказал ему, что Гехт изумительный человек. Во что бы то ни стало надо его спасти. Я сказал, что без Гехта даже нельзя представить себе прошлую литературную жизнь. Врач обещал сделать, что может.

В марте 1963 года Паустовские уезжали в Севастополь — отдохнуть после нелегкой московской зимы. Мы с женой собирались апрель провести в Ялте. Взяли у Паустовских их севастопольский адрес — гостиница «Севастополь» — на случай,

если вздумаем съездить на день или два в этот чудесный город.

В конце апреля, когда мы уже готовились через несколько дней выехать из Ялты в Севастополь, а оттуда в Москву, неожиданно приехали в Ялту из Севастополя Паустовские. Оказалось, что ненадолго — на час, на два. За ними из Москвы в Севастополь прикатил на машине Паустовского его верный водитель Валя. На этой машине он и привез Паустовских в Ялту повидаться с друзьями: в ялтинском писательском доме жили Виктор Шкловский, Вениамин Каверин, другие близкие ему люди.

Не стоило труда уговорить Паустовских пожить в Ялте. Планы были тотчас изменены. Татьяна Алексеевна уехала в Севастополь за вещами, а Константин Георгиевич остался.

Вечером я зашел к нему. Мы давно с ним не виделись. Довольно сидели вдвоем. Говорили и о том, что в старости тем для книг все больше, а времени жизни меньше...

— Вам сколько лет? — отрывисто спросил Паустовский, хотя отлично знал, сколько мне лет.

— Возможно, в мае будет шестьдесят три.

— Мальчишка! На восемь лет моложе меня! Вы можете успеть еще написать...

— А вы уже успели! Уже!

— Успел... Что успел? — Он неуверенно посмотрел на лежащий перед ним исписанный лист бумаги. — А сколько отсеется из всего, что написано...

— А сколько останется! Важно не то, что отсеется, а что останется...

Он, хмураясь, смотрел на недавно написанную страницу.

— Как знать, что останется!..

За день или два до нашего отъезда Паустовский предложил прогулку на его машине — в ущелье Уч-Кош, в горы по соседству с санаторием «Долосы».

Дорога была всем знакома — и тем не менее радовала так, словно каждый видел ее впервые.

Шофер поставил машину у начала спуска в ущелье. Татьяна Алексеевна с Ариадной Петровной пошли вниз — им не был страшен обратный крутой подъем. Мы с Паустовским поотстали от них — крутой подъем не для нас. Дорога, виясь, спустилась в ущелье. На дне его громко звенела галькой и блистала сквозь заросли кустарника горная речка. Справа от нас — мачтовые огромные сосны. Слева — обрыв и звон реки внизу, а на другой стороне ущелья отвесные, высокие камни.

стые стены, розовые и серые, и одинокие сосны, вознесшиеся между камней.

Его вдруг встревожила сосна, растущая из скалы. Она почти горизонтально повисла над розово-зеленым ущельем. Паустовский загляделся на нее, остановился. Судьба сосны вдруг стала заботить его: долго сосне не провисеть в таком положении — не выдержит, оборвется и с вырванными корнями свалится вниз, в самую реку на дне ущелья.

Несколько невзначай произнесенных фраз о красоте ущелья Уч-Кош — и мы не заметили, как заговорили вдруг о «мере красоты». Можно ли определить, а тем более объяснить явление красоты в природе? Оба согласились с «неопределимостью» красоты в природе.

А в искусстве, в литературе?

Я вспомнил и стал рассказывать ему, как очень много лет назад мне, тогда еще двадцатилетнему юноше, объяснял свою «теорию красоты и меру прекрасного» известный в истории русского театра князь Сергей Михайлович Волконский, бывший директор императорских театров и автор очень интересных книг о театре.

Волконский пытался обучить меня читать стихи русских поэтов в строгом согласии с созданной им математически-логической «мерой прекрасного».

Паустовский возражал против подобной «меры». Красиво — потому, что красиво. Красота потому и суть красота (в природе и в искусстве равно), что формулами науки необъяснима и математически-логической мерой измерена быть не может!

Я напомнил ему о знаменитом в современной физике «принципе неопределенности Гейзенберга». Как ни разнородны понятие красоты и положение элементарной частицы материи в пространстве, мы согласились, что в «теории красоты» также должен действовать свой «эстетический принцип неопределенности».

Наши жены вернулись, и беседа прервалась.

Стали собирать камешки-голыши и бросать их с обрыва вниз: чей камешек полетит дальше и глубже в ущелье, чей попадет в реку!

Паустовский бросал их с азартом двенадцатилетнего мальчика. Он с такой живостью следил, куда падал брошенный им голыш, так радовался, когда его камешек попадал дальше других, что, глядя на него, ни за что не сказать бы, что десять минут назад этот человек с глубокой заинтересованностью

рассуждал о прекрасном и что он не мальчишка, а старый, все-народно любимый русский добрый писатель!

Паустовский в большом смысле добрый художник. И если современники так любят его, то потому, что чувствуют доброту художника Паустовского в интонации его фразы — прозрачной и произнесенной от сердца. И чувствуют его сердце, полное любви к миру, в котором трудно и интересно живет человек. Они чувствуют доброту художника в гамме его чистых и светлых красок.

Читателям хорошо с Паустовским. Это необыкновенно много, когда читателю с писателем хорошо. И это совсем не так часто случается, даже когда писатель большой художник. Поэтому что доброта это совсем не непременно свойство таланта.

Доброта — разновидность дара художника.

Паустовского хоронили в Тарусе: там над рекой, в саду, стоит деревянный дом — половина дома принадлежала ему. Забор упирался в середину дома, разделял его на две части: одну — Паустовского, другую — чужую, соседскую.

Отвесный берег зарос кустарником и деревьями. Сквозь листву светилась река.

Здесь он жила подолгу, если не уезжал за границу или на юг.

В Тарусе Паустовский полюбил Борисова-Мусатова и Цветаеву. Здесь он писал в кабинете с окном, распахнутым в сад. В кабинете не много книг, много света и воздуха.

Пчелы влетали в окно и опускались на свежие строки его рукописи на столе, как на цветы. Птицы звенели на подоконнике и бесстрашно вторгались в его кабинет.

Он любил маленькую цветаевскую Тарусу. И Таруса любила его.

Но сначала с ним прощалась Москва. Это были народные похороны. Народное прощание с добрым и любимым писателем.

Улица Герцена, все близкие переулки были запружены народом Москвы. Гроб стоял на сцене большого зала Центрального Дома литераторов. Народ вливался широкой струей в открытые двери, поднимался по лестнице; в зале проходил перед сценой, где на постаменте высился гроб, — безмолвно прощался.

Многие тихо плакали. Большинство скорбно молчали. На сцену из зала падали охапки цветов.

Наконец двери зала закрыли. В зале остались писатели. На сцене, у гроба, близкие и друзья Паустовского. Началась гражданская панихида. Говорить от писателей предоставили Виктору Шкловскому. Он вышел на авансцену и что было сил закричал:

— Не надо плакать!

И первый заплакал.

— В Тарусу поедете? — спросила меня Шагинян, когда все поднялись.

— Да, но не знаю еще, на чем.

— Едем со мной. В моей машине.

Ну и морока была пробиваться с Мариэттой Шагинян сквозь уличную толпу, через милицейские кордоны, искать ее машину по всем переулкам и обнаружить ее в застывшем потоке машин на улице Воровского.

Не выехали еще за пределы Москвы, как спутница моя начала волноваться:

— А что, если опоздаем? А вдруг приедем после похорон?

Философское молчание шофера на некоторое время успокоило Мариэтту Сергеевну.

Мы ехали уже больше двух часов. За Серпуховом дорога была ужасной. Водитель гнал, как только мог. Навстречу попадались машины, прохожие. Шагинян велела каждый раз останавливаться, спрашивала встречающих: не видали ли, не провозили по пути в Тарусу гроб Паустовского?

Встречные ничего не видали. Похоронная процессия по пути не встречалась. Ответы их не успокаивали — еще больше тревожили ее.

Приближалась Таруса.

Но что это? За два-три километра от городка по обеим сторонам немощеной дороги стояли люди — много людей с венками, букетами цветов, садовых и полевых, с сосновыми веточками в руках.

Останавливаем машину, спрашиваем:

— Процессия проезжала? Гроб Паустовского провозили?

— Нет еще. Видите, ждем.

Это город Таруса вышел на шоссе встречать своего почетного гражданина.

Навстречу нам уже распахнулись широкие зеленые улицы маленького городка, давно уже ставшего одним из гнездовий русской культуры. На скамьях под заборами сидели старики и старухи. Все, кого ноги держали, стояли на тротуарах с цве-

тами, с сосновыми ветками — город дождался своего Паустовского.

Траурные флаги висели на домах, над калитками. Радиорепродукторы исторгали траурную музыку, и она оведала весь город, людей, деревья, дома.

Мы проехали к домику Паустовского. Домик — за забором, в тупике пыльной, немощенной, развороченной улицы, над рекой.

Перед домом уже толпился народ. Калитка была заперта. Нас пропустили и заперли за нами калитку.

Я прошел в дом. Домик — не дом. В первой комнате — стол глаголицей, накрыт для поминок.

В кабинете не было никого. Похоже, хозяин вышел из него — вот-вот вернется. И он возвратился.

— Едут! Едут! — слышалось за окном.

Мы выбежали за ворота. Гроб уже снимали с машины, поставили на какие-то ящики посреди улицы, перед домом. Сняли крышку. Жители Тарусы подходили к гробу, клали цветы, сосновые ветки, молча кланялись, отходили, уступали место другим. Безмолвная толпа до краев заполнила широкую пыльную улицу перед домом Паустовского. Речей не было. Еще громче, чем в Москве, звучала молчаливая скорбь.

Потом гроб подняли и понесли через ворота в сад. Ворота тотчас заперли, но, кроме фотокорреспондентов, никто и не пытался пройти в них. В саду вокруг открытого гроба остались только близкие и друзья. Подперев рукой залитую слезами щеку, у изголовья окаменела старая работница Паустовского.

Речи над могилой были коротки. Гроб опустили в могилу. Стали засыпать тарусской землей.

Небо темнело. Надвигался дождь. Дорога до Серпухова не легкая. Шофер хмурился, опасливо поглядывая на тучи.

— Едем!

Расцеловались с Татьяной Алексеевной и сели в машину. Шагинян долго молчала. Таруса была позади. Вокруг развевался свиток слегка холмистой, быстро вечеревшей степи. Уже накрапывал дождь. О, если бы вот так, в полном молчании, доехать до самой Москвы...

Ливень грянул внезапно, словно небо прорвало. Широкие водяные струи заливали смотровое стекло. Щеточки-«дворники» были бессильны расчистить его. Машина пошла, передвигаясь почти на ощупь, потом мы остановились.

Некоторое время в неосвещенной машине царил молча-

ние. Шофер равнодушно сидел, заломив руки за голову. Шагинян почти беззвучно вздыхала, вздрагивала при каждом разряде молнии.

Мне бы только не прерывалось молчание в нашей машине. Только бы сидеть и молчать наедине со своими думами. Свыкнуться с тем, что нет Паустовского, нет его не только в моей жизни, но нет его в жизни нашей литературы и даже больше чем литературы. Нет больше в жизни нашего общества писателя, человека, который тем и был славен, что был добр и что было с ним современникам хорошо.

Но вот и гроза окончилась. Шофер взялся за руль. Шагинян то ли дремала, то ли ушла в свои думы.

Молчал и я. Привычно молчал шофер, пробираясь сквозь темень подмосковных дорог. Лучи фар рывками выхватывали из тьмы куски блестящей после дождя дороги. За Серпуховом пошел асфальт — машина прибавила скорость.

Въехали в Москву уже в середине ночи. Улицы были безлюдны и глухи. Шагинян довезла меня до дому. На прощание только и сказала, продолжая свои мысли:

— А все-таки жить было легче, когда жил Паустовский.

И вдруг вспомнилось: полвека назад мы, работники маленькой провинциальной газеты «Друг народа», почти слово в слово писали в своей телеграмме, адресованной в Полтаву, Владимиру Галактионовичу Короленко, — в разгар гражданской войны Россия вспоминала о его шестидесятилетии. Мы писали ему: «Легче жить, когда живет Короленко». Его называли совестью русской литературы.

А ведь и Паустовский был нашей совестью. Как человек — совестью в не меньшей степени, чем писатель.



Комната в тарусском доме К. Г. Паустовского.

М. ЦАРЕВ

О ЛЮБИМЫХ ПИСАТЬ ТРУДНО

О великих людях хороших пьес написано у нас мало. Видимо, слишком трудна задача — писать о великих. Тем более трудно писать о таком человеке, как Пушкин. О зачинателе новой истории русской литературы, о светлом гении нашего народа, характер, все существо которого настолько многогранны, так необыкновенно богаты!

Впрочем, написано пьес о Пушкине много. Но мало тех, кто смог постичь великий образ. Можно вспомнить лишь пьесу, где сам Пушкин на сцене не появляется, — «Последние дни» Михаила Булгакова, созданную приемом интересным и необыкновенно деликатным в отношении личности поэта.

По своей художественной силе приближается к ней и пьеса Константина Паустовского «Наш современник».

Я вспоминаю об этом сегодня в связи с восьмидесятилети-

ём со дня рождения Константина Георгиевича, которого — увы! — уже нет на свете...

Когда в сорок восьмом году Малый театр обратился к Паустовскому с просьбой написать пьесу о Пушкине, Константин Георгиевич принял это предложение не без колебаний.

«Нам трудно писать о любимых. В наших глазах любимый человек несколько приподнят над действительностью. Говоря о любимом, мы невольно сообщаем ему самому эти черты нашего преклонения перед ним и тем самым, в известной мере, отрываем образ любимого человека от реальности, — писал он позже в своих записках. — В пьесе о Пушкине этого надо было избежать во что бы то ни стало. Грубо говоря, это была бы уже авторская отсебятина, приписанная Пушкину. Это был бы Пушкин, искаженный субъективным отношением к нему и тем самым, конечно, обедненный. Я не могу перечислить здесь всех трудностей, которые возникли в работе над пьесой о Пушкине. Одно я знаю твердо: пушкинская жизнь была под силу только ему одному. Только сам Пушкин мог бы написать о себе. А все, что пишем мы, его потомки, — только слабая наша дань поэту, только попытки — более или менее удачные — воссоздать его образ. И второе, что я считаю совершенно непреложным для каждого, кто пишет о Пушкине, — это строгая взволнованность автора, не переходящая, конечно, в аффектацию, это эмоциональное восприятие Пушкина, порыв...»

Тем не менее в начале сорок девятого года пьеса была готова. В марте состоялась ее читка в коллективе Малого театра.

Паустовский признавался, что шел на эту читку со страхом. По прежнему своему опыту работы с театрами он «ждал утомительных и неясных разговоров о таинственных законах сцены, доступных только посвященным, о «дожатых и недожатых образах» и о том, что «вам надо еще несколько раз попить водочки с вашими героями», о драматической кульминации и каденции, об остранении и о всем том полузаумном и подчас формалистическом мусоре, которым любят блеснуть иные велеречивые режиссеры».

Ничего такого, к счастью, не было. Паустовского обрадовало, что артист нашего театра Евгений Павлович Велихов читал пьесу очень просто, строго. Вообще во взаимоотношениях писателя с театром были ясность, полное понимание и конкретность разговоров.

Самая же главная помощь со стороны театра состояла в том, говорил Паустовский, что он, как автор, знал и чувствовал заочную, если можно так выразиться, любовь всего

театра к теме пьесы. Любовь к Пушкину переключилась на работу о нем, и это очень обязывало.

...Шли поиски, шла работа над текстом.

«Меня спрашивали, вернее, допрашивали,— шутил Паустовский,— о биографии действующих лиц. Казалось бы, зачем актеру знать биографию действующего лица, которое произносит на сцене две-три фразы? Но это было правильно, это была настоящая творческая работа».

Пьеса «Наш современник» охватывает сравнительно небольшой период из жизни поэта: пребывание его в двух ссылках — в Одессе и в Михайловском. В ней нет никаких особенно новых открытий в биографии Пушкина. Но большой мастер русского слова Паустовский сумел живо воссоздать несколько картин *подлинной* жизни Александра Сергеевича Пушкина. И это уже немало!..

Атмосфера, обстановка и настроение поэта в Одессе и Михайловском различны. В Одессе Пушкин находится в светском обществе. Он — блестящий, озорной, увлекающийся женщинами, в частности Воронцовой, вследствие чего становятся напряженными его взаимоотношения с ее мужем, генерал-губернатором Новороссийска. В Михайловском поэт живет в уединении, много пишет и проводит свое время главным образом в обществе няни Арины Родионовны. И тем особенно ценна эта часть пьесы, что в ней есть сцена, где Пушкин предстает в окружении самых различных лиц,— картина в трактире у Святогорского монастыря, на мой взгляд, одна из самых интересных картин в пьесе и, как мне кажется, наиболее удачная в спектакле. Ряд актеров Малого театра — А. Сашин-Никольский, А. Грузинский, С. Чернышов, А. Смирнов и другие — с необыкновенной проникновенностью исполняли роли людей из народа. Художником Юрием Пименовым была хорошо угадана атмосфера действия, суть которого в общении Пушкина с народом.

В каждой роли, независимо от ее масштабов, выход актера на сцену всегда сопровождается волнением, хорошим волнением: как воспримет зритель твою новую работу? Что же касается роли Пушкина, то волнение необыкновенно усиливается тем, что роль эта не подходит ни под какое привычное актерское амплуа. Настолько Пушкин своеобразен в гранях своего характера, в поступках, в отношении к людям. Легко возбуждающийся, пламенный, ума острого, пытливого, глубочайшего. В нем бездна лиризма, и вместе с тем он философ. Одним словом — гений.

Как выразить все это?

И еще вопрос сходства — как воспримут зрители первое появление Пушкина на сцене? Внешний облик, манера говорить, его необыкновенное расположение к людям, с которыми он встречается. Все это налагало на меня, как исполнителя роли Пушкина, огромную ответственность. Пожалуй, ни одну роль я не готовил с таким волнением, ни в одной роли не готовился так к каждому спектаклю.

Приглашали мы специального гримера. Сперва я делал точный грим по маске Пушкина, которой мы пользовались для воссоздания верного внешнего облика, вплоть до формы головы. Потом от некоторых деталей пришлось отказаться, потому что наклейки, особенно на губах, несмотря на то что они были искусно сделаны гримером А. Анджаном, все-таки затрудняли естественность речи.

Поиски продолжались вплоть до генеральной репетиции. И на всем протяжении работы над спектаклем в них принимал участие сам Паустовский. Он делал в очень скромной манере весьма ценные замечания как режиссерам (ставил спектакль К. Зубов, помогали ему В. Цыганков и Е. Страдомская), так и актерам, вникал во все частности.

Репетиционный процесс увлек писателя. «На репетициях, — говорил он, — нельзя быть безнаказанно. С каждым днем ты чувствуешь, что все больше и больше попадаешь под власть, под обаяние театра, чувствуешь, что еще немного — и ты пропал, ты уже не сможешь вернуться к прежней мирной жизни.

Это зрелище рождения на твоих глазах искусства поистине необыкновенное и возвышающее человека зрелище.

Сама обстановка репетиции — заглушенная музыка, вторящая двадцать раз одно и то же, стук молотков, сказанная внезапно и нараспев пушкинская строфа, перемена света — то лунного, то золотого, вопли художника и режиссеров, схватки на сцене из-за каждой мелочи (например, как зажигали при Пушкине свечи или какой формы были бутылки от шампанского «Клико»), путаница современных и пушкинских костюмов, шум морского прибоя, запах красок — все это создает приподнятое состояние, как будто присутствуешь в комнате у великого сказочника, вроде Андерсена, когда он, соединяя реальность и фантазию, создает свои умные сказки».

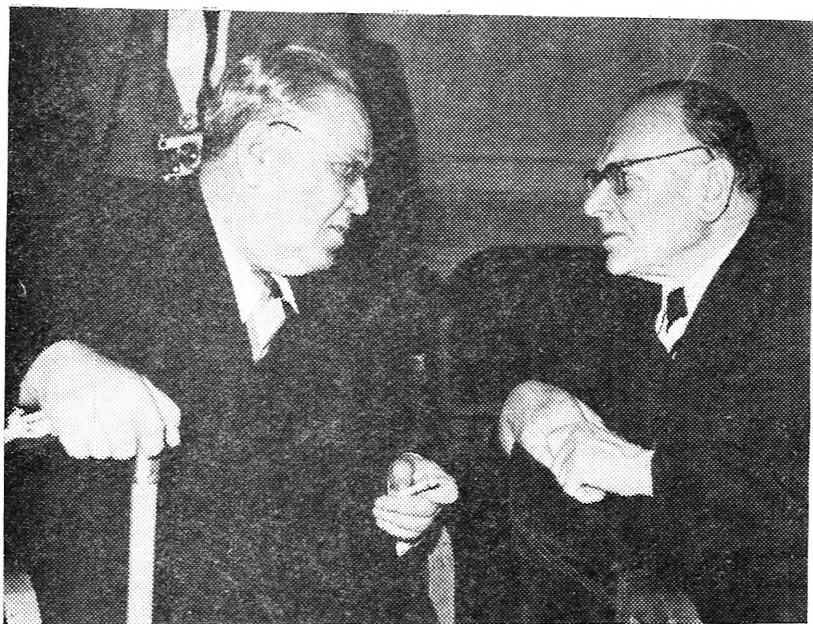
Так воспринимал автор пьесы атмосферу нашей работы. Должен сказать, что и я тоже вспоминаю те дни с особым чувством.

Не могу и сейчас без волнения вспоминать о том, с какой

любовью играли роль Арины Родионовны две наши прославленные актрисы — Варвара Николаевна Рыжова и Евдокия Дмитриевна Турчанинова. Рыжова до того вживалась в образ Арины Родионовны, что в антрактах во время спектакля и даже после него называла меня «мой Сашенька».

Мне кажется, что спектакль «Наш современник» имел большое гражданское звучание. Такой, например, эпизод, как приезд Пушкина в Михайловское (Пушкина хорошо играл Н. Рыжов), свидетельствовал о связи Пушкина с декабристами. В спектакле ясна была мысль, что все лучшие представители русской интеллигенции, русского народа и сам народ необычайно ценили Пушкина и понимали значение его в жизни России. С другой стороны, фигура настоятеля Святогорского монастыря, которому было поручено следить за жизнью Пушкина, за теми людьми, которые его посещают, напоминала о тех сложных условиях, в которых жил Пушкин.

...Впоследствии я встречался с Константином Георгиевичем несколько раз в более грустных обстоятельствах, когда мы отдыхали вместе с ним в одном из подмосковных санаториев. Зрение его тогда очень ослабело, и он лишь по голосу узнавал меня. Мы беседовали с ним о современной литературе и советском театре... Он всегда с нежностью вспоминал время совместной работы над пьесой «Наш современник» в Малом театре.



К. Г. Паустовский (справа) и С. Я. Маршак. Начало шестидесятых годов.

Николай АТАРОВ

ВЕТЕР С ЦВЕТУЩИХ БЕРЕГОВ

Все так же плывут островками листья на лесных притоках Оки, так же шумит прибой у камней Мисхора, так же бегут тени облаков по степи, и трудно объяснить себе, почему именно эти сопоставления приходят на ум с кончиной Паустовского. Он не принуждал своих читателей «видеть жизнь всегда как бы вновь, как бы в первый раз, в необыкновенной свежести и значительности каждого явления, каким бы малым оно ни казалось», но он сам так жил, и его читатели сами приходили к этому.

Всенародное признание Паустовского было рождено существенной потребностью его современников, ищущих в книгах самих себя. Будучи в писательстве верным самому себе, щедрым в самораскрытии, Паустовский возвысился над длинным рядом других писателей не только потому, что всегда был верен себе, а и потому, что за долгие десятилетия работы в лите-

ратуре, будучи всегда верен себе, построил целый архипелаг образов, в котором нам хорошо жилось и чувствовалось, мир, в котором людям свойственно взаиморасположение, где земные расчеты сверяются бескорыстием, где всегда на первом месте опрятность души, где критерий любого поступка подбивается не только исчислимой пользой его результата, но и не поддающейся исчислению мерой, заключенной в его мотивах душевной красоты. Иногда за это Паустовского называли романтиком — и ладно, на том сегодня сойдемся! Но попробуйте отнять у нас веру в благоприятный и прекрасный мир образов Паустовского, попробуйте сказать, что этот мир несбыточен, никогда неосуществим, — и мы вправе будем спорить: в чем же тогда смысл жизни, всей бесконечной гряды поисков и ошибок, трагических расплат и героического подвига? Вот почему нельзя даже сказать, что Паустовский завоевал всенародное признание, — это произошло само собой, потому что всякий из его читателей в душе немножко — романтик и мечтатель.

Народная почва сама из себя растит художника. И какова структура народной почвы, таковы должны быть и свойства художника.

Творчество Паустовского было подлинно демократичным, потому что все, что звалось и зовется красотой на Руси: ее малые дети, старые песни, реки, леса и моря, ум и отважная сила ее сыновей, человеческая теплота содружества, артельность труда и высота мечты, удивительная русская понятливость, нравственная проницательность народного характера — все это, все-все нашло в нем своего поэта. Вся красота земли и жизни на ней! А ведь красота принадлежит всем и всеми наследуется. Вот почему творчество Паустовского было подлинно демократичным. В лучших своих страницах творчество Паустовского было благословенным в том смысле, как он сам понимал это слово: оно было возвышено благодарностью и напутствием «всему хорошему, что будет жить, когда тебя уже не станет».

В основные нравственные законы, выработанные до нас, все постулаты человеческого благородства должны принадлежать нам. Думая так всю жизнь, он не стеснялся считать себя романтиком и был врагом натурализма, который не более чем сплетня о человеке. Думая так всю жизнь, он не писал стихов, но делал поэтами своих читателей.

Пушкинское начало в нашей литературе — жажда гармонии, утверждение света — было олицетворено в твор-

честве Паустовского. Книги Паустовского и облик писателя-гражданина долго за нашими плечами будут светить нам в пути.

Осенним вечером в малеевской глуши тридцать с лишним лет назад писатели устроили состязание, кто быстрее что-нибудь сочинит. Через полтора часа Паустовский принес рассказ о женщине, которую разыскал в Шотландии русский матрос, чтобы передать записку: ее написал в последний час один из участников погибавшей в антарктических льдах экспедиции капитана Скотта. Прочтя письмо, Анна о'Нейль оделась и, не сказав ни слова, ушла в город. Ее муж молча курил трубку, угощая матроса. Тревога будто открыла окна в доме (было начало зимы), и, видно, потому вспомнилось в этом доме в тот вечер старое морское поверье о жарком ветре Соранге, дующем один раз в столетие: «...Он приносит воздух незнакомых стран, печальный и легкий, как запах магнолий. Сами по себе начинают звонить колокола сельских церквей, голубая заря поднимается к зениту, и сквозь снега пробиваются цветы, похожие на подснежники».

Так в коротеньком рассказе одним толчком, точно лодку с берега, согнал Паустовский в еще не написанные тома свою главную тему — «учуять ветер с цветущих берегов». И эту тему, строку из стихотворения Фета, не израсходовал Константин Георгиевич до конца дней.

Мы познакомились, когда после кара-бугазской поездки он заглянул к нам в редакцию. Он был молод, а мы еще моложе, чуть-чуть за двадцать. Романтик, увлеченный морскими лоциями, корабельными журналами, угрюмыми маяками, ревущими в туманах, он, снисходя к нам, как я тогда подумал, развернул на стареньком редакционном столе пустынную карту восточного берега Каспия. Край по тем временам безнадежно скучный. Зачем понадобилась эта поездка автору «Блистающих облаков»? Какие уж там магнолии, — сверкающая на солнце соль, мертвые воды, мертвые барханы... Помню, Паустовский показал на карте:

— А вот Мангышлак. Здесь отбывал солдатчину Шевченко.

Вскоре мы прочитали «Кара-Бугаз». Я и сейчас не разберусь, как перемешались в повести мертвые воды и пески с лирическим, человечным, прекрасным, с «ветром с цветущих берегов».

С тех пор Паустовский написал много книг — путевых очерков, рассказов, повестей. Но что бы он ни задумывал, он всегда, мне кажется, преодолевал в материале жизни свой Кара-Бугаз. Он говорил, что нет на свете ничего безнадежного, не обещающего открытия красоты, — сонных захолустий, скучных дней, неинтересных профессий, как не оказалось бесплодного Кара-Бугаза. Он завидовал колхозному сторожу, который за долгую ночь услышит множество звуков — то простых и понятных, то загадочных и тревожных. В бесконечных поездках по России Паустовский убедился, что обширный мир поэзии еще не до конца раскрыт, он встречался с работающими людьми, с незначительными по виду, но для кого-то важными событиями, с неприметными на первый взгляд явлениями природы, с будничными, неказистыми предметами вроде колеса прятки в белорусской деревне или парохода, тесного, как курятник, у берегов Махачкалы. Он будто обстучал все это стеклянной палочкой — и все отозвалось ему легким звоном. Теперь какой-нибудь межевой столбик на перепутье узких просек в Мещорском лесу стал для него равнозначен морским маякам, ревающим в туманах. И однажды он написал: «Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, что она дает обильные урожаи и природные ее силы можно использовать для нашего благосостояния!

Не только за это мы любим родные места. Мы любим их еще за то, что, даже небогатые, они для нас прекрасны».

Соранг? Но это воздух знакомой страны, ветер с родного берега. Писатель увидел прелесть русского ненастья и показал армады облаков, плывущих с Черного моря к вершинам Яйлы; домишки с мезонинами, с цветастыми стеклами крылечек в Спас-Клепиках; душистые болота Колхиды с чавкающими экскаваторами; прибалтийские дюны с черными моторками, вытасненными на песок; сухие камыши аральских побережий; светлую росу на синих и желтых цветах портулака из своего детства на Украине; изорванные утесы Севастопольской бухты; осеннюю грозу за Псковом, когда над лесами и пустошами короткие ливни льются узкими домоткаными холстами; а Киев с Владимирской горкой, а огородное лето в Ливнах, а тот могильный холм у Святогорского монастыря, куда от века сходились простые дороги со следами лаптей мимо Михайловского парка?.. Писатель слышал грудные голоса украинских девчат, пароходные гудки на Оке, свист облетелых ракушек... Однажды я взялся перечитать все стихотворные строки, которые Паустовский ввел в свои произведения: стихи Пушкина,

Лермонтова, Блока, строки старых романсов, украинских песен, те вирши, которые пели слепцы на шляхах, и шуточные студенческие песни, а еще стихи моих современников — Багрицкого, Мандельштама, Луговского, Заболоцкого. Я был поражен: какую отборную на русский слух антологию хранит в памяти Паустовский!

Числом персонажей он, пожалуй, побил все рекорды — не перечесать паромщиков, охотников, солдат, метранпажей из типографии, старух, шоферов и деревенских девчонок. Но сколько еще у него родных и близких в мировой культуре, с которыми он не захотел расстаться, не написав о них! Повесть о Тарасе Шевченко самая драматическая; тут, видно, все сошлось: и впечатления ранних лет на Украине, и Мангышлак, и страстная приверженность к живописи, поэзии. А дальше — любимый Лермонтов, художник Кипренский, о котором он сказал: ему «привычная земля казалась в такие минуты творением гениальных художников или архитекторов». А дальше Исаак Левитан и сказочник Андерсен. Герои странствий: Миклухо-Маклай, Пржевальский, Дарвин, Свен Гедин. Когда-то в молодости он нашел человека, который разработал научную теорию, как уничтожить льды Гренландии, чтобы вернуть Европе миоценовый субтропический климат, когда Финский залив «будет дымиться, как парное молоко». То был советский моряк по фамилии Гернет, его Паустовский тоже увлек в свои книги: ведь тот по-своему обещал Соранг! И люди революционного подвига: в «Северной повести» — декабристы, в «Черном море» — лейтенант Шмидт.

Так и вышло, что ветер с цветущих берегов оказался попутным нам ветром в походе времени, он несет аромат всей красоты Родины, ее людей, истории, его дыхание мы возьмем с собой в любую неведомую дорогу — и в космос, и в двадцать пятый век.

Однажды Паустовский отозвался о нестеровском «Видении отроку Варфоломею»: «Картина эта — как хрустальный светильник, зажженный художником во славу своей страны, своей России».

Мне думается, что я пишу сейчас о чем-то сходном и родственном.

— Вот то-то, что «отрок Варфоломей», — подхватят иные серьезные люди. — Ведь наш Паустовский, что ни говори, архаист — он любит не молодые, а старые сады, игра бронзовых шандалов и разных хрустальных светильников ему милее столической лампочки, а когда поет в кругу друзей, то, наверно,

не «Первым делом, первым делом самолеты!..», а «Шотландскую застольную».

Ничего не опровергая, тут надо дать бой. Пожалуй, это самый важный пункт спора о таких писателях, как Пришвин или Паустовский. Разумеется, не они открыли Чапаева, не они показали Павку Корчагина, не они написали о Маресьеве. Эти герои, а с ними космонавты и миллионы других, менее знаменитых, пробивали и пробивают дорогу в лучшее будущее, из мира неустройства и нехваток в мир избытка и справедливости. Но вот что интересно: эти люди — первые читатели Паустовского. Почему же? Да потому, думаю, что из книги в книгу он деликатно напоминал им, что нужно взять в дорогу, что передать детям и внукам; то, без чего в краю достигнутого изобилия жить будет неинтересно, бедно; то, без чего и там человек не будет вполне человеком.

Как осуществится полет на Луну, на Марс, Паустовский, видимо, не был осведомлен. Какого ума и знаний будет человек, совершивший этот подвиг, Паустовский знал не больше нас. Зато он лучше многих понимал, что когда неведомый ему русский человек в скафандре ступит ногой на кремнистую поверхность Марса, он вздохнет и подумает: «Выхожу один я на дорогу...» Непременно вспомнит! И лермонтовский вздох, знакомый по уютно натопленному классу какой-нибудь ржевской школы, зазвучит в межзвездном пространстве.

У каждого народа в критическое переходное время мировой истории должны оказаться люди, напоминающие, что брать в дорогу. Я думаю сейчас: есть ли такие у американцев, у немцев?.. Недавно я услышал голос по радио с иностранным акцентом: «Для того, чтобы строить новое, надо сломать старое». Сломать? К примеру, Эрмитаж? Поэзию Блока? Пусть мне простят читатели неожиданное отступление, но вот когда я словно бы заново осознал: как это здорово, что рядом с нами жил и работал писатель, который своим ярким талантом утверждал идею, дорогую всей нашей советской культуре, — идею, что красота принадлежит всем и наследуется всеми.

Конечно, планета наша еще не Эрмитаж. Не так-то просто с лица прекрасного мира «стереть случайные черты» — вековое недоедание, невежество, войны, угрожающие самоистреблением, все заблуждения мысли и ложные вероучения с террором и насилием над личностью человека. Тут более других уместны писатели-бойцы со штыками наперевес — Маяковский, Фучик, — а не восхищенные созерцатели. Все это абсолютно верно. Тем радостнее мне отметить черты гражданствен-

ной отваги и практической настойчивости Паустовского, когда речь шла о сбережении наших лесов от хищной вырубке, рек — от безжалостного браконьерства, родного языка — от скудоумной канцелярщины, памятников старины — от невежд и деляг. Он негодовал по поводу всех видов разорения и затоптывания земли. И свою совсем не захоластную Тарусу он защищал с яростью, свой гнев передавал, как говорят радисты, открытым текстом, его не надо было расшифровывать. И ведь это он, увлекая вместе с нами в будущее таких великодушных художников, как Кипренский, Левитан или Винсент Ван-Гог, сказал: «Мы должны изгнать из своей страны ханжей, озлобленных против красоты за то, что она существует независимо от их воли».

Читатели Паустовского знают, как много в его произведениях детей. Оно и понятно: «в детстве горячее сердце, гуще трава, обильнее дожди, темнее небо и смертельно интересен каждый человек». В детстве, можно сказать, что ни день, то Соранг. Дети просто первые последователи писателя в бесконечных вариантах его главной темы — «Учуять ветер с цветущих берегов». Но я заметил еще и другое: я сам часто вспоминаю Паустовского именно при встречах с подростками. Когда девчонка-восьмиклассница, преодолев смущение, спрашивает меня, что такое беспричинная радость, и рассказывает, как она переходила перекресток, только что прошел слепой дождь, солнце сверкало в лужах, и ее охватила неизвестно почему радость, и вот она хочет понять и спрашивает меня, прожившего на земле, откуда же это, — в подобной ситуации я вспоминаю Паустовского. И когда мой земляк, кавказский мальчишка, пытается рассказать мне, как на рассвете отчетливо возникает Казбек над грядой снеговых гор, а потом исчезает в мреющей синеве южного полдня, чтобы снова засиять под вечер, — я и в такую минуту вспоминаю Паустовского. Как девочка с ее беспричинным счастьем и как мальчишка, размышляющий о красоте Казбека, Паустовский думает и пишет, может быть, не о самом срочно необходимом, рациональном, полезном сегодня, сию минуту, — конечно же лунный свет над снежной равниной не увеличит урожайности озимой пшеницы. А все-таки он самый подходящий для юности писатель — ведь это он сказал: «Скептицизм оставим для тех, кто уже мертв от собственной трезвости. Скептицизм не украшает жизнь».

Мне кажется, что в питательный рацион нашего детства, юности — в противовес преждевременной практичности — не вредно бы добавить уважения к фантазии. «Воображение, —

утверждал Паустовский,—заполняет пустоты человеческой жизни». Заметьте, как иной раз какая-нибудь заурядная подробность жизни не шевелится — ну, мертвая, точно мышь на полу. Тогда, как кот лапой, Паустовский начинал повешеливать свое воображение,—говоря попросту и без обиды: привирал. Но мы этому радовались. Я особенно любил Паустовского, когда его фантазия, разыгравшись, заносила его, как охотника, и я чувствовал, что уже пошла небывальщина,— назови ее как хочешь, хоть романтикой, но все равно небывальщина! А это были самые точные впечатления поэта, впечатления, полные превосходных догадок. Он описывал ржавую музыкальную шкатулку, молчавшую десятки лет,—и вдруг на его глазах сама собой заиграла! Сорангл!.. «Наверно, пружинка соскочила»,—небрежно объяснял Паустовский. Или скворец заковыристо поет в глухой мешцорской деревне,—оказывается, он подслушал свои песни зимой у африканских ребят. Или на морском пляже писатель слушает вместе с девочкой, как волна с шорохом накатывает на берег, потом паузит мгновение и, загребая песок и гальку, с шорохом откатывается. А вот похоже на строку гекзаметра! И это чуткое впечатление немедленно рождало догадку — будто бы слепой Гомер подслушал размер гекзаметров у тихой волны, играющей с берегом. Нет, неплохо добавить в рацион детства фантазии.

Неплохо бы, как ни странно покажется, добавить в юности и уважения к таинственному, необъяснимому, а то уже к десяти годкам все понятно, как палец, а это отдается спустя не долгое время сытой икотой.

А героическое неплохо бы учить уважать и ценить не только на поле боя и в трудном подвиге — это уж само собой! — но и в любви. А вы заметили — Паустовский чаще всего изображал героическую любовь: то наполеоновский маршал, рискуя гневом императора, сгорает в пожаре любви к Марии Черни, то Мария Щербатова беззаветно влюбляется в Лермонтова, Елена Гвиччиоли — в долгоязого Андерсена, красавица Христи, у которой «глаза были синие, как то небо», до смерти полюбила рыжего Иоську...

Опытные и объективные критики скажут: ну, это уж была не самая сильная сторона творчества писателя — и диалоги порой условны и слишком много слез, они как алмазы, доброта Паустовского тут отдает сентиментальностью, порой разыгрывает сцены, напоминающие мелодрамы Чарли Чаплина. Но в том-то и дело, что Паустовский, как и гениальный Чаплин,

не стеснялся этого. Так, ночью старый мусорщик Шамет из «Золотой розы» спасает на берегу Сены от самоубийства красавицу Сузи и что-то бормочет ей утешительно, совсем как трагический клоун в «Огнях рампы». Он уводит ее в свою пустую лачугу и счастлив. «Пять дней над Парижем подымалось необыкновенное солнце. Все здания, даже самые старые, покрытые копотью, все сады и даже логово Шамета сверкали в лучах этого солнца, как драгоценности...» Ах, вот оно что: это опять Соранг посетил нашу будничную землю.

...Скептицизм оставим для тех, кто уже мертв от собственной трезвости.



Излучина реки Таруски.

А. БЕЛЯНИНОВ

НЕЗАБЫТЫЕ ВЕЧЕРА

Вряд ли стоит сегодня пересказывать произведения Паустовского или сообщать о нем биографические сведения. Об этом он сам написал в разных книгах, в том числе в «Повести о жизни». Я хочу вспомнить Паустовского, каким он был, когда вел семинар в Литературном институте, в середине сороковых годов.

Не правда ли, странно, что и про наше время уже можно сказать — сороковые годы, как о чем-то далеком... Но я хорошо помню — встречи, обсуждения, горячие, откровенные споры, ту душевную щедрость, с какой Константин Георгиевич относился к молодым литераторам, и как он настойчиво и ненавязчиво внушал уважение к писательскому труду, предостерегал от погони за дешевым успехом, приучал к ответственности за каждое написанное слово.

Таким же — не изменившим себе в этом — он оставался и

в последующие годы, до самого последнего своего дня. Но я ограничиваю себя во времени, потому что сам пробыл в его семинаре до марта 1947 года.

Время от времени он спрашивал каждого:

— Пишете?

И когда в ответ раздавалось: «Да», то следовал новый вопрос:

— Получается?

Что тут сказать? Иногда кажется — конечно же получается! А стоит придирчиво перечитать написанное — ничего более серого, скучного, маловразумительного тебе на глаза до сих пор не попадалось. И вот это неизменное «получается?» заставляло сознательно, трезво относиться к своей работе в настоящем и будущем, к каждой странице рукописи.

Тверской бульвар...

Особняк, принадлежавший когда-то дяде Герцена, Яковлеву, и по сей день стоит в глубине улицы. Особняк скрыт палисадником. Здесь помещается институт, основанный Горьким.

От посторонних часто приходится слышать: «Вы, должно быть, студент? А где вы учитесь?» И после ответа, что в Литературном институте, следует недвусмысленный намек: «А... разве можно научить быть писателем?» Особо знающие добавляют, что, насколько им известно, Гоголь, Лермонтов, Толстой, Чехов такого института никогда не кончали.

Паустовский рассердился, когда ему рассказали об одном таком диалоге. Он сказал: понятно, что никого «выучить на писателя» нельзя! Тут другое... У молодого человека есть запас жизненных впечатлений. Есть стремление рассказать об увиденном и пережитом. И бесконечные споры, которые происходят на семинарских занятиях, на творческих вечерах и встречах, а то и просто в перерыве между лекциями, на знаменитых институтских подоконниках или в общежитии, — все это вырабатывает свое отношение к тому, как и о чем писать. И называется одним словом — общение. Общение помогает быстрее определиться, приближает наступление зрелости. Еще Чехов считал, что писатель должен жить среди писателей, и жалел, что болезнью прикован к Ялте.

Слово *писатель* ласкало слух. Но дело было не только в самолюбии: мы хорошо понимали, как важно быть рядом с Паустовским, как важно узнавать его мнение о твоей работе,

о работе твоих товарищей, его мысли о назначении литературы. Он приводил слова Салтыкова-Щедрина, которые потом поставил эпиграфом к «Золотой розе»: «Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти».

В его отношениях к нам не было «мэтризма». Каждый мог заявить особое мнение, высказать несогласие с любым из выступавших, в том числе и с руководителем семинара. Я даже чувствовал, что когда, допустим, Лева Кривенко начинал горячо и сбивчиво доказывать что-то свое, то Константину Георгиевичу это нравилось гораздо больше, чем покорное внимание. Он не считал послушание главной добродетелью в человеке, и мы не были ему нужны в качестве робких почитателей, принимающих на веру каждое его слово.

В связи с этим я не могу не вспомнить одного случая. Он позвонил в институт и попросил передать мне, чтобы я приехал к нему домой с рассказом, который я читал на предыдущем занятии и который он в общем похвалил.

В просторном, удобном для работы кабинете Константин Георгиевич усадил меня рядом с собой — не за письменный, а за стол, стоявший сбоку, — и начал с пером в руке читать рукопись.

На моих глазах с рассказом происходило чудо. Переставленные во фразе слова придавали ей неожиданную упругость. Вычеркнутое придаточное предложение облегчало весь абзац, а в прежнем своем виде, оказывается, он был расплывчатым, и я недоумевал, как же сам этого не заметил.

— Море у вас в рассказе есть, — сказал Константин Георгиевич. — Это Каспий, я узнаю. Но хотелось бы, чтобы вы поискали и нашли какую-нибудь особенность, характерность, отличающую его от всех других морей на свете. Вы где еще бывали?

Но в то время никакого другого моря я не видел, сравнивать мне было не с чем.

— Жаль... Вот почему еще писателю надо много ездить. Сейчас оставим это так, а потом, побывав на других морях, вы поймете, что я имел в виду.

Мы пошли дальше по тексту.

Я следил за его пером, но когда Константин Георгиевич вычеркнул одну фразу, я запротестовал. Он спросил, почему я хотел ее сохранить. Я, как понимал, объяснил. И тогда он восстановил зачеркнутое.

— Верно, — сказал Константин Георгиевич. — Фраза нужна. Она действительно создает обстановку, хоть и может пока-

заться лишней на первый взгляд. А вычеркнул я ее, чтобы проверить — вы просто так соглашаетесь или следите за ходом поправок...

Девочка с торчащими косичками. Удивленные глаза. Брусничные щеки. Такой выглядела в 1946 году Инна Гофф, поступившая в Литературный институт сразу после десятилетки. Поступала она с трогательными стихами, но вскоре начала писать и прозу. И давно искала случая поговорить с Паустовским, но сделать это хотела только сама, а не через кого-нибудь из нас.

Днем, случайно, Инна встретила его в узком институтском коридоре. Покраснев еще больше, если только это было возможно, объяснила не очень связно, что хочет попасть в его семинар, что писала стихи, а вот недавно...

— Подождите,— остановил ее Константин Георгиевич.— Не надо сейчас ничего рассказывать. Вы принесите мне рассказ. Есть готовый рассказ?

— Есть...

— Вот и приносите, рассказ выдаст вас с головой.

Пожалуй, это интересовало его в первую очередь: что есть у каждого из нас за душой, чем он мог бы поделиться с читателем, и что он увидел в жизни такого, что побудило его взяться за перо.

Объяснение этому можно найти.

«У меня есть одна слабость: мне хочется возможно большее число людей приохотить к писательству,— писал Паустовский задолго до того, как пришел в Литературный институт руководить семинаром.— Сожаление о зря погибающем великолепном материале преследует меня непрерывно. К таким людям я обыкновенно пристаю с просьбой описать пережитое, но почти всегда наталкиваюсь на неверие в собственные силы, на испуг и, наконец, на ироническую усмешку. Плохая мысль, что писательство — легкое занятие, до сих пор колом стоит в мозгах многих людей. Большинство ссылается на свое исключительное пристрастие к правдивости, полагая, что писательство — это вранье. Они не подозревают, что факт, поданный... с опусканием ненужных деталей и со сгущением нескольких характерных черт, освещенный слабым сиянием вымысла, вскрывает сущность вещей во сто крат ярче и доступнее, чем правдивый и до мелочей точный протокол».

В семинаре у Паустовского были самые разные люди. Большинство пришло в институт не со школьной скамьи. Война в той или иной степени и форме была у каждого за плечами. Даже у вчерашних школьников жизненный опыт не ограничивался двойками и пятерками, и экзамены, которые приходилось им держать, оказывались посложнее экзаменов на аттестат зрелости.

Лева Кривенко, угловатый и несговорчивый, еще носил черную шинель и флотскую фуражку — морская пехота. Дима Поляновский тоже не снимал военного кителя. И не по причине пристрастия к военной форме, а из-за элементарного отсутствия гражданского костюма — купить его на знаменитой Тишинской толкучке никому из нас не было под силу.

Иосиф Дик, вернувшийся с войны с тяжелыми ранениями, всех заражал своей жизнерадостностью и на первом нашем коллективном сборнике весело и дерзко написал: «Константин Георгиевич! Иду на вы!» (Константин Георгиевич, прочитав надпись, одобрительно усмехнулся.)

Николай Старжинский и Галя Можарова были значительно старше, но семинар всех уравнивал в правах. Настя Перфильева и Макс Бремер писали рассказы для детей, и Константин Георгиевич хвалил их за то, что им удалось избежать столь частого, к сожалению, приспособления к маленькому читателю. Он вспоминал о Гайдаре, с которым дружил, и ставил его в пример. Ведь упрощенный подход к теме, материалу вовсе не признак детской литературы. Книга для детей должна быть такой же достоверной, проникновенной и умной, как и любая другая книга.

Тогда же и несколько позднее в семинаре у Паустовского занимались Владимир Тендряков, Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Борис Балтер, Юрий Трифонов. (С тех пор прошло много лет. Все, о ком я говорю, уже давно работают в литературе, и читатели встречают их имена на страницах журналов, на обложках книг. А тогда мы все только мечтали, что так когда-нибудь случится, — правда, не только мечтали, но и готовились к этому.)

Константин Георгиевич обычно выступал в конце, не оставляя, как я уже говорил, за собой последнего, непрерываемого слова. И любой рассказ — пусть и далекий от совершенства — становился поводом для серьезного, по самому большому счету, разговора, в котором писательский труд обобщался самыми разными гранями.

Разговор мог начаться хотя бы с того, что в услышанном на этот раз рассказе порыв ветра хлопал оторванным ставнем, мешая герою сосредоточиться. Подробность? Деталь?.. Конечно, просто деталь. Но без таких деталей, казалось бы незначительных, никому еще не удавалось создать яркую и точную картину происходящего.

Вот на фронте в первую мировую войну, когда Константин Георгиевич служил санитаром, аэропланы только начинали принимать участие в боевых действиях, и бомбежки с воздуха не были таким уж частым явлением. А как теперь, много лет спустя, передать острую новизну ощущения, что смерть может в самом прямом смысле свалиться с неба?

Способов, понятно, множество, и вот один из них: после нескольких налетов лошадь, таскавшая санитарную двуколку, при каком-нибудь подозрительном шуме сразу начинала поглядывать в небо, скособочив голову.

В другой раз заходила речь о сюжете.

— Помните рассказ Хемингуэя «На Биг-ривер»? Попробуйте его пересказать. Можно бы уложиться в пять слов: Ник Адамс отправился половить рыбу... Но все дело в наполнении рассказа, в том, о чем Ник вспоминает, что он думает и что чувствует, находясь в одиночестве на берегу большой реки.

С высот творчества мы спускались к обстоятельствам жизни писателя — к дисциплине, например, — и тогда перед нами возникал образ гимназического товарища Константина Георгиевича — Михаила Булгакова. По словам Паустовского, и в свои последние годы неизлечимо больной — об этом он, как врач по образованию, знал доподлинно — и неустроенный Булгаков все равно каждое утро неизменно встречал за письменным столом.

А взыскательность?.. Это непреложное для каждого писателя качество переставало быть для нас отвлеченным после рассказа о Юрии Олеше. Вот пьеса — это, как известно, семьдесят страниц на машинке. У него же на черновики и варианты ушло свыше двух тысяч листов бумаги. А что касается прозы, то в своем стремлении бесконечно совершенствовать текст Олеша иногда переступает предел, после которого может начаться уже ухудшение, и тогда друзья должны просто отбирать у него рукопись. Он не дает: «Что вы хотите? У меня — рак вкуса».

Да, уж чего Паустовский не прощал никому, так это нетребовательности, беспринципной расхлябанности, разухабистого писания «на авось».

Однажды он сказал:

— Вот книга,— она написана, издана, и тогда поздно уже хвататься за голову и ругать себя за плохую фразу, неудачное слово или надуманный сюжетный ход. Книга войдет в сознание читателей такой, какая она есть, книга начинает свою самостоятельную жизнь, уже совершенно не зависящую от писателя.

Он не обещал легких путей и любил повторять слова Стендаля: чтобы быть писателем, надо почти столько же мужества, как и для того, чтобы быть солдатом.

И я как будто снова слышу чуть глуховатый голос Паустовского, слежу за его взглядом: глаза у него спокойные, внимательные, чуть изучающие, но без той неприятной цепкости, которая создает впечатление, что за тобой подсматривают.

Мы очень любили его устные рассказы.

Вот одна история,— я передаю фабулу, потому что вряд ли удастся сохранить неповторимость интонации, широкую и свободную манеру, присущую Паустовскому-рассказчику.

Когда его отозвали с фронта, Константин Георгиевич приехал к семье в Алма-Ату, некоторое время жил здесь, а потом собрался в Москву. Сложность заключалась в том, что надо было везти с собой Фунтика — привязчивую таксу, которая стала членом семьи.

Неизвестно по каким признакам Фунтик за несколько дней почувствовал предстоящий отъезд, печальными, вопрошающими глазами смотрел на хозяина и тяжело вздыхал.

Начались хождения по разным учреждениям — от ветеринарной лечебницы до железнодорожного начальства, потому что собака хоть и друг человека, но приобрести для нее полноправный билет дело совсем не простое.

Наконец все необходимые бумаги были оформлены,— и самое смешное, что Фунтик словно бы понял: его собачий билет находится в бумажнике, вместе с билетами хозяев. И успокоился, перестал вздыхать.

Ехали в мягком. На вокзале Константин Георгиевич спрятал Фунтика на груди под шубой и так прошел в вагон. Он не мог совершить предательство и бросить собаку в Алма-Ате. Но и не мог не чувствовать, что сейчас, в дни войны, кто-то расценит это как неуместную причуду.

Основания для таких опасений были, что и выяснилось сразу, как только они попали в купе. Усатый капитан в но-

венькой форме бурно выразил негодование: в такое время — и таскать собаку!.. Он вызвал проводника и принялся распекать его. Но документы Фунтика — билет, бесчисленные справки — оказались в полном порядке. Тогда капитан, гневно раздувая усы, сорвал с полки свой чемодан, с треском задвинул дверь и перешел в другое купе.

Виновник этого переполоха неподвижно сидел под столиком, понурив голову с повисшими шелковистыми ушами, всем своим видом выражая непритворную скорбь.

Ночью в пути случилось происшествие, довольно обычное для тех лет, когда поездов ходило мало, а ехать надо было многим. На узловой станции скопились пассажиры. Среди них были солдаты, выписавшиеся из госпиталей и получившие отпуск, были возвращавшиеся на фронт. Никакой надежды уехать у них не оставалось, и тогда они штурмом взяли вагон и впритирку заполнили коридор. «А, ничего, мы и так доедем!» Не то что проводник — дежурный помощник военного коменданта ничего не смог поделать. И поезд ушел.

Фунтик был воспитанный пес. За ночь он не оставил никаких следов своего пребывания в купе. Но утром пришлось о нем позаботиться, он и так уже начал скулить и скулил все настойчивее и нетерпеливее.

Константин Георгиевич тяжело вздохнул, но делать было нечего. Он надел шубу и пристроил Фунтика на груди, запрягав его с головой.

Коридор из конца в конец был забит. Люди стояли у окон, сидели на вещмешках. И тут Фунтику понадобилось высунуть острую любопытную морду.

Константин Георгиевич обмер.

— Смотри-ка! Собака!.. — раздался чей-то удивленный голос.

— Рыжая... — сделал для себя открытие другой.

— А уши-то! Охотничья, что ли?

И люди в проходе потеснились, насколько это было возможно, давая хозяину собаки пройти с ней в тамбур.

Потом он вернулся, и к нему в купе по одному, по двое стали заходить солдаты. Они деликатно присаживались на край полки и рассматривали Фунтика, который теперь в полном блаженстве растянулся у ног, интересовались породой и на кого можно с ним охотиться... ну да, на лис и на барсуков хорошо, на полусогнутых сподручнее лазить в норы, вспоминали своих собак, оставленных там, дома...

Тут-то их случайный сосед по купе не без тайного злорад-

ства и рассказал про горячего усатого капитана, как он возмущался и требовал, чтобы собаку высадили.

Об этом стало известно в коридоре, и коридор зашумел.

Раздавались голоса:

— Это который?

— Усатый, говорят! Ишь ты, какой быстрый,— посадить!..

— Да видел я, гладкий такой, форма у его новая, в деле не бывавшая.

— Собака ему, смотри, помешала! А что, ребята, давай его самого от поезда отставим!

Шум нарастал. Захлопали двери купе — искали усатого.

Но его так и не обнаружили. Где-то сошел, сказали. А проводник потом потихоньку рассказывал: никуда этот капитан не сходил, тут же и находился в вагоне. Только поспешно сбрил усы.

Вот и вся история, как она мне запомнилась. Мы восприняли ее как совершенно законченный, только ненаписанный рассказ — из тех, что преподносит писателю жизнь, если только он настоящий писатель и держит глаза и сердце открытыми.

Несколько лет спустя, в предисловии к собранию сочинений, Паустовский писал: «...больше всего я обязан простой и значительной жизни. Ее свидетелем и участником мне посчастливилось быть».

Эта жизнь из его книг входила в сознание читателей частью собственного опыта. А читали его всегда много и охотно, даже в те годы, когда критика предпочитала умалчивать о Паустовском или же второпях нападала,— например, за сочувственное предисловие к одному из сборников Александра Грина.

Наверное, всем пишущим, независимо от таланта и опыта, начинающим и продолжающим, маститым и малоизвестным, знакомо неизбежное чувство волнения, которое вызывает лежащий перед тобой чистый лист бумаги. И еще удивление, когда он буква за буквой начинает покрываться строчками. И трепет: так ли все получается, как хотелось? Бывают заторы. Но это не страшно. Потому что писатель не одинок в своей работе, оставаясь наедине с листом бумаги. Рядом множество людей, с которыми он когда-либо встречался, которых любил или ненавидел, которых знал или слышал о них. Они — его спутники на той трудной дороге по сильно пересеченной местности, что ведет к созданию книги.

Умение отточить фразу и сделать ее непринужденной. Построить звучащий диалог. Или так описать дождь, чтобы читателю захотелось накинуть плащ. Все это, бесспорно, нужно, и без этого просто нет писателя. И одновременно — все это ни к чему, если нет главного: знания жизни.

Паустовский приучал к мысли, что нет и не может быть резкого отграничения: вот — жизнь, а вот — роман... Настоящая литература неотделима от живого человека, от его поступков, от того, что происходит с ним в действительности. А читателю представляется ничем не ограниченная свобода — на основе личных впечатлений и представлений о жизни проверять достоверность событий, происходящих в книге, и соглашаться или не соглашаться с ее автором. Чем больше совпадений, тем большим доверием пользуется писатель.

Чтобы это стало ясней, нужен пример. Я думаю выбрать «Кара-Бугаз». Не только потому, что вся предыстория книги передана в «Золотой розе». И не потому, что эта книга стала, как говорится, вехой в биографии писателя — после выхода «Кара-Бугаза», в 1932 году, Паустовский целиком перешел на творческую работу.

Просто по своим жизненным обстоятельствам мне приходилось жить в тех местах: Казахстан, Туркмения и опять Казахстан.

Из книги известно, что произошло с людьми, которых денкинская контрразведка при подходе красных к Петровску-Порту в январе 1920 года высадила на Кара-Ада. Из восьмидесяти в живых осталось девять. И то лишь потому, что какой-то безвестный казах, чье имя скрыла пустыня, заметил дымы над островом — обреченные, потерявшие всякую надежду люди подавали сигнал бедствия.

Весь этот эпизод зазвучал для меня совершенно по-иному, когда в 1961 или 1962 году в Ашхабаде, в редакции молодежной газеты, мне показали письмо смотрителя маяка на Кара-Ада. Он писал, что случайно обнаружил на острове несколько скелетов. Других тут быть не могло — только те, кого высадили штормовым январским утром. Смотритель ставил вопрос о создании братской могилы на острове и просил газету помочь добыть средства на установку памятника.

А на Кара-Ада я попал позднее — в 1967 году. Новый смотритель показывал мне единственное место, куда могли причаливать шлюпки, а потом подвел к площадке в скалах, где стоял скромный деревянный обелиск. И сказал, что здесь захоронены скелеты найденных шестерых. Остальных, должно

быть, унесло и похоронило море. Ведь когда тут настоящие шторма, волны свободно перекачиваются через весь остров.

Трудно было допустить, чтобы в казахских родах, истари зимовавших в Кара-Бугазе и Бекдаше, не сохранилось воспоминание о той истории. Узкая, теряющаяся тропинка в прошлое привела к бекдашским старикам. Им и вспоминать ничего не надо было. Они сразу назвали имя того человека... Он зимним утром поехал на берег поохотиться за лисами и, заметив тревожные дымы над островом, поскакал на пролив к русскому, у которого была лодка, и с ним — морем — пошел на Кара-Ада.

Это был Кульдур, сын Алибая из рода тней, и умер он в 1962 году, сто раз можно было с ним повидаться и поговорить.

Обелиск в скалах... Жена Кульдура, с которой я потом встречался на колодце Суйли под Красноводском... Это были судьбы непрдуманых людей. Так прошлое входило в сегоднешний день, подтверждая события многолетней давности, запечатленные писателем.

После «Кара-Бугаза» он написал еще много книг, без которых сегодня нельзя представить себе советскую литературу.

Немало говорилось в разные годы о романтической направленности творчества Паустовского. Трудно что-нибудь против этого возразить, разве что само слово *романтика* несколько поистерлось от неумеренного употребления. Но романтика книг Паустовского, идущая от жизни, суровая и мужественная, наполнена живыми страстями.

Его героев называли мечтателями. И это тоже верно, с оговоркой, что мечтателями они оказались очень деятельными, скорее их следует назвать провидцами. Хотя бы того же самого инженера Давыдова с его неукротимым характером изыскателя, для которого будущее Мангышлака, Кара-Бугаза было личным, кровным делом. Причем это касается не только внешних перемен (нефтеперегонные заводы в Красноводске и Гурьеве, открытие большой нефти на Мангышлаке, проект мощного газопровода и линия высоковольтных передач по соседству с Кара-Бугазом, строительство железной дороги Макат — Шевченко).

Можно было бы рассказать немало интересных и поучительных историй о том, какое влияние оказали эти перемены на психологию людей, на их место под солнцем — и тогда бы возникла та самая простая и значительная жизнь, свидетелем и участником которой был Паустовский.

...Достоверность произведений писателя не обязательно, конечно, всякий раз проверяется реальными обстоятельствами и фактами, как это можно сделать на примере «Кара-Бугаза». Но когда это настоящая литература, то все события воспринимаешь так, словно они происходили на самом деле.

Тогда, в 1946 году, в Союзе писателей работала секция короткого рассказа. По просьбе Константина Георгиевича нас туда пускали.

Собирались обычно в небольшой гостиной на втором этаже, рядом с библиотекой в старом клубе писателей. Там я услышал только что написанный и еще нигде не опубликованный Паустовским рассказ «Дождливый рассвет».

Чуть глуховатым голосом он прочел первую фразу: «В Наволоки пароход пришел ночью», — и, казалось бы, ничего такого особенного не было в этой фразе, но уже стало невозможно расстаться с майором Кузьминым, на долю которого выпало поручение доставить письмо жене товарища по госпиталю, и не хотелось покидать ветхий дом в маленьком приречном городке.

В хорошо натопленной комнате мне стало зябко и неудобно, когда Кузьмин и Ольга Андреевна уже под утро шли через старый городской сад и ветер прошел по саду, будто над ним пролился и тотчас же стих крупный и сильный ливень; и как они по трухлявой лестнице, где между ступеньками росла трава, спускались к пытящему пароходу.

«Кузьмин прошел на корму, посмотрел на обрыв, на лестницу — Ольга Андреевна была еще там. Чуть светало, и ее трудно было разглядеть. Кузьмин поднял руку, но Ольга Андреевна не ответила.

Пароход уходил все дальше, гнал на песчаные берега длинные волны, качал бакены, и прибрежные кусты лозняка отвечали торопливым шумом на удары пароходных колес».

Он кончил читать, и было ясно одно: человек, написавший такой рассказ, имеет право говорить молодым, что в каждую новую вещь писатель должен вкладывать себя всего, без остатка, так, словно он никогда и ничего больше не напишет.

В секцию ходили писатели разных вкусов, масштабов, дарований. Часто сталкивались здесь непримиримые точки зрения, вспыхивали споры, в которых истина обычно сгорала дотла и каждый оставался при своем непоколебленном мнении.

Но в тот вечер, говоря о «Дождливом рассвете», даже самые нетерпимые проявляли удивительное единодушие и, как мне тогда казалось, радовались, что хоть раз можно не спо-

рить, а соглашаться. А когда кто-то, не к месту проявляя эрудицию, попробовал определить рассказ как «новеллу настроения», на него дружно зашикали: никому не хотелось портить впечатление.

Сам он читал здесь редко. На моей памяти — только «Дождливый рассвет». А участвуя в обсуждениях, являл собой пример доброжелательного и бескомпромиссного отношения к работе товарищей. Он и в этом оставался самим собой, таким, каким мы успели его узнать на институтских семинарах.

Константин Георгиевич не хотел, чтобы мы замыкались в каком-то своем узком кругу. Отсюда и наше участие в секции короткого рассказа.

Раз, придя в институт, он сказал нам:

— Видимо, мне придется месяца на два уехать... Чтобы у вас не прерывались встречи, я хочу попросить Василия Семеновича Гроссмана заменить меня на это время. Да и вам будет интересно встретиться с новым человеком, большим писателем, послушать его, выяснить его взгляды на литературу и требования...

(Эта встреча с Гроссманом, к сожалению, не произошла. Да и поездка Константина Георгиевича — не помню уже почему — не состоялась.)

Он проявлял внимание не только к своим ученикам. В марте 1947 года, на первом Всесоюзном совещании молодых писателей, я был не у него в семинаре, а у Маршака. Мы собирались в здании ЦК комсомола, и вот, встретив меня в коридоре, Паустовский спросил:

— Вам передали?

— Нет, Константин Георгиевич. А что должны были передать?

— Вы завтра с утра можете освободиться?

— Думаю, что смогу.

— Завтра у нас читает очень интересный молодой рассказчик. Автодорожный инженер по образованию. Приходите послушать, будет интересно.

На следующее утро я пришел к ним и вместе со всеми слушал два рассказа.

Сильно нахмутив лоб и не поднимая глаз, читал молодой человек, немногим старше нас. Назывались рассказы «У шлагбаума» и «В окружении».

В них было много тонкой наблюдательности, умения передать обстановку, а то — одним штрихом создать характер действующего в рассказе человека. Чего стоил, например, началь-

ник, у которого на разные случаи жизни были два голоса: служебный голос и домашний.

Рассказы всем понравились. Я записал имя и фамилию автора: Сергей Антонов.

«Мы должны быть благодарны... за все — за его глубокую человечность, за его тончайший талант, за любовь к своей стране, за непоколебимую веру в счастье своего народа и, наконец, за никогда не умиравшую в нем способность загораться от самого незначительного соприкосновения с поэзией и свободно и легко писать об этом».

Так думал Паустовский о Куприне. Но все эти слова можно отнести и к нему самому.

Летом 1967 года, через двадцать с лишним лет после того, как я в Литературном институте посещал семинар К. Г. Паустовского, я в Москве позвонил ему по телефону.

Подошла его жена Татьяна Алексеевна. Потом Константин Георгиевич взял трубку.

— Здравствуйте, Белянинов... Извинитесь за меня перед Иваном Петровичем, что я не ответил на его телеграмму. Но я болею, и мне трудно говорить и писать.

Голос хриловатый, он делал паузы между словами. А речь шла о телеграмме И. П. Шухова с просьбой ускорить присылку обещанных для алмаатинского журнала «Простор» новых глав из «Повести о жизни».

— А как вы? Пишете?

— Пишу, Константин Георгиевич...

Я сказал ему еще, что уезжаю в Ленинград, и он попросил позвонить, когда я вернусь в конце месяца.

— Надо бы повидаться через столько лет.

Я вернулся в Москву, и Татьяна Алексеевна сказала: Константин Георгиевич в больнице, врачи не обещают скоро его выписать, а как только выпишут, они сразу уедут в Тарусу.

А потом пришло то, после чего ему уже ни позвонить, ни написать было нельзя...



*К. Г. Паустовский в книжном магазине
«Глобус» в Париже. 1962 г.*

Назым ХИКМЕТ

*Из выступления на вечере, посвященном семидеся-
тилетию К. Г. Паустовского*

...Я думаю, что писатель должен выразить свою любовь, свое уважение, свою преданность другому писателю лучше всего в письменном виде. Ведь наша профессия не ораторствовать, а просто писать. Поэтому я постараюсь это сделать по отношению к моему любимому учителю — Паустовскому.

Я написал стихи, и потом я написал статью, ...и я очень горжусь тем, что я могу принести в день его рождения такой маленький подарок от сердца, не от головы.

Я хочу вам коротко сказать — что я уважаю, что я люблю в нашем великом мастре. Я думаю, что он прежде всего — очень честный человек.

А честность писателя, я считаю, выше, чем талант писателя.

И если честность и талант писателя соединяются, как у него, это уже дает образ Паустовского.

Потом я его очень люблю за то, что он так хорошо относится к молодому поколению.

Я думаю, что мы все, старики, старое поколение советских писателей,— а я себя тоже считаю, слава богу, советским писателем... мы все должны учиться у него, как надо относиться к молодому поколению.

Потом я очень люблю его бесхитрость, «бесфокусность» его стиля, разговора, его письма. Мне очень дорого, что можно таким прекрасным, прозрачным языком писать, и писать не для того, чтобы удивлять, а писать, чтобы люди просто волновались, любили...

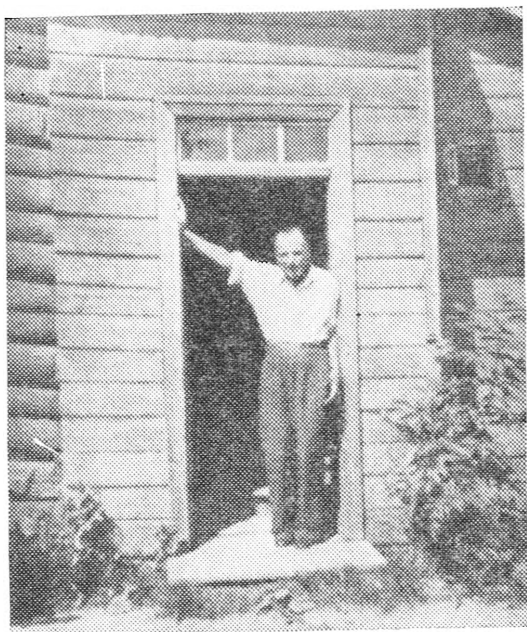
Мне кажется, что в нем есть очень много похожего на среднюю полосу России или на черноморский берег. Он такой же: иногда с красивыми пастельными оттенками или, как Черное море, такой внутренне взволнованный. Вот все его творчество этим меня очень волнует.

Я специально поехал на днях в Тарусу. Константин Георгиевич не было дома, но я полчаса сидел перед его домом и смотрел, смотрел на всю эту природу, которую он так любит, и мне казалось, что вся эта дорога — его рукопись. Это меня очень взволновало. Я очень хотел видеть его. Я очень мало видел его... Но ничего,— я очень мало, почти совсем не видел и Пушкина... но это совсем не мешает мне очень любить Пушкина.

Я могу вам сказать, что для меня, для человека, который кое-что знает из мировой литературы (я читаю и на других языках в оригинале, но говорю так же плохо, но по-русски когда я читаю, я хорошо понимаю) — Паустовский величайшая фигура, не только в советской литературе, но и в мировой литературе.

Мне очень больно, что ему семьдесят лет. Мне хотелось бы, чтобы ему, с таким же умом, с таким же сердцем, было только тридцать лет.

Это было бы замечательно.



К. Г. Паустовский в Солотче. 1951 г.

Александр ГЛАДКОВ

ПОХВАЛА АНЕКДОТУ

Однажды, когда я пришел к Паустовским,— это было зимой 1955 года,— Константин Георгиевич встретил меня с таинственно-заговорщицким видом.

— А что я вам сейчас покажу! — сказал он и помедлил, наслаждаясь моим любопытством. — Вы и не представляете...

Мы прошли из передней, служившей также столовой, в большую комнату, где был его рабочий кабинет и одновременно гостиная.

Он взял с бюро обыкновенную канцелярскую папку и развязал аккуратно завязанные тесемочки. В папке лежала стопка машинописных страниц.

Я уже не помню, что там было. Важно то, что это было нечто очень интересное и тогда еще не опубликованное.

— Нет, нет, и не просите! — сказал он, как бы предупреждая мой вопрос. — Дать с собой не могу. Если вдруг что слу-

чится — беда! Единственный экземпляр на свете! Садитесь на диван и читайте.

Я, конечно, догадывался, что экземпляр не мог быть «единственным на свете». Перепечатка свежая, а любая машинистка изготавливает за один раз не менее пяти экземпляров. Но Константину Георгиевичу так было интереснее, и я это принял как условие игры.

В это время в передней раздался звонок. Пришли Шкловские. Сразу вслед за ними Алянский. Воспользовавшись шумной встречей гостей, я сел в уголок дивана и начал перелистывать рукопись.

Но погрузиться в нее мне не удалось. Виктор Борисович громко рассказывал в соседней комнате что-то интересное, и я невольно прислушивался. Гости садились за стол. Позвали и меня. Я едва успел пробежать несколько страниц.

— Сумасшедший книжник! — сказал Константин Георгиевич при моем появлении. — Ничего нельзя ему показать! Настоящий маньяк! Пришел час назад, схватил папку и уткнулся...

Я пришел не более десяти минут назад, но не стал спорить. Это была легкая шутка, но с зародышем анекдота.

Шкловский тут же рассказал какую-то историю из молодости Тынянова. Ему ответил Константин Георгиевич занимательной байкой про одесского профессора. Алянский начал вспоминать знаменитых библиоманов старого Петербурга. Дочитать или хотя бы долистать рукопись в тот вечер мне не удалось. Но я не жалел об этом. Застольный разговор был интересен и увлекателен.

Через некоторое время я узнал, что Константин Георгиевич рассказывает про меня, будто я просидел у него целый вечер, углубившись в чтение, ни на кого не обращая внимания и даже не здороваясь с пришедшими гостями. Потом долетел его рассказ, что у меня в обычае приходиться к знакомым, молча брать с полки редкую книгу, читать ее, не вступая в разговор, и так же неожиданно уходить, не попрощавшись.

Весной 1955 года, подарив мне «Повесть о жизни», он сделал на ней надпись: «Знаменитому российскому книголюбу». На другой своей книге он написал: «Дорогому Александру Константиновичу — великому книголюбу, магистру по делам подлинной литературы»... Так постепенно, но неуклонно «сумасшедший книжник» превращался в «знаменитого», а затем и в «великого» книголюба и даже «магистра».

Когда я приходил к нему в Москве или в Тарусе и еще не

успевал даже взглянуть в сторону книжных полок, он уже говорил:

— Нет, нет, нынче никаких книг! Будем разговаривать. А то — знаю я вас...

Полувывмышленный образ книжного маньяка, еще одного романтического чудака из огромной галереи им описанных, уже владел его воображением. Он сам выдумал, что в гостях я утыкаюсь в книгу и ни на что не обращаю внимания, и поверил в это. Он был мне интереснее любой книги, и разве можно в этом сомневаться? Но разубедить его бесполезно. Я ему интересен таким, каким он меня видит, хотя иногда он делает вид, что досадует на меня за приписываемые мне странности. Он сам любит рассказывать, быть в центре внимания и почти готов ревновать меня к рукописям и книгам, которые мне якобы дороже живых людей.

И я уже боюсь упомянуть о какой-нибудь книге, чтобы не встретить его лукавую усмешку, которая означала: «Ну вот, а что я вам говорил...»

Но как же литераторам не говорить о книгах? И тогда, словно сжалившись надо мной, он сам начинает говорить о них. Он с большим интересом спрашивает меня, что я прочитал нового, внимательно слушает, переспрашивает, но я знаю, что это не помешает ему потом сказать: «Был Гладков! Совсем заговорил меня о книгах...»

И, встречаясь с ним, я невольно входил в эту созданную им игру и порой чувствовал, что я раздваиваюсь: вот это «я», а вот «знаменитый книголюб», выдуманный Паустовским, как он выдумывал многих, кого встречал в своей жизни. Я уже начал ощущать себя как бы персонажем устной прозы Константина Георгиевича, которая предвляла прозу написанную, как в театре репетиции предвеляют спектакль.

Чтобы оставаться на высоте своей репутации, я, когда Константин Георгиевич подолгу жил в Тарусе или в Ялте, посылал ему интересные книжные новинки. В Географиздате вышло «Зеркало морей» Джозефа Конрада. Как было не поделиться с ним радостью и не подарить ему эту удивительную книгу? Ведь она Константину Георгиевичу непременно должна понравиться. Так же было и с «Дневником» Ж. Ренара, и с «Тигром снегов» Тенсинга.

Но этим я поддавал жару в огонь, и пламя пылало все ярче и сильнее. Образ романтического чудака, книжника-маньяка рос и утверждался. До меня долетали милые и необходимые шутки и подтрунивания Константина Георгиевича в мой адрес.

Они все шли в одном направлении, и иногда я уже сам себе казался бледной тенью фантастического книголюба, сочиненного щедрым воображением Паустовского.

И когда мне кто-то из близких писателю людей сказал, что несносный мальчишка, племянник Бабеля, с таким юмором описанный в четвертой части «Повести о жизни», вовсе и не племянник Бабеля, а родственник самого Паустовского, но все его проделки и капризы им удешевлены, я вовсе не удивился.

Скоро я получил еще одно доказательство силы преобразующего воображения Константина Георгиевича. В одном из журналов Э. Миндлин напечатал отрывок из воспоминаний о газетной Москве середины двадцатых годов, и там мелькнула фигура репортера, прозванного «Чугунной ногой». До этого описал его и Паустовский. Очень любопытно сравнить два описания. Конечно, у Паустовского он страннее, романтичнее, привлекательнее: это почти диккенсовский персонаж. Какой же портрет ближе к правде? Вопрос этот бесполезен, ибо сначала нужно ответить: что такое в литературе правда?

Задолго до того, как Константин Георгиевич описал в «Книге скитаний» М. А. Булгакова, я слышал от него всевозможные о нем рассказы. Они имели несколько вариантов, а так как они полумимовизировались, то и подробности в них менялись. Иногда, начиная рассказывать о Булгакове, Константин Георгиевич спрашивал, рассказывал ли он это раньше. Я всегда отвечал, что нет, не рассказывал, хотя это было неправдой. Но сам рассказчик получал явное удовольствие от своего рассказа, да и слушатели не бывали в обиде. Иногда Константин Георгиевич пропускал какое-то звено или заменял его другим. Разнообразились и степень юмора, и освещение, и темперамент, при неизменной в целом общей схеме того, что можно назвать анекдотом.

Мне нравилось отмечать для себя эти варианты. В последний раз, когда Константин Георгиевич спросил, знаю ли я этот рассказ, и я снова отперся, хотя слышал его три-четыре раза, он подозрительно покосился на меня: то ли уловил в моем голосе фальшь, то ли вспомнил сам. И, может быть, поэтому рассказ его не был на этот раз так ярок, как обычно. Когда он записывал рассказ, он переставал его рассказывать. И случилось, что он записывал свои истории не в их лучшем варианте. И когда так произошло с одним из рассказов, я не удержался и сказал ему об этом при случае; он забеспокоился и начал допрашивать: что и где он пропустил? Но пересказывать Па-

устовскому рассказы Паустовского было бы нахальством, и я предпочел отшутиться.

Каждый пишущий знает, что от многократного переписывания с целью отделки и шлифовки написанное иногда ухудшается, а введенная новая подробность возвращает рассказу свежесть и тот характер импровизации, который начало начал всякого творчества. Сам Константин Георгиевич в косвенной форме защищал свое право на украшение были былищами. Вспоминая в «Золотой розе» о Багрицком, он говорит об «удивительных былищах», которые рассказывал о себе поэт и которые «так крепко срослись с его жизнью, что порой невозможно распознать, где истина, а где легенда». И он добавляет: «К тому же я не уверен в том, стоит ли вообще заниматься этим неблагодарным трудом: выдумки Багрицкого были характерной частью его биографии». А вот рассказ Паустовского о Горьком: «Рассказывал Горький великолепно. Подлинный случай тотчас же обростал у него подробностями. При каждом новом рассказывании одного и того же случая подробности разрастались, менялись, становились все интереснее. Его устные рассказы были, по существу, подлинным творчеством».

Он очень любил один рассказ о Марке Твене (и даже ввел его в «Золотую розу»), которого какой-то критик уличил во лжи. «Как вы можете судить, соврал я или нет,— будто бы заявил расвирепевший Марк Твен,— если вы сами не умеете даже бездарно соврать и не имеете никакого представления, как это делается...» Что же касается себя самого, то Паустовский прекрасно знал, «как это делается».

Мастерская писателя — это не только его рукописи: черновики с пометками и вклейками, мелко исписанные листки со вставками на полях или многократно перечеркнутые, как у Бальзака, корректуры,— это так же, как это было у Константина Георгиевича,— вот, эти самые предваряющие работу над текстом устные рассказы, в которых тоже были свои исправления, купюры, добавления и варианты, если рассказ повторялся, а он почти всегда повторялся, пока не был записан. А этим рассказам предшествовал какой-то особый взгляд Константина Георгиевича на занявшего его внимание человека, угадка главного, чутье на необычное в нем, на его странности или даже на возможность странности и необычности. И, отталкиваясь от этого, начинало работать его преобразующее воображение.

Наверно, бывали тут и просчеты. Иногда Константин Георгиевич несколько торопился и, прельщенный странной чертой, уже видел человека только через нее и, как мне казалось,

был невнимателен ко всему другому в нем. Но это были, так сказать, издержки «метода», а не его обязательные свойства.

Художники работают по-разному. С. Бонди, величайший знаток творческого процесса Пушкина, пишет в своей замечательной книге «Черновики Пушкина», что у Пушкина сочинение все было связано с писанием, с бумагой, то есть он сочинял преимущественно с пером в руке. Он пришел к этому заключению после анализа сотен автографов поэта. Отсюда такое большое количество помарок. «Письменным человеком» был и Пастернак. Я сам слышал от него, что он почти всегда сочиняет записывая. Маяковский, по его признанию в книге «Как делать стихи», и Мандельштам сочиняли в голове, при ходьбе и записывали уже почти готовое, а Мандельштам даже часто и не сам записывал, а диктовал. Если судить по стихам Марины Цветаевой о ее рабочем столе, она тоже была «письменным человеком». Из этих наблюдений и изучений можно сделать разные выводы, но ясно, что это не могут быть выводы о преимуществе одного метода над другим. Но все-таки, вероятно, какая-то психологическая закономерность здесь есть. Какая же? Узнать это важнее, чем сосчитать все шипящие у Пушкина или синтаксические фигуры у Пастернака: тут мы вплотную подошли бы к личности поэта.

Константин Георгиевич много писал о литературном творчестве, опираясь как на свой собственный опыт, так и на мемуары и дневники великих художников. Но, возможно, нам, знавшим Паустовского, как говорится, «со стороны», удастся добавить к этому еще что-то из своих наблюдений. Конечно, мои выводы только предположительны, это всего лишь одна из рабочих гипотез, но разве не все любопытно и ценно, когда идет речь о таком писателе, как Паустовский?

Стараюсь припомнить и не могу, говорил ли я с ним когда-нибудь о Диккенсе. Но чем больше думаю о Константине Георгиевиче, тем больше вижу близкого и даже родственного в отношении к людям Диккенса и Паустовского. Конечно, есть и огромная разница. Паустовский писал после Чехова и Бунина, и их сдержанная, лишенная риторики литературная манера, мастерство точного пейзажа, лаконизм деталей были им великолепно усвоены и развиты, но человеческий портрет у него идет от Диккенса: выделение главной черты, как бы поглощающей характеристику в целом, преувеличение, романтическое, или почти на грани эксцентризма и анекдота, а иногда и за этой гранью.

Существует простой и великий закон искусства — нельзя о

скуке писать скучно. Пейзажист, чтобы написать на полотне самую темную и непроглядную ночь, должен в изображении этой ночи найти какой-то источник света. Диккенсовские ханжи, педанты, лицемеры и скупцы по-своему привлекательны. Они всегда странные люди, чудаки. Все заурядное и серое у Диккенса становится сверхзаурядным и сверхсерым. Все обычное превращается в необычное. Даже злодей Фейгин в «Оливере Твисте» таит в себе огромные ресурсы обаяния. Это отлично выявило недавно кино в популярном английском мюзикле.

Как и Диккенс, Паустовский характерность, особенность человека или явления доводил до степени анекдотического. Напрасно критики боятся слова «анекдот», имеющего у нас хождение как нечто заведомо отрицательное. Они забывают, что Пушкин высоко ценил анекдоты, собирал их и записывал. Непохуже, что он их рассматривал как полуфабрикат, как материал, заготовленный для литературной обработки. Наоборот, есть все основания считать, что Пушкин ценил анекдот как *жанр*, как род микроновеллы или, как бы сказали теперь, как мини-сюжет. Но собранные Пушкиным анекдоты почтительно печатаются в собраниях его сочинений, а в критике термином «анекдот» бранятся. Разумеется, анекдот может быть хорошим или плохим, но и трагедия тоже может быть скверной, и почтенный толстенный роман, случается, оказывается глупым. Кстати, плохие анекдоты встречаются реже, чем плохие романы, — вероятно, потому, что на маленьком сюжетном пространстве анекдота все открыто и обнажено. (Можно разбавить водой пол-литра водки, но разбавить рюмку в тридцать граммов труднее: сразу будет заметно.)

Паустовский был мастером характерного анекдота. Пресной описательности он предпочитал выразительный анекдот. Анекдотическое как выражение характернейшего — постоянный прием Паустовского в человеческих портретах его прозы, в том числе и в «Повести о жизни», где большинство героев имеет реальных прототипов. Как и Диккенс, он знал, что литература не адекватна жизни, что о скуке надо писать занимательно, что отъявленные мерзавцы должны быть в чем-то привлекательны, а праведники и святые забавны. Это достигается не искажением, а их волшебным преувеличением: мухи не превращаются в слонов, но маленькие мушки становятся огромными мухами с крыльями, в которых переливается спектром радуга.

У нас чаще всего пишут о Паустовском как об изобразителе русской природы. Бесспорно, его мастерство как пейзажиста

великолепно, но все же в искусстве главное — человек. И одни-ми, самыми первоклассными, описаниями закатов и летних ливней было бы невозможно увлечь за собой такую огромную армию читателей. Вот почему стоит задуматься над секретом привлекательности героев писателя.

Может возникнуть еще один, правда, второстепенный, вопрос: почему Паустовский, написавший этюды об Оскаре Уайльде, Редьярде Киплинге, Эдгаре Аллане По, Гансе Андерсене и других, прошел мимо такого явно близкого себе художника, как Диккенс? Вероятнее всего — именно по причине этой близости. Мейерхольд говорил: «В искусстве важнее догадываться, чем знать». И Эдгар По, и Редьярд Киплинг, и Оскар Уайльд привлекали загадочностью и далекостью своих миров, а в Диккенсе он все «знал»: знал потому, что сам на него походил. А может быть, я сейчас занимаюсь «мелкой философией на глубоких местах» и все объясняется гораздо проще, а именно — случайностью литературных заказов. Печатались книги этих писателей, и к нему позвонили и попросили написать предисловия. Действительно, все его этюды о западных писателях возникли как «предисловия». А о Диккенсе не попросили. Это, конечно, очень жаль, потому что было бы интересно, что написал бы Константин Георгиевич о Диккенсе.

Я позволю себе привести одно из писем Константина Георгиевича Паустовского не потому, что он в нем высказывает свои мнения о литературе, а потому, что в нем удивительно ярко видно, как, описывая без особых целей то, что его окружает, писатель и здесь остается самим собой — верным своей манере смотреть на жизнь. Я привожу письмо без всяких сокращений, чтобы меня не упрекнули, что я выбрал из него то, что меня в данном случае интересует.

Таруса, 14 сентября 1958 года

Дорогой Александр Константинович, ради бога не сердитесь на меня за мое дикое молчание. Я был очень тронут Вашим письмом (о «Начале неведомого века») и книгами. Но все это совпало с ужасающим обострением астмы, когда я уже не чаял выбраться из болезни и все силы уходили только на то, чтобы успеть окончить свою (четвертую) автобиографическую повесть. Я как будто дал себе зарок и думал только об этом. Но вот, примерно, месяц назад произошло странное событие, которое получило среди всех тарусских друзей наименование «чуда в Тарусе». Ко мне в Тарусу неожиданно приехал авиаконструктор Микулин («Бережков»). Недаром Бек вы-

брал его героем своей книги. Это — удивительное смещение человека очень талантливого, чудака, авантюриста. Микулин узнал откуда-то о моей астме и привез мне только что сконструированный им прибор для дыхания сгущенными ионами воздуха. Почему он, авиаконструктор, занялся этим — так я и не понял. Я перепробовал уже сотни средств и потому, без всякой веры, попробовал и микулинский «ионизатор». И, вот, — через три-четыре дня я начал нормально дышать, ходить, грести на лодке, ловить рыбу на Оке, вообще — жить. Посмотрим, надолго ли это, но пока — хорошо.

На днях окончил четвертую книгу автобиографической повести (одесскую). Как пишет Бабель (кстати, в книге о нем сказано много), я «опасаюсь» за нее...

Сейчас повесть читают, и я сижу и жду своей судьбы.

В Москве летом был всего два дня, — у врачей. Но московские литературные новости привозит сюда мой сосед — Николай Давидович Оттен, небезызвестный Вам «пан Поташинский». Новости тяжкие. До сих пор не могу прийти в себя после рассказа о похоронах Михаила Михайловича.

Здесь Заболоцкий. Грустный, спокойный, слепнувший человек и, конечно, поэт удивительный. Недавно он читал свои новые стихи — по силе, ясности и внутреннему страшному поэтическому напряжению это нечто пушкинское, только горечь не пушкинская, а современная. Слепнет Заболоцкий от страшной болезни — туберкулез дна глазной впадины. Написал несколько шуточных стихов о Тарусе. Мы все ходим и повторяем из них разные строчки...

Хорошо живет в Тарусе
Девочка Маруся.
Одни куры, одни гуси!
Господи Исусе!

Здесь своя небольшая литературная колония — поэт Штейнберг, дочь Марины Цветаевой, приезжал Слуцкий. Вообще, бывает в Тарусе довольно много народа.

На днях Таня едет в Москву. Созвонитесь с ней и приезжайте. Осень хотя и холодная, но чудесная. Она — вся в золоте.

На мокрую осень я, очевидно, уеду на юг, в тепло.

Как Вы? Что нового с пьесами? Где были летом?

Вы сами себе не представляете, конечно, как приятно и хорошо получать в этой глуши новые книги. Спасибо за них и последнюю — Джозефа Конрада.

Пишите, не обращая внимания на мое молчание,— оно ничего не значит, кроме занятости.

Обнимаю Вас. Таня кланяется.

Ваш *К. Паустовский*

...Алянский подарил мне книгу с автографом Блока — «Историю рыцарства».

У нас здесь очень занятая районная газета. На днях в ней был напечатан «Список хулиганов города Тарусы» (хулиганы все пронумерованы). Возник скандал в районном масштабе.

У нас чудный кот-рыболов. Ездит со мной на рыбную ловлю и от восторга катается по лодке. Но самое удивительное, что он копает со мной червей. Это — тоже одна из тарусских сенсаций».

Первое, что следует сказать об этом письме, — то, что Константин Георгиевич описывает Тарусу, как Том Соьер красил забор: сразу хочется туда поехать. Это тоже заметная черта его дарования: писать заманчиво. Кому после его описаний не хотелось побывать в иссушающих жаром песках Кара-Бугаза или в звенящей от комаров Мещорской низине?

В двух с половиной страницах машинописного текста — весь Паустовский. Рассказ о себе и своей работе, лаконичный — в одной фразе — осенний пейзаж и несколько удивительных анекдотов о чудаках.

Авиаконструктор, неизвестно почему изобретающий аппарат для лечения астмы, и «чудо в Тарусе», наивный провинциальный редактор, публикующий пронумерованный список местных хулиганов, и фантастический «кот-рыболов», сам себе копающий червей. Даже грустный рассказ о поэте, добывающемся в своих стихах предельной ясности, в то время как он слепнет физически, тоже сюжетно сконструирован, как микророман большой эмоциональной силы. А разве не могут существовать печальные анекдоты?

На минимальной жилплощади обычного письма, написанного наспех, между делом, и дающего картину будничной жизни в Тарусе, кроме сообщения о личных делах, — четыре первоклассных мини-сюжетов, великолепных анекдотов различной окраски — от психологического рассказа до почти гофмановского гротеска. Можно представить, как это могло быть развернуто писателем до целой главы в очередной книге «Повести о жизни».

Мелькает здесь и силуэт книжника-маньяка, посылающего друзьям в глушь книжные новинки. Есть и легкая шпилька:

как-то я хвастался Константину Георгиевичу, что купил в Ленинграде книгу с автографом Блока, он позавидовал, а теперь наносит ответный удар...

Конечно, возможно заподозрить Константина Георгиевича в некоторых сгущениях рассказываемого. Он тоже обладал волшебным прибором, сгущающим «ионы» жизни. Вряд ли список городских хулиганов нумеровался в порядке степени общественной опасности каждого, скорее всего это было сделано без особого умысла — привычная бюрократическая манера все нумеровать. И небывалый кот-рыболов, ходящий на рытье червей, если и катался по дну лодки, то не от охотничьего восторга, а от предвкушения вкусного угощения. Скучные люди, без воображения, так бы именно и рассказали. Но Паустовский рассказывает об этом иначе, и он трижды прав, потому что в самой простой, будничной жизни есть много удивительного и необыкновенного, надо только уметь это видеть.

Надо уметь видеть...

Возвращаюсь к тому, с чего начал.

Все небылицы и анекдотические преувеличения дружеских шуток над моим пристрастием к книгам — тоже избыточная щедрость преображающего воображения Константина Георгиевича. Конечно, об этом можно было сказать проще и скучнее: «Он любит книги». Но это будет только самой малой частью правды, потому что правда выдумок Паустовского больше и глубже этой заурядной, будничной правды. Ибо моя любовь к книгам была самой страстной и преданной, самой нежной и отчаянной любовью из всех, какие только существуют на свете. С книгами связано все самое лучшее и самое худшее в моей жизни. В общем-то об этом знают все мои друзья, но только один Константин Георгиевич догадался о силе этой страсти. Он выдумывал несуществующие смешные положения, он дополнял и преувеличивал, но только он приблизился к подлинной правде.

А если кто-нибудь скажет, что это анекдот, то я не возражаю.



К. Г. Паустовский и писатель В. Кобликов на рыбной ловле. Начало шестидесятых годов.

Юрий КАЗАКОВ

ПОЕДЕМТЕ В ЛОПШЕНЬГУ

Перечитывая книги Паустовского, вспоминая разговоры с ним, я теперь думаю, что страсть к литературному труду всю жизнь боролась в нем со страстью к путешествиям.

Вот некоторые выписки из одной только его книги «Золотая роза».

«Еще в детстве у меня появилось пристрастие к географическим картам. Я мог сидеть над ними по нескольку часов, как над увлекательной книгой.

Я изучал течения неведомых рек, прихотливые морские побережья, проникал в глубину тайги, где маленькими кружочками были отмечены безыменные фактории, повторял, как стихи, звучные названия — Югорский шар и Гебриды, Гвадаррама и Инвернесс, Онега и Кордильеры.

Постепенно все эти места оживали в моем воображении с такой ясностью, что, кажется, я мог бы написать (и писал очень много! — Ю. К.) вымышленные путевые дневники по разным материкам и странам».

«Я возвращался на пароходе по Припяти из местечка Чернобиль в Киев».

«Однажды я плыл зимой на совершенно пустом теплоходе из Батума в Одессу».

«Старый пароход отвалил от пристани в Вознесенье и вышел в Онежское озеро.

Белая ночь простиралась вокруг. Я впервые видел эту ночь не над Невой и дворцами Ленинграда, а среди северных лесистых пространств и озер.

На востоке низко висела бледная луна. Она не давала света. Волны от парохода бесшумно убегали вдаль, качая куски сосновой коры».

Сознание, что он едет куда-то, всегда потрясало Паустовского. У него есть очерк, который он назвал «Ветер странствий». Без этого ветра ему трудно было бы жить и писать. Почти все счастливые минуты в его жизни связаны с путешествиями.

Когда он ехал, он думал о той минуте, когда наконец сядет за стол, чтобы написать обо всем, что увидел и о чем думал в дороге.

Когда он работал, сидя где-нибудь в деревне или на заброшенной даче, новая дорога уже звала его и не давала покоя.

«Поезд грохотал, гремел, в пару, в дыму. Пылали, догорая, свечи в дребезжащих фонарях. За окнами пролетали по траектории багровые искры. Паровоз ликующе кричал, опьяненный собственным стремительным ходом.

Я был уверен, что поезд мчит меня к счастью. Замысел новой книги уже родился у меня в голове. Я верил в то, что напишу ее».

Он написал потом знаменитую свою книгу «Кара-Бугаз». И — как минута наивысшего счастья:

«Я писал в каюте, иногда вставал, подходил к иллюминатору, смотрел на берега. Тихо пели в железной утробе теплохода могучие машины. Пищали чайки. Писать было легко...

И еще очень помогало работать сознание движения в пространстве, смутное ожидание портовых городов, куда мы должны были заходить, может быть, каких-то неуютительных и коротких встреч.

Теплоход резал стальным форштевнем бледную зимнюю воду, и мне казалось, что он несет меня к неизбежному счастью. Так мне казалось, очевидно, потому, что удавался рассказ».

Таких воспоминаний о счастье дороги в его книгах сотни.

Как-то осенью сидел я в теплом тарусском доме Паустовского. Как всегда, говорили о том, кто из общих знакомых что пишет, куда уехал или откуда вернулся...

— Да, Юра! — оживленно сказал вдруг К. Г. — Я не показывал вам подозрную трубу? Нет?

И торопливо встал, подошел к полке и подал мне потертую подозрную трубу.

— Посмотрите! Замечательная вещь. И знаете, откуда она? С фрегата «Паллада»!

Потом сел опять за стол, стал смотреть за окно.

— А вы знаете, кому из писателей я больше всего завидую? Бунину! И совсем не таланту его. Гениальности, конечно, всегда позавидуешь, но я сейчас не об этом... Вы представьте только, где только он не был! Какие страны видел еще в молодости! Палестина, Иудея, Египет, Стамбул... Что там еще? Да! Индийский океан, Цейлон... Счастливый человек! Знаете что?.. Давайте с вами поедem в следующем году на Север. Как это там у вас? Лопшеньга... Поедемте в Лопшеньгу?

— Татьяна Алексеевна не пустит, — сказал я.

— Не пустит... — согласился он и вздохнул.

С Паустовским познакомился я в Дубултах весной 1957 года... Прошло, значит, с тех пор четырнадцать лет, и та весна, как и любая другая весна, случившаяся раньше или позже, все будет удаляться от нас, пока не споткнется о нашу гробовую крышку. Странно, как подумаешь, соотношение времени истории с личным временем каждого из нас.

Весной же 1967 года сидел я в Париже в гостях у Б. Зайцева, и говорил он мне об И. Бунине. А начал свой рассказ так:

— Познакомился я с Иваном... кха... познакомился я с Иваном Буниным в 1902 году...

Я даже вздрогнул от какого-то страха, — тогда еще Чехов был жив! Восемь лет еще было до смерти Толстого, Горький, Куприн, Бунин были молодыми, едва ли не начинающими писателями, а мой отец еще и не родился! Сколько великих и страшных событий случилось с тех пор во всем мире, какие эпохи миновали, а собственная жизнь, может быть, и не кажетсЯ Б. Зайцеву столь уж долгой. Я даже уверен в этом!

Значит, четырнадцать лет прошло с той весны, как впервые увидел я Паустовского и услышал его голос. Я был влюблен в него тогда. Не любил, а именно влюблен. До того, что помню даже, какое пальто тогда у него было,— ратиновое, с пристежной подкладкой, простеганной ромбиками,— и шапка пыжиковая.

Вообще атмосфера влюбленности и связанного с ней некоторого трепета окружали Паустовского в последние его годы.

В 1963 году, в самый разгар славы Е. Евтушенко, поехал я с ним на Север и могу засвидетельствовать: от поклонников его отбою не было. Но то была качественно другая слава. К Паустовскому же отношение было, как бы это сказать... Да вот пример. Осенью 1960 года собрались мы с Федором Поленовым, внуком художника и директором музея, в гости к Паустовскому. Дошли до ворот, и тут Поленов даже как-то подетски забоялся и дальше идти отказался. Пошел я один.

— Константин Георгиевич,— говорю,— там за воротами еще гость.

— А почему же за воротами?

— Стесняется вас.

По правде говоря, я тоже стеснялся каждый раз, навещая к Паустовскому.

Я не знаю, когда именно заболел Паустовский астмой. Но уже тогда, в Дубултах, болезнь крепко захватывала его, он все переменил комнаты, никак не мог устроиться, чтобы было тепло и солнечно. Иногда в погожие дни он одиноко бродил по песчаным дюнам, фотографировал что-нибудь, поглядывал на белок, выходил к морю, но ненадолго — с моря дул сырой ветер, чуть не до горизонта громоздился ледяной припай, и пахло снегом.

Я не бывал в Дубултах летом и осенью, но весной там прекрасно! Почему-то много солнца, легкий морской воздух, заколоченные дачи, дома отдыха закрыты, кругом безлюдно, да и в Доме творчества обычно человек пятнадцать народу. Ранней весной там хорошо работается. Говорят, Паустовский именно в Дубултах написал чуть ли не всю «Золотую розу».

Но за тот месяц, когда видал я его каждый день, он, по моему, почти не работал — много гулял, читал что-нибудь. Редко бывал он один, чаще был окружен собеседниками, смеялся и говорил, говорил своим слабым, силовым голосом — чаще всего что-нибудь смешное. Любил рассказывать и слушать хорошие анекдоты. Вообще юмор, ирония были присущи ему в высшей степени.

Так он мне и запомнился тогда — сутулый, маленький, в очках, — и всегда возле него три-четыре собеседника.

Очков своих он как-то стеснялся, что ли, не подберу лучшего выражения. Во всяком случае, почти никогда не фотографировался в очках, торопился снять.

Прочитал он тогда мои первые рассказы и своей восторженной оценкой так смутил меня, что я несколько дней стеснялся к нему подходить. Рассказа три он отобрал и написал письмо для передачи Э. Казакевичу.

Любопытная деталь! В письме, в конце, кажется, он писал о весне и что на рассвете слышны с моря крики гусей... Так вот, дело было в начале марта, в море широкой полосой тянулся ледяной припай, и для гусей было еще рано. Но была солнечная весна, закаты долго зеленели над морем, проступала яркая Венера — гуси должны были прилететь. Они тут же и прилетели в воображении Константина Георгиевича.

В следующий раз увидел я его ровно через год, тоже весной. Тогда впервые я попал на Оку, в Поленово. Была середина апреля, по оврагам еще белел снег. Ока стояла высоко, заливала все луга окрест, по лесам шуршали вороха прошлогодних листьев, закаты были широки, зелено-желты, и Ока по вечерам долго и выпукло сияла отраженным светом среди темных берегов.

Не успел я приехать в Поленово, как узнал, что Паустовский в Тарусе, и дня через два собрался к нему.

А в Тарусе было парно, грязно, все бежало, булькало, лилось, Ока лежала внизу мутным необозримым морем, в облаках случались голубые просветы, тогда столбы света падали на окрестные холмы и становился виден прозрачный пар над оголенной черной землей, над перелогам.

Паустовский, нахохлившись, сидел у себя в саду над разлившейся Таруской, и мне даже страшно стало — до того худ он был, бледен, так глубоко завалились у него глаза и такой тоскующий был взгляд куда-то вдаль, за Оку.

— А, Юра! — сипло выговорил он, подавая слабую руку. — Просили чехи у вас рассказов? Я им хвалил вас... Вас пора переводить... Вы сейчас из Москвы, да? Сергея Никитина знаете? Очень талантливый...

Заговорил, будто только вчера мы с ним виделись, но говорил трудно, отрывисто, слабо, дышал так жадно, нервно, часто, что плечи ходуном ходили.

— Астма вот... Душит...

И улыбнулся застенчиво, будто извиняясь, и опять заговорил о литературе, о новых именах, о весне, о Болгарии... Подошла Татьяна Алексеевна, работавшая в саду, погнала нас в дом.

Не знаю точно, когда поселился Константин Георгиевич в Тарусе. Купил он сначала полдома с верандочкой, потом пристроил порядочную бревенчатую комнату, из веранды сделали столовую, а внизу, как бы в полуподвале (как почти у всех тарусян), — кухню и к кухне еще прируб, нечто вроде амбарчика, через который и был вход.

Счищая возле амбарчика грязь с сапог, я успел сказать К. Г., что собираюсь летом на Север, на Белое море, стал рассказывать о поморах. И, едва взойдя в теплую бревенчатую комнату, он тут же полез на полку, достал географический атлас, снял очки и, поднеся атлас близко к глазам, начал отыскивать места, куда я собирался ехать.

— Яреньга... Лопшеньга... — бормотал он. — Какие названия! Юра, возьмите меня! Возьмете? Я вот поправлюсь... Врачи пустят — возьмете?

И с тоской поглядел за окно, на заливные луга, на Оку.

За все время — с той, далекой теперь весны в Дубултах и до рокового июльского дня 1968 года — бывал я у Паустовского и говорил с ним раз двадцать, не больше. Все-таки я стеснялся его всякий раз почти как в начале знакомства, боялся помешать ему, утомить, попасть не вовремя, хоть, наверное, все это я и навывдумывал и К. Г. был бы рад всякому моему приходу... Ведь расспрашивал же он у всех обо мне, где я, что пишу. Да и не может писатель быть все один да один. Одному хорошо работать, но ведь не работаешь же все двадцать четыре часа. Писателю нужны люди, новости, пустяки всякие, мало ли что. Помню, как удивил меня напор Катаева.

— Приходите, приходите! — звал он нас с В. Росляковым. — Утром, днем не зову, днем я работаю, а вечером приходите! Поговорим...

А последние годы мне и видеть-то Паустовского было почти невозможно: то он лежал в больнице с очередным инфарктом, то жил в Ялте или в подмосковном каком-нибудь санатории, то, слышал я, уехал во Францию, в Италию...

Так что мало встреч было у нас с ним, и было бы поэтому

непростительной самоуверенностью с моей стороны говорить, что я хорошо знаю его как человека.

И все-таки хочу отметить, что Паустовский-человек удивительно соответствовал Паустовскому-писателю. Бывают, и не так уж редко, прекрасные писатели и плохие люди... Паустовский же был хороший человек, с ним было хорошо. Он почти не говорил о своих болезнях, а жизнь его, прямо сказать, была мучительной в старости. Большой силой духа надо обладать, чтобы месяцами, а если все сложить, то и годами лежать в больницах и не потерять себя как человека, человеческое в себе не растратить.

Писал он в последние годы много, издавался широко, не только издавался, но и переиздавался, его перечитывали, а это, по словам Льва Толстого, первое дело, когда перечитывают. Я в Москве не мог подписаться на его собрание сочинений, а подписался в Ленинграде, купил очередь у барышника за сто пятьдесят рублей старыми деньгами. А брат моей жены, студент-физик, дежурил всю ночь по очереди с приятелем в Минске, чтобы подписаться на последнее собрание сочинений.

В этом смысле Паустовский был счастлив, конечно,— мало ли даже и очень талантливых писателей заканчивало у нас свою жизнь никем не читаемыми.

Но я почти не слыхал от него, чтобы говорил он о своих книгах, о своей работе, один раз только сказал, что хочет составить книгу из читательских писем с комментариями.

То и дело, бывало, слышишь от него:

— Вы Вознесенского знаете? Хороший он человек? А правда, чудесная поэтесса Ахмадулина? Картины Юры Васильева видали? А как вы относитесь к Конецкому? А Окуджава вам нравится?

Литературу он любил страстно, говорить о ней мог без конца. И никогда не наслаждался, не любил в одиночку — топился всех приобщить к своей любви. «Юра, вы Платонова знаете? — спросит и сразу начинает волноваться от одной только мысли о Платонове. — Нет? Непременно достаньте! Это гениальный писатель! Вот погодите, он у меня в Москве есть, я вам дам, вы приходите. Какой это писатель — лучший советский стилист! Как же это вы не читали?»

Он был смугл, с хорошим лбом с залысинами, уши у него были большие, щеки втянуты от болезни, и от этого отчетливей и тверже скулы, тоньше и больше казался горбатый нос и резче морщины, рассекавшие лицо от крыльев носа.

Происходил он с одной стороны от бабки-турчанки, была в нем польская кровь, была и запорожская. О предках говорил он всегда посмеиваясь, покашливая, но было видно — чувствовать себя сыном Востока и запорожской вольницы ему приятно, не однажды возвращался он к этой теме.

Сидел он чаще всего сутулясь, и от этого казался еще меньше и суше, смуглые руки держал всегда на столе, все что-нибудь трогал, вертел во время разговора, смотрел на стол или в окно. Иногда вдруг поднимет взгляд, сразу захватит тебя целиком своими умными темными глазами и тотчас отвернется.

Смеялся он прелестно, застенчиво, глуховато, возле глаз сразу собирались веера морщинок — это были именно морщинки смеха, глаза блестели, вообще все лицо преображалось — на минуту уходили из него усталость и боль, и я не раз ловил себя на желании рассмешить его, рассказать что-нибудь забавное. Это же стремление подмечал я во всех почти собеседниках Паустовского.

Трудно представить себе более деликатного человека, так сказать, в общечитии. Если болезнь не укладывала его в постель, обязательно выходил в сад навстречу гостю и разговаривал час и два и провожал всегда до ворот. И если гость был не неприятен ему, непременно на прощанье скажет что-нибудь очень ласковое. «Очень я вас люблю!» Или: «А знаете, я о вас все знаю — постоянно у всех спрашиваю!»

Однажды в октябре пробирался я в деревню Марфино, километрах в пятнадцати от Тарусы, по Оке. У меня тогда только что вышла книга в Италии, и, конечно, не утерпел, заехал по дороге к Паустовскому похвастаться. Он был один, видимо, скучал и очень обрадовался. Книжку взял он торопливо, почти схватил, снял, как обычно, очки, близоруко щурясь, стал рассматривать обложку, перелистывать страницы и так радовался, будто это не мои, а его рассказы впервые вышли на итальянском. И во все остальное время, пока я у него сидел, говорил, как красиво в Марфине, и как там работает, и какая вообще чудесная осень, — он все косился, поглядывал на книжку (она лежала на столе), все брал ее и начинал снова перелистывать, разглядывать, вновь и вновь глухо посмеивался, что на обложке помещена была рыночная картинка с лебедями, которых рисовали у нас в то время на обратной стороне клеечки.

...Паустовский был добрый и доверчивый человек. К сожалению, иногда слишком даже добрый и доверчивый. Свое хорошее мнение о каком-нибудь человеке он часто распространял и на писания его. Зато скольким действительно талантливым писателям он помог, сопровождая добрыми словами их первые книги, неустанно повторяя их имена во многих своих интервью, как у нас, так и на Западе.

Я не был учеником Паустовского в прямом смысле этого слова, то есть не занимался у него в семинаре в Литинституте, да и литературно я, по-моему, не близок ему. Но он так часто говорил обо мне с корреспондентами и писателями разных стран, что во многих статьях Паустовского называли моим учителем.

В высшем смысле это правда — он наш общий учитель, и я не знаю писателя, старого или молодого, который не воздал бы ему в сердце своем.

Как я сказал уже, Паустовский был очень доверчив. Жил в Тарусе прекрасный старый врач и замечательный человек Михаил Михайлович Мелентьев. Как-то Паустовский был у него со своими болезнями, и Мелентьев вдруг предложил ему бросить курить.

— Вы знаете, Юра, — с некоторым даже изумлением говорил мне Паустовский, — Мелентьев тайный гипнотизер. Предложил мне бросить курить... Ну, потом заговорились, я и забыл о его словах насчет курения. Выхожу на улицу, по привычке достаю папироску — чувствую, не хочется, противно даже... Так и бросил!

Я потом приставал к Мелентьеву, чтобы и меня загипнотизировал.

— У вас не выйдет! — смеялся Михаил Михайлович. — Я же терапевт! А Константин Георгиевич решил, что я и гипнозом промышляю, уверился в этой мысли и курить бросил...

Я написал как-то о Паустовском, что «...то, что он любит, когда-нибудь будет любимо всеми, как любимы у нас сейчас левитановские, поленовские и прочие места». Написано это было в 1962 году, а через пять лет поехал я в Болгарию, добрался до приморского старого городка Созополя, случилось там что-то много поэтов и прозаиков, уговорили меня заночевать, и вот ночевал я в том же доме, где ночевал Паустовский, сидел в старом дворике, где сидел Паустовский, пил вино, которое понравилось Паустовскому... Глеб Горышин был в Болгарии года за три до меня, и в путевом очерке у него тоже есть мысль, что надо стараться стать таким человеком, который оставляет

после себя прекрасный след, — Горышина в Болгарии тоже пре-
следовала память о Паустовском.

К слову сказать, много человеческой радости принесли Паустовскому заграничные поездки в последние годы жизни. С юности зачитывался он книгами о европейских цивилизациях, и воображение его разыгрывалось до того, что он в изобилии писал заграничные рассказы. И Андерсен ехал по Италии, Григ гулял по лесистым фиордам Норвегии, шли корабли из Марселя в Ливерпуль, парижский мусорщик высеивал золото из пыли... Герои Паустовского жили чуть ли не во всех странах мира, тогда как автор всю жизнь видел эти страны только на картинках. И только в старости удалось Паустовскому увидеть те страны, о которых он когда-то писал. Он совершил поездку на теплоходе вокруг Европы, побывал в Болгарии, в Польше, во Франции, Англии, Италии. Эти поездки, я думаю, укрепили любовь его к Тарусе, к Оке, к родине. Это Паустовский написал, побывав в Италии: «Все красоты Неаполитанского залива не променяю я на ивовый куст, обрызганный росой». Не слишком ли красиво сказано? — подумал я когда-то. А теперь знаю: не слишком! Потому что сам пережил подобное чувство, когда в апреле в Париже вообразил вдруг нашу весну, с громом ручьев по оврагам, с паром, с грязью, с ледоходом и разливом на Оке.

Лето 1961 года было для Паустовского счастливо. Болезнь как-то отступила, редко напоминала о себе, погода стояла все время хорошая, жаркая, и Паустовский махнул рукой на режим, на свое положение больного, начал курить, каждый день ездил на рыбалку, все время был на народе, был постоянно весел и по утрам хорошо работал.

А народу перебивало у него в то лето великое множество: приезжали авторы, привозили стихи, рассказы, то приступала, то откладывалась поездка в Италию, на съезд Европейского сообщества писателей, постоянно приезжали журналисты, всех надо было принять и со всеми поговорить.

В такое время рыбалка становилась просто необходимым отдыхом для Паустовского. Часа в два мы с писателем Борисом Балтером обычно сходились на берегу, вытаскивали из сторожки бакенщика мотор, устанавливали на лодке. Бакенщик Коля тащил бензин. Минут через пять подходил Паустовский. Одышка его мучила. Он пристраивался где-нибудь тут же, стыдливо доставал стеклянную штуку с резиновой грушей

и несколько секунд дышал каким-то составом. Отдышавшись, он подходил к лодке, и начинался разговор о моторе. Бакенщик Коля относился к мотору мистически.

— Это вам, Константин Георгиевич, не что-нибудь! — заикаясь, кричал он. — Это вам мотор, так? Агрегат. Так? Его понимать надо, а не просто дернул, сел и не поехал...

После глубокомысленных разговоров о моторе лезем в лодку. Коля с берега еще раз клянется, что мотор — как часы!

Едем обычно в сторону Егнышевки, Марфина — на тот случай, чтобы легче потом было грести вниз по течению, когда мотор сломается. Паустовский с удочками, в простых штанах, в сандалиях, загорелый — доволен беспредельно. Балтер уступает ему место на руле. Паустовский газует, щурится от ветра. Видит он плохо, и Балтер по временам кричит ему:

— Прямо по носу бакен! Правее! Левее!

Исполнять команды для Константина Георгиевича наслаждение. Лодка казанка идет быстро, ветер теплый, солнце сильно светит, река сверкает, а высоко в небе рассеянно стоят редкие облачка. Прелестная Ока в этих местах, прелестны ее мягкие плесы, мягкие холмы кругом, леса, подходящие к самой воде, сочно-зеленые берега, и бронза сосновых стволов, и беспрестанно открывающиеся новые и новые дали.

Где-нибудь между Велегожем и Егнышевкой мотор обычно глохнет, и мы пристаем к берегу. Балтер, чертыхаясь, возится с мотором, я купаюсь, Паустовский в стороне ловит рыбу. Потом греем вниз. Я на веслах, — весла железные, короткие, неудобные, мотор на корме задран и безмолвен. Паустовский с Балтером загорают. Иногда Паустовский смущенно предлагает:

— Давайте, Юра, я погребу...

У Велегожа мы с Паустовским выходим, идем на пристань ждать попутного катера. Балтер остается с лодкой. Вокруг него уже несколько специалистов ожесточенно обсуждают мотор.

И так почти каждый день.

Мы сошлись однажды втроем — Паустовский, Балтер и я — на площади в Тарусе, чтобы ехать на рыбалку, и только собрались идти на берег, к избушке бакенщика, как нас обогнала серая машина.

— Вон машина Рихтера, — тут же сказал Балтер.

— Да? — Паустовский близоруко прищурился вслед машине и вдруг тихо засмеялся, опустив глаза и покашливая. — А вы знаете, Юра, что Рихтер здесь, у нас. Дом себе строит? Замок! И машину себе специально купил в Америке, чтобы туда ездить...

— Вездеход, — уточнил Балтер.

— А что! — Паустовский оживился необычайно. — А что вы думаете! Туда ведь к нему только на вездеходе и ездить, иначе не проедешь. Вы знаете, ведь он сначала привез рояль в избушку бакенщика, так и жил — рояль и больше ничего...

И опять засмеялся. Было видно, что такая жизнь в сторожке и мысль, что Рихтер решил поселиться и строился тогда на Оке под Тарусой, очень нравились ему.

Места между Тарусой и Алексинем открыты давно. В разное время жили тут Чехов и Пастернак, Заболоцкий и Бальмонт, А. Толстой, играл Игумнов, десятками наезжали художники на этюды, поленовская семья устраивала спектакли в Тарусе. Ираклий Андроников жил, вез вещи из Серпухова на телеге и потерял пушкинскую трость. Хотел пощеголять в Тарусе и чуть с ума не сошел. Потом трость нашли...

Я еще застал вымирающее уже поколение старых интеллигентов, верных Тарусе десятилетиями, верных до гроба, — умерла Цветаева, умерла Надежда Васильевна Крандиевская, умер сын ее, скульптор Файдыш-Крандиевский, умер врач Мелентьев, у которого в доме двадцать лет подряд звучала музыка.

Но если раньше Тарусу знали и любили сотни людей, то Паустовский создал Тарусе всесоюзную славу, и Таруса избрала его своим почетным гражданином.

Своими ушами слышал я, как в автобусе, который встряхивало на выбоинах в асфальтовом шоссе, разглагольствовал подвыпивший тарусянин.

— Во! Видал? — говорил он, ваяясь на кого-то после очередного толчка. — Паустовский два миллиона на дорогу пожертвовал, так? Построили шоссе. А теперь? Одни ямы... Еще, значит, два миллиона давай!

Нет, не давал Константин Георгиевич миллионов на дорогу. Но благоустраиваться Таруса стала после статей Паустовского.

Популярность тарусянина Паустовского была велика. К нему в гости пытались водить даже экскурсии. Владимир Кобилов, калужский писатель, рассказывал, что выходит будто бы

однажды Константин Георгиевич из бани, идет себе потихоньку с чемоданчиком, вдруг обращаются к нему приезжие люди, по виду не особенно образованные, и спрашивают: «Скажите, а где тут могила Паустовского?» И что будто бы страшно понравился Константину Георгиевичу этот вопрос и он потом любил рассказывать об этом случае.

Могила Паустовского теперь действительно в Тарусе. Над рекой Таруской. Недалеко от Ильинского омута.



К. Г. Паустовский в начале шестидесятых годов.

Михаил ШЕВЧЕНКО

В ДОМЕ ГЕРЦЕНА

Я опаздывал на занятия. Свернув с бульвара в институтский двор, я бежал по смерзшейся листве сквера, когда меня почти у двери института остановил высокий человек с большими грустными глазами и глубокими морщинами на лице. Кончался ноябрь, а на мужчине было демисезонное пальто, поднятый воротник не защищал от холода, и он зябко поводил плечами.

Я остановился, уже пробежав мимо этого человека, а он поднял руку к груди и глухо сказал:

— Простите. Закурить не найдется?..

— Нет,— выдохнул я,— только что выкурил последний «гвоздик».

— Жалко,— сказал он еще глуше, слегка поклонился и медленно пошел вдоль ограды сквера.

В аудитории, на лекции, я какое-то время возвращался мысленно к остановившему меня человеку; видел его словно присыпанные пеплом глаза, в глубине которых бился угасающий блеск. Он был смущен, когда попросил закурить, и еще больше смутился, услышав мой ответ. И вдруг я вспомнил, что раньше раз или два видел его в нашем же сквере, во дворе Литературного института.

Но вскоре об этой встрече я уже не думал.

Тогда я был первокурсником. Меня, двадцатилетнего провинциала, обступило столько нового и значительного, что я не успевал все осмысливать и запоминать.

Мне не повезло с творческим семинаром. Руководители семинара поэзии, в который я был зачислен, то и дело менялись; иногда семинар подолгу вообще оставался без руководителя.

Но нет худа без добра. Я свободно мог посещать занятия других семинаров. Это было очень интересно.

Особенно мне запомнился семинар Константина Георгиевича Паустовского.

Его участники были вчерашние фронтовики. От них было что услышать, было что почерпнуть. Но главное, что привлекало к семинару,— и не одного меня! — это, конечно, его руководитель.

Нешумные книги Паустовского я любил с мальчишеских лет.

Оглядываясь на детство, на большой строй тогда уже прочитанных книг, вспоминаю непритязательные его «Летние дни». Волшебная эта книжка всегда вызывает у меня в памяти любимую речку Черную Калитву, сенокосную пору на ней, укромные закутки в высоких, вечно шепчущихся камышах, где ты затаился с самодельной камышовой удочкой...

В дни фашистской оккупации, зимой 1942 года, мы, тринадцатилетние мальчишки, узнали, что немцы сжигают книги нашей школьной библиотеки. Не думая о том, что рискуем жизнью, мы спасали их. До сих пор у меня на полке стоят старенькие томики сказок Андерсена и братьев Grimm, первого издания — со штыком на обложке — «Как закалялась сталь» Островского, «Дикой собаки Динго» Фраермана, «Тома Сойера» Твена, шолоховского «Тихого Дона», катаевского «Паруса»...

И рядом с ними сборник «Летние дни» Паустовского.

Не раз я порывался отослать Константину Георгиевичу эту

спасенную от фашистов книжку, да так и не решился. И, наверное, напрасно. Это бы доставило ему радость. А радость никогда не бывает лишней...

Сама фамилия писателя неизъяснимо волновала меня. Стоило наедине с собой произнести: «Паус-тов-ский» — сейчас же шла рифма «авгус-тов-ский», и перед глазами эта светлая и немного грустная пора лета в родном моем воронежском краю...

Как-то я попал на обсуждение рассказов одного молодого литератора. Обсуждали горячо, оперируя крайностями. Рассказы студента побивали шедеврами классиков.

Константин Георгиевич сидел за столом нахохлившись, будто ему было холодно. Высокий лоб. Нос с горбинкой. Смуглое лицо, — летние каникулы он наверняка прожил на какой-нибудь реке.

Глядел он как-то так, будто одновременно вглядывался и в говорящего студента, и в самого себя. Сидел спокойный и незаметный среди громкоголосой и горячей молодежи. Может быть, думал: «Ну-ну, пошумите, пошумите... После сами посмотрите, что останется от шума-то...»

Потом Константин Георгиевич закурил, встал и подошел к окну.

Прислонясь к стене, поглядывал в окно и по-прежнему вслушивался в аудиторию и в самого себя, давая полную свободу высказываниям...

Кто-то отметил у обсуждаемого автора стремление к злобе дня в ущерб художественной убедительности.

— Так я же хочу помочь людям сегодня... И порой спешишь, — оправдывался автор.

— Ты хочешь легко добыть лавры, — беспощадно рубил критик. — А настоящие, большие писатели не думают об этом! Ни о деньгах, ни о лаврах!..

— Нет, — вступил в спор третий, — писатель должен вмешиваться в живую жизнь. А слава — это уже само собой разумеющееся... Возьмите художников прошлого...

Константин Георгиевич неожиданно поднял руку и, извинившись перед ораторами, остановил дискуссию. Аудитория приутихла. Стало слышно его тяжелое дыхание, он уже тогда страдал астмой. И в тишине он сказал торопливо, но чуть громче обычного:

— Вот вы сейчас говорите о славе, о художниках прошлого... А вы хотите видеть... — Константин Георгиевич сделал паузу.

зу, и я заметил его волнение,— хотите видеть настоящего художника?..

Голос Паустовского вдруг поднялся, интонация вопроса сменилась интонацией утверждения.

— Вы хотите видеть настоящего художника — вон он идет по сквере,— Константин Георгиевич резко, как будто бросая вызов, указал рукой на окно.

Все выскочили из-за столов и подступились к окнам. Я сидел на «камчатке», как раз у окна, приподнялся и увидел — по двору шел он.

Тот человек, который месяца два назад остановил меня в сквере, в том же пальто, так же с поднятым воротником, не защищающим от холода...

— Это Андрей Платонов... Он живет здесь во дворе... Очень болен...

Платонов прошел мимо окон. А Паустовский со студенческой горячностью говорил и говорил о нем.

Что говорил?.. Откройте его «Книгу скитаний». Там почти слово в слово все сказанное тогда.

«...Когда мне впервые попал в руки один из рассказов Платонова и я прочел фразу: «Тихо было в уездной России» — у меня сжалось горло,— так это было хорошо...

У Платонова есть маленький рассказ «Июльская гроза». Ничего более ясного, классического и побеждающего своей прелестью я, пожалуй, не знаю в современной нашей литературе. Только человек, для которого Россия была его вторым существом, как изученный до последнего гвоздя отчий дом, мог написать о ней с такой горечью и сердечностью»)

Неоспорима истина, талант и его нравственное здоровье принадлежат прежде всего своему времени. И надо быть большим человеком, чтобы высоко оценить своего современника. Пусть даже, может быть, преувеличив его значение,— это случается так редко в жизни подвижников литературы.

Отношение Паустовского к Платонову было сродни чувствам тех современников Некрасова, которые ставили его, Некрасова, наравне с гениальным Пушкиным и даже выше его.

Не спешите осудить эти чувства, если не согласны с ними. Гораздо полезней попытаться понять, откуда они в современнике, эти чувства...

И все-таки слова Паустовского тогда прозвучали неожиданно. Он говорил о большом художнике, который жил

во дворе Дома Герцена, рядом, совсем рядом с нами. А мы о нем еще не знали...

Я видел недоумение на лицах студентов и сам недоумевал. В наивном представлении крупный художник выглядел иначе, чем только что прошедший перед нами человек.

После занятий я пошел в институтскую библиотеку. Там нашлась книга Платонова «Река Потудань». Она была издана еще до войны.

Я прочитал книгу. Понравилась. Особенно близок был язык — язык воронежских степняков.

Но все-таки тогда я не понял ее так, как надо бы понять.

Подлинное открытие Платонова пришло гораздо позже. Вместе с глубинным пониманием и самого Паустовского. Позже я понял и то, как хотел Константин Георгиевич, чтобы молодые литераторы читали платоновские книги.

С благодарностью думаешь теперь о способности Паустовского видеть в жизни истинное, подлинное, порой даже вопреки уже устоявшемуся мнению. Он всячески поддерживал эту способность и в своих учениках. Он учил их совестливости и верности своему дару. И не случайно многие из них, делавшие тогда первые шаги в литературе, стали настоящими писателями.

У меня на книжной полке стоит последнее прижизненное издание избранной прозы Паустовского. Говоря об особенностях этого однотомника, Константин Георгиевич в своем предисловии к нему выделил — за их внутреннюю свободу — рассказы последних лет. Он назвал их признанием в любви нашей природе и всей России.

В однотомник входит рассказ «Воронежское лето». Видимо, он дорог был Константину Георгиевичу как добрая память о пребывании на Воронежщине.

Чуткий к мудрой простоте среднерусской природы, он глубоко почувствовал поэзию донской степи. Поэзией Придонья полны его произведения той поры. Строки о степи живут и вспоминаются, как стихи...

Вспоминаются высокое степное небо, громады облаков, их тень, которая проплывает по степи «так медленно, что можно долго идти в этой тени, не отставая от нее и не прячась от палящего солнца...».

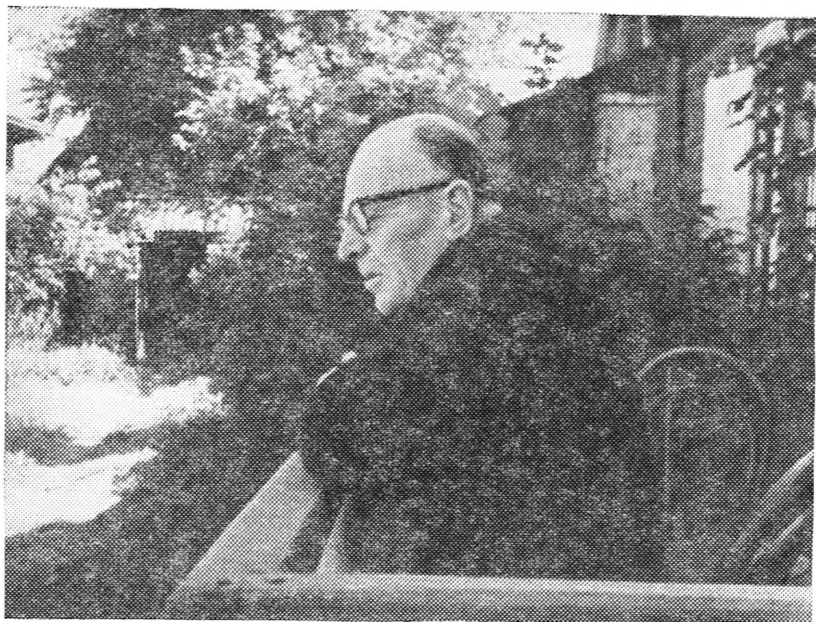
...Родная воронежская степь, низкий сыновний поклон тебе! И ты питала вдохновение прекрасного художника и в ча-

сы труда стояла пред ним в застенчивой невысказанности своей. И ты — тенью добрых облаков своих — освежала его силы в скитаниях по любимой земле!..

Недавно я попал на Тверской. Зашел во двор Литинститута, остановился в тени у ворот. Стоял и вспоминал студенческую юность. И казалось, вот-вот войдет во двор, сухо покашливая, Паустовский, — он приехал на семинар. Я уже увидел его. А вот и Андрей Платонович!..

И вдруг горечь сжала сердце. Как же это вышло!.. Я *тогда* не мог даже дать закурить ему... Закурить...

И я полез в карман плаща за сигаретами.



Последний приезд в Солотчу. 1966 г.

М. ШАГИНЯН

Из выступления по радио 30 мая 1967 года

Дорогой друг, Константин Георгиевич! В этот знаменательный для Вас день каждый из любящих Вас читателей хочет Вам сказать о Вашем творчестве, сказать самое главное о нем или по крайней мере то, что ему кажется самым главным. Мне кажется, книга живет для людей, если в книгу вложена жизнь. И вот, раскрывая Ваши книги, я всегда чувствую, будто не страницы раскрывала, а распахнула окно и между мною и внешним миром сразу сняли стеклянную перегородку. Я вышла на воздух, начала дышать чистым, свежим кислородом, начала видеть, слышать живых людей непосредственно. Но я знаю, что такая непосредственность, вхожесть в мир через книгу — вещь редчайшая в литературе, она дается огромным искусством писателя, искусст-

вом так уметь передать свое личное восприятие жизни другого человека, чтобы этот другой человек получил со страниц книги не уже готовое, обобщенное описание собственных, авторских чувств и переживаний, а только сумму тех тонких, почти неуловимых, но скрупулезно точно схваченных примет — звука, формы, цвета, примет, какие легли в основу впечатления, полученного автором, тем самым вызвали непосредственное восприятие у читателя. Вот такое искусство требует от творца огромного самоограничения, огромной личной сдержанности. И я не знаю в нашей литературе другого художника, кто был бы богаче и щедрее для других и скупее для самого себя, нежели Вы, дорогой Константин Георгиевич. Может быть, поэтому Вас так ценят люди искусства не только у нас, но и далеко за рубежами нашей страны.

Ну, хочется привести хотя бы один пример из тысячи теснящихся в моей памяти.

Но приводить примеры из Вашей прозы так же трудно, как брать цитаты из подлинного поэта. В Вашей прозе — все пример. Я раскрываю наугад первую книгу Вашей «Повести о жизни». Мне попалась поездка в Полесье и похороны мальчика-поводыря, задушенного волкодавом помещика Любомирского. Волкодавом, выпущенным на старого нищего слепца. Сперва у Вас две-три строчки сжатого описания Полесья. И я уже дышу болотами, уже вижу своими глазами, как на дороге «трава стояла, по обочинам в воде» и в этой воде «тлел, не потухая, слабый закат». Я, лишенная слуха, уже слышу, как «тучи комаров зудели в вышине», как, «равномерно посвистывая тяжелыми крыльями, пролетели дикие утки», как потом, при подъезде к дому, «сразу закричали сотни лягушек и телега загрохотала по бревенчатой гати».

Невыносимая по своей жестокости смерть мальчика-поводыря рассказана Вами удивительно скупой, без единой авторской реплики. Вы описываете его почти иконописно, сухой краской. Так же скупы даны и странные могилевские деды, старшие в общине слепцов, — мастера так называемые, пришедшие на похороны «в одинаковых коричневых свитках, с бле-

стящими от старости посохами в руках». Но вот становится не по себе. По спине бежит холодок, когда читаешь: «нищие смотрели вверх, на царские врата, там был образ седобородого бога Саваофа, он страшно походил на этих нищих. У него были такие же впалые, грозные глаза на сухом темном лице. У могилы один из слепцов, щупая палкой землю, поклонился гробу, потом выпрямился и, глядя перед собой белыми глазами, заговорил нараспев». Дальше Вы даете песню-сказание об этом убиенном хлопчике. Эту песню нельзя сейчас передать как цитату. Ее надо прочесть, прочесть самому. И когда я ее перечитываю, хотя бы в десятый, двадцатый раз, на этом месте у меня всегда неудержимо катятся слезы.

В этом сухом, скупом, похожем на темную строгость древней иконописи рассказе Вы ни разу не пишете о себе и своих собственных слезах, хотя читателю дали пережить на трех страничках целую гамму чувств, дали увидеть и почувствовать пронзительное ощущение природы Полесья, жуткий, мистический холодок от слепых майстров, неудержимую разрядку слезами. А за простым и строгим рассказом встает у Вас безбрежное народное горе, вся древняя Русь, вся обездоленность старой царской деревни. И поднимается зарево народной мести над подожженной усадьбой помещика Любомирского.

Большой художник, давший народу пережить так много прекрасного и глубокого, исторгший у нас, читателей, чистые освежающие слезы, какую еще благодарность можете Вы хотеть, больше вот этой самой великой — любви своего народа?

В день Вашего семидесятилетия горячей волной от миллиона сердец притекает к Вам, родной Константин Георгиевич, со всех концов нашей необъятной страны великая любовь народа, который Вы научили, по Вашим собственным словам, «бессмертному очарованию жизни».



К. Г. Паустовский в Тарусе. Начало шестидесятых годов.

Б. АКСЕНОВ

ВСТРЕЧИ С ПАУСТОВСКИМ

Паустовского как писателя я знал давно, еще по первым его произведениям, которые очень любил. Когда услышал, что он приезжает в Тарусу, обрадовался. Захотелось познакомиться с ним ближе, узнать его не только как писателя — как человека.

Случай представился, и я стал встречаться с Паустовским.

Короткими зарисовками этих встреч с Константином Георгиевичем я и хочу поделиться.

Знакомство

Летом 1955 года Константин Георгиевич Паустовский купил поддомика в Тарусе, на берегу живописной речки.

Большинство тарусян к этому событию отнеслось радушно, со всем гостеприимством. «Ну что ж,— говорили они.— Таруса писателей и журналистов любит и привечает. Места хватит. Добро пожаловать!»

Парамоныч, бывший учитель, пенсионер, завзятый рыболов и книголюб, держал меня за пуговицу пиджака и убеждал:

— Вы только поймите, кто к нам приезжает! Па-ус-тов-ский Константин Георгиевич! Это не только большой писатель, а и большой человек Он, несомненно, много сделает для Тарусы хорошего.

Между прочим, эти его слова оказались до какой-то степени пророческими. После статьи Паустовского в газете «Правда» — «Письмо из Тарусы» — город распростился с движком-пыхтелкой, который давал свет по мере сил и возможности, появились электроэнергия от высоковольтной линии, водопровод и была асфальтирована дорога Таруса — Серпухов.

Зная, что Паустовский частенько появляется на берегу Таруски, иногда даже с удочкой, я четыре дня, в разное время, «стерег» его, рассчитывая на встречу.

Не повезло, не вышло.

Наконец, на мое счастье, повод для знакомства нашелся. Руководители города попросили меня организовать встречу Паустовского с населением. Обрадованный, я обдумал несколько вариантов предстоящего разговора и пошел.

На веранде меня любезно встретила красивая моложавая женщина. Она держалась с большим достоинством, но просто. Я догадался, что это жена Паустовского. Познакомились. Узнав, что я хочу видеть Константина Георгиевича, Татьяна Алексеевна несколько секунд внимательно, изучающе смотрела на меня. Видимо, я внушил ей доверие. Она подошла к двери, ведущей в комнаты, и позвала:

— Костя, к тебе пришли.

Вышел человек среднего роста, слегка сутулый, но, как говорят, крепко сбитый. Одет скромно. В очках. Весь какой-то очень простой. Уютный какой-то.

Внимательный, пристальный взгляд слегка прищуренных глаз, приветливая улыбка, теплое рукопожатие — и мы знакомы.

Пригласил в кабинет. Маленькая комната с окном в сад. Письменный стол, несколько стульев, этажерка с книгами, пишущая машинка. Присели. Паустовский, улыбаясь с лукавинкой, внимательно смотрит на меня и, как человек тактичный, терпеливо ждет, когда я заговорю. Я тоже улыбаюсь, смотрю на него и думаю: «С чего начать?» Все подготовленные слова вылетели из головы начисто.

Константин Георгиевич, видимо, понял мое состояние. Спросил, курю ли я, и предложил папиросы. Пока закуривали,

я взглянул на его профиль и почему-то вспомнил, что его бабушка или прабабушка была турчанка.

Наконец я пришел в себя и сказал:

— Позвольте прямо к делу. Я к вам от имени руководства города и жителей Тарусы. Не найдете ли вы возможным выступить перед населением города в Доме культуры?

Паустовский охотно согласился, но просил недели две повременить, сославшись на занятость и на необходимость какой-то поездки. У меня отлегло от сердца: дело сделано!

Я поблагодарил, просил день встречи назначить, когда ему будет удобно, и, осмелев, в шутку сказал:

— Уверен, что вы теперь в Тарусе будете бывать часто: теперь вы уже настоящий тарусянин.

— Это каким же образом? — улыбаясь, спросил Паустовский.

— Вот в Астрахани, — продолжал я, — так говорят: кто съел голову жареного сазана, тот уже настоящий астраханец, и надолго. А о Тарусе тоже можно сказать: кто хоть раз увидел ее красоты, тот уже настоящий тарусянин, и тоже надолго.

Константин Георгиевич несколько удивленно посмотрел на меня и сказал:

— Да, да, это очень верно! — Подумав, добавил: — Хорошо сказано.

Дальше разговор зашел о нуждах города и перспективах его благоустройства.

— Такая жемчужина, как Таруса, требует и хорошей оправы. Обаятельная она.

Несколько подумав, Константин Георгиевич стал рассказывать о первых своих впечатлениях, о первом своем знакомстве с Тарусой. Говорил он очень увлекательно, не спеша, тихим голосом с довольно сильной хрипотцой. Как он говорил — передать трудно. Я не берусь. Я только слушал. Слушал и думал: так уметь видеть и чувствовать красоту — большое счастье.

Да, он умел находить большое в малом и значительное в незаметном.

Константин Георгиевич немного помолчал, улыбнулся какой-то своей мысли, посмотрел в окно, закурил новую папиросу и, сделав несколько затяжек, спросил меня:

— А вы, простите за любопытство, коренной тарусянин?

— Нет, я коренной москвич, а в Тарусу попал по рекомендации врачей. У меня сердце большое. Кроме того, как, вероятно, и вы, приехал на разведку и влюбился в здешние красоты. Еще Ока соблазнила. Я ведь из великого племени рыболовов.

— Вот как! Стало быть, у нас с вами две общие склонности — к больному сердцу и к рыбной ловле, — пошутил Паустовский, и начался рыбацкий разговор.

Я почувствовал себя «на коне». Мы, так сказать, говорили на равных.

Рассказы о Гайдаре

Зал Дома культуры был переполнен. Паустовского встретили тепло, радушно.

Хоть и пригласили Константина Георгиевича на сцену, но он держался так, словно сидел за столом у себя в кабинете и разговаривал с гостями. Эта простота все больше и больше располагала к нему.

Говорил он тихо, прерывисто, с сильной хрипотцой, часто покашливая. Когда кашель делался затяжным, он, попросив разрешения, закуривал.

В его манере держаться, в интонациях чувствовался сильный внутренний темперамент, но нездоровье заставляло гасить этот темперамент, сдерживать.

Беседовал он с увлечением, но, если так можно сказать, на тормозах.

Все, что он рассказывал, было интересным.

Разговор шел на разные темы.

Всем хотелось знать, в чем особенности писательского труда, и Константин Георгиевич рассказывал, что писательство не профессия, а призвание, что работа эта требует, помимо способностей и больших знаний, беспрестанных наблюдений и упорнейшего повседневного труда.

Потом заговорил о природе Тарусы, о том, что ее надо беречь. Обратился с призывом к молодежи. Это ее первая обязанность, как и забота о благоустройстве города. Вспомнил Гайдара, этого неутомимого поборника охраны природы.

С любовью и нежностью рисовал Константин Георгиевич перед слушателями портрет любимого Аркадия Петровича, с которым были связаны лучшие годы его жизни. Говорил о манере Гайдара сначала сочинять на память свои рассказы, так как потом продуманное, прочувствованное уже легко записывается на бумагу. Память у него была исключительная. Написанный за ночь рассказ Гайдар утром пересказывал наизусть. Фантазер, романтик, выдумщик, он ценил хорошую шутку и любил, чтобы всем было весело. Воображение его не успокаивалось ни на одну минуту.

Вспомнил Константин Георгиевич один случай.

Аркадий Петрович шел как-то по улицам Москвы и напряженно думал: что-то не задавалось. Вдруг видит — стоит на углу человек с огромной связкой детских воздушных шаров.

Подошел к продавцу Гайдар и купил оптом всю связку. Взял ее в руки и стал потихоньку, один за другим, пускать шары в воздух.

Скоро возле него собрались ребяташки, проходившие мимо, а потом к ним присоединились и взрослые. И так-то приятно! Разноцветные шары ярко парят в воздухе, и это веселое зрелище будто объединило всех присутствующих, словно и взрослые свое детство вспомнили.

Неслышно подошел милиционер. Тоже минуту посмотрел в небо, а потом козырнул и говорит:

— Нарушаете, гражданин, непорядок, толпа собралась.

— Какой же это непорядок? — возразил Гайдар. — Это же прелесть, весело!

— А я говорю — непорядок, нарушаете, — повторил милиционер.

Тут за Гайдара вступились зрители, а милиционер предложил ему пройти в отделение.

Идут молча. У Гайдара еще несколько шаров на палке, и ему смешно, что прохожие принимают его за продавца.

— Кто вы такой? — спросил наконец милиционер.

— Я волшебник, — нарочито серьезно ответил Гайдар.

— Шутите, — обиделся милиционер. — Нехорошо. Я серьезно, по долгу службы, спрашиваю, а вы?!

— И я серьезно. Вот я, например, могу сказать, что нас ждет в отделении.

— Ну? — поинтересовался милиционер.

— Войдем мы в дверь, а дежурный сидит, пишет и рукой за щеку держится, зубы у него болят. Поднимет он голову от бумаг, посмотрит на вас недовольно и спросит: «Ну, что у тебя, Охрименко?»

— И можете себе представить, — смеясь, сказал Паустовский, — вошли они в дверь с надписью «Дежурный», и действительно за столом сидит дежурный и рукой за щеку держится. Поднял голову и спросил: «Ну, что у тебя, Охрименко?»

Охрименко опешил, даже забыл ответить на вопрос, а дежурный, увидев писателя, встал ему навстречу:

— Здравствуйте, товарищ Гайдар! Здравствуйте, Аркадий Петрович! Что случилось?

Охрименко повеселел. Имя-то знакомое, да, видать, и любимое.

Гайдар со свойственной ему веселостью рассказал, что и как произошло, и, обращаясь к милиционеру, добавил:

— Когда я пускал шары, один из мальчишей (Гайдар вместо «мальчик» говорил «мальчиш») сказал другому: «Вон постовой товарищ Охрименко идет». Вот так я и узнал вашу фамилию. А о дежурстве и зубной боли я знал еще вчера от самого лейтенанта. Мы с ним давнишние знакомые, соседи по дому.

Узнав, что у Охрименко есть шестилетний сынишка, Гайдар, прощаясь, просил передать ему в подарок оставшиеся шары и весело сказал:

— Пусть пускает. Ему это как раз, а я забыл, что мне не шесть и даже не десять и шары для меня дело неподходящее, сплошной «непорядок».

Стихи Бунина

После знакомства с тарусянами Паустовский уехал за границу. Увиделся я с ним только через год-полтора.

Встретились на берегу Оки. Писатель возвращался с рыбной ловли. Я пошел проводить его. По дороге нас пригласил к себе один общий знакомый. Соблазнил последними стихами Бунина. Стихи были о горячей любви простой девушки.

Константин Георгиевич слушал стихи с большим вниманием. Потом долго молчал, а затем восторженно воскликнул:

— Молодец старик! — и вдруг весь как-то сник, ушел в себя.

Хозяин дома поинтересовался поездкой за границу. Константин Георгиевич неохотно ответил, что поездка была обычной, что, вопреки опасениям врачей, чувствовал он себя дорогой хорошо и что никаких особых приключений не было. Разговор явно не получался. Наконец Паустовский сослался на кошку, которая с нетерпением ждет рыбы, и мы ушли.

Долго шли молча. Я понимал, что стихи Бунина глубоко тронули писателя, а может быть, даже пробудили в нем самом какие-то грустные воспоминания.

Дойдя до слияния Таруски с Окой, Константин Георгиевич остановился, несколько секунд глядел вдаль, грустно улыбнулся, глубоко вздохнул и сказал:

— Давайте посидим немного. Подышим. Здесь хорошо.

Закурили. Паустовский продолжал о чем-то думать. Лицо его становилось все напряженнее, глубокая складка обознача-

лась между бровями. Желая вывести его из этого задумчивого состояния, я сказал:

— А ведь это моя любимая скамейка. Вот уже много лет почти каждый день, а иногда и не один раз в день я люблюсь отсюда заокскими далями, и всякий раз они не те, что были вчера. Всякий раз они новые.

— Величие природы в том и состоит,— ответил Паустовский,— что ее вечная красота непрерывно обновляется. Чья это мысль, не помню, но мысль верная.

Подумав, он продолжал:

— Существует мнение, что по картинам художника, по работам скульптора, поэта, писателя можно определить его характер и даже внешность. Частично это, может быть, и так. А вот попробуйте этот метод применить к Бунину. Не получится. Только что мы слышали его стихи. Сколько в них темперамента, страсти, молодости. Разве можно поверить, что их писал глубокий старик, больной, желчный, с невыносимым характером? Злющий старик. Так любить жизнь в его годы и с его плохим здоровьем редко кому дано.

Долго сидели молча и смотрели, как вечерний туман смыкает краски с дальних берегов. С реки пахло свежестью. Константин Георгиевич встал, расправил плечи и сказал:

— А воздух, воздух-то какой! Как говорят южане, на всю жизнь надышаться можно.— Собирая свои рыболовные принадлежности, добавил:— Я теперь долго буду в Тарусе. Непременно заходите.

— Спасибо, но неловко отрывать вас от работы. Вы же всегда заняты.

— А вы заходите, вот я и отдохну немножко.

Я поблагодарил и обещал непременно зайти.

Автограф

Я застал Паустовского в саду. Он любовался флоксами.

— Очень хорошо, что вы зашли! Во-первых, рад вас видеть, во-вторых, вместе полюбуемся цветами, и, в-третьих, я давно не курил, а вы мне составите компанию. «Прибой» курите?

— Это мои излюбленные.

— Как говорят тарусяне, «угощайтесь».— И он протянул мне портсигар.— К флоксам я равнодушен,— продолжал Паустовский, любовно оглаживая шапку цветка.— Скромное, но щедрое растение. Какое разнообразие цветов и оттенков! Какой приятный, чуть уловимый аромат! Не требует особого ухода, великолепно переносит зиму и быстро разрастается.

Флоксами может наслаждаться даже самый ленивый хозяин,— пошутил он.

— Константин Георгиевич,— робко сказал я,— а гладиолус? Какая строгость линий, какая стройность! Правда, аромат отсутствует, но архитектура! Гамма цветов и оттенков удивительная. А пион? Этот и архитектурой, и ароматом взял. Вот ухода за ним много, это верно. Эти цветы не для ленивых.

Пожав мой локоть, Паустовский сказал:

— Э-э, да я чувю, вы любите и умеете ценить цветы!

— Все цветы хороши,— заметил я.— От скромной полевой ромашки до гладиолуса. Ведь цветы помогают нам понимать прекрасное.

— Ну, а как ваше здоровье? — спросил Константин Георгиевич.

— Благодарю вас, в полном соответствии с годами,— пошутил я.

— Ну, идемте,— сказал Константин Георгиевич,— покажу наше жилище.

Деревянная лестница вела вниз, в подвал. В нем была оборудована довольно просторная и удобная кухня. Оттуда, тоже по деревянной лестнице, но вверх, мы попали в большую светлую гостиную. Прямо — коридор и три небольшие комнаты, слева — кабинет писателя. Просторно и светло. Бревенчатые, аккуратно рубленные, проконопаченные стены, — отлично видна работа настоящего мастера. Никакой покраски. Запах свежего дерева.

На стене только одна фотография в очень скромной рамке: заснеженная улица провинциального городка; в меховой шапке, с поднятым воротником, глубоко засунув в карманы руки, идет Антон Павлович...

— Я очень люблю этого Чехова,— признался Паустовский.— Уж очень он здесь простой, обыкновенный и чем-то озабоченный. Мне кажется, что он спешит к больному... А как вы думаете, что это такое? — Константин Георгиевич показал мне небольшой стеклянный сосуд, напоминающий плошку с крышкой. Размер сосуда в диаметре примерно пятнадцать сантиметров. Внутри сосуда какая-то мудреная конструкция, а от нее выведен наружу электрошнур со штепсельной вилкой на конце.— Это домашний ионизатор.— Паустовский включил прибор в сеть, и в нем засверкали маленькие молнии.— А вот теперь нагнитесь над этой трубкой и вдыхайте,— предложил Паустовский.

Я последовал его указанию. Ощущение было очень приятным.

— Сразу дышать стало легче, правда? Через несколько минут вся комната наполнится ионизированным воздухом. Здорово придумано, а? Его подарил мне сам изобретатель. Это первый экземпляр, им самим сделанный. Милейший человек! Узнал, что у меня астма, и сам лично привез мне этот подарок. Очень трогательно, не правда ли? Я теперь в кабинете как в сосновом лесу после грозы. Работай и дыши всласть. Как говорят в Одессе: «Хапай свежий воздух целыми пригоршнями и дыши себе на доброе здоровье!»

Немного подумав, Константин Георгиевич продолжал:

— Одесса... Да, Одесса — это прежде всего бурная жизнь. Одесса — это город ученых, музыкантов, актеров, писателей и поэтов. Багрицкий, Ильф, Петров, Катаев и мой учитель Бабель — одесситы. Одесса — город неисчерпаемого юмора... Что и говорить, Одесса единственный в своем роде и неповторимый город. Я всегда вспоминаю Одессу с улыбкой и с особой душевной теплотой...

На письменном столе, за которым мы сидели, стояла деревянная вазочка, полная различных поплавок из гусиных перьев. Я не вытерпел и спросил, что это за коллекция.

— Это, видите ли, моя слабость. Я очень люблю поплавки из гусиных перьев и, путешествуя, в каждом городе, где бы я ни был, обязательно покупаю такой поплавок. Если о каждом из них рассказывать, это целая история.

Константин Георгиевич встал, взял с полки одну из своих книг, сделал на ней надпись и протянул мне.

Я был очень обрадован и поблагодарил писателя. Стали прощаться.

Дома я раскрыл подаренную книгу. На первом листе был автограф писателя:

«Дорогому Борису Прохоровичу в знак общей склонности к рыбной ловле, по-дружески. 9 сентября 1958 года».

Книга эта мне особенно дорога потому, что я никогда не просил у писателя автографа.

Паустовский и галерея

В 1963 году я принимал посильное участие в организации на общественных началах картинной галереи в Тарусе.

Помню, трудимся мы с учениками старших классов над созданием первой экспозиции. Крепим на стене портрет писательницы Федорченко в большой и тяжелой раме. Вдруг слы-

шу за спиной: «Хороший портрет! Отличная постель!» Оборачиваюсь. Передо мной Константин Георгиевич. Знакомая приветливая улыбка и прищур глаз с лукавинкой.

— Я вам не помешаю? — спрашивает.

Как положено, обмен любезностями, рукопожатия.

— Давно собирался, да все недосуг, и на подъем стал тяжеловат. А как ваше здоровье?

— Благодарю вас. Как всегда, тройко, — пошутил я.

Недоумевающий взгляд писателя.

— Это как «тройко»?

— А так, — отвечаю. — По ровному месту сносно, с горы хорошо, а в гору совсем скверно.

— Ах, вот что! Это вы верно. Я тоже к горам и лестницам стал терять всякую симпатию, — И, пожимая плечами, добавил: — Ничего не поделаешь, надо привыкать, годы... — И, глядя на портрет: — Я хорошо знал Софью Захаровну, — продолжал он. — В 1915 году, в первую мировую, оба мы работали в одном санитарном поезде. Я — санитаром, она — сестрой. Энергичная, любознательная была женщина. Бывало, в свободную минуту записывала разговоры раненых о войне, о деревне, сказки, байки разные. А потом обработала материал и опубликовала. Появилась книжка «Народ на войне». Горький очень хвалил эту книжку. — И, любуясь портретом, добавил: — Очень она здесь похожа. Гордая, властная была женщина.

Как только Паустовский появился в галерее да еще начал рассказывать о Федорченко, все мои помощники ребята сгруппировались вокруг него, а когда писатель пошел знакомиться с экспозицией, двинулись за ним.

Несомненно, Константин Георгиевич бывал в лучших музеях мира, и тем не менее к маленькой тарусской картинной галерее он отнесся с большим интересом и вниманием. Окруженный любознательной молодежью, он сам, вероятно, не заметил, как увлекся и превратился в экскурсовода. Много интересного рассказал писатель ребятам и закончил словами:

— Берегите галерею, умножайте ее сокровища, помните, что искусство создает хороших людей, формирует вашу духовную жизнь.

Присел отдохнуть. Я разложил перед ним на столе несколько старинных миниатюр и фотографий. Рассматривая каждую, он брал их очень осторожно, бережно. У него были маленькие руки, выразительные, ласковые, заботливые. До мельчайших

подробностей интересовался писатель историей возникновения галереи.

На столе лежала ученическая тетрадь для отзывов, хорошей книги мы тогда еще не имели. Попросить Паустовского написать отзыв я счел неудобным. Тетрадь лежала вне поля его зрения. Я как бы случайно подвинул ее так, чтобы она попала ему на глаза. Паустовский раскусил мой замысел. Прикрыл тетрадь ладонью, улыбнулся, утвердительно кивнул головой и сказал:

— Напишу, непременно напишу.

Я был сконфужен. Он сильно, затяжно закашлялся, потом снял очки, вытер слезы, отдышался и написал:

«Картинная галерея в Тарусе — одно из редких (к сожалению) явлений в нашей культурной жизни. Она возникла на чистом энтузиазме нескольких тарусян. Они заслуживают нашей благодарности за свой бескорыстный и благородный труд.

После открытия галереи Таруса оправдала свое название «города художников и нашего Барбизона».

Я поздравляю устроителей галереи Бориса Прохоровича Аксенова, Семена Сергеевича Калекина и Аругюнова Николая Михайловича с этой культурной победой.

23. X. 63 г. г. Таруса.

К. Паустовский»

Прощаясь, Константин Георгиевич пожелал успеха, обещал быть частым гостем и признался, что галерея превзошла все его ожидания. По его мнению, в ней много хороших вещей. Щедро показан Ватагин, отличны работы Ковалевского, Сверчкова, Бакшеева. Очень ему понравились три приокских пейзажа Терпсихорова. Этот художник напомнил ему его любимого писателя Пришвина. Еще раз мы пожелали друг другу доброго вечера и расстались.



Дом К. Г. Паустовского в Тарусе.

В. ТЕНДРЯКОВ

УЧИТЕЛЬ

Мне думается, практически связь времен проявляется не в чем ином, как во взаимоотношениях учителя и ученика, в передаче духовных ценностей от старшего к младшему.

Константин Георгиевич Паустовский не знает и не может знать всех своих учеников, их по стране не тысячи — миллионы. В любом городе, в любой деревне от Колхиды до Белого моря, от берегов Балтики до Тихого океана — всюду можно встретить горячих поклонников Паустовского. А уж если уважаешь писателя, то, значит, чему-то учишься у него неизбежно.

Себя я могу считать дважды учеником Константина Георгиевича. Он вошел в мое детство в компании Дюма и Жюль Верна, он прошел по моей юности вместе с Чеховым и Толстым. Он был тогда для меня одним из многих, но не похожий на остальных. Он учил улавливать ясную праздничность природы, заставлял верить, что мир, окружающий тебя, столь же пре-

красен, как прекрасны живущие в нем люди, чистые душой, чуждые злобы и зависти. Я еще тогда не осознавал, что добрые книги Паустовского стали моими педагогами, просто дышал ими.

Но случилось нечто большее, стал моим прямым педагогом и сам автор этих книг. На протяжении нескольких лет в аудитории Литературного института Константин Георгиевич занимал перед нами, студентами, место наставника.

И вот тут-то мне довелось получить уроки: чем отличается инертная доброта, качество не столь уж и редкое в людях, от доброты активной, встречающейся куда реже.

Как-то на семинаре разбирался рассказ, помню, об одной продавщице и об одном покупателе, о их нежной любви, так сказать, не отходя от прилавка. Право, он давал повод к резкой критике, и мы с молодым азартом набросились на автора, своего же товарища. Мы не стеснялись в выражениях, не замечали, что наша резкость, которую искренне принимали за принципиальность, перерастала в довольно грубые нападки. И вдруг Константин Георгиевич — он обычно не только вежлив, но и на редкость бережен в обращении — гневно взорвался. Он говорил, что на свете нет ничего более важного и значительного, чем человеческое достоинство, и нет ничего более преступного, как быть слепым и глухим к нему. Преступно не помнить, что любой и каждый, кто бы он ни был, способен так же страдать, как ты сам. Гневная отповедь кончилась ультиматумом: «Тот, кто не согласен со мной, пусть выйдет сейчас же и никогда больше не переступает порог семинара!»

Впоследствии я не раз слышал гневные отповеди из уст Константина Георгиевича уже не среди тесной аудитории, а с трибуны, перед общим собранием, по поводам куда более серьезным. Но впервые я столкнулся с тем, что лежит в основе и личных качеств человека Паустовского, и творчества Паустовского-писателя, на том студенческом семинаре. Столкнулся и запомнил.

Нет ничего более значительного, чем человеческое достоинство, а уважение к достоинству идет через доверие к самому человеку.

Достоинство и доверие — две стороны одной медали. Нет доверия, — значит, нет никакой гарантии, что к тебе отнесутся с должным уважением. И как часто мы бываем преступны в своем недоверии не к тем, кому не доверяем, — к самим себе!

Хотя бы такой пример. Мы считаем: верующий в бога не враг, он заблуждается, наш долг — переубедить, перевоспитать

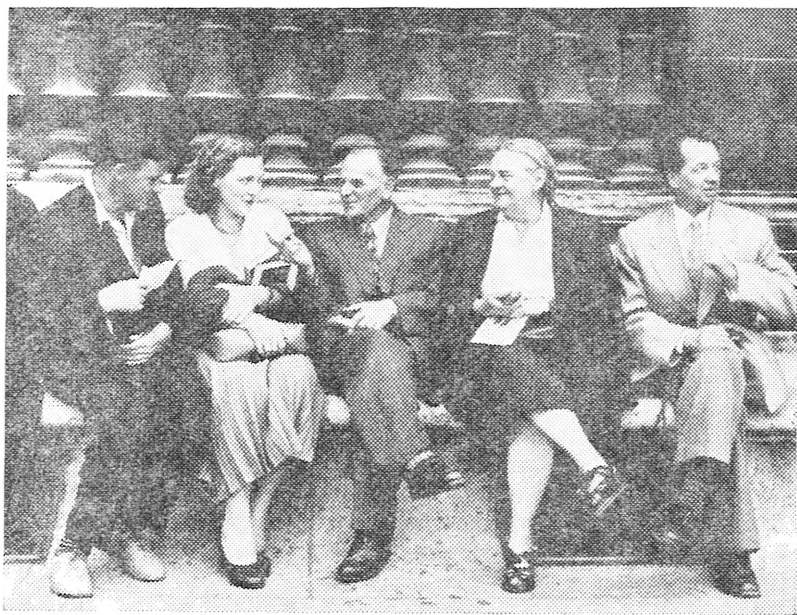
его,— и в то же время действуем порой излишне агрессивными методами. Если ты враждебно-недоверчив, то не рассчитывай, что тебе ответят милой доверчивостью! От твоей недоверчивости плохо верующим, но плохо и тебе самому, потому что недоверчивость перерастает во вражду, ты увеличишь число своих врагов.

Недоверие и подозрительность на производстве, в быту, в искусстве — где бы то ни было — неизбежно приносят вред. Недоверие и подозрительность к человеку — своего рода ржавчина, разъедающая общественную жизнь. Недоверие всегда взаимно, от него плохо всем.

Именно такой вот защите человека, а значит, защите всего общества, и отдал свою большую творческую жизнь Паустовский, жизнь писателя и учителя.

Быть просто добрым, инертно человеколюбивым, избегать подлости, но и не мешать ей — даже это при определенных обстоятельствах не столь уж легкое дело. Быть же деятельно добрым, активно человеколюбивым, идти против подлости и сокрушать ее трудно настолько, что порой приходится становиться подвижником.

Постоянно чувствуя себя учеником Константина Георгиевича, я был бы счастлив, если всей своей жизнью и своим трудом смог бы передать дальше хоть что-то из гуманной науки Паустовского. Если б смог; не смогу я — передадут другие. Учеников у К. Г. Паустовского немало. Связь времен не оборвется



Во время путешествия вокруг Европы на теплоходе «Победа». Слева направо Д. Гранин, Л. Делекторская, К. Паустовский, Е. Катерли, Л. Рахманов. Париж, 1956 г.

Леонид РАХМАНОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ С ПАУСТОВСКИМ

Мы познакомились с Паустовским давно, еще в довоенной Ялте, но знакомство не закрепилось, и почти двадцать лет мы ни разу нигде не встретились. В 1956 году, в сентябре, состоялся третий за это лето рейс теплохода «Победа» вокруг Европы, одна из первых туристских поездок советских людей за рубеж. Московские литераторы предпочли участвовать в первых двух, в июле и в августе, и о том, что нам, ленинградцам, сопутствует Паустовский, я узнал лишь после отплытия из Одессы, уже перед самым Босфором. Произошло это так.

С книгой очерков Бунина о Ближнем Востоке, раскрытой на «Храме Солнца», я шел вдоль борта, вглядываясь в приближающийся турецкий берег. В продолжение часа, а то и двух, мы пойдем по этому удивительному, таинственному проливу, столь

точно и лаконично описанному Бунным. Бунинский очерк начинался со слов: «Второй день в пустынном, пепельно-синем и спокойном Черном море». Вот и мы второй день — совпадение дословное. Только у Бунина апрель, у нас — сентябрь, но и тогда, и сейчас солнце греет совсем по-летнему, несмотря на вечер. Я иду, не спуская глаз с горизонта, на палубе пусто, туристы еще не настроились на Турцию.

У правого борта стоял человек; против света, против бьющего прямо в глаза заката, я не сразу его узнал. Паустовский стоял и смотрел туда же, куда и я, — на два каменистых мыса, означавших вход в Босфор, и в руках его был — Бунин! Тот же четвертый том, приложение к старой «Ниве», и даже, как после выяснилось, книга была заложена на тех же строчках: «...Предгория, расступаясь, медленно открывают устье Босфора. Пароход легко режет заштилевшее море и как бы уменьшается, приближаясь к четким линиям вырастающих впереди каменистых, серо-зеленых холмов Азии и Европы...»

Нетрудно догадаться, что столь внезапное совпадение интересов и вкусов нас быстро сплотило и уже ближайшие часы мы проводили вместе.

Наш теплоход вошел в Босфор раньше срока и должен был ждать утра, бросив якорь напротив маленького городка на подступах к Стамбулу. Мы с Паустовским бессменно дежурили на палубе, пока совсем не стемнело, наблюдая замиравшую на берегу вечернюю жизнь. Море в проливе, как видно, всегда тихое, потому что набережная почти вровень с водой, на асфальт вытащена красная лодка, бок о бок с ней на скамейке сидит старуха и вяжет. Между красивым костелом (не мечетью) и административным зданием с турецким флагом (минут через десять оттуда на катере приехал чиновник, и мы узнали, что это таможня) ютятся лачуги на сваях (значит, вода временами все-таки заливают набережную), висит белье на веревках, играют дети, а мимо катят и катят машины, важно рассказывают упитанные молодые полицейские в серых и кремовых костюмах, с пятью складочками на сапогах (приятно, что сумерки еще не мешают их сосчитать!), и зачем-то стоит пожарный в каске, похожий на щелкунчика или на султана Абдул-Гамида, каким его рисовали в свое время карикатуристы. Все это нам помог рассмотреть наш верный друг — восьмикратный бинокль.

Утро встретило нас в Стамбуле. То ли потому, что мы оказались там первыми советскими туристами (в июле и в августе «Победа» не заходила в Турцию), то ли потому, что обслужи-

вавшая нас греческая фирма была озабочена давним, не имевшим к нам отношения грустным событием — мы прибыли как раз в годовщину греческой резни, — но наши автобусы всюду сопровождал эскорт полицейских мотоциклистов в черных кожаных штанах и куртках. Естественно, что мы повидали в Стамбуле меньше, чем где-либо: нас высаживали из автобусов лишь у дворцов и мечетей.

Но и то благо! Правда, трудно сказать, испытал бы я без Бунина (и без Паустовского) чувство исторической зыбкости и вместе с тем некоей фатальности, внушенное мне Айя-Софией: здесь все наслаивается одно на другое — власти, религии, обряды... Было странно бродить под непривычно низко висящими светильниками, не зная даже, можно ли их назвать паникадилами и кто их подвесил — греки или турки; среди мусульманских щитов и знаков на стенах, соседствующих с византийскими мозаиками; взирая с почтением то на патриаршее кресло, прилепившееся к гигантскому пилону наподобие ласточкин-ного гнезда, то на высоченное, в полтора роста, кресло для имама.

— Имам и не имам, — философски заметил Константин Георгиевич, вольно цитируя заглавие хемингуэевского романа.

«Ах, так! — с удовлетворением подумал я. — Стало быть, хватит музейного глубокомыслия! Стало быть, в отличие от Бунина, Паустовский любит перемежать эпос и лирику шуткой. Впрочем, Бунин в быту, в застолье, тоже, говорят, острил, смешил, веселился, — не позволял себе этого только в литературе».

Как ни стремительно мы перемещались по городу, на нас успевали глазеть. Я недаром употребил столь активный глагол — в других странах на нас совершенно не обращали внимания, здесь же автобусы с прикрепленными к ним на один день советскими флажками заставляли турецких граждан стремглав выскакивать из кафе, магазинов, лавок, выбегать на балконы, высовываться из окон и смотреть вслед — больше они ничего не успевали. Не скажу, чтобы это любопытство было нам особенно лестно, но мы платили за него тем же — смотрели во все глаза на мелькающих мимо нас мужчин и женщин. Потом мы с Паустовским признавались, что первая мысль у нас с ним была одна: что говорят, о чем думают, довольны ли они жизнью, интересуют ли их в такой степени, как нас, политика и социальные вопросы — и вообще что за люди эти турки 1956 года? Кое на что ответить мы могли и сами: что большинство горожан одето весьма и весьма скромно; что сторожа и са-

довники дворцов, которые мы осмотрели, показательно живописные оборванцы; что на тротуарах, в тени домов, притулились уличные стряпчие и писцы, печатающие что-то на обшарпанных машинках,— наглядное доказательство слабой грамотности населения...

Забегая вперед, скажу, что действительность нам и дальше ехидно подсовывала упрощенные социальные иллюстрации. На парижских ночных бульварах мирно спали бродяги, уютно завернувшись в многослойные буржуазные газеты; по Риму уныло тащились впалощекie люди-сандвичи, прославляя какой-нибудь изумительный, судя по рекламе, начертанной на их груди или спине, ресторан; в том же Риме пустовали целые кварталы новопостроенных домов — квартирки, видать, дорогие для среднего горожанина; встречались и другие поучительные примеры.

Не могу похвастать, что я часто бывал за границей, но так случилось, что первая поездка была для меня все же самой щедрой. Не потому, что мы посетили шесть европейских стран: много ли можно за месяц успеть повидать, к тому же львиная доля этого месяца пришлось на пребывание в море. Мне повезло со спутником. Прирожденный скиталец, Паустовский изъездил Россию вдоль и поперек еще с молодости; Крым, Кавказ, Прионежье, Мещеру, Приочье он описал во множестве рассказов и очерков, открыл для нас потаенные, преображаемые, а то и создаваемые человеком места (вспомним Кара-Бугаз), своей к ним любовью заставил полюбить их миллионы своих читателей. Но все это, повторяю, относилось к России, заграничных краев Паустовский не знал. То есть по книгам, картинам, фильмам знал отлично, особенно Средиземноморье, но своими глазами видел впервые. С откровенным, жадным, можно сказать — с детским любопытством вбирал он в себя путевые картины,— удовольствием было смотреть, как он это делает. При нем было бы стыдновато скользить по всему холодным, скептическим, безучастным взглядом; хотелось, как он, быть открывателем, первопроходцем тех популярных мест, которые до нас уже видены-перевидены, описаны-переописаны литераторами и нелитераторами. Ведь ему-то это не мешало. Он видел все как бы внове и чистосердечно этому радовался, а если узнавал слишком уж знакомое и затертое, то все равно радовался: на этот случай, как, впрочем, и на многое другое, у него имелся в запасе юмор.

Не следует думать, что мне всегда удавалось замечать то, что замечал он: во-первых, люди мы все-таки очень разные;

во-вторых, мало кто обладает такой артистически развитой и отточенной наблюдательностью; наконец, он и сам мне писал через два года: «Вспоминаю наше плавание и открываю в нем больше и больше интереснейших частных, которые сразу почему-то не запомнились, а всплывают сейчас».

Так вот кое-что всплыло и у меня. Наверно, нелепо писать о путевых впечатлениях пятнадцатилетней давности, но уж очень хочется вспомнить и рассказать о Паустовском, каким я его тогда узнал, а это тесно переплелось с тем, что мы вместе видели и слышали. Отсюда и заглавие очерка — «Путешествие с Паустовским». Пусть читатель не пугается — я не намерен подробно описывать наше давнее путешествие, день за днем, миля за милей... Скорее можно посетовать на обрывочность, бессистемность, случайность моих заметок. Например, в Греции я вообще, кроме набережной, ничего не видел. Почему? Из-за вульгарной простуды! Когда поздно вечером теплоход покинул Стамбул под звуки песни «Прощай, любимый город», с энтузиазмом исполненной самодеятельным корабельным хором, мы с Н. П. Акимовым и Паустовским долго еще стояли на палубе, глядя на удаляющиеся огни большого, красивого, но, право, не столь уж любимого нами города... В результате обоим моим собеседникам, и закаленному сквозняками кулис Акимову, и болезненному, хрупкому Паустовскому, морская прохлада после проведенного в поте лица жаркого дня оказалась нипочем, у меня же, к моему стыду, через час начался озноб, к утру накачало 39,8°, и сутки напролет судовой врач, самоотверженно лишая себя редкой возможности без помех любоваться Мраморным и Эгейским морями, колот меня пенициллином и пичкал всевозможными экстренными лекарствами. Температуру удалось сбить, но досада и огорчение остались. Через два дня весь наш огромный туристский коллектив дружно двинулся на автобусах из Пирея в Афины, а я лишь глядел на это сквозь иллюминатор.

Зато вечером, вернувшись с экскурсии, Паустовский сразу же забежал ко мне и вручил кусок мрамора, поднятый им у подножья Акрополя. Я был тронут, благодарил, хотя, помнится, где-то читал, что в таких местах муниципальные власти без устали подновляют россыпи мраморной крошки для легковерных туристов...

На другой день Паустовский снова наведлся и, узнав, что мне лучше, что я почти здоров и послезавтра собираюсь вместе со всеми высаживаться в Неаполе, сказал, необидно посмеиваясь своим чуть хриловатым смешком:

— Вчера я вас не хотел огорчать, вы еще не окрепли для таких разочарований... Камешек-то, пожалуй, не древнеэллинический, как по-вашему?

Я не успел ответить, как он самым серьезным тоном добавил:

— А на всякий случай давайте сохраним по кусочку. Если этот мрамор и не имеет непосредственного отношения к Парфенону или к Акрополю, он все равно старше нас лет этак на миллион. Природный же, не фальшивый. Добыт в Карраре...

Вообще Константин Георгиевич был образцовым дорожным спутником: добрый, веселый, заботливый, не по возрасту подвижной, легко подбиваемый на любое приключение, лишь бы оно сулило открытия, умножало опыт,—но при одном условии: чтобы это ни на волосок не нарушило раз навсегда установленных им для себя нравственных правил. Я редко встречал таких чистых и честных, кристально чистых и рыцарски честных людей, как Константин Георгиевич. При том, что он все подмечал и запоминал,—подмечал вонь, в окружающей обстановке, замечал в тебе, видел твои смешные черты и поступки, он никогда не употреблял своих наблюдений во зло, не ехидничал, не колол тебя своим знанием и видением насквозь твоих слабостей. Это не значит, что он над тобой не шутил: шутил и притом так смешно, что ты вместе с ним хохотал от души, но обидно и оскорбительно это никогда не было, его юмор не бил по твоему самолюбию,—он обладал тончайшим тактом, который оберегал его от таких ошибок.

Любопытно, что в литературной работе ему приходилось ошибаться. Там иной раз ему не хватало художественного такта и чувства меры, и тогда в рассказ, в повесть закрадывалась краснота, сентиментальность, многословие, риторичность. В жизни этого не случалось, в жизни, в общении, в устных рассказах Константин Георгиевич был — не могу и не хочу подбирать другого подходящего слова — идеален. Трудно сказать, от бога это, врожденное, или он выработал это в себе постепенно,—думаю, что и то и другое. Юмор его в полной мере как раз проявлялся в устных рассказах — в них он был бесподобен, причем даже в пестром, смешанном обществе, например, в пароходном салоне. Даже, ибо обычно он был молчалив, застенчив, несколько угловат, избегал незнакомых или малознакомых людей.

На корабле мы с ним жили в разных каютах: нас еще раньше, до встречи, поселили врозь, и изменить это оказалось невозможно. Кстати, его койка на теплоходе была неудобной и беспокойной — в узкой каюте, у самой двери, так что каждый

раз, когда дверь открывали, она хлопала по железному борту койки. Правда, большую часть дня мы проводили на палубе: разговаривали, читали, еще чаще молча любовались морем, а если земля была близко, то и сушей, — например, в замечательных по живописности и по историческому значению проливах: Босфоре, Дарданеллах, Мессинском проливе, Гибралтаре, Кильском канале. Огибая Пиренейский полуостров, мы наблюдали в бинокль довольно близко португальский берег — монастыри, башни, крепости, морские курорты. И уж нечего говорить, как прилипали мы к борту, когда теплоход входил в гавань и ошвартовывался у причала или бросал якорь на рейде.

В Неаполе наш теплоход долго ждал своей очереди посреди залива, и мы без конца могли любоваться его уникальнейшим в мире голубым простором. (Говорят, с ним может сравниться лишь бухта Сан-Франциско, но там человек перекинул через нее два моста, а здесь пока все натурально!) На востоке виднелся курившийся чуть заметным дымком Везувий, что дало повод поэту Сергею Орлову мрачно сказать:

— Кому Везувий, а нам не везувий!

Сергею Сергеевичу, как и всем остальным пассажирам «Победы», не терпелось скорее очутиться на берегу. Исключение составлял Паустовский: со счастливым лицом он смотрел и смотрел вокруг, сознавая, что как только мы сойдем с теплохода, начнется обычная суета и спешка — посадка в автобусы, вопросы туристов, пояснения гидов, — а здесь... здесь гладь залива, небо, Везувий, и можно спокойно всем этим наслаждаться.

Полной противоположностью для нас через две недели явился Роттердамский порт. Мы прибыли туда к вечеру, теплоход заночевал у причала, и на набережной нам выдали настоящую «апашиаду». Двое парней таскали своих подруг по асфальту за волосы, за руки, за ноги, с размаху бросали в кусты, били по лицу, и никто не обращал на это внимания: подъезжали машины, люди входили в расположенное рядом кафе, выходили, прогуливались по набережной. Зато все пассажиры нашего теплохода столпились у борта, так что мы с Паустовским всерьез опасались, не опрокинулся бы корабль на этот перегруженный бок... Сперва и мы, грешным делом, сочли эту драку стихийной, незаправдашной, но потом смекнули, что «апаши» устроили ее специально для туристов: «Хотите портовой экзотики? Получайте!..»

В Риме и в Париже мы жили в гостиницах, точнее — в них

ночевали, ибо все остальное время туристов, как водится, занято бегом по музеям и кружением по городу и пригородам в автобусах. Когда мы с Паустовским вошли в номер римской гостиницы, нашим глазам представилось нечто напоминавшее один зарубежный детектив, где в комнате все оказалось перевернуто вверх ногами — кресла, стулья, стол, ваза с фруктами, картины на стенах, — и все это для того, чтобы сыщик и читатели не заметили, вернее, не догадались истолковать так, как следует, одну деталь: белый воротничок у лежащего посреди комнаты трупа перевернут углами назад, галстук отсутствует, — дело в том, что убит был католический патер, но понять это следовало только в конце романа.

Убитого патера в римском номере мы не обнаружили, но стулья и кресла громоздились вверх ножками на столе, на кроватях, а картина с традиционными итальянскими пиниями повисла боком. Не скрою, столь откровенное пренебрежение правилами гостеприимства могло быть воспринято нами кисло и отравить пребывание в Вечном городе, но мы, поглядев друг на друга, уселись на чемоданы и примерно с минуту хохотали. Затем поочередно умылись (вода текла из крана нормально, не вверх, а вниз), вытерлись носовыми платками (полотенца, увы, пока отсутствовали) и отправились на прогулку. Когда же, поздно вечером, мы возвращались домой после долгого, утомительного туристского дня, мы пытались угадать, в каком виде найдем наш приют. В номере все оказалось в порядке, даже картина висела правильно.

— Видите, — сказал Паустовский. — Войди мы утром в прибранный номер, мы так бы и не узнали, что к нашему приезду готовились, затеяли большую уборку. Мне нравится эта наивная показуха, очевидно, она в характере итальянцев. Правда, без нее было бы скучнее?

— Правда, — ответил я с достаточной долей искренности.

— Но даже если это была халатность, — неожиданно заключил Паустовский, — в этом тоже есть что-то простосердечное. Верно?

Как в Риме, так и в Париже Паустовский испытывал перед сном заметное беспокойство. Он давно был серьезно болен, его мучила астма. В тот год она докучала ему еще не так сильно, как в конце его жизни, но все же он задыхался, ему было тяжело дышать, особенно ночью, в душном, маленьком номере. Перед тем как улечься, он трогательно просил меня не сердиться, если он будет хрипеть и кашлять, а утром долго допытывался, очень ли он мне мешал, — видно было, что

это его тревожит. Но спать мне ничто не могло помешать: мы возвращались домой донельзя уставшие, ложились спать непроизвольно поздно, если не сказать — рано, уже к утру: и на Италию, и на Францию у нас пришлось всего по три дня. Мы мечтали об одном: выдюжить! Не только не выбиться из программы, но и героически ее перевыполнить — желание, собственное, наверное, всем туристам, — мы общучивали его, но исполняли.

Деликатный, заботливый Паустовский в каких-то вещах был обидчив, мнителен, уязвим, особенно в том, что касалось его наружности. Еще в начале нашего путешествия в каких-то «местных» газетах, кажется, итальянских, писали о том, что русский советский писатель Паустовский забыл взять с собой шляпу (или потерял ее, только еще ступив на теплоход). Как ни странно, но это они не придумали — Паустовский действительно где-то посеял шляпу, а солнце активно жарило, припекая голову. У меня были с собой и шляпа, и тюбетейка, и я охотно ссудил ему последнюю — шляпа была ему не впору. Константин Георгиевич не стеснялся ходил в этой старой, потертой чеплашке всюду, где его окружали чужие люди, не обращавшие на него внимания. Но как только он замечал, что его намереваются сфотографировать, он мгновенно стаскивал с головы тюбетейку и совал ее в карман. Он и мне не позволял снять его в этом головном уборе, как видно, ему непривычном, ассоциировавшемся с чем-то смешным и глупым. Кстати, среди шести сотен туристов было несколько человек в тюбетейках, и, как нарочно, все это были малоприятные люди.

Тем не менее мы с ним дивно запечатлели друг друга на фотографиях. Он меня — выходящего с гордым видом из современного вида уборной на площади в Роттердаме, как раз наискосок от знаменитой железной скульптуры «Крик раненого города», а я его — на фоне гигантской стеклянной витрины с живописно расположившимися в ней молодыми болванами (манекенами) в пальто и без, в пиджаках и без, в шляпах и без. А без юмора он отлично снял меня за чашкой кофе на Капри и в купе вагона Неаполь — Рим, старомодно обитом внутри красным бархатом и увешанном всюду, где только возможно, копиями картин великих итальянских мастеров.

В поезде Гавр — Париж, в отличие от Италии, развешаны были «ню» в самых разнообразных позах, на пляже и дома. Объединяла оба экспресса лишь «безумная» по тому времени

скорость — сто пятьдесят километров в час; в сочетании с бетонными шпалами и открытыми окнами (из-за небывалой для сентября жары) это создавало такой неимоверный шум, что разговаривать было почти невыносимо. Впрочем, в поезде Гавр — Париж мы уже несколько приспособились к грохоту и, закрыв наглухо окна, могли беседовать, тем более что в Гавре нас встретил корреспондент парижской газеты «Русские новости» — бывшие миллюковские «Последние новости», а теперь орган сочувственно настроенных к нам эмигрантов, многие из которых уже имели советский паспорт. Этот пожилой человек оказался дореволюционным приятелем и коллегой Василия Регинина, в те далекие времена редактора известного бульварного «Синего журнала», а в тридцатые годы ближайшего сотрудника нашего еженедельника «30 дней» и близкого знакомого самого Константина Георгиевича. И на дружностью, и повадками этот русский француз походил на Регинина — богемистого вида, говорливый, бойкий, с красным носиком. Единственно, кем он заинтересовался из нашей компании, это, конечно, Паустовским; как истый интервьюер, он прямо впился в Константина Георгиевича.

Насколько неохотно Паустовский отвечал на расспросы о себе (не потому, что говорил с эмигрантом и осторожничал, — он вообще не любил расспросов; если ему интересно что-нибудь рассказать, он сам с удовольствием расскажет), настолько же неподдельный интерес вызвал у него рассказ журналиста о своих приключениях во время войны и оккупации. Как он бежал с женой на велосипедах из Парижа, когда в 1940 году туда пришли немцы, как сразу же после освобождения Парижа вернулся и теперь живет там же, где жил и до войны, — в Булони (не в Булонском лесу, месте аристократических верховых прогулок, а в Булони — предместье Парижа). Видно было, что этот старый газетный волк сумел разбудить писательский аппетит в своем сверстнике из новой России, досадно только, что до Парижа из Гавра всего полтора часа пути — не успеть наговориться. А ведь, слушая рассказы журналиста, надо не спускать глаз с окрестностей, молниеносно пронесившихся мимо окон. Остановки редки: Руан, Вернон — и обчелся.

Помню также, как заинтересовал Паустовского в Стамбуле сторож при бывшем султанском дворце, русский солдат, застрявший здесь после плена в первую мировую войну. Вид у него был совсем нищий: рваная одежда, ни одного зуба во рту, худой, он грелся на солнышке у ворот. Паустовский за-

говорил с ним, чтобы, как он объяснил, узнать, помнит ли тот что-нибудь о своей прежней жизни. Солдат помнил, но расспрашивать и слушать его было некогда, и Паустовский о нем ничего не написал, хотя, например, в его «Мимолетном Париже» существуют и чисто импровизированные персонажи и сценки.

На третий день пребывания в Париже мы решили отделиться от туристского коллектива и побродить пешком. Мы — это Паустовский, Елена Катерли, Даниил Гранин, Сергей Орлов и я. Начали мы с Центрального рынка, знаменитого Чрева Парижа, и правильно сделали: дни его были сочтены, чего мы тогда, конечно, не знали. Когда я уже писал этот очерк, мне попалась на глаза статья — краткий обзор реконструкций Парижа примерно за последние сто лет. Там говорится, что наибольший протест у парижан вызвала ликвидация Центрального рынка, точнее — не сама ликвидация и не перенесение его за город, а предлагаемые проекты — что на этом месте построить. Сохранилась напротив рынка, на краю площади, и знаменитая таверна «Курящая собака», которую мы с Паустовским сфотографировали. Мой снимок неважный, но все же я с удовольствием сейчас его разыскал и рад узнать, что таверна уцелела.

Уже за несколько кварталов до Чрева наши ноги начали погружаться по щиколотку, а местами почти до колен в стружки, опилки, мятую бумагу: все подходы и подъезды к рынку были завалены упаковочным мусором и остатками разбросанной тары. Торговля на этом рынке, как известно, оптовая, и происходит она рано утром, так что в десять часов мы застали ее лишь на кончике. Из двенадцати грандиозных корпусов мы успели забежать только в рыбный, вернее, морской, где наше воображение поразили неслыханной величины крабы, а также море разлившейся по бетонному полу талой воды: лед, в котором сюда привезли экзотическую морскую живность, к этому часу таял так энергично, что вода не успевала стекать в канализационные люки, и мы ковыляли на каблуках, стараясь задира́ть носки туфель кверху, чтобы не промочить ноги.

Думаю, что в выборе именно рыбного павильона сыграл роль профессиональный интерес рыбака и охотника Паустовского, а еще и то, что перед павильоном толпилось и суетилось с десятков монахинь — матерей-экономок и сестер-экономок, обеспечивающих своим монастырям постный, но вкусный стол. Для нас это было не меньшей экзотикой, чем лан-

густы и кальмары, особенно в сочетании с мотороллерами, на которых инокини подъезжали и отъезжали: нарядная, яркая расцветка этих элегантных машин, только недавно вошедших в моду, празднично контрастировала с черно-белой монашеской униформой. Конфузясь, спеша, пытаюсь делать все незаметно, мы фотографировали со спины, сбоку сающихся на мотоседла молодых и немолодых монашек, — но вот то одна, то другая оборачивалась к нам с ободряющей улыбкой: мол, давай-давай, не бойся, снимай, чего там! Честное слово, эта улыбка не столь уж отличалась от улыбки вчерашней красавицы, которая маняще улыбнулась нам с Паустовским и Еленой Катерли, садясь в роскошную белую машину, когда мы бродили ночью в районе площади Пигаль. Мои спутники, один пользуясь привилегиями старшего, другая тем, что она дама, издевательски уверяли меня, что манящая улыбка целиком относилась ко мне, а я стыдливо открещивался, строя литературные гипотезы: мол, улыбка — это просто рефлекс, привычный сигнал, механически посылаемый в пространство, как посылает свои лучи маяк...

Покидая рынок, мы получили в подарок еще одну улыбку, но уже иного рода. Когда мы склочно обсуждали проблему, как ближе пройти к острову Ситэ, к Новому мосту, мы невольно обратили внимание на то, что к нашим словам прислушивается пожилая женщина. Катерли, человек наиболее решительный и непосредственный из нас пятерых, спросила:

— Вы русская? Вы знаете русский язык?

С большим трудом удалось убедить эту женщину отвечать нам словами или хотя бы междометиями, а не только робкими жестами. Она смущалась, как девочка. Да, она русская, но она так давно здесь живет, ни с кем из русских парижан не встречается, что совсем забыла русский язык. Понимать понимает, а говорить... И вдруг заплакала! Тут наступил наш черед засмущаться. Когда, извинившись за невольно причиненную боль, мы расстались, пошли и в какой-то момент оглянулись, наша бывшая соотечественница все стояла, глядя нам вслед.

Не знаю, возможно, что эта встреча запомнилась бы мне в любом случае, но так вышло, что в памяти она тесно связана с Константином Георгиевичем. В продолжение дня, несмотря на множество впечатлений, каждое из которых, казалось, перекрывало по яркости все предыдущие, а главное — которых было чересчур много, Паустовский нет-нет да и вспомнит вслух эту женщину с ее смущенной и грустной улыбкой. Ко-

нечно, не исключено, что мы все немножко преувеличили ее переживания от встречи с нами, но это неважно, гораздо важнее казались тогда, да кажутся и теперь, наши собственные впечатления от этой встречи. Паустовский был для меня точным прибором, с которым я сверял свои чувства. Я видел, что ему до смерти хочется домыслить в воображении эту незнакомку, что он мысленно идет за ней по пятам, незамеченный входит в дом, в квартиру, видит, как она живет, кто ее окружает, и ему интересно — расскажет ли она своим близким о встрече с русскими или промолчит, или она сейчас одинока, муж ее умер, дети разъехались и забыли и пр. и т. п. Увы, эта женщина промелькнула, как за окном вагона, и больше мы ее никогда не увидим и ничего о ней не узнаем. Я видел, что это типичная писательская тоска по невозможности *узнать* весь день томила Паустовского, и я ему очень сочувствовал...

От рынка оказалось довольно близко до Нового моста, известного нам не только по литературе и фотографиям, но и по картинам Марке, который жил почти напротив этого моста и постоянно его изображал. Вблизи улицы Риволи и Нового моста возвышался большой универмаг Samaritaine, который нас мало интересовал, за неимением лишних франков, равно как и сверхлюдная улица Риволи с ее шикарными магазинами и лихо мчащимися автомобилями (теперь они, говорят, еле движутся из-за тесноты и избытка транспорта). Мы скорей побежали на мост, откуда с наслаждением увидели внизу, почти под нами, остров Ситэ, густо населенный историческими зданиями и остроугольно кончающийся вниз по течению Сены прелестным газоном и купами деревьев. Своими очертаниями эта оконечность острова напоминает нос корабля или подводную лодку, но, в отличие от них, чрезвычайно идилична. Мы сразу направились к другому, верхнему концу острова, где, вдоволь налюбовавшись собором Нотр-Дам (внутри собора мы не попали — был закрыт на ремонт), каждый собрал себе под его стенами немного каштанов, — разумеется, нам подал пример Паустовский, по-детски любивший естественные, природные сувениры. Затем мы вернулись к Новому мосту, равнодушно миновав стороной Дворец правосудия и Криминальное управление, — тогда мы еще не знали романов Жоржа Сименона о комиссаре Мегре, — и пошли по набережной Сены, которая изобилует, как мы убедились сами, букинистическими лавочками и книжными развалами прямо на воздухе; здесь мы опять же увековечили друг друга

«ФЭДами» вплотную у книг, листая их и даже приобретая кое-что на свои скудные франки; не помню, что купил Паустовский, — я купил две маленькие монографии: «Утрилло» и «Тулуз-Лотрек».

Мы поднялись на четвертый или пятый этаж некоего дома на улице Расина, встретив на лестнице знакомого нам еще по Москве известного французского критика и историка кино Жоржа Садуля, и вошли в прогрессивное, говоря точнее, коммунистическое издательство, возглавляемое Луи Арагоном. Арагона в этот день в издательстве не было, нас принял директор Пьер Абрахам и секретарь журнала «Еигоре» Пьер Гамарра, поэт и прозаик, которого мы знали по переводам его книг. По правде сказать, у нас была маленькая задняя мысль: а вдруг издательство вручит Паустовскому гонорар за недавно вышедшую здесь его книжку! В каком-то смысле мы не ошиблись: нас дружески приняли, угостили бутылкой вина, каждому подарили по номеру журнала «Еигоре», Пьер Гамарра надписал нам свою книжку «Сирень на Сен-Лазар» и пошел проводить нас до отеля.

Тогда никто из нас не предполагал, что через несколько лет издательство начнет том за томом выпускать сочинения «*Par Constantine Paustovski*» и переведет их русская парижанка м-м Лидия Делекторская, с которой мы познакомились в Париже, что не раз потом она придет в Россию — и к Паустовскому, и к нам, и на конференцию переводчиков по приглашению Союза писателей СССР, и для устройства выставки картин Анри Матисса по приглашению Эрмитажа и Музея изобразительных искусств имени Пушкина — и одарит нас чудесными монографиями Матисса, секретарем и другом которого Лидия Николаевна была много лет. Об этой прелестной женщине, которая восьмилетним ребенком была увезена в двадцатые годы из России, но любит ее всем сердцем, что уже доказала своими переводами *таких русских* книг Паустовского, написал сам Константин Георгиевич в очерках о Париже. Нынче, в свой очередной приезд в Россию, она подарила мне «*Kaga-Bougaz*», написав на глянцево-меловой обложке: «Этот вышедший к 80-летию Константина Георгиевича мой десятый Паустовский». К книге приложена подробная карта Каспийского и Аральского морей с прилегающим к ним сухопутьем, где все географические названия приведены на русском и на французском языках (как я заметил, Лидия Николаевна больше всего гордится этой картой, помещенной здесь по ее идее!).

Но все это было далеко впереди, а тогда мы с Гамарра по пути в гостиницу зашли во двор дома, где некогда жил Вольтер, заглянули во дворик дома, где зимой живет Пикассо, проехали в автобусе с открытой вместо входной двери задней стенкой и двумя ступеньками под ней во всю ширину кузова, — словом, рыдван весьма допотопного вида, как все мы гордо подумали, вспомнив наши московские и ленинградские автобусы.

Но вот парижские наши приключения кончились; снова поезд в Гавр, отплытие; Па-де-Кале; скорее угадываемые вдаль, чем зримые, меловые холмы Англии; традиционный туман; тревожные гудки и сирены вынырывающих из тумана встречных судов; плавающие буйки с колоколами, мерно качающиеся на волнах; море, опять море, море и море с промелькнувшими за один день на суше тремя голландскими городами — Роттердамом, Амстердамом, Гаагой, которые мы успели с рекордной быстротой объехать, осмотреть и отснять (если позволителен такой вульгаризм) нашими «ФЭДами»; очень кстати это был понедельник, единый для всех голландцев день стирки, и во всех дворах сушилось на свежем воздухе белоснежное белье...

И опять море, и целых полдня Кильского канала, — целых потому, что полдня — это очень немалый срок, особенно если сидишь или стоишь на палубе и неусыпно смотришь на берега, вдоль которых плывешь почти впритирку, стараясь хорошенько разглядеть и запомнить не только лица и костюмы людей, но и живописные группы коров или старинные, откровенно декоративные мельницы. Затем час шлюзования плюс короткая остановка в Киле (местные ребятишки бросают нам, а мы им медную мелочь — стихийный обмен сувенирами), вслед за чем оказываемся в Балтийском море.

Двухдневный (или полуторадневный, не помню) прыжок через Балтику; ранним утром вошли в фиорды, которые сложным, извилистым путем проводили нас в Стокгольм. Несколько часов неслыханной красоты шхер — островных и прибрежных скал, — а затем целый день (уже по-настоящему целый, с утра до ночи) в шведской столице, тоже скалистой, красивой особенной, строгой красотой. Множеством каналов и островов Стокгольм напоминает Ленинград, но все-таки Ленинград еще красивее! Тут мы должны были признаться друг другу — мы устали. Устали от изобилия, разнообразия, пестроты впечатлений. Уже начиная с Голландии, восприятие наше начало притупляться. Даже у Паустовского! Шесть

стран — это много. Любопытная психологическая деталь: так как, несмотря на конец сентября, в Стокгольме было необычайно тепло, все уличные кафе переполнены, на улицах масса гуляющих, по-летнему одетых людей, в скверах, в садах, на бульварах всюду сидят, загорают молодые и старые, блаженно подставив лица солнцу, — то мы ощутили, что остро завидуем этим беззаботно отдыхающим людям! Нам, труженикам-туристам, надо бегать, ездить, смотреть, поспевать, познавать, знакомиться, а им ничего не надо: сиди, отдыхай!.. Да, перебор, устали.

Между прочим, в Стокгольме я побывал через два года; вполне отдохнувший за это время от заграничных впечатлений, я открывал для себя заново этот город. А в тот, в первый раз мы неожиданно провели в Стокгольме всю следующую ночь. Точнее, спали в своих каютах на теплоходе, который до утра стоял у причала: на море синее вечерний пал туман, и лоцман не решился ночью вести наш корабль через лабиринт фиордов. Поэтому днем мы еще раз насладились их красотой. Затем новый морской прыжок — и на следующий день Финский залив, мы почти дома.

Словно бы в качестве отдыха от этих могучих прыжков и избытка впечатлений, нас поджидал мелкий казус. Накануне прибытия в Ленинград мы решили наклеить на свои чемоданы яркие, показательно заграничные ярлыки и рекламки, которые нам вручили — в римском и парижском отелях: что им втуне лежать, пусть красуются на виду! Клея у нас с собой, естественно, не было, и Паустовского осенила идея: Рахманов, как более молодой, отправится в корабельную библиотеку и попросит на полчаса клей, — мол, Константин Георгиевич неважно себя чувствует и потому не мог пойти сам и здесь, на месте, подклеить вставки в свою рукопись... Сказано — сделано. За полчаса мы действительно успели наклеить на чемоданы эти роскошные ярлыки, и я с удовлетворением отнес клей обратно в библиотеку. Увы, на следующее утро все наклейки с чемоданов слетели — клей оказался недееспособным! Помоему, Паустовский огорчился гораздо больше меня: я уже говорил, что этот честнейший человек питал пристрастие к мальчишеским хитростям и эффектам.

Правда, переживать неудачу не было времени, теплоход миновал Кронштадт, форты, шел Морским каналом, через считанные минуты предстояло ошвартоваться у причала Ленинградского порта, где в нетерпеливом ожидании толпились друзья и родные, пришедшие встречать нас с «победой»...

(Москвич Паустовский тоже высматривал свою жену среди встречавших: Татьяна Алексеевна приехала к этому дню в Ленинград.) Но свидание задержалось. Мощный теплоход, совершивший многомильное путешествие, застрял на подступах к финальной черте. Дважды уже рвался трос, и корабль относило на середину порта, и снова буксиры пыхтели и тужились, стараясь подтянуть нашу громадину к причалу. Дело в том, что чем более мы приближались к родным берегам, тем сильнее, строптивее становился встречный ветер, а здесь, в глубине гавани, он рвал и метал. Дошло до того, что встречавшие стали прятаться за пакгаузы и амбары, а мы — укрываться во внутренних помещениях теплохода, как нам ни было совестно и досадно...

Не надо забывать, что уже кончался сентябрь, на носу октябрь, а под наши летние пальтишки и легкие пиджаки поддеты лишь спешно извлеченные из чемоданов свитеры и фуфайки... Но вообще-то смешно: многоопытные моряки нас пугали Бискайским заливом, свирепствовавшими там частыми бурями, и мы с моей милейшей соседкой по столу заранее условились, как только пройдем Гибралтар и обогнем Португалию, в профилактических целях принять за обедом граммов по сто коньяку, чтобы не поддаться морской болезни; к нашей с ней земной радости — и к разочарованию романтика моря К. Г. Паустовского — Бискай встретил и проводил нас зеркальным покоем, зато поддержала свою хмурую репутацию Балтика. Пожалуй, за весь многодневный, многомильный круиз (это столь популярное у нас нынче английское слово только-только тогда появилось в туристской практике) нас изрядно покачало лишь здесь, что не заслуживало бы даже упоминания, если бы в наши дни, когда воздушные лайнеры со сверхзвуковой скоростью переносят нас на другой конец мира, морским путешествиям не грозила бы опасность стать в недалеком будущем «чистой воды» экзотикой.

И если бы, хочется еще раз добавить, в нашем тогдашнем морском путешествии не участвовал Паустовский! Он смаковал каждую минуту общения с Нептуном, по-гречески с Посейдоном... Радовался при виде знакомого ему по любимым книгам и наконец-то встреченного лицом к лицу мыса, залива, пролива, порта, приморского городка... Когда-то он написал про самую обыкновенную пешеходную и трамвайную дорогу из Одессы в ее пригород — Большой Фонтан — и на дачу Ковалевского: «Вся прелесть этой дороги, вся власть ее над мной объяснялась близостью моря...» Как же он мог остаться

хоть на момент равнодушным во время нашего морского вояжа? Скажем, я, проводивший детство на Севере, в лесном краю, могу с наслаждением любоваться морем, горами, степным простором, новой и древней архитектурой, новейшими заводскими машинами да мало ли еще чем,— но лесная опушка с молодыми елями и березами навсегда для меня останется самым родным и заветным местом. Вероятно, столь узкая избирательность — мой недостаток, и я мог позавидовать широте Паустовского: он любил и Кавказ, и Крым, и Тарусу на Оке, и Онегу на Севере, и многое, многое другое на свете... Но нет, все же море — море было самой любимой его стихией, я в этом каждый день убеждался. Вот почему мне вспомнились, захотелось перетолковать по-своему и применить к Паустовскому эти старые, давно ставшие банальными строчки:

Мою любовь, широкую, как море,
Вместить не могут жизни берега...

Так и кажется, что поэт писал о любви к морю...

На суше мы с Паустовским потом не часто встречались. Глубокой осенью того же 1956 года он пришел на премьеру «Беспокойной старости» в Московский Художественный театр. Премьера была примечательна тем, что состоялась через двенадцать лет после того, как пьеса в 1937 году заинтересовала (но, как видно, не очень) МХАТ, а затем, не будучи им поставлена, обошла сцены не одной сотни других театров. Актеров старого МХАТа, которым предполагалось поручить роль Полежаева, уже не было в живых — Москвина, Хмелева; в 1956 году эту роль прекрасно сыграл Юрий Эрнестович Кольцов, а жену Полежаева — Ольга Николаевна Андровская. Я был очень рад видеть Паустовского на этом удавшемся театру спектакле, который потом МХАТ возил в Париж, в Лондон, в Токио, и Лидия Делекторская прислала мне из Парижа большое письмо-рецензию, а Паустовский из Москвы — шуточные строки: «Поздравляю с Лондоном. Говорят, что клуб английских драматургов подарил Вам набор для игры в крикет».

На присланной мне тогда же книге «Золотая роза» Паустовский написал: «Ничто так не сближает людей, как совместное приближение к прекрасному. А мы это испытали во время плавания»...

Несколько раз мы встречались в Ленинграде, куда он ненадолго приезжал, и взапуски перебрасывались вдруг ожив-

шими в памяти курьезными подробностями нашего путешествия. Как бывает в подобных случаях, все начиналось со слов: «А помните?..»

— А помните стол в Версале, за которым был подписан мирный договор?

— Ну как же! Со скатертью до пола и мягким пуфом, на который садились по очереди подписывавшие...

— Знаете, меня поразило в этом парадном зеркальном зале именно пуф: словно для красотишки перед зеркалом. Какая-то домашняя утварь.

— Может, Клемансо и Вильсон хотели подчеркнуть, что раздел Европы — это их домашнее дело?

— Но кресло же удобнее. Пуф потому так и назван, что производит звук «пуфф!», когда на него садятся...

— Не придирайтесь. Вы уже начинаете походить на туристку, которая, помните, сказала: «Значит, у итальянского правительства не хватает средств, чтобы отремонтировать Колизей».

Кстати, она оказалась недалеко от истины. Как сообщают нынче газеты, Колизей действительно надо ставить на капитальный ремонт: его так расшатало современный транспорт, что этот древний гигант стал руиной-угрозой!

Скоро наезды прекратились: Паустовский стал чувствовать себя значительно хуже и жил почти безвыездно либо в Тарусе, либо в Ялте. Не знаю, рассказывать ли о нашем последнем, грустном свидании в Ленинграде в начале шестидесятых годов. Я проводил его до вертящихся дверей «Европейской» гостиницы; прощаясь, он задержал мою руку в своей и тихо сказал:

— Наверно, вы обиделись на меня?

— За что? — спросил я.

Но я понял уже по его лицу, о чем он хочет сказать. За год до этого умер мой отец, и я сгоряча написал Паустовскому, что я нашел в доме отца, что он читал перед тем, как попал в больницу: томик Чехова, которого отец очень любил и читал мне вслух еще в моем детстве, и один из первых томов начавшего выходить собрания сочинений Паустовского. Письмо было взволнованное, возможно даже — не в меру чувствительное, и это легко объяснить: мы с отцом дружили. Единственный человек, которому мне захотелось написать, был Константин Георгиевич. Он не ответил на это письмо, и я догадался почему.

— На ваше письмо,— продолжал он,— следовало ответить таким же письмом... или промолчать...

— Я знаю, Константин Георгиевич,— так же тихо отвечал я.

— Вы поймете меня, если я скажу: я уже не охочусь, не хожу на рыбалку... даже читаю меньше...— Он помолчал.— Ваш отец, вы писали, был тоже рыбак...— Он еще помолчал.— Вы не сердитесь на меня?

Нет, я на него не сердился. Наоборот, я был тронут тем, что Паустовский сказал мне это. Я давно уже чувствовал, что напрасно написал ему такое письмо: своим эмоциональным накалом оно как бы требовало соответствующего отклика, а разве я имел на это право? Да и были ли мы настолько близки, пусть он даже писал мне: «Постоянно вспоминаю вас с какой-то особенной трогательностью...» Паустовский уже очень немолод и нездоров, ему необходимо успеть дописать свою «Повесть о жизни»,— значит, надо беречь силы для работы. Теперь я особенно хорошо это понимаю, а тогда на какой-то момент романтик Паустовский оказался большим реалистом, чем я: помог возраст и жизненный опыт...

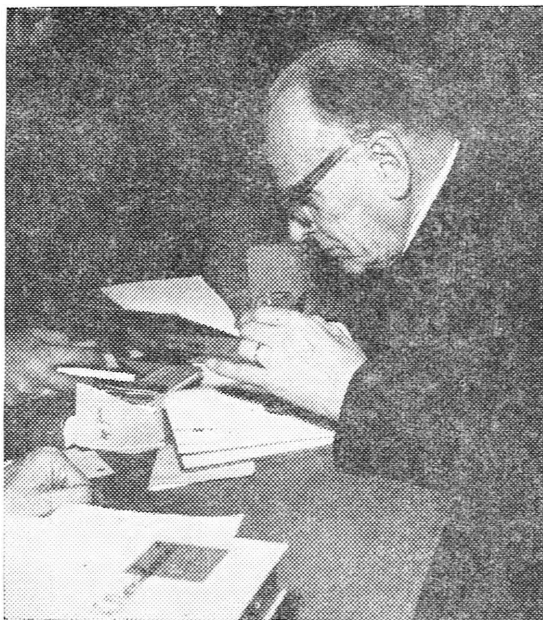
Так случилось, что больше мы не виделись; писали краткие письма, изредка говорили по телефону. Константин Георгиевич еще раз побывал во Франции и в Италии, съездил в Англию, где он до этого не был. Но все это уже через силу, скорей из последних сил. В 1968 году он умер. Я бранил себя в мыслях за то, что не удосужился с ним повидаться в его любимой Тарусе, куда он меня звал, или в Ялте, на его любимом Черном море. Все ведь думаешь: нынче некогда, съезжу будущей весной... в крайнем случае осенью.

Не съездил. Не успел.

В прошлом году вдова композитора Виктора Николаевича Трамбицкого, Валентина Ивановна, рассказала мне о том, как Паустовский однажды захотел послушать клавира оперы «Настя-кружевница», написанный Трамбицким на сюжет повести Константина Георгиевича. У каждого из нас есть свои профессиональные привычки, капризы, желания, требования. Композитор Трамбицкий непременно хотел убедиться, что рояль в московской квартире Константина Георгиевича настроен достаточно тщательно, прежде чем проигрывать Паустовскому свою оперу. Сам Паустовский был в это время в Тарусе, его жена Татьяна Алексеевна позволила привести в свою квартиру настройщика, тот все сделал, что от него требовалось, но когда узнал, что настраивал инструмент, при-

надлежащий писателю Паустовскому, ни за что не взял денег... Объяснил, что чтение произведений этого писателя с избытком вознаградило его за работу. Единственно, о чем он пожалел,— что закончил работу до возвращения Паустовского в Москву, не повидал его, не познакомился...

У меня огромное преимущество по сравнению с этим на-стройщиком: я провел с Паустовским бок о бок целый месяц. Облететь, объехать не только Европу, но весь земной шар можно и сейчас — и все же это будет не то: на свете нет больше такого дорожного спутника, как Константин Георгиевич Паустовский.



*К. Г. Паустовский подписывает читателям
свои книги. Париж, 1962 г.*

Юрий ТРИФОНОВ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ

Сначала тонкие книжечки в ярких детиздатовских обложках, потом изумление перед реальностью человека с медленным, хрипловатым разговором, его космическая отдаленность — он залетел на мгновение в старый особняк на улице Стопани, — потом привычное, радостное общение на семинарах, где думалось обо всем, о многом, бог знает о чем, ибо война прошла и нарождалось новое, и потом теплая, все растущая, громадная доброта. Но это обнаруживается не в молодых годах, а значительно позже. Когда иссякает доброта — исчезает талант. У Константина Георгиевича шло непрерывное нарастание, возвышение. Но в данную секунду не об этом, — о том, каким был Константин Георгиевич в моей жизни. Нескромно? Да, может быть.

Но иначе не скажешь. Константин Георгиевич вошел в нашу жизнь — и в мою тоже, — влился, впечатался, осветил, одарил. Ранняя весна тридцать девятого года, мне тринадцать лет, я езжу вечерами на метро от Библиотеки Ленина до Кировских ворот в переулок Стопани, в Дом пионеров, с двумя товарищами из класса — Левкой и Олегом. Левка пишет бесконечные научно-фантастические романы в толстых общих тетрадах в клетку, он известен в школе как местный Гумбольдт, как Леонардо из седьмого «Б», ибо он биолог, археолог, географ, океанограф, художник, музыкант и лишь в последнюю очередь *романист*. Левка записался в географический кружок. Олег — в исторический, хотя из рабского подражания Левке он тоже берется иногда сочинять произведения, детективные, про немецких шпионов, которые действуют под видом пожилых счетоводов и прелестных актрис, но у Олега, конечно, не хватает терпения и больше трех страниц он написать не в силах. Я же неизлечимо болен писательской чесоткой. Иногда я вскакиваю ночью, сажусь к столу и в сомнамбулическом состоянии пишу страниц десять какой-нибудь фантастики. Стараюсь наверстать упущенное: Левка пишет свои романы с пятого класса, а я только начал.

На втором этаже мы расстаемся. Я открываю высокую белую дверь, на которой висит на шнурочках табличка «Литературный кружок». Вера Ивановна Кудряшова, наша руководительница, шепчет: «Скорей занимай место! Ты опоздал! Мы ждем Паустовского!» Я действительно опоздал, все лучшие места вокруг столика, стоящего посреди комнаты, заняты, и когда появляется Паустовский в сопровождении бледной, сияющей Веры Ивановны — он двигается не спеша между стульями, склонив голову, глядя вниз, чтобы никого не задеть, улыбаясь несколько смущенно, совсем обыкновенный, не похожий на писателя, скорее учитель, в сером сюртучке, темнолицый, с худыми, впалыми щеками, охотник, обветренный тайгой, рот крепко сжат, сухие губы, что-то пиратское в этой складке, похож на старого далматинского пирата, ему бы феску, кальян, и вот он садится к столику, — я почти не вижу его. Мне приходится встать. Паустовского я читал много. Тогда мне казалось — почти все. Он один из любимых. «Судьба Шарля Лонсевиля» и «Летние дни» — это недавно. А еще раньше — «Колхида», «Кара-Бугаз» и «Черное море». И совсем недавно ходил в детский театр на постановку об одном астрономе, который заблуждался, — «Созвездие Гончих псов».

Приключения, путешествия, моряки, благородные люди, смельчаки и трусы, необыкновенные женщины, звери, охотники, леса. Все это чем-то напоминает моих излюбленных Фенимора Купера, Чарлза Робертса и Густава Эмара, но как-то ближе, понятней и гораздо заманчивей. У Купера и Эмара захватывающе интересно, но недостижимо, а у Паустовского — наслаждение жизнью, которое ждет и не минует тебя. И так хочется в эту жизнь скорей!

Паустовский рассказывает о своих друзьях Гайдаре и Фраермане. Задают много вопросов. Ведь все, кто собрались в этой комнате, хотят в будущем стать, ну, если не писателями — звучит страшновато, — то журналистами, литературными сотрудниками. Паустовский говорит:

— Нет ничего тяжелее писательского труда.

Голос негромкий, почти тихий, с хрипотцой. Голос человека, углубленного в себя, чем-то очень утомленного. Да, видно, так — нет ничего тяжелее! Но некоторые сомнения меня все-таки гложут. А как же Левка? Он пишет с необычайной быстротой. Толстую общую тетрадь за пятьдесят пять копеек он может исписать за три дня. Да я и по себе знаю. Рассказ про яйца вымершего динозавра, которые нашел один хозяин гостиницы в Коста-Рике, я написал за одну ночь!

Потом Паустовский задает нам вопросы:

— А ты о чем пишешь? А ты?

Один парень написал рассказ об испанской войне. Другой — о том, как ходил с отцом на стадион, смотрел басков. Девочка писала о домашних животных, очень остроумно, особенно о кошках. Еще одна сказала, что ее увлекает мистика. Паустовский заинтересовался мальчиком, который сказал, что пишет о червях. О том, как накопал червей для рыбалки, положил в банку и так далее, — словом, чепуха. Почему-то Паустовский долго разговаривает с этим мальчиком о червях. Настает моя очередь. Я говорю, что написал рассказ о вымершем динозавре.

— О каком именно динозавре? — спрашивает Паустовский.

— *Toxodon ptatensis*, — отчеканиваю я латинское название динозавра, вычитанное в одной книге.

Паустовский, как ни странно, не проявляет желания продолжать разговор, в котором я мог бы блеснуть. Все, что касается динозавров, я знаю великолепно. Бегло кивнув, Паустовский обращается к следующему:

— Ну, а что расскажет нам твой сосед?

И это было все в тот вечер в тридцать девятом году.

Я пришел в пустую квартиру, достал свои тетради с фантастикой и куда-то их закинул. Потом прошло лет восемь. Началась и кончилась война. В Литературном институте я был сначала в семинаре Федина, потом, когда Федин надолго куда-то уехал, стал посещать семинар Паустовского.

Паустовский пришел в институт позже Федина.

На первом же семинаре мы слышим суровое предостережение о том, что *нет ничего тяжелее*, и вновь эти слова скользят мимо сознания. Не с воспитательной ли целью говорится и не ради ли красного словца? Константин Георгиевич романтик, склонен к преувеличениям. Ах, да попросту молодость, суета, юный графоманский энтузиазм! Сколько упущено, не узнано, сколько зимних и весенних вечеров потрачено на вздор. И когда медленно шли с Константином Георгиевичем и Константином Александровичем по бульвару, — их семинары часто кончались почти одновременно, и они ждали друг друга в маленьком фойе на втором этаже, окруженные студентами, а я посещал то один семинар, то другой, — «Костя, ты готов?», «Одну минуту, Костя!» — и понимали умом, что это благостные минуты на воле, среди деревьев, в неторопливом гулянье после двух часов изнурительной, чадной говорильни, теперь бы спрашивать, узнавать самое важное и сокровенное, но глупость и вздор уже тащили куда-то, и казалось, что настанет какое-то более удобное время для того, чтобы спрашивать, узнавать. Ничего не настало. Тогда, на сырых бульварах, и было лучшее время.

Впрочем, так было со мной, а с другими, вероятно, иначе. Я знаю, что некоторые из семинара Паустовского — Кривенко, Балтер — стали впоследствии очень близки Константину Георгиевичу.

Должны были пройти годы, чтобы мы убедились, как был прав Паустовский насчет тяжести писательской доли. Особенно если относиться к этой доле так, как относился он. Его отношение к труду писателя было почти мистически уважительное. Любой писатель — пускай маленький, незаметный, ничтожно успевший, но *настоящий* — был для Константина Георгиевича существом в некотором смысле сверхъестественным. К нему предъявлялись особые требования, к обычным людям не применимые. Паустовский много думал и писал о людях, создающих книги. В предисловии к собранию своих сочинений на склоне лет он напишет: «Необходимо знать, какие побуждения руководят писателем в его работе. Сила и чистота этих

побуждений находятся в прямом отношении или к признанию писателя со стороны народа, или к безразличию и даже прямому отрицанию всего им сделанного».

Сила и чистота: в достижении этого и заключается трудность. И люди, стремящиеся к такому достижению — не всегда достигающие, даже никогда не достигающие, но боже мой, тут драгоценно стремление! — и есть *настоящие* писатели. Мы не были никакими писателями, но ощущали уважение Константина Георгиевича даже к себе — не конкретно к себе, как к начинающим бумагомарателям имярек, авторам таких-то опусов, а как к людям, волею судьбы причисленным к некоему тайному братству. В этом братстве все равны. Похожее сказал как-то Ю. Олеша: мол, все писатели мира это как бы *один писатель*, хотя их разделяют, может быть, океаны, бездны, тысячелетия.

Константин Георгиевич распределял свое внимание между учениками равно горячо и заинтересованно. У него не было любимчиков. Не было никакого ранжира. Все мы, сидевшие перед ним за длинными черными столами, были как бы *один писатель*, еще слабый и бедный опытом, нуждавшийся в помощи.

Демократизм был его природной чертой. Наверно, так же демократичен был Чехов. При всем своем громадном авторитете Константин Георгиевич не стал и не мог стать генералом от литературы. И, надо сказать, ненавидел проявления такого генеральства в других. Тут он находил язвительные слова и беспощадные, злые характеристики, — это я слышал позже, уже не в студенческие времена.

Семинары Паустовского дали нам много. Дело не в каких-то конкретных разборах, словах, примерах, — вернее, не только в них! — но и в том воздухе, который мы впитывали. Если не бояться высокопарных слов, то можно сказать: это был воздух *силы и чистоты*. То, о чем несколько торжественно заботился Константин Георгиевич, было ему присуще совершенно естественно и для него самого неприметно.

Один молодой автор читал отрывок из повести. Герой с девушкой, в которую он влюблен, попадает в театр. Описывались переживания героя, его неловкость, приключения в антракте, сюжет глупой пьесы, представлявшийся герою как бы в тумане. Слушатели все время смеялись. Константин Георгиевич тоже смеялся. Когда автор замолчал и, сконфуженный, засовывал листы рукописи вместо портфеля зачем-то под чернильницу, Константин Георгиевич сказал:

— Знаете, почему мы все смеялись? Нет, не потому, что это смешно. Потому что — правдиво...

В мимолетном замечании была глубокая мысль. Правда есть высшая ценность, добываемая искусством. И даже такая мелкая, бытовая правда, какую нащупал автор отрывка о театре, оказалась способной людей волновать, заставила их смеяться.

Значит, вот ради чего нужно стараться — ради правды во всех ее видах. Я помню, как читал на семинаре рассказ, написанный, как мне казалось, «под Паустовского». Не специально, разумеется, так получилось. Впрочем, там была «смесь» Паустовского и Хемингуэя. От Паустовского были взяты герои, фон, среда: молодые геологи где-то в горах, в Средней Азии. От Хемингуэя стилистика: недосказанность, многозначительные паузы. Рассказ был написан очень быстро. Я был уверен, что рассказ удался, — в те годы бывала такая оглушенность собой, — и рвался его прочесть.

Прочитал. Ребята как-то стесненно молчали. Константин Георгиевич, деликатно кашлянув, спросил, долго ли я его писал. Еще не выйдя из состояния глухоты, я ответил горделиво:

— Всего три дня!

— Этот ваш рассказ... — начал Константин Георгиевич слабым и несколько натушливым голосом. Таким голосом, очень неохотно, через силу, он тянул обычно, когда собирался ругать, и тут я как бы вдруг очнулся. — Этот ваш рассказ, дорогой Трифионов, весь насквозь придуман. В нем нет ничего достоверного. Вы не знаете ни геологов, ни гор, ни Средней Азии. Единственное, что вам хорошо известно, — как играют в ма-чжонг.

Я с ужасом подумал: «Старик прав!» (Мы называли его между собою Стариком, вполне любовно, хотя он вовсе не был тогда стариком, да и впоследствии им не стал.) Действительно, я все придумал. А в ма-чжонг я играл с детства.

— Но непонятно, зачем ваши геологи играют в эту игру ленивых китайских торговцев...

Единственная достоверность в рассказе была уничтожена. Наказание — я изменил правде. Что ж, нельзя придумывать? Долой вымысел? Вымысел становится искусством, когда в его сердцевине — правда. До этого я додумался позже.

Через несколько лет я познакомился с геологами, с горами и со Средней Азией. Весной 1952 года поехал в Туркмению. Что потянуло туда? Да, Паустовский тоже. Может быть,

бессознательно. Может, это был тот воздух, которым мы надышались на семинарах,— путешествия, романтика, поиски достоверности. Константин Георгиевич много писал и рассказывал о географических картах. О своей любви их рассматривать. Каспий, Красноводск, пустыня вокруг Казанджика, долина Атрека — как я их излазил, исщупал, еще сидя в Москве! И, конечно, меня тянуло в унылый каспийский простор, знакомый со школьных лет, с «Кара-Бугаза», с лейтенанта Жеребцова.

Это было странное возвращение: в места, где я не бывал никогда. И в то же время — места моего детства.

Однажды на семинаре говорили о подтексте, о краткости, об умении отжимать жир, воду, оставлять мышцы. О том, что искусство писать есть искусство вычеркивать. Константин Георгиевич сказал, что давно мечтал написать предельно краткий рассказ — такой, чтоб уж больше ни одного слова вырвать нельзя, иначе рассказу конец, смерть.

Не знаю, выполнил ли когда-нибудь Константин Георгиевич эту рационалистическую задачу, думаю, что нет, ибо фантазия — неодолимое свойство его писательского существа — неминуемо отвлекла бы в сторону. После института были встречи в Москве, в Переделкине, в Ялте. Влияние Константина Георгиевича на всех нас, его бывших учеников, продолжало расти,— может быть, не прямо, отраженно, системой зеркал, ибо между нами были пространства, годы, обстоятельства. Но теперь мы старались понять не то, как строить фразу, делать концовку, а — как строить жизнь, делать судьбу.



Березовая роща на окраине Тарусы.

Леонид МАРТЫНОВ

Из письма, прочитанного на вечере, посвященном семидесятилетию К. Г. Паустовского

На днях в магазине политической книги я купил новинку — книгу «В мире мудрых мыслей», цель которой, как сказано в предисловии, «познакомить широкие круги народа с некоторыми глубокими и остроумными мыслями выдающихся представителей человечества». В этой книге я нашел ряд цитат из Ваших произведений, Ваши высказывания о любви, знании, творчестве: «Счастье дается только знающим...», «Тот не писатель, кто не прибавит к зрению человека хоть бы немного зоркости».

Составители книги Вашими словами, Константин Георгиевич, сказали о Вас. Вы действительно прибавили людям немало зоркости. Ваши полные

жизненной правды произведения, Ваше лирически
мягкое и, быть может, именно этим и мощное твор-
чество помогает людям видеть и вперед, и ввысь и
помогает им чувствовать

И какова природа звезд,
И какова земли утроба
И очертанья всех существ
От исполина до микроба.

Вы, которого я представляю себе всегда

идушим
по границе прошлого с грядущим,

помогаете людям приглядеться и

к нутру
морей и воздуха и суши

и увидеть,

как мечутся на ветру,
как шубы вывернутые души.

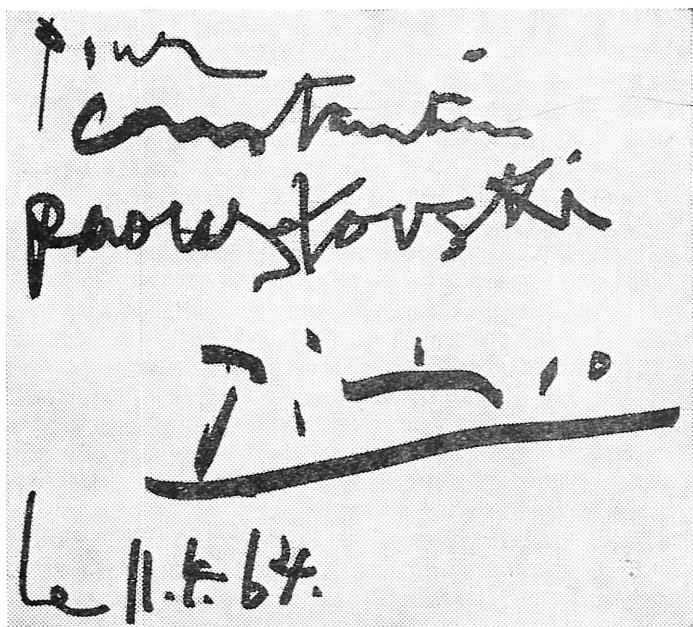
Может быть, Вы и не имели в виду именно это, но я-то, читая Ваши произведения, зачастую испытываю именно эти чувства, чувства, которые выражены в вышеприведенных моих стихах. И за то, что Вы пробуждаете во мне эти чувства, эти мысли, я и люблю Вас, люблю так же горячо, как любят Вас миллионы старых и молодых Ваших читателей. Я вижу этих читателей — и старых людей Черноморья, которые, читая Ваши произведения, окончательно уясняют себе, кем они были и кем они стали, и молодых людей всего Советского Союза, которые, читая Вас, уясняют себе, кем они могут быть. Вот откуда Ваша популярность, вот суть Вашей доходчивости до самых широких читательских масс. И я желаю Вам всего лучшего в Вашем дальнейшем творчестве. Эти пожелания я хотел высказать на вечере, посвященном Вашему творчеству, 31 мая. Однако излагаю это письменно, потому что, к сожалению, не могу быть на вечере, еду в Венгрию. Но знаю, что и там одним из первых вопросов, какие зададут мне венгерские друзья, будет вопрос — как

Вы живете, как себя чувствуете, потому что и там Вас ценят, как, впрочем, и в соседней Чехословакии, и в Польше, да и в любой стране, дорогой Константин Георгиевич.

Поздравляю Вас с днем рождения и желаю долгих лет жизни в добром здоровье.

25. V. 62 г.

Леонид Мартынов.



Дарственная надпись на книге репродукций Пабло Пикассо.

Л. ЛЕВИЦКИЙ

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Писать воспоминания о человеке, которого ты хорошо знал, как это ни странно по первому впечатлению, куда труднее, чем рассказывать о том, с кем ты встречался считанное число раз. Тут одной памятью не обойдешься. Тут нужен особый дар — сродни художническому.

В своих заметках я не пытаюсь воссоздать портрет или характер Паустовского. Задача у меня более скромная. Вспомнить эпизоды жизни писателя, очевидцем которых мне случилось быть.

Мне повезло. В последние десять лет его жизни я часто видел и слышал Константина Георгиевича: в маленьком домике в Тарусе, в Доме творчества в Переделкине, в больницах на улице Грановского и в Кунцево, в санаториях «Барвиха» и «Пушкино» — и больше всего в его московской квартире на Котельнической набережной.

Знаменит он был уже тогда на всю страну.

Виктор Борисович Шкловский рассказывал, что как-то он, Константин Георгиевич и еще несколько человек надумали пойти на новый фильм. Билеты заказали по телефону. Паустовского что-то задержало дома, и он должен был подойти прямо к началу сеанса. Когда Шкловский и его спутники стали пробиваться к кассе, перед которой вытянулся длинный хвост, очередь волновалась и неодобрительно гудела. Виктор Борисович, успокаивая разбушевавшиеся страсти, стал оправдываться, говоря, что он не собирается делать ничего предосудительного, он только хочет получить билеты, заказанные на имя Паустовского. И тогда последовала мгновенная реакция. Раздался не один, не два, не три, а целый хор иронических возгласов: «А для Льва Толстого, дорогой гражданин, билетов случайно не заказывали?» Ни в чем не повинного Шкловского заподозрили в изощренном коварстве: дескать, вот ловкач, смекнул же, каким именем прикрыться.

Популярность Паустовского была огромной. Книги его, едва попав в магазины, тотчас же расходились. От почитателей отбоя не было. Ежедневно почта приносила ему десятки писем. Откуда только ему не писали! И с какими только вопросами, сомнениями и просьбами не обращались!

Зная, как осаждают Паустовского назойливые посетители, как отбивается он от восторженных поклонников, я старался как можно реже попадаться ему на глаза. Но сам он неизменно звал приходиться. Иногда даже звонил: «Вы свободны сегодня вечером? Может, зайдете?»

Вряд ли я представлял для него особый интерес, но я писал о нем книгу, и он догадывался, какой интерес он представляет для меня. Новые люди, по-видимому, тяготили его, — легко он чувствовал себя лишь с теми, к кому привык. Не знаю, как это случилось, но ко мне он привык.

Вставал Константин Георгиевич чуть свет, а зимой затемно. Наскоро выпив стакан чаю, садился работать. Прерывался, чтобы позавтракать, и возвращался к письменному столу, работая до обеда. После обеда отдыхал, а вечером охотно бывал на людях.

В прихожей двухкомнатной квартиры на Котельнической по правую руку от входной двери стоял длинный овальный стол, за которым по вечерам собирались домашние Паустовского и два-три человека, пришедшие в гости. Обычно на столе стояли бутылки вина и графин водки.

Константин Георгиевич — было ему уже под семьдесят, и

болезни то и дело напоминали о себе — охотно выпивал рюмку-другую, но никакими силами нельзя было уговорить его выпить еще. Он не выносил, когда бутылка становилась главным предметом внимания. Как-то я не удержался и спросил его, случилось ли ему когда-нибудь быть сильно под хмельком. Он растерянно улыбнулся, признавшись, что лишь раз в жизни, когда кончил гимназию, так набрался, что наутро никак не мог вспомнить, что же было накануне. С тех пор такое ни разу с ним не повторялось.

— Я не понимаю, — сказал он однажды, — как это писатель может увлекаться питьем, когда такую роль в писательской работе играет память, а ее-то в первую очередь и отшибает алкоголь.

Неприязнь к чрезмерным возлияниям сочеталась у него с любовью к застолью. Ему по душе было, когда от чуть-чуть выпитого люди становились оживленнее, свободнее, непринужденнее. Но только не развязнее.

Настежь раскрытый в своих повестях и рассказах, готовый душу распахнуть перед читателем, Паустовский в отношениях с людьми отличался удивительной сдержанностью. Человек по натуре замкнутый, он запанибрата ни с кем не был, и мало что так претило ему, как амикошонство. Даже с ближайшими своими товарищами, с кем он был знаком смолоду, с кем годами жил бок о бок, к кому питал давнюю и искреннюю приязнь, как с Фраерманом, он оставался на «Вы». Не обходилось, правда, без курьезных исключений. Один разбитой писатель, годившийся по возрасту Константину Георгиевичу в сыновья, находил вполне уместным говорить ему «ты». Помнится, я даже вздрогнул, услышав, как этот писатель фамильярно сказал: «Что ж ты, Костя, нос повесил?» Потом меня осенило, что удивляться нет никакого резона. Инициатива поразившей меня короткости принадлежала не Паустовскому, а его литературному знакомцу. Можно не сомневаться, что попадись на глаза последнему живой Пушкин, он во мгновение ока подлетел бы к поэту, хлопнул его по плечу и как ни в чем не бывало сказал бы ему: «Ну что, брат Пушкин? Как живешь-можешь?»

Как-то разговор зашел о том, что заставляет человека браться за перо и идти по торному пути писательства. Раздался тихий голос Паустовского: «Помните, что сказал по этому поводу Гоголь? Он сказал: зачем бы я стал писать, если бы умел говорить».

Паустовский говорить умел не хуже, чем писать. Он был не

собеседником, не полемистом, не остроловом, а рассказчиком. И застолье было ему по сердцу потому, что ничто, помоему, не доставляло ему такой радости, как рассказывать в кругу близких людей были и истории, запас которых был у него неистощим.

И хотя некоторые из этих рассказов — увы, далеко не все — были им записаны и вошли в его книги, те, кто только читали их, а не слышали из уст самого Константина Георгиевича, потеряли бесконечно много. Не думаю, что, обретя окончательную литературную форму, эти рассказы становились слабее предшествовавших им устных вариантов. И если порой тем, кому посчастливилось и прочесть, и услышать их, казалось, что в письменном виде они потускнели, то это скорее всего объясняется не какими-то литературными потерями (убежден, что их не было), а обстоятельствами совсем другого рода. Прежде всего, наверно, двойным эффектом присутствия автора. Прекрасное стихотворение действует на нас сильнее всего в чтении самого поэта. Первое впечатление, — особенно, когда возникает иллюзия, что в твоём присутствии и на твоих глазах творится рассказ, — памятнее всех последующих. Не последнюю роль играла повествовательная манера Паустовского. Рассказчиком он был отменным. Он не просто рассказывал — он как бы исполнял свои рассказы, как бы проигрывал их.

Признаться, на первых порах это никак не укладывалось в голову. Из чего только что бралось? Мимика и жесты самые скупые. Ни малейшего наигрыша, ничего похожего на актерство. Паустовский пользовался только словом. Но и тут он был ограничен своим голосом — хриплым, сдавленным, скрипучим, задущенным астмой. При таких голосовых данных и помышлять нельзя было об артистизме. Но именно артистизмом, удивительной способностью двумя-тремя фразами лепить характер человека, перевоплощаясь в него, покоряли устные рассказы Константина Георгиевича. Они выглядели импровизацией, но им предшествовала большая предварительная работа.

В конце пятидесятых годов Паустовский и С. М. Алянский поехали в Одессу. В один из вечеров после их возвращения в Москву Алянский попросил Константина Георгиевича рассказать о какой-то приключившейся с ними во время поездки истории. Паустовский, которого обычно не приходилось в таких случаях долго упрашивать, в этот вечер не поддавался ни на какие уговоры. И когда кто-то настойно стал допытывать-

ся, отчего это он так непреклонен, Константин Георгиевич развел руками и, отчеканивая каждое слово, сказал: «Этот рассказ пока еще у меня не готов». Раздался смех, но право же в этой шутиливой фразе таилась доля истины...

Мне всегда казалось, что не дешево досталась Паустовскому способность публично говорить. Он был наглядным подтверждением старинного латинского изречения: поэтами рождаются, ораторами становятся. Он стал и оратором, но чего это ему стоило! Сколько препятствий должен был он преодолеть, чтобы выйти на трибуну и заставить себя слушать! Не только слабый и хриплый голос сковывал его. Ему ежеминутно приходилось подавлять врожденную застенчивость, от которой он так и не избавился до конца дней своих. Усилием воли он побеждал робость.

Константин Георгиевич нередко производил ложное впечатление. Оттого, что ему органически претила всяческая крикливость, оттого, что он неизменно был мягок и деликатен в обращении с людьми, его склонны были считать человеком податливым, чуть ли не мягкотелым. Трудно придумать что-нибудь более далекое от характера Паустовского, чем эта распространенная легенда. Все, что ему было дорого, в чем он был твердо убежден, он отстаивал с бескомпромиссной последовательностью. Он не вступал в споры, не предавался разглагольствованиям, а неколебимо стоял на своем.

Рассказывая о Блоке, он говорил о том, что Блок терпеть не мог споров и всегда уклонялся от них. И даже если собеседник высказывал мысли, вызывавшие у него внутренний протест, то и в этом случае Блок не терял самообладания и выдержки — он только спрашивал: вы так думаете? Не могу поручиться, что Блок всегда был именно таким, каким он представлялся Паустовскому. Тем более что Константин Георгиевич никогда не встречался с Блоком, хотя и ловил с жадным вниманием все, что можно было прочесть или узнать об одном из самых любимых своих поэтов. Но этот рассказ поучителен тем, что в нем явственно проступает характер его автора, человека терпимого и терпеливого, склонного не слишком строго взыскивать с ближнего за более или менее, простибельные грехи. Что же касается споров, то могу засвидетельствовать, что поначалу и Паустовский обычно бывал готов высказать свое мнение, но, видя, как быстро спорщики забывают о том, что вызвало их недюжинную полемическую энергию, как поиски истины чем дальше, тем больше подменяются заурядным стремлением любой ценой утвердить себя и по воз-

возможности больше уколоть противника, у него постепенно угасал всякий интерес к жаростно борющимся друг с другом потокам словоизвержений — и он хмуро и молча ждал, когда можно будет продолжить спокойный разговор.

Константин Георгиевич редко и нехотя говорил о себе. Куда чаще говорил о других. За десять лет я ни разу не слышал, чтобы он похвалился какими-то откликами на свои вещи. И это при славе, которая все росла и росла. Два раза на моей памяти в его словах можно было уловить оттенок затаенной гордости. Первый раз — когда Пабло Пикассо прислал ему книгу своих репродукций с дарственной надписью. И второй раз — когда пришло письмо от Альберта Швейцера, а в нем фотография этого известного всему миру гуманиста с автографом. Кто бы этим не гордился!

В чьих-то воспоминаниях рассказывается, как писатель Георгий Чулков недоумевал по поводу того, что на письменном столе его друга Александра Блока всегда царил идеальный порядок, что каждая вещь занимала на нем строго определенное место. Чулков, в сознании которого поэт был неотделим от «поэтического беспорядка», как-то спросил у Блока, откуда у него эта, непостижимая для артистической натуры, страсть к аккуратности и систематичности, и высказал предположение, что коренится она в происхождении поэта, в жилах которого течет и немецкая кровь. Блок рассердился: при чем тут кровь, порядок — самозащита от хаоса.

Под этими словами Паустовский подписался бы обеими руками. Он терпеть не мог беспорядка во всем, что хоть отдаленно и косвенно касалось работы. Он никогда не садился к письменному столу, тщательно не одевшись. Застать его врасплох было невозможно, он всегда выглядел подтянутым, аккуратным. Мне никогда не приходилось слышать от него разговоров о «тряпках», но одевался он не без щегольства. Валентина Сергеевна Фраерман рассказывает, что когда Константин Георгиевич жил на Дмитровке, он каждое утро приходил за утюгом. В мятых брюках он из дому не выходил. В июле 1959 года приехал я в Тарусу, чтобы взять у него интервью для одной из московских газет, и, зная, что он встает рано, не посовестился позвонить ему в половине восьмого. Он попросил меня зайти тотчас же. Когда через десять минут я пришел к нему, он был выбрит, в костюме, в галстукe, точно собирался куда-то пойти.

Тем удивительнее, что Константин Георгиевич был совершенно равнодушен к уже написанным рукописям — как опуб-

ликованным, так и к не появившимся еще в печати. Словно следуя известному завету: «Не надо заводить архива, над рукописями трястись», он не собрал у себя дома все, что написал и напечатал за свою долгую журналистскую и писательскую жизнь, и разбираться его архив начал по почину Татьяны Алексеевны только тогда, когда большую часть времени Паустовский стал проводить в больницах.

В то летнее утро, когда я брал у него интервью, он сказал:

— Я думаю,— наверное, это случается с каждым писателем,— не о тех книгах, что когда-то мною были написаны, их даже порой забываешь, а думаю я о том, что пишу сейчас и потом напишу,— дай только бог, чтобы у меня хватило времени написать все, что я задумал.

Времени ему не хватило. Кому и когда хватало его?

В 1957 году, когда начало выходить собрание его сочинений и не поздно еще было включить в него новые вещи, я в разговоре с Константином Георгиевичем занкнулся о том, что у меня хранится машинописная копия его первого рассказа. Паустовский оживился и попросил принести его, сказав при этом, что он не перечитывал его с тех самых пор, как он был опубликован в киевском журнальчике, и что — чем черт не шутит! — может статься, что его удастся напечатать в собрании сочинений. Когда через непродолжительное время я спросил Константина Георгиевича, как он решил поступить с рассказом, он с непривычной для него сухостью сказал, что предпочитает его не перепечатывать.

Я стал красноречиво доказывать автору, что рассказ этот надо непременно напечатать, немедленно, сейчас же, благо выход собрания сочинений — счастливейший для этого повод, что читателю всегда интересно узнать, с чем полюбившийся ему писатель пришел в литературу, что для гимназиста, впервые берущегося за перо, рассказ «На воде» совсем не плох — тем более что он как в зародыше содержит то, что развернулось в дальнейшем его творчестве.

Паустовский слушал меня без большого подъема, и доводы мои, по правде говоря, не показались ему убедительными. Он вздохнул и сказал:

— Может быть, вы и правы. Может быть, для гимназиста этот рассказ не так уж и плох. Но в собрание сочинений его включает не упоенный первым успехом гимназист, а кое-что

повидавший на своем веку старый писатель, отбирающий из своих вещей то, под чем и сегодня, не краснея за себя, он может подписаться. Печатать его в том виде, в каком он когда-то был написан, я не могу — слишком многое меня в нем царапает, — а переписывать его заново, по-моему, не совсем честно. Совестно вводить читателя в заблуждение и делать вид, что уже в юности я обладал опытом, какой пришел ко мне с годами.

По радио передавали его рассказ. Читал его малоизвестный актер напыщенно и слезливо. Константин Георгиевич мрачнел на глазах. Потом не выдержал, встал и выключил приемник. При этом он бросил на меня такой свирепый взгляд, как будто я нес ответственность за это чтение, — а вся вина моя состояла в том, что, узнав о передаче, я предложил ее послушать. Наступило тягостное молчание. Нарушил его Паустовский:

— Как вам это нравится? На днях встретил собрата, которого не видел сто лет. Полчаса рассыпался в любезностях и комплиментах. И такой я, и разедакий. И все дело, видите ли, в том, что я в рубашке родился. Хороша рубашка, нечего сказать! Наперечет могу назвать даровитых актеров, читавших мои вещи. Зато бездарные актеры актерычи сочли меня сущим кладом, с их легкой руки я и выгляжу непереносимым пошляком. Не побежишь ведь каждому доказывать, что я тут ни при чем. А как оформляют мои книги? Какие иллюстрации к ним делают? Не хочу грешить, я многим обязан художникам и графикам. Но кое-кто почему-то думает, что раз я пишу о природе, раз такое значение придаю пейзажу в литературе, то мои книжки лучше всего снабжать картинками, на которых непременно надо изображать то цветочки, то ветку сирени, то плакучую иву, то еще что-нибудь в этом духе. Хоть плачь. Все эти набившие оскомину штампы только притупляют восприятие, убивают воображение и мешают видеть русскую природу, вся прелесть которой в скрытой напряженности, в отсутствии кричащих красок и броских тонов. Говоря высокопарно, над всеми этими картинками витает дух олеографий Елизаветы Бём — была художница такая, а люди вашего поколения и слыхом, наверно, не слыхали о ее псевдонародных открытках, бывших когда-то в моде. Можно обмануть доверчивых людей с неразвитым вкусом, но время не обманешь. Оно знает, что сохранить и что отбросить.

...Тема искусства постоянно возникала в разговорах Паустовского. Культура была для него не складом, где беспорядочно свалено или сложено в идеальном порядке — это ведь не имеет ровно никакого значения — множество богатств, пусть и самых драгоценных, а явлением живым, сегодняшним, отсутствие которого сразу же делает наше существование пресным и унылым.

Великие писатели прошлого были для него совершенно живыми людьми — такими же, а порой и более реальными, чем те, кто ходили к нему в дом и с кем его связывали дружеские узы.

Константин Георгиевич не на шутку сердился, когда кто-нибудь в его присутствии позволял себе сказать, что у нежно любимого им Лермонтова был трудный характер и что будь он менее задиристым, дело не дошло бы до рокового поединка с Мартыновым.

— Скажите пожалуйста, — возмущался он, — неуживчивый характер! А то, что он мальчиком был свидетелем страшных семейных распрей, от которых и взрослый мог поседеть, это, разумеется, в расчет не берется. Когда человек пишет такие стихи, какие писал Лермонтов, когда в каждом его слове сквозит гениальная одаренность, на какие-то выходки, ей же богу, можно смотреть сквозь пальцы. Неужели вы думаете, что мы сильно выиграли бы, если бы не было ни этих выходок, ни гениальных поэтов? Или вы взяли себе за правило следовать прелестной логике гоголевской героини: кабы характер нашего милого, такого любезного и покладистого соседа дать Лермонтову — цены бы ему не было. Так, что ли?

Как Чехов и Бунин, которых он так почитал, Паустовский далеко не все принимал в Достоевском. Слушая, как мы захлебываемся от восторга, говоря о романах Достоевского, он никогда не упускал случая сказать, что Достоевский писал слишком торопливо, что, конечно, на то были всякие резоны, но что это не должно служить оправданием для других.

— Бывает ведь так, — сокрушался Константин Георгиевич, — что писатель написал свою вещь сырым и неряшливым языком, а когда говоришь ему об этом начистоту, он немедленно, как щитом, заслоняется Достоевским, ссылаясь на то, что язык-де не имеет в литературе того значения, какое ему приписывают, что далеко не совершенный язык не помешал Достоевскому занять одно из самых видных мест в русской литературе. Если бы кто-нибудь, — мечтательно говорил он, —

освободил Достоевского от унижительных забот о куске хлеба, его романы были бы выше всего, что есть на свете.

Не могу припомнить ни одного разговора о литературе, в котором Паустовский рано или поздно не свернул бы на язык. Не было в его устах более уничтожающего слова, чем слово «косноязычно». Он недоумевал, как это можно называть себя писателем, пользуясь стертым, стерильным, как он выражался, языком, удручающим своей полной безжизненностью. Но не менее суров был он и к языку нарочитому, искусственному, выдуманному.

— Положил писатель перед собой, — иронизировал Константин Георгиевич, — словарь Даля — и давай тянуть оттуда диковинные слова. И гордость его распирает: смотрите, какой я мастак, какие словесные тонкости и фокусы знаю, какие словесные кружева вышиваю. А что этот вымученный стиль ничего общего не имеет с живым языком, на котором говорят вокруг него люди, — это его нимало не трогает. Для кого же это пишется? Какое впечатление произвела бы на вас женщина, с головы до ног увешенная драгоценностями? Ручаюсь, что это было бы вам не по вкусу. Не знаю, что лучше — этот словесный антикварный магазин или языковое убожество. Нелепый вопрос. Все равно что спросить: вы что предпочитаете — чуму или проказу? Алексей Толстой, Платонов, Бабель — они знали, что такое язык, они доказали, что самые сильные вещи достигаются простейшими языковыми средствами.

Из-за болезни он вынужден был уйти из Литературного института, где он не один год вел семинар по прозе. Он и любил эту работу, и тяготился ею. Она отрывала его от письменного стола. Бывшие его ученики разъехались по стране. Поразному сложились их судьбы. Некоторые стали известными писателями. Одни продолжали ходить к нему в дом. Другие исчезли из поля его зрения. Он то и дело расспрашивал о своих питомцах. Как живут? Что пишут? Не прельстились ли легкой литературной добычей? Когда при нем хвалили книгу писателя, работавшего когда-то в его семинаре, с гордостью говорил: «Мой ученик». Но однажды сделал горькое признание:

— Вот говорят — учитель. Помните у Пушкина? «И за учителей своих заздравный кубок подымает». И есть за что. Даже когда учение достается такой тяжелой ценой, какой оно досталось Петру. Если делу учили. Если своих учеников хорошими людьми хотели сделать. Но учителя ведь разные. Один одному учит. Другой — другому. И где гарантия, что твой ученик на-

учился тому, чему ты его учил? Я ведь никогда не советовал легкие пути искать. И гнаться за успехом. Надо писать, а успех — дело капризное. Не всегда он достается тому, кто больше всего заслуживает его. Кукольник был известнее Тютчева. Ну и что? И литературу надо любить больше, чем аплодисменты, — не всегда их зарабатывают, иногда и срывают. Сорвал писатель успех, ходит надутый, как индюк. Попробуй ему сказать, что что-то у него не так, — обидится. В каждом, кто правду говорит, будет видеть завистника и врага. Окружит себя подхалимами и пустится во все тяжкия. Об одном думать будет — как бы поскорее в классики забраться. Даром это ему не пройдет. Запас впечатлений начнет таять, талант иссякать. А держаться на поверхности-то надо. Вот и станет товарищей своих расталкивать локтями, стыд и совесть потеряет. А спросят этого индюка, кто ему помог сделать первые шаги в литературе, — и он ответит: «Паустовский». Но я-то тут при чем? Разве я этому учил? Надо постоянно проверять себя с точки зрения своей молодости, чтобы не притуплялись непосредственность чувств и смелость мысли. Кто не расстается с молодостью, за того можно не беспокоиться.

Грешным делом, я мытарил его вопросами. Как написалась одна его книга, почему он стал писать другую? Некоторые из рассказов я, приходя домой, записывал. Вот один из них:

«Писал, писал, не так уж худо вроде бы, а все, как вода в песок, уходило. Читать меня с «Кара-Бугаза» стали. Если книга удалась, то причина была в том, что в нее вошло многое из того, что меня интересовало. Странная вещь получилась. Весь жизненный опыт пригодился. Сначала написал главу «Кара-Ада». Думал ограничиться только ею, потом решил продолжить работу. В Среднюю Азию собирался поехать с Роскиным. Сговорились даже вместе книгу писать. Но в последнюю минуту Роскин переменял свои планы и предложил поехать в Армению. А я уже настроился на Среднюю Азию. Волей-неволей пришлось отправляться одному. Поездка была трудной, но зато интересной. Привез из нее бесценный материал — и за работу. Написал ее легко, за месяц. Понес рукопись в издательство. Там меня спрашивают, сколько писал ее. Если бы признался, что месяц, меня заклевали бы: как вам не стыдно халтуру нам приносить, разве можно за месяц написать повесть? Я и сказал: «Пять месяцев». И слышу в ответ: «Как быстро». Рукопись сдал и уехал себе в Солотчу. По рыбной

ловле соскучился, да и писать новое хотелось. Вышел «Кара-Бугаз», и шум поднялся. Статьи, рецензии, наперебой хвалят. А я живу себе тихо и знать ничего не знаю об этом. Вдруг телеграмма от Фраермана: «Пусть гром вашей славы достигнет вас на берегах Пры». Прибежал Роскин — он жил рядом со мной — и уговаривает поехать в Рязань, узнать, что к чему. Но что узнаешь в Рязани? Чтобы все толком узнать, надо в Москву. А в Москву приедешь — и завертит суета. Никуда я не поехал. И умно сделал».

В Тарусе выпал мне однажды блаженный вечер. Мы были вдвоем в доме. Телефон молчал. По техническим причинам. Какая-то поломка на линии, починить которую обещали только к утру. Константин Георгиевич рассказывал, а я сидел не шелохнувшись и слушал.

— Вы не знали Никандрова? Был такой писатель. Удивительный старик. Биография такая — на десятилетия хватило бы. Кем только не был! Чего только на своем веку не повидал! Авантюристическая жилка сидела в нем. Потому и к эсерам подался. В революцию пошел потому, что человеком был хорошим и активным, а вот к эсерам — из тяги к конспирации, динамиту, побегам. На седьмом небе был, чувствуя себя заговорщиком. Террористические акты готовил. Кого-то предупреждал о грозящих арестах. Кому-то побег устраивал. Жил по фальшивому паспорту. Гоголем ходил перед самым носом жандармов. И вдруг — сцапали. Докопались до того, чем занимался. Времена были тяжелые, могли и к смертной казни приговорить. Но ему помогли бежать. За границу. Помотался в одном месте, потом в другом и ненароком в Монте-Карло завернул. А как это — очутиться в Монте-Карло и казино миновать, когда знаменито оно на весь белый свет... Ноги сами понесли его туда. Не той породы был, чтобы оставаться зрителем. Он и в жизни-то игроком был, как же тут удержаться? Решил судьбу испытать. Какие деньги были на месяц или на два, он и поставил. И проигрался в пух и прах. Без сантима остался, стакана лимонада и то не купишь. Знакомых никого. Французский язык еле-еле знает. Хоть руки на себя накладывать. Там нередко это бывало. Спустит человек последнее, что у него было, — и пулю в лоб себе. Вышел Никандров из казино уже под утро. Рассвело. Листья на деревьях в росе. Птицы поют. Чудный день занимается, а у него в кармане хоть шаром покати. Состояние, сами понимаете, какое. На себя

смотреть противно. Не шантрапа же он, не скучающий бездельник — и такая история. В Монте-Карло тогда, лет за семь до первой мировой войны, обычай такой был. Если проигрывается человек, он может пойти к директору казино, сказать, из каких он мест, и тот дает ему деньги на то, чтобы домой вернуться. Потом хозяева рулетки осмотрительнее стали, вместо наличных какую-то бумажку выдавали — ты приходишь в кассу и получаешь билет до нужного тебе места. Но когда с Никандровым беда приключилась, деньги еще на руки выдавали. Он пошел к директору и с грехом пополам объяснил, что он из России, не повезло ему и он хотел бы получить деньги на обратный путь. Директор не стал вдаваться в подробности, спросил только, куда русский господин направляется. Никандров смекнул, что к чему, и говорит, что он родом из... Владивостока. Посмотрел директор в какую-то книжечку и выдал ему приличную сумму. Ну, слава богу, думает Никандров, пронесло. Собирался уж на вокзал пойти и пошел ведь чин чинном, только каким-то непонятным образом вместо вокзала опять в казино оказался. Ну, думает, быть того не может, чтобы судьба дважды со мной по-свински обошлась. От каких напастей спасла, а тут за здорово живешь пропасть даст. И снова к игорному столу. Раз поставил — рулетка сыграла, и половины денег нет. Еще раз поставил — плакала и вторая половина. Пуст карман. Никандров, пока играл, заметил, что когда крупные лопаткой деньги со стола сгребает, какая-то часть серебра на пол падает. Никто за этой мелочью не нагибается, не подымает ее. Лежит она себе на полу, а игроки глаз с рулетки не сводят. Никандров нагнулся, чтобы монету поднять. Не успел еще ладонь на пол как следует опустить, как чуть от боли не вскрикнул. Поднял голову и видит лакированный тувель, а над ним брюки — и больше ничего. Рука-то к полу прижата и распрямиться ему не дает. «И на старуху, — вспоминая свою оплошность, жаловался Никандров, — бывает проруха. Будь я поглазастее, увидел бы, что какие-то подозрительные субъекты вдоль стен расположились, как на посту стоят, — все у них распределено, монеты, падающие на пол, их признанный трофей. Поднялся я с пола. Денег нет. Рука распухла и ноет. Поплелся я, проклиная свой азартный характер... Но удивительнее всего, что ни о чем я не жалею. В Россию мне в то время дорога все равно была закрыта. Молодой был, сил хватало, никакой работы не боялся. С голоду, как видите, не помер, зато на старости лет есть что вспомнить».

Меня иногда спрашивают, и вы, если память не изменяет, тоже такой вопрос задали, не повлиял ли на меня как на писателя Короленко. Почему-то многие считают, что я от него пошел. Короленко для меня был больше, чем писатель. Уважение вызывал безграничное. И это не моя заслуга. Его имя я услышал еще мальчиком, когда до меня, занятого своими детскими делами,—сами помните, сколько в детстве у нас дел было, тебя спать укладывают, а ты еще массу вещей собирался сделать,—долетали обрывки разговоров взрослых. Они о нем говорили с благоговением. Как о человеке, который, не думая ни о каких тяжелых последствиях, правое дело готов в любой момент броситься защищать. Отец всегда говорил, что у Короленко безошибочный инстинкт справедливости. Книги его — «Слепой музыкант», «Без языка» и другие, что он писал,—нравились мне, конечно, но никогда они на меня не действовали так, как действовали в молодости Чехов, Бунин, Блок. В юности Бунин и Блок действовали даже сильнее, чем Чехов. Еще гимназистом вышел я с рассказом на широкую публику, но в глубине души считал себя поэтом, наивно думая, что раз стихи ближе мне, чем что бы то ни было другое в искусстве, в них-то и мое предназначение. Бунин мне нравился и прозой, и стихами своими. В этих стихах находил я совпадение с тем, что сам видел и чувствовал, и поражался этому. А ведь о чем эти стихи были? Ничего особенного вроде бы. То, что наизусть знаю. И с такой точностью, что диву даешься. Блок нравился совершенно другим. Тем, что в его стихах загадочность, таинственность, «мир, закутанный в цветной туман» — какая-то особая заманчивость. Бунин нравился мне законченностью, Блок — недосказанностью. Что к законченному добавить нечего, это и младенцу ясно, но что и к недосказанному прибавить ничего нельзя, что в нем тоже своего рода законченность,—это было для меня в те годы ошеломляющим открытием. Писал я стихи, писал и решил послать их одному из любимых поэтов. А вот когда набрался нахальства показать стихи, выбрал не Блока, а Бунина. Почему на нем, а не на Блоке, остановился? Бог его знает,—наверно, он мне доступнее показался. А может быть, шестым чувством догадывался, что мне на роду написано прозаиком быть, и хотел твердо увериться, что же мне писать — стихи или прозу. Это было так давно, что иногда сомнение берет, было ли вообще это. Но было, раз ответ Бунина сохранился,—Дим недавно разыскал бунинскую открытку и принес ее мне. Вы подумайте, какой-то самонадеянный мальчишка свои вирши ему прислал,

а он, один из первых писателей России, тогда уже классик, нашел время прочесть юношеский бред и угадать в нем какие-то возможности автора. По гроб жизни ему благодарен. Черным по белому написал мне, что надо оставить мысль о стихах и писать прозу. Как это важно — вовремя услышать позарез нужный тебе совет!

Вот меня иногда упрекают, что слабость проявляю — то героя своего пожалею и хорошее качество ему прибавлю, то скажу доброе слово о том, о ком бы лучше помолчать. И так это, и не так. Ну, с героем ничего не поделаешь, плох он или хорош, после того, как напечатал вещь, у тебя над ним никакой власти. С автором сложнее. С молодым, конечно. Бывает, что человек написал свою первую вещь — и весь талант его в ней как на ладони. И сразу понимаешь: этот писатель надолго, а может — навсегда. Но бывает и иначе. Вещь слабенькая, но автор человек хороший, беспощадный к себе — как же не поддерживать его! Чтобы веру в себя не потерял, чтобы мог он вытащить из себя все, что есть в нем. Если уж Гоголь и Некрасов без отвращения и стыда не могли вспомнить о своих первых книгах, то что же о других говорить? Гоголь и Некрасов веру в себя не потеряли. Но сколько случаев — это надо себе представить, — когда после первой неудачи люди впадают в отчаяние, ставят на себе крест и бросают перо. Опасно тут сплеча рубить. Авансом похвалить автора иногда не мешает. Если не бездарь он, если что-то в нем проклевывается. И если он может перечеркнуть написанное и начать все сначала. Учить надо, только с тактом, неназойливо.

Перед самой войной любил я в Ялту ездить. Хорошо работалось мне в Доме творчества. Люди подбирались симпатичные. Ялта нравилась, видимо, не только мне. Часто бывал там один писатель. Простите, но не буду называть его имени. Вы не удержитесь, расскажете, кого я имею в виду, он — другому, другой — третьему, а это уже целое общественное мнение. Потом, глядишь, говоря об этом писателе, вспоминать будут не что он написал, а злосчастную историю, которую хочу вам рассказать. Писатель это был замечательный. Он и до войны прекрасно писал. Но после войны стало очевидно, какой это мудрый художник. Одно мешало. Что-то наставническое в нем было. Подымет указательный палец правой руки — и пошла тирада, эдакое поучение Владимира Мономаха. Мы, как слепые, с дороги сбиться можем, а слепым кто нужен? Поводыр. Добро бы еще, если бы одного учил, а то ведь всех и каждого. Писатели народ самолюбивый, обиду на него затаи-

ли и решили проучить его. Не помню уже, кому эта идея в голову пришла, только целый заговор составил. Сначала долго гуляли по ночной Ялте, а под утро, когда Дом творчества спал сном праведным, подошли мы к комнате этого писателя и давай дубасить в дверь. Он, бедняга, вскочил, спросонья плохо соображая, что происходит, — может, случилось что-нибудь сверхъестественное или телеграмма срочная. Только отворил он дверь, как мы ввалились в комнату. Как по команде, упали перед ним на колени и хором: «Учитель, научи нас, как жить!» Он ужасно рассердился и долго еще потом волком смотрел на каждого из нас. С юмором был человек, а тут не на шутку обиделся. А мне до сих пор неловко за эту иднотскую проказу. Мало того, что мы все это проделали, так, вернувшись в Москву, со смехом стали налево и направо рассказывать о своих подвигах. Прошло много лет. Война, полтора десятилетия после войны, и добрая моя приятельница спросила этого писателя, правда ли, что такая история была, думала, а вдруг я все это выдумал. «Правда, — сказал этот писатель. — Только все дело в том, что тогда, когда меня разыграли, я знал, как жить, а вот теперь — не знаю».

Сказал я о неудачах в нашей работе, а сейчас подумал. Неудача неудаче рознь. Писатель — я говорю о тех, кого со спокойной совестью можно назвать писателем, — должен помочь людям увидеть настоящую красоту. Не выдумывать ее, а найти в самой жизни. Он помогает людям лучше видеть, освобождает их от иллюзий. Но как же с ним самим обстоит дело? Ведь он — человек не меньше, чем те, кто его читают. И случается, что он сам не свободен от иллюзии. Олеша мне как-то сказал, что главной его книгой будет «Ни дня без строчки». Все, что он до этого писал, было только подступом к этой работе — в нее же войдет все, что он передумал и перевидел. По ней и судить надо будет, что он за человек был и писатель. Я думаю, что он ошибался. «Ни дня без строчки» стал писать, когда законченные вещи перестали ему даваться. Роман пробовал писать — бросил. Материал огромный накопился, а никак не укладывается он. И тогда-то стал собирать книгу из кусочков, уверяя себя и других, что в этой форме — будущее литературы. Лукавил с собой? Да, никаких сомнений. И хорошо сделал. Другой бы в этом положении махнул рукой на серьезные вещи. Олеша же из самих неудач извлек интереснейшую книгу. Ее будут читать и перечитывать. Не одно поколение читателей. Новый ли это жанр, не знаю, — новый жанр ведь появляется не тогда, когда писатель думает: дай-

ка я напишу нечто новое и небывалое по форме. Ему надо сказать что-то важное, он пишет, зачеркивает, бьется, мучается, места себе не находит, истерзанный, ставит последнюю точку, отчаиваясь, что книга не получается. Тут-то и выясняется, что это и есть новый жанр. Жанров ведь куда больше, чем критики считают. На днях меня спросили, что такое мои последние вещи — «Наедине с осенью», «Огни Ла Манша», «Ильинский омут». Что я мог ответить? Рассказы не рассказы, очерки не очерки. Так, неизвестно что. Нет в них ни сюжета, на который, кстати сказать, я никогда не был мастером, ни сквозной темы. Если эти вещи держатся, то только на пастроении. Я давно хотел писать в таком роде, но что-то мешало, отвлекало, уводило в сторону.

Я заспорил с Константином Георгиевичем. Сказал, что, в сущности, он всегда тяготел к жанровой свободе, что Пришвин был прав, называя его поэтом, распятым на кресте прозы. Паустовский согласился, что Пришвин верно сказал, за исключением разве что одного: «Получается, что отбивался руками и ногами, а меня распинали. Разве это так? Если уж пользоваться этим образом, сам я распинался».

Вот что я услышал в тот вечер в Тарусе.

Ездил я в Ленинград, а когда вернулся в Москву, Константин Георгиевич рассказывал:

— Сколько вы потеряли, что уехали из Москвы! У меня был Роберт Фрост. Какой живой старик! За восемьдесят, а крепок, глаза острые, просверливающие вас. В таком возрасте, а живет один в своем домике. Кругом никого. Сам себе в лесу дрова рубит. Сам еду себе готовит. И еще стихи пишет. Он сказал мне: «Старики должны жить одни — счастье мое, что я понял это не слишком поздно». А я ему: «Лучше всего писателю быть зрителем маяка. Ты и мир — и ничего между вами». Я и договорить не успел, а он уже головою кивает.

Как-то Паустовский сказал:

— Удивительные вещи случаются иногда на белом свете. На днях получил письмо из небольшого французского городка. Оказалось, что сын учителя французского языка, который больше пятидесяти лет назад учил меня в гимназии, прочитал мою «Повесть о жизни», выпущенную Галлимаром. Зовет приехать погостить к нему. Ничего не скажешь — тесен мир.

...Прирожденный скиталец, он вдоль и поперек исколесил нашу страну. За границу, если не считать короткой поездки в Иран, где он побывал в двадцатые годы, попал, когда терзали его уже бесчисленные болезни. И все-таки был легок на подъем. Каждый раз, возвращаясь из поездок, привозил ворох впечатлений. На цветной открытке из Лондона (фотография ночного Пикадилли),— представляю себе, как он радовался, что живет неподалеку от этой площади, о которой столько слышал,— писал мне: «Есть о чем поговорить, когда мы вернемся в Москву. Изучаем дневной и ночной Лондон, ездили в Оксфорд, Стратфорд, а 10-го вечером уезжаем в Париж. Англия — в легком тумане, в яркой зелени». Это было в октябре 1964 года, а год спустя на такой же цветной открытке, на которой была снята базилика святого Джованни, писал из Рима: «...Как говорил Гарибальди,— «Рим или смерть». Пока Вы, дорогой Левушка, мотаетесь по Москве, над нами горит божественное небо Италии и мы едим удивительные булочки, где одни только поджаренные корки, а мякоти никакой,— чудо! Завтра должны уехать на Капри, что во многих отношениях приятно».

Таруса конца шестидесятого года. Ранним зимним вечером Константин Георгиевич, Борис Балтер и я спустились к Оке. Декабрь в тот год вел себя совсем не по-декабрьски. Зима неожиданно отступила. Сошел снег. Вскрылась успевшая незадолго перед этим встать Ока. На ветках стали набухать почки. Мы молча стояли у реки, по которой гулко шли льдины, и неотрывно смотрели на противоположный берег, где чернел лес, на небо, по которому плыли темно-сизые облака.

Прошло почти восемь лет. Паустовский тяжело болел. Инфаркт следовал за инфарктом. К этому прибавлялась жесточайшая астма. 31 мая 1968 года я приехал к Константину Георгиевичу в Переделкино, чтобы поздравить его с днем рождения — ему исполнилось семьдесят шесть лет. Он исхудал, говорил с трудом, то и дело прерывая свою речь, чтобы подышать в ингалятор. Вдруг он сказал: «Помните ту странную зиму в Тарусе?» — и, вспоминая подробность за подробностью, описал тот давний вечер с такой поразительной точностью, словно был он совсем недавно, чуть ли не накануне.

Это была моя последняя встреча с ним. Через полтора месяца его не стало.



Сад дома в Тарусе.

Лев ОЗЕРОВ

ДО РАССВЕТА

Это было в середине пятидесятих годов.

Поздней осенью часа в четыре пополудни, когда вечер подползает сразу же после обеда, обещая, что ужин будет уже в полной темноте, мы сидели, несколько человек, на скамеечке вдали от дома, видневшегося за голыми ветвями. По виду дом был барский — с белыми колоннами на фоне желтых стен, — но по существу вполне коммунальный.

Из сидевших на скамеечке помню только Паустовского и Успенскую. Елена Борисовна была еще молода, импульсивна, румяна, с глазами своего деда Глеба Ивановича, одного из самых совестливых и жгучих русских писателей. Я следил за Паустовским и его руками. Руки, привыкшие к удочке и перу, томились от безделья. А по глазам, наблюдавшим за подкрадывавшимися сумерками, можно было угадать, что Константин Георгиевич занят особой и отдельной от общего разговора думой.

Сперва Паустовский долго молчал, потом вовлекся в разговор, разговорился. Так вовлекаются в разговор и разворачиваются в нем неистовые молчаливники. Лицо его было как бы вырезано из корневища дерева, морщины четко и благородно собраны вокруг глаз, носа, губ, на лбу. В этой их разветвленности на продолговатом лице была какая-то живописная цельность: не то сечевик, не то сибиряк, не то парижанин, сутулящийся над своей конторкой. Сутулость мастера-ювелира, а не согбенность праздной старости. Мастеровит! — сказал бы любой прохожий, взглянув на Паустовского с желанием определить его по внешности.

В темноте звучал голос рассказчика. Это были истории, очевидно многократно рассказанные, обкатанные, но всякий раз рассказывавшиеся в новом варианте, с новыми, возможно, неожиданными для самого рассказчика подробностями. Я не стану их пересказывать, тем более что многое забылось. Помню, что голос постепенно сходил на нет и вот он совсем умолк.

— Почему замолчали? Продолжайте! — сказал я.

— Нет, не надо выбалтываться. Потом трудно работать. Лучше молчание... Завтра рано надо начинать...

— Когда?

— В половине пятого.

Эта фраза была последней. Она как бы подхлестнула его, и он, попрощавшись, быстро ушел. Походка его была отчужденной, и по спине его, по всей фигуре его чувствовалось, что в эту минуту им уже владело нечто более сильное и властное, чем желание развлекать небольшую компанию досужих людей.

Мне не спалось. Часов в пять я вышел на воздух и в волглой мгле надо мной висело одно-единственное светящееся окно. Я не видел в нем человека, но понимал, что он работает. Еще рассвет не пришел, а он уже за работой.

Поэзия должна опережать появление дня.



С болгарскими рыбаками. Созопол, 1958 г.

Сергей БОНДАРИН

КОРАБЛИК ПАУСТОВСКОГО

В молодости мы увлекались знаменитыми морскими сражениями.

Как-то вновь заговорили о грандиозном Ютландском бое времен первой мировой войны и вспомнили при этом один примечательный, весьма любопытный и очень трогательный эпизод.

Артиллерийский бой двух могущественнейших флотов мира — Великобритании и Германии, — решавший судьбу войны, шел на больших дистанциях, доступных только главным калибрам артиллерии.

На западе долго погасала июньская северная заря, и поэтому в той стороне, несмотря на дымы, еще хорошо очерчивались стройные силуэты британских дредноутов, шедших под флагом адмирала Джеллико.

Немецкие эскадры старались сохранить более выгодную

позицию. Их энергичный командующий, адмирал Шеер, маневрировал, держась к востоку от Джеллико,—здесь видимость его кораблей терялась в наплывающих туманах.

Но так или иначе весь горизонт — и на востоке, и на западе — вздрагивал в молниях пушечных залпов. И повсюду, то тут, то там, вдруг взбрасывались гигантские фонтаны — всплески недолетов двенадцати- и четырнадцатидюймовых снарядов. И вот тогда-то внезапно со сражающихся кораблей заметили жалкую скорлупу какого-то парусного суденышка; время от времени захлестываемое брызгами зловещих фонтанов, рыбацье суденышко из всех сил старалось держаться на своем курсе под перекрестным огнем двух империалистических флотов.

Эпизод этот включен в официальный отчет Британского адмиралтейства о Ютландском сражении.

В разговоре Паустовский заметил:

— Кораблик попал в историю не напрасно!

Собирая морщинки у глаз,—уже тогда у Константина Георгиевича была эта особенность внимательного и доброго собеседника,—он улыбнулся, помолчал, может быть заново представляя себе картину грандиозного боя в океане и занесенное сюда суденышко, сказал:

— Удивительнейшая аллегория! И как хорошо, что эпизод включен в отчет адмиралтейства... Очень хочется,—и он опять улыбнулся,—чтобы и наш кораблик тоже был замечен с флагманских кораблей...

Мы понимали, о каком кораблике идет речь. Не смели мы думать, что станем командирами линкоров, каждый из нас хотел быть хотя бы матросом на кораблике, а потом, может, и на корабле.

Метафора, разумеется, выиграла бы в своей точности, если бы на флагштоках одной из сражающихся эскадр развевался флаг революции и такой же — на нашем корабле.

Прекрасное время творческих мечтаний молодости! Едва ли есть что-нибудь более бескорыстное, чем этот эгоизм...

Так вот, думается мне, что теперь уже можно спросить: исполнилось ли пожелание Константина Георгиевича, совпадающее с нашим?

Будем говорить о нем самом.

Библиографической статистике нетрудно подтвердить популярность книг Константина Паустовского, а тем самым — размах, глубину и пользу его духовного влияния. И это не может не радовать не только его друзей, но и каждого интел-

лигентного человека: первейшая забота художника — учить свой народ чувствовать и думать, в труднопостижимых сплетениях жизни отличать добро от зла, утверждать художественный вкус и правду, именно ту правду, что создает душу народа, — именно такая забота всегда не давала покоя Паустовскому, от времен еще более ранних, чем появление его первой крупной книги — «Кара-Бугаз», и до наших дней, до последних глав его обширной художественной автобиографии.

Упорный, радостный труд любимого писателя, больше всего желавшего сохранить для людей прелесть, радость жизни, сочетался с жизнью нашей страны, уже не может быть этой жизни без голоса Паустовского.

Неверно думать, будто только имена великих открывателей земель или тайн природы возбуждают романтический интерес. Издревле душа человеческая тянулась к высоким примерам жизни и находила то, в чем она нуждается. Когда-то «жития» наших предков, печатное слово о них выходило далеко за пределы церковных или религиозных интересов. Так и в наши дни жизнь истинного художника, его речи, слова, поступки, жест — всегда на виду. И горе тому из причисляющих себя к художникам, кто не хочет этого знать.

Паустовский всегда помнил завет Пушкина о том, что слово поэта — это уже есть его дело. Но он знал также, что каждый день писателя должен быть делом художника. Это знание было в самой крови у Паустовского. И слава богу, что иным он быть не может! Слава богу, что мы всегда видим его именно таким: все нуждаются в любви к природе, в примерах достойной жизни, в чистоте детства и юности, в дружбе с Паустовским.

Вот так и начинает сочиться понемножку, течь и течь и потом растекаться неудержимо и щедро легенда о человеке, жившем среди нас, ломавшем наш общий хлеб.

Милый Константин Георгиевич! А ведь мы помнили тебя еще молодым журналистом.

В ту пору Паустовский еще не был автором общеизвестных книг. Только позже он, случалось, застенчиво вынимал из внутреннего кармана пиджака или из толстой «Люции Черного моря» маленькую книжечку небольших экзотических рассказов, изданную в библиотеке «Огонек», — «Минетоза». «Минетоза» — так называлась первая, если не ошибаюсь, книжечка Константина Паустовского с его первым книжным портретом на обложке...

Еще и теперь помним его таким, каким выглядел наш

старший товарищ на том портрете, — молодого, склоненного над свежееотпечатанной полосой газеты в тихой прокуренной редакции черноморского «Моряка».

Все мы помним то время страны, приступившей к веселой и нелегкой работе, и веселой, и грандиозной, как сражение дредноутов. Помним многих людей, впоследствии благодарно описанных Паустовским. Мы вместе слушали шум Черного моря, а позже тишину Мещорских лесов...

Паустовский помог нам полюбить глубокий голос русской истории и радость мечтаний о будущем. И воспоминание о любой встрече с самим Паустовским, с любой его книгой всегда наполняет душу, не постесняюсь сказать, нежной благодарностью.

О значении Паустовского уже написаны книги на многих языках — и что же в этом удивительного! Всегда радостно думать и говорить о человеке, которому хочешь верить. А Паустовский не раз подтверждал, что ему верить можно, как он сам верил своей совести.

Но что же сказать о Паустовском прежде всего? Как сказать о нем короче всего и вернее всего? Думаю, вопрос не тщетный, если ты готов говорить о любви к самому Паустовскому, к художнику, всегда и прежде всего озабоченному художественным выражением собственной душевной верности народу и его интеллигенции.

Конечно, страшно смотреть на то, как легкий и храбрый кораблик идет под ветром между сражающимися эскадрами, в море, потрясаемом пушками эпохи. И все-таки веришь: этот парус непременно должен был мелькать над океаном даже в разгар битвы, потому что он напоминает людям об истинных ценностях и целях жизни.

Паустовский был прав, когда воскликнул: «Кораблик попал в историю не напрасно». Вся картина боя была бы без него беднее.

Есть морские обычаи, одинаковые для всех морей, широт и флотов. К ним принадлежит капитанский час — время, когда капитаны кораблей, находящихся в плавании в том или ином районе, вступают в переговоры между собой. Говорят обо всем: о минувшем шторме, о запасах топлива, о событиях на корабле, о своих семейных делах.

В дальних водах, у Курильских островов, однажды случился капитанский час особого рода. Об этом и расскажу.

Накануне я спорил с моим приятелем. Он никак не соглашался со мною, что всему морскому не чужда романтика. Он ворчал:

— Какая тута (конечно, это он нарочно говорил так — тута), ну какая тута романтика. Романтика — это фантазерство, а море — реальность, и оно не любит фантазеров, разных там фантастов и фантомасов, море не любит чужих. Посуди сам: вот у рыбаков трал идет пустой, и пусть сейчас над ним летит чайка или пламенеет закат, все равно рыбак будет кусать локти. Это молодые едут за туманом, а нам, старикам, нужно семью поднять, не до романтики. Слезы? Слезы я видел. Я видел, как рыбаки плачут слезами, когда подымешь трал или невод, а он вдруг прорвался и рыба вывалилась, а чтобы над книжкой плакали, ей-богу, я этого не видел. Ну вот, правда, моего сына Ваську, случилось, не оторвешь от книжки, уткнется, трет глаза пальцем.

Свою длинную тираду штурман вдруг прерывает, как говорится, на самом интересном месте, молчит.

Я спрашиваю:

— Так что же за книжка такая, интересно?

— Паустовского, — ответил штурман и вдруг задумался.

И, видимо, задумался не зря. Капитанский час — море разговаривает с берегом, корабль с кораблем... Но есть же и литературный час — это когда с сердцем разговаривает сердце.

Вот это и случилось.

Известие о его смерти пришло на судно по радио. Мы были далеко в океане. И, как всегда, печально осеняющая весть быстро разнеслась по судну, но я, чем-то занятый в своей каюте, еще не знал об этом, когда ко мне постучались.

За дверью стоял штурман-антиромантик.

— Один?

Уже в этом обращенном ко мне вопросе было что-то неожиданное и тревожное. Штурман пристально посмотрел на меня.

— Еще не знаешь?

— Ну, в чем дело, говори!

— Умер Паустовский.

Штурман знал от меня, что Константину Георгиевичу плохо, он очень болен, знал он еще, что сын его читает книги Паустовского... Что еще мог знать о Паустовском этот моряк? Но он пришел ко мне с готовым предложением, одобренным капитаном: капитанский час сегодня будет отменен, вместо

капитанского, если я согласен, будет объявлен час литературный, посвященный памяти Паустовского.

К вечеру мы подошли к Курильским островам. Вершины вулканов были в тумане, но кипящая пена прибоя у прибрежных скал была хорошо видна.

Здесь, у Курильских островов, и состоялся литературный час, на судне, населенном рыбаками и туристами, и эта встреча посвящалась Паустовскому.

Время объявили по судовой трансляции, а просторная каюта, обращенная в этот час к закату, уже заполнилась.

Право сказать прощальное слово над гробом товарища, старшего друга — печальное и тяжелое право. Легче душе, когда мысль о человеке, с которым расстаешься, ясна и свободна. Не надо было искать слова и мне о горестном значении утраты.

Легко было говорить о добре и доброте, о чести и мужестве, столь нужных, необходимых для нас. Как много он делал для защиты чести и справедливости, а «эстетика — это прежде всего честность».

Был с нами еще один человек, который тоже хотел сказать, что думает о Паустовском. Он хорошо сказал.

— Все мы, современники Паустовского, — сказал он, — стали свидетелями трагического и великого превращения. На наших глазах писатель перешел от своей короткой творческой жизни к жизни долговременной, присущей тем, кого принято помнить всегда. Над могилой Паустовского прибьют табличку с цифрами — датами его рождения и смерти. Между этими двумя знаками будет черточка. Вот эта черточка и заставляет нас задуматься. Она, а не цифры. Есть главное — есть жизнь, о которой мы говорим. В черточке, отметившей жизнь писателя, и заключено: кем он был, кем будет.

А кем он был? Кем будет?

Паустовский был ласков к человеку. Это очень верно. Несомненно, доброта водила его рукой. Ему постоянно нужно было выражать душевную свою потребность в ласке и в добре, благодарность природе, самой жизни. Все трогало его, как ребенка. Он всегда сохранял это драгоценное свойство и всегда старался продлить детство в других. Художник — он хотел научить других признать прелесть морей, рек и лесов, небо в полдень и на закате, звезду полей и успокоительную нежность женского лица и прикосновения, печаль осенней листвы, потому что осенняя печаль расширяет душу...

В последние годы мы встречались редко. И он при этих

встречах казался мне каким-то иным, не таким, каким был прежде, в годы узнавания.

Однажды он сказал:

— До сих пор я писал о том, как я жил. Теперь я хотел бы писать о том, как я хотел жить.

Уже не было для этого ни времени, ни сил.

А можно догадаться, что он хотел бы чаще видеть вокруг себя счастливых людей.

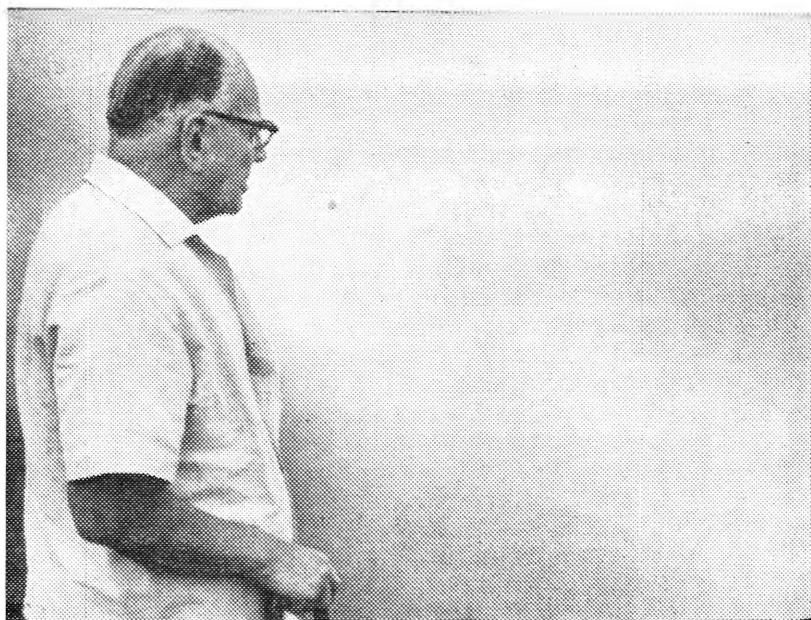
Так рассказали мы о Паустовском рыбакам и романтикам-туристам. Люди слушали внимательно, на глазах у женщины блеснули слезы, и что мне особенно приятно сказать — я видел, как мой приятель штурман искоса поглядывает на эти слезы — строго и смущенно.

Думаю, это хорошо, что в океане, на корабле, населенном романтиками-туристами и рыбаками, следующими в районы своего промысла, далеко в океане состоялся литературный час, посвященный памяти Паустовского, и хорошо, что для него было отведено как раз то время, когда море разговаривает с землей, судно с судном.

«Будьте верны музе далеких странствий,— писал Паустовский,— и путешествуйте в меру своих сил и свободного времени. Потому что каждое путешествие — это проникновение в область значительного и прекрасного».

Мы разошлись, когда уже совсем стемнело и на горизонте резко светилась полоска зари. Неверно думать, что восходы и закаты одинаковы и у Курильских островов, и на опушке Межгорского леса.

Этот закат был прекрасен, и я его никогда не забуду. Не забуду и ту чайку, которая белела за кормой судна, как нарочно. Нет, не только чайки, восходы и закаты составляют романтику неохватной нашей жизни. Меняется романтика, меняются люди, может быть, изменит свой взгляд и милый штурман.



В Ялте. Начало шестидесятых годов.

В. РОМАНЕНКО

ОДНА ЯЛТИНСКАЯ ОСЕНЬ

Больше всех времен года я люблю и жа-
лею осень. Может быть, за то, что ей очень
мало отпущено времени для ее шелестящей
и облетающей жизни.

«Книга скитаний»

Если бы мы не знали слов Паустовского о том, что значила для него Средняя Россия, Мещорский край, Таруса, мы реши-
ли бы, что именно Крым — самая дорогая для него и прекрас-
ная земля «покоя, размышлений и поэзии», где, как он сам
однажды написал, «хотелось остановить время, чтобы не те-
рять ощущения молодости».

Нет, ощущения молодости у тяжело больного писателя в
ту пору могло и не быть, но зато, наверно, были воспоминания
о молодости. Ведь за шестьдесят лет до этого, четырнадцати-
летним мальчиком, Паустовский в первый раз приехал в

Крым, и здесь, в краю сказочной, романтической, полупустынной по тем временам Тавриды, к нему пришла первая юношеская любовь, и он, быть может, впервые с такой силой почувствовал красоту природы, и еще неясная мечта о творчестве побудила его уже не в стихах, а в лирической прозе высказать свое отношение к этой красоте, к этому миру...

Через десять лет (в 1916 году) он снова в Крыму, и год этот стал для него началом работы над «Романтиками», герои которых связаны с Крымом, как был связан с ним сам писатель. Отныне крымская тема начинает звучать в его творчестве, как музыкальная тема в симфонии, то исчезая и сменяясь другими темами, то возникая вновь уже окрепшей, обогащенной, чтобы стать затем ведущей, главной, как в его изумительном «Черном море», этой поистине художественной энциклопедии черноморских берегов, или в «Потерянном дне», «Парусном мастере», «Синеве», «Умолкнувшем звуке», «Горсти крымской земли»...

Перечень этот легко продолжить, так как с Крымом Паустовского неразрывно связывают и обстоятельства личной жизни, и условия литературной работы, и любимейшие его писатели — Антон Чехов и Александр Грин, как и темы его многих очерков, рассказов, повестей... И если, скажем, можно спорить по поводу формулы: «Не Крыму ли вообще обязан Паустовский своим рождением как писатель?», то справедливым остается, что едва ли не половина из всего написанного Паустовским за его долгую жизнь написана им на крымской земле.

Недаром в своих «Воспоминаниях о Крыме» Константин Георгиевич писал: «Есть уголки нашей земли настолько прекрасные, что каждое посещение их вызывает ощущение счастья, жизненной полноты, настраивает все наше существо на необыкновенно простое и плодотворное лирическое звучание. Таков Крым».

Последние недели и месяцы жизни в Крыму, последняя ялтинская осень Паустовского...

Я приехал в Ялту в середине октября ранним утром, когда Дом творчества писателей кажется почти вымершим, а няни переговариваются полупшепотом. И не слышно еще обычного стрекотания пишущих машинок. Зато особенно звонок и ясен неугомонный посвист синиц и чеканно звучна железная дробь черного дрозда.

В ожидании, пока тебя определяют «на место», из любопыт-

ства изучаешь доску, на которой обозначены постояльцы. В месяцы «пик», когда все комнаты и даже балконы дома заселены, доска висит в крошечной дежурке под парадной лестницей на второй этаж. Увидев фамилию Константина Георгиевича на доске, я одновременно и ужасно обрадовался и не поверил себе: случается, люди уже уехали из Дома, а их имена продолжают красоваться рядом с номерами тех комнат, где они жили, пока в этих комнатах не поселятся другие. Но няня подтвердила, что Паустовские действительно здесь, только вот Константин Георгиевич тяжело болен...

Так к моей радости сразу же присоединилось чувство настороженного огорчения... А в полдень к подъезду подкатила машина «скорой помощи». Не решаясь никого ни о чем спрашивать, я как потерянный бродил вокруг дома, сам удивляясь тому, что болезнь Паустовского так забрала меня, хотя, вероятно, тут сказывалась еще и обычная усталость с дороги.

Помню, на свой третий этаж я нарочно поднимался несколько раз тыловой, «черной» лестницей, чтобы проходить мимо комнат, где жил Паустовский. А потом выяснилось, что «неотложная помощь» приезжала по вызову одного киевского архитектора. А Паустовский, хотя и не появлялся внизу в эти ясные, солнечные дни, был относительно здоров в своем положении астматика,— очередное обострение болезни осталось позади.

Впервые я увидел Константина Георгиевича в ясный, теплый, по-тютчевски хрустальный день, каких много выдалось той осенью в Ялте.

Он сидел в плетеном кресле на площадке перед главным корпусом и грелся на солнышке. Одет он был совсем по-летнему. Он часто любил сидеть так один, подперев голову рукой, о чем-то размышляя, прислушиваясь к голосам птиц, угадывая далекое дыхание моря, вбирая в себя все щедрые краски крымской осени.

Как жаль, что не нашлось в ту пору художника, который бы вот таким запечатлел Паустовского — в синеватой прозрачности ялтинского воздуха. За его спиной ложились густые тени кипарисника, и дальше, на горке, за белой балюстрадой резко прочерчивались стремительные диагонали падающих крымских сосен. А прямо перед ним, ниже нашей площадки, красовался весь освещенный солнцем, золотисто-оранжевый шатер старого могучего каштана. Большие, тронутые ржавчиной листья его тихо слетали к ногам писателя...

Мне всегда казалось: Паустовский в эти минуты и часы был, что называется, в своей родной стихии. Он любил Крым, страстно любил осень, свой последний сборник (статьи о литературе, вышедшие отдельной книгой) назвал «Наедине с осенью». И всегда было почему-то жаль, когда ему мешали ненужными разговорами, отвлекали по пустякам... Сам я до странности не хотел попадаться в такие минуты Паустовскому на глаза и однажды, возвращаясь с набережной, прошел мимо него прямо-таки с чувством некоей вины. Казалось, одно только громкое шарканье подошв или стук каблуков об асфальт вносит дисгармонию... Не потому ли, что я ни разу не видел — и даже представить не могу! — ни во внешности, ни в лице Паустовского выражения безразличия, безучастности или отрешенности?!

С виду Паустовский кажется человеком суровым. Эта суровость — и в фотографиях, и в портретах его последних лет. Но стоит узнать его ближе, хотя бы поговорить с ним, как начинаешь сознавать, что это не суровость, а мужественность, внешняя сдержанность очень доброго, в сущности, человека, а больше всего — напряженная пристальность взгляда художника. Помню, эта пристальность взгляда Константина Георгиевича поразила меня с первого мгновения и скорее всего по контрасту со всем обликом старого, совсем плохо видевшего, как потом оказалось, и уже неизлечимо больного писателя.

Паустовский в молодые годы был, должно быть, красивым человеком. Я не видел ни одной его фотографии тех лет, а сужу только на основании неплохого, по-моему, рисунка, помещенного в старой Литературной энциклопедии (1934) и выполненного художником-гравером А. Троицким: высокий чистый лоб и цепкая, мужественная энергия взгляда, открытого и непреклонного. Внешность настоящего литературного бойца.

Да, годы самоутверждения писателя — это всегда борьба. «Положение в литературе, хотя бы очень скромное, не дается, не берется, а завоевывается!» С тех пор как Чехов в одном из писем написал эти слова, заключив их редким для себя восклицательным знаком, литература изменилась в этом смысле мало или совсем не изменилась. А Паустовский оставался бойцом до последних дней жизни, до последнего часа.

И еще: когда спустя полгода после встреч с Паустовским я открыл первый том его нового собрания сочинений и взглянул на фото писателя, оно показалось мне и по времени, и по ха-

рактерности совсем ялтинским, хотя, возможно, я и ошибаюсь. Сквозь привычную суровость черт Константина Георгиевича на фото зримо просвечивает неистощимая его доброта, и тем оно особенно мне дорого.

Однажды Татьяна Алексеевна пожаловалась мне:

— Константин Георгиевич очень болен... Надо серьезно лечиться — не хочет... Отмахивается. И не затащишь его ни в один санаторий.

— Даже в Барвиху?

— Даже в Барвиху. Пугает его безлюдье.

«Пугает безлюдье»... Паустовский боялся, что слишком привилегированное, как ему представлялось, положение отдалит, изолирует его от людей, лишит напоследок возможности живого, свободного общения с ними. Как это понятно и как показательно именно для Паустовского!

Общительность его в последнюю ялтинскую осень была удивительной. Он зорко присматривался к каждому новому человеку, появлявшемуся на горизонте Дома писателей, и, я думаю, даже в эти месяцы установилось у него немало новых знакомств. Многих гостей принимал он у себя в комнате. Не хотел отставать и от так называемых артельных, коллегиальных начинаний. Не остался в стороне от общего ужина литераторов в день годовщины Октября, охотно согласился участвовать в импровизированном вечере «интересных встреч и воспоминаний», инициатором которого была Наталья Ильинична Сац, известный режиссер и руководитель Московского музыкального детского театра.

Отсутствие Паустовского ни у кого — подчеркиваю: ни у кого! — не вызвало бы нареканий и было бы оправдано так или иначе. Дело ведь в том, что все эти «массовки» проводились в зале нашей столовой, куда Константин Георгиевич не ходил (еду ему приносили в спальный корпус). Здание, где расположились библиотека, кинозал, столовая и т. д., стоит на косогоре. От главного корпуса к нему ведет довольно крутой подъем, два многоступенчатых лестничных марша, наконец, такая же крутая лестница на второй этаж. Чтобы преодолеть все эти «естественные преграды», больному семидесяти-четырехлетнему писателю надо было сесть в машину, подъехать к боковому фасаду здания, а затем не без чьей-то помощи, когда его поддерживали под руки, подняться на второй этаж. Процедура эта едва ли доставляла ему удоволь-

ствие. И вот то, что он и тут не давал себе поблажки, в свою очередь говорило, кроме всего прочего, о его уважении к окружающим людям, к известным и неизвестным товарищам по перу, ко всем обитателям дома.

Несмотря на тяжелую одышку и даже удушье, преследующие обычно больных бронхиальной астмой, он, как только его отпускала болезнь или работа, появлялся на площадке, на общей террасе, в холле и до и после полудня, и по вечерам, засиживаясь за разговорами до глубоких сумерек. Я-то и сейчас думаю, что разговорами его порядком утомляли и сам он, увлекаясь, значительно превышал общую норму «говорения». И за все это, наверно, ему приходилось потом расплачиваться по ночам кашлем, бессонницей, но иначе он не мог. Его неудержимо влекло к людям, как всех нас, его окружавших, к нему.

В погожие дни Паустовский, в зависимости от самочувствия, один или в компании уезжал на автопрогулку. Шофер его находился в отпуске. За руль садилась жена писателя И. Меттера балерина Ксения Михайловна Златковская. Она круто разворачивала черную «Волгу» Паустовского и, взметнув ее на пригорок от подъезда Дома писателей, лихо катила вниз, так, что становилось даже страшновато за Константина Георгиевича, но вела машину так бережно, так мягко, минувая каждый камешек на дороге, что и три года спустя Татьяна Алексеевна вспоминала эти поездки с доброй улыбкой и шуткой.

Кстати, это И. Меттер, выступая на одной из клубных встреч с городской милицией Ялты (как автор знаменитой повести о милицейской служебной собаке по имени Мухтар,— фильм «Ко мне, Мухтар!») и пользуясь здесь своими очевидными привилегиями, вытребовал для машины Паустовского специальный пропуск. Этот бланк с красной диагональной линией, наклеенный на ветровое стекло, действовал на автоинспекцию магически в смысле свободного проезда. Машина подкатывала к самому берегу моря, что обычно запрещается. Константин Георгиевич усаживался на раскладной стул и так мог спокойно дышать морем. Это были его последние выезды в Алупку, в Массандру, в Мисхор...

По моим тогдашним наблюдениям, И. Меттер заметно выделялся среди постоянных собеседников Паустовского и соперничал в этом отношении разве что с нашим замечательным

киноартистом, человеком, я бы сказал, житейски даровитым — Алексеем Баталовым. А среди собеседников Константина Георгиевича были и известный литературовед С. А. Макашин, и советник по вопросам культуры югославского посольства в Москве Миливое Максимич с женой, и поэт из Карачаево-Черкесской области Д. Кубанов, которого все мы звали просто Дагир, и М. Б. Чарный, бывший одно время редактором «Литературной газеты», и покойный писатель Роман Ким, и личный гость Паустовского, профессор русской литературы Института иностранных языков в Токио Сейити Вакури, и многие, многие другие.

Ялтинское окружение Паустовского отличалось многолюдством и пестротой. Так было в мае и начале июня, когда отмечали семидесятичетырехлетие Константина Георгиевича и когда группа киношников снимала о нем документальную ленту — фильм «Тропа к Черному озеру». Так было и теперь, в октябре — ноябре, когда относительное здоровье, отсутствие тяжелых приступов, позволяло Константину Георгиевичу все чаще и чаще бывать на людях.

Круг собеседников Паустовского, повторяю, был очень широк. Я же упоминаю здесь лишь немногих: или тех, кого знаю и помню лучше других, или же тех, о ком надо говорить так или иначе «по ходу действия».

Внимание, какое постоянно проявлял Паустовский к своим даже мимолетным, случайным собеседникам, я думаю, всегда имело обратное и очень важное для него следствие: слышал он и знал от людей необычайно много, причем много такого, что по тем или иным причинам не поддается закреплению ни в малой прессе, ни в большой литературе и в силу этой своей «незакрепленности» имеет даже в наш век избыточной информации остроту и привлекательность первоисточника, отличается непосредственностью и поэтичностью фольклора.

Диапазон этой изустной информации так велик — от глубоко личных воспоминаний и впечатлений до какого-нибудь язвительного нового анекдота, — что не поддается строгому учету, но зато очень наглядно показывает, насколько превосходит объемом усваиваемой информации подлинно большой писатель всех нас, обыкновенных смертных. Поражала громадность и ясность памяти Паустовского-рассказчика.

Паустовский как бы владел особым секретом, таинственным усилителем информации. При нем люди становились доверчивее и щедрее на правду о себе самих и о жизни.

Но даже и те сведения, которые тут же становились достоя-

нием всех, при Паустовском высказывались, мне кажется, иначе, чем они высказывались без него, потому что, хотя и говорились при всех и всем, адресовались прежде всего ему, Константину Георгиевичу. Так много значило для людей уже одно только его присутствие.

Может показаться необычным, что мы рисковали иногда занимать Паустовского пространными разговорами, но руководствовались все мы благими намерениями, зная, что ему самому много говорить нельзя. И это надо особо подчеркнуть: был он не только замечательным собеседником, но и необыкновенным слушателем.

«Власть таланта» — это очень важное и почетное понятие в эстетике Паустовского.

Не помню, говорит ли где-нибудь прямо Константин Георгиевич о том, что даже власть таланта может быть и капризной, и холодно-расчетливой, и деспотичной, и просто подавлять одним своим величием.

А впрочем, в «Книге скитаний» есть юмористический рассказ о встрече с Владимиром Маяковским (на квартире у Н. Асеева), когда после неудачной попытки поведать великому поэту, как поэтична ловля раков в реке Серебрянке, обескураженный его пренебрежительной репликой, Паустовский в тягостном молчании сидел с ним за шахматной доской, а потом при первой же возможности сбежал. «С тех пор,— говорит Паустовский,— я начал бояться знаменитых людей и боюсь их до сих пор. Я всегда чувствую себя свободно и спокойно только в обществе людей самых простых».

Своей собственной «властью таланта» Паустовский распоряжался с редким тактом. Это была поистине наисправедливейшая «власть таланта», какую только можно себе вообразить. До конца дней своих Константин Георгиевич сохранил живейший интерес к окружавшим его людям, психологическую проницательность, свежесть взгляда, душевность.

Отзывчивость Паустовского я ощутил как-то сразу, в первом же разговоре с ним.

Не без смущения я сознался Константину Георгиевичу, что у меня нет его шеститомника.

— Вот и хорошо, что нет,— живо ответил он.— С будущего года начнет выходить восьмитомник. Подписку объявят с января. Могу составить протекцию.

Он так просто сказал это «могу составить протекцию». Но

кто бы стал злоупотреблять его вниманием, отвлекать его время и силы по мелочам? Я поблагодарил и, кажется смущаясь еще больше, сослался на свои льготы литератора в единственном книжном магазине нашего города. Тогда Паустовский легко снял эту тему, не нарушая общего течения разговора и своей заинтересованности:

— А почему вы называете Мерефу городом? Это же узловая станция...

Я подтвердил, что железнодорожный узел Мерефы сейчас расширяется: вот-вот начнет действовать пятое направление — ветка на Змиев — Изюм. А бывшая слобода Мерефа (по Брокгаузу и Ефрону) величается теперь городом. У нас большой союзного значения стеклозавод, до трех десятков тысяч жителей... Паустовский, знавший Мерефу еще «в начале неведомого века», был приятно удивлен. Потом он вспомнил Казачью Лопань, Люботин, Валки... Тут сказывалась его любовь к географической карте и ее изумительное, безупречное знание. Валки почему-то особо его интересовали. «Говорят, красивый городишко», — заметил он. Я согласился, но сказал, что был там только в годы войны (это родина мамы), что очень тогда разрушили эти Валки, а как отстроили, не знаю. Константин Георгиевич в свою очередь сказал, что почти все города на линии Москва — Харьков — и Орел, и Курск, и Белгород — после военной разрухи сильно изменились.

Так неторопливо и непринужденно пошла у нас с ним беседа.

Сейчас, перебирая события той памятной ялтинской осени, сверяя воспоминания со своими записями по горячим следам, начинаю сознавать, что самое неизгладимое впечатление на меня (да, думаю, и на всех нас) произвел Паустовский-рассказчик.

Может быть, это случилось еще и потому, что в Паустовском — устном рассказчике естественнее всего проявлялось его редкостное человеческое обаяние.

По книгам я знал Паустовского — проникновенного лирика, возвышенного романтика, превосходного, единственного в своем роде пейзажиста, умелого мастера, тонко и точно воссоздающего в диалоге бытовую, характерную интонацию своих героев. Но можно ли было предполагать в Паустовском необыкновенного, блистательного, первоклассного юмориста?..

...Все виденное, слышанное, пережитое было материалом устных рассказов Паустовского. И если здесь возможна какая-либо классификация, так только с очень большой долей условности.

Скажем, неверно было бы утверждать, будто устные рассказы Паустовского — это чаще всего лишь заготовки его будущих печатных вещей.

Очень любил Константин Георгиевич «пробовать на слух», снова и снова пересказывать старые свои, давно опубликованные вещи, — они вдруг обнаруживали некое дополнительное свойство, красочное звучание, как фортепьянная пьеса в инструментовке для оркестра. Было и ново, и необычно поначалу воспринимать в устной передаче автора то, с чем ты хорошо знаком по его книгам. Здесь были и рассказ о последнем отпрыске знаменитого боярского рода Шуйских («Беспокойная юность»), и «Встреча с Олешей», и «Старик в потертой шинели»...

Даже не один, а два раза довелось мне слышать рассказ Паустовского о встрече с Юрием Карловичем Олешей в прифронтовой Одессе в грозном 1941 году. Отдельные эпизоды в устной интерпретации автора обретали, кажется, еще большую легкость, грациозность, остроумие. Это был все тот же рассказ Паустовского, принадлежащий только ему одному, тот и вместе не тот, другой. Тут сказывался исключительный импровизационный дар Паустовского.

Кстати, сравните первую публикацию «Встречи с Олешей» (1962) с последующей — 1965 года. В количественном отношении правка невелика. Но изменены и иначе звучат не только отдельные слова авторского текста, но и целые реплики, принадлежащие Олеше.

Паустовского никак нельзя отнести к числу тех писателей, которые, раз отдав бумаге свое литературное детище, больше не думают, забывают о нем или возвращаются к нему неохотно, лишь в крайнем случае.

Некоторые критики упрекали писателя в том, что он повторяется. Мол, опять случай в магазине Альшванга, опять площадь Навона в Риме... Но ведь достаточно сравнить, как описана пьядца Навона в «Географических записях» (1957) и «Итальянских записях» (1962), чтобы понять: здесь действует закон многовариантности темы, а не простого ее повторения, то есть закон, который легко обнаружить в искусстве каждого большого писателя, будь то Достоевский, Чехов, Горький или Пришвин.

...В «Книге скитаний» очередное отступление от «темы» Паустовский посвятил особенностям устного рассказа и его мастерам. Из тех, кого он слышал и кто производил неизгладимое впечатление, Константин Георгиевич называет Бабеля, Довженко, Ильфа, Олешу, Федина, Фраермана, польского писателя Я. Ивашкевича и еще два-три имени. В этом ряду мастеров ему самому, конечно, по праву принадлежит одно из первых мест.

Лучшие строчки о Паустовском — устном рассказчике, по моему, оставил нам Корней Иванович Чуковский.

Какими словами обычно откликаются на смерть близкого, дорогого человека? Горестными, трогательными, патетически-возвышенными или уныло-сентиментальными... А Корней Иванович, вспомнив великого жизнелюба Паустовского, послал для траурной полосы «Литературной газеты» вот эти строчки о Константине Георгиевиче:

«Всякая встреча с ним была для меня истинным счастьем. Он был великолепный рассказчик, и я завидовал себе самому, когда он принимался рассказывать мне какой-нибудь эпизод из своей биографии.

Сюжет каждого из его устных рассказов всегда был такой увлекательный, интонации такие живые, эпитеты такие отточенные, словесные краски были так ослепительно яркие, а самая структура рассказа была так изящна, элегантна, легка, что, слушая его, я невольно жалел тех обиженных судьбою людей, кому не довелось испытать это счастье: слушать устные рассказы Паустовского».

Пусть так, пусть счастье слушать Паустовского было уделом немногих, зато счастье читать Паустовского доступно миллионам. И это — главное.

Граница тепла и холода ялтинской осени очень подвижна, изменчива и вместе с тем по времени вполне ощутима. Она пролегает где-то в двадцатых числах ноября и определяется наступающим сезоном дождей. И люди, сменив обувь, надев куртки, плащи, пальто, сразу преобразаются, иногда до неузнаваемости.

У Паустовского была счастливая наружность человека, запоминающегося раз и навсегда. Но и он показался теперь по-новому — в сером полупальто с большими нашивными карманами, в кепке, с палочкой...

В те дни я записал в записную книжку: «У Паустовского

внешность старого охотника, лесного человека или моряка, ветерана палубной службы. Сравнение с моряком, может быть, бывалым боцманом, пожалуй, наиболее правдоподобное, точное. У него очень смуглое, почти шоколадного цвета, лицо, все в изрезях глубоких морщин, как будто опаленное южным солнцем и морскими ветрами. И ходит он сейчас, широко расставляя ноги для устойчивости, как матросы на палубе во время качки. Спортивного вида пальто-пиджак и кепка на нем как бы говорят что-то о службе морской. И вся его коренастая, приземистая фигура — то же. Хотя это еще и болезнь пригнула его к земле...

Паустовский очень любит море, когда-то, давным-давно, был членом рыболовецкой артели, а всю жизнь — рыболовом-охотником, часто пишет о тружениках моря, и это он сам о себе говорит: «Одно время я всерьез думал стать моряком», но в том-то и дело, что обо всем этом я начал вспоминать, именно приглядевшись к его внешности, как бы «открыв» ее для себя».

Если бы эту заметку я писал сейчас, то все глаголы в ней из настоящего времени пришлось бы перевести в прошедшее, — это была бы не зарисовка с натуры, а только воспоминание о человеке, которого уже нет среди нас.

На первой же странице «Золотой розы» можно прочитать: «В этой книге я рассказал пока лишь то небольшое, что успел рассказать».

Слова «пока лишь» обнадеживали. Тем более что и в заключительной главе, «Напутствие самому себе», Паустовский говорит: «На этом я кончаю первую книгу своих заметок о писательском труде».

Первую? Значит, должна быть и вторая?

Но проходили годы: три, пять, десять... А второй книги все не было. Как видно, «Повесть о жизни» поглотила все рабочее время и все силы писателя. А кроме нее еще были очерки о поездках за границу, газетные статьи, рассказы, подготовка собрания сочинений, правка чужих рукописей, письма...

Иногда мне, правда, казалось, что такие вещи Паустовского, как «Горсть крымской земли», «Умолкнувший звук», «Наедине с осенью», всем своим содержанием и поэтическим строем продолжают тему «Золотой розы» — рассказ о прекрасной сущности писательского призвания и труда. Но что они как-то связаны со второй книгой «Золотой розы», об этом я узнал много позже, перечитывая сборник «Тарусские страницы».

Незадолго до моего отъезда в Ялту промелькнуло коротенькое газетное интервью: на вопрос корреспондента, могут ли читатели надеяться на появление второй книги «Золотой розы», Паустовский ответил в общем-то утвердительно.

Я напомнил об этом Константину Георгиевичу и попутно передал мнение поэта карачаевца Кубанова, точнее, его недоумение, поскольку он почему-то считал, будто продолжения «Золотой розы» быть не может.

Паустовский в свою очередь удивился:

— Почему же нельзя дальше писать «Золотую розу»? Продолжать такую книгу можно до бесконечности. Хотя,— он сделал небольшую паузу,— сегодня же можно поставить и последнюю точку. «Пишу» — это громко сказано... Работаю...

Влияние «Золотой розы» и в сфере профессионального писательства, и за его пределами было огромным. В «Золотой розе», названной автором повестью, как бы совершенно стираются всегда ощутимые грани между эстетикой, литературоведением и собственно художественной прозой,— явление редкостное само по себе. Паустовский сделал предметом художественного анализа самое специфику искусства слова. И я не знаю другого такого блестящего популяризатора эстетики, как он.

Охотнее всего Паустовский говорил о тех из писателей, кого нежно, трогательно любил,— о Чехове, Грине, Олеше, Фраермане,— или о тех, с кем внутренне спорил.

В один из вечеров много и увлеченно говорили о Бабеле. Мы знаем, в самой причастности Паустовского к большой литературе повинен и Бабель: он был его советчиком и наставником на первых порах.

Писал Бабель, что называется, «рублеными фразами», а потом все равно потел до седьмого пота, мучаясь буквально над каждой строкой, над каждым словом, как столяр над неподатливой деревянной деталью. И фуганком пройдет, и напильником, и наждаком. Так и Бабель — выбрасывал все лишнее...

— Это, пожалуй, французская манера... Французский он знал, кажется, даже лучше русского. Писал по-французски свободно и превосходно.

Паустовский наизусть помнил и легко воспроизводил целые куски, диалоги из рассказов и пьес Бабея («Любка-казак», «Закат», «Мария»).

А мне вспоминаются страницы повести «Время больших

ожиданий», посвященные Бабелю,— одни из лучших во всей многотомной прозе Паустовского.

«От многолетнего соприкосновения с человеческой кожей самое грубое дерево приобретает благородный цвет и делается похожим на слоновую кость. Вот так же и наши слова, так же и русский язык. К нему нужно приложить теплую ладонь, и он превращается в живую драгоценность».

Сказаны ли были Бабелем и так ли именно сказаны эти слова, но к ним прикоснулась теплая ладонь Паустовского-художника, беззаветного в своей щедрости,— и они ожили, стали ощутимой радостью для всех нас.

Я думаю, нет такого литератора, который бы никогда не увлекался этими нескончаемыми разговорами о литературе. Как нет такого писателя, причастного к настоящей литературе, судьба которого нас не волновала бы.

Как-то я сказал Константину Георгиевичу, что перед отъездом в Ялту купил изданную «Молодой гвардией» и прекрасно оформленную книжку Юрия Казакова «Двое в декабре». Оказалось, Паустовский ее не видел. Тотчас оживился и переспросил: «Новое что-нибудь есть?» И тут у нас пошел разговор о Казакове.

— Это вы, Константин Георгиевич, открыли зеленую улицу Казакову?

Паустовский улыбается.

— Почему я? Он сам себе открыл...

— Его имя я впервые встретил в вашей статье.

— Да, я писал про него. Это давно было, лет десять назад...

— Он в Литературном институте слушателем вашего семинара был?

— Был... У меня в семинаре многие были: Бондарев, Тендряков, Балтер, Инна Гофф, Бреженер... Теперь Казаков совсем самостоятельный художник. Когда я бываю за границей, у меня всегда спрашивают о Казакове. Вот в Англии вышел его большой однотомник... С чего начинал? Его первый значительный рассказ — «Арктур — гончий пес».

— Блистательное начало! Поверить даже нельзя, чтобы он до этого ничего не писал.

— Писал. Писал всякие отрывки, куски. Браковал часто. Но и печатался иногда...

Когда говорит о Казакове, все время улыбается, как улыбаются чему-то очень хорошему. Глаза добрые, ласкающие.

Потом мы вспоминаем «Северный дневник» и «Осень в дубовых лесах». Кажется, Паустовскому нравится, что я так восторженно отношусь к этому рассказу.

— Да, написано так, что даже завидно,— подтверждает он.

— Не у вас ли жил Казаков?

— Это в Тарусе... Он часто там живет... Одно время много молодежи прибилось к Тарусе. Получился интересный сборник — «Тарусские страницы»...

Отношение Паустовского к литературной молодежи было отмечено прямо-таки трогательной заботливостью, отличалось всегда бескорыстной честностью и мужеством. И молодая литературная поросль тянулась к нему доверчиво и охотно. Эти его взаимоотношения с молодыми писателями не просто естественны и соответствуют нормам литературного общения (взять в этом плане хотя бы пример Чехова или Горького), но по-своему они образцовы, сварливый старческий задор по отношению к молодежи был не то что чужд, противен Паустовскому, но вызывал у него чувство негодования.

Как-то мы вышли с Константином Георгиевичем походить и подышать немного,— вечер выдался относительно теплый, сухой.

Паустовскому было трудно дышать. Он пользовался карманным противоастматическим ингалятором. Я провел рукой по скамейке — она была совершенно сухая. Чтоб сказать что-нибудь ободряющее, я обратил на это внимание Константина Георгиевича.

— Да, сухо, а вот подpiraет,— ответил он, борясь с одышкой.

Я помог ему подняться на ступеньки веранды, и он, опустившись в плетеное кресло, снова достал свой аппаратик...

Огни ночной Ялты,— не той, что у моря, а той, что на холмистых отрогах и на горах,— дрожат, трепещут, переливаются. И каждый такой мерцающий огонек — сноп живых, подвижных, как щупальца, лучей. Это потоки воздуха непрерывно текут, струятся долинами с гор к морю и от моря в сторону гор. Эти невидимые потоки воздуха, наверно, и несли с собой ту сырость, которую схватывали и поглощали больные бронхи Паустовского.

И вот где-то к середине нашего разговора с Паустовским

подошел М. Б. Чарный. Услышав, что мы говорим о «Мещорской стороне» и о пейзаже, заинтересовался почему-то особо, и тут же у нас с ним возник спор.

Чарный доказывал, как мне казалось, то, что и не нуждалось вовсе в каких-то доказательствах.

— Во всех произведениях Константина Георгиевича, в том числе и в так называемых «природоведческих», я всегда вижу человека. «Мещорская сторона» не составляет исключения,— говорил Чарный.

Я же пытался показать, что не все тут так просто и бесхитростно, как кажется с виду. В том-то и вся необычность, небывалость «Мещорской стороны», что в ней нет сюжета в привычном смысле, нет действующих лиц, заманчивых ситуаций, событий, а повесть захватывает. Человек в повести (как и ее автор) присутствует отстраненно, косвенно, так же, как присутствуют в своих пейзажах И. Левитан, А. Марке, С. Герасимов или М. Сарьян. Главные же действующие лица — природа и родина, планета людей, а главный предмет эстетического анализа — наше человеческое чувство природы.

Паустовский, по-моему, был увлечен нашим словопрением и лукаво поглядывал на спорщиков. Когда же я спросил, каково на этот счет мнение самого автора «Мещорской стороны», Константин Георгиевич засмеялся очень искренне и очень живо, как-то совсем по-молодому, что вообще с ним изредка тогда случалось, и сказал:

— А автор, как это часто в таких случаях бывает, и сам толком не знает...

И, несколько смущенный, стал тут же рассказывать, как Михаил Пришвин, признанный авторитет литературного пейзажа, вдохновенный певец русской природы, прочитав «Мещорскую сторону», буквально накинулся на него, на Паустовского: «Сумасшедший, безумный вы человек! Разве можно такие книги печатать?! Ведь через десять — пятнадцать лет от вашей Мещоры ничего не останется — все затопчут и разнесут туристы...»

Как верно и тонко эти художники умели ценить творчество друг друга! И какая удивительная у них общность трудной литературной судьбы!

Пришвин, несомненно, очень часто по-хорошему завидовал Паустовскому. Недаром записал он однажды в дневнике: «Не будь я Пришвиным, я хотел бы писать в наше время как Паустовский».

И прав оказался А. М. Горький, когда еще в двадцатых годах сказал в письме Пришвину: «Вы делаете огромное дело, которое не скоро будет понято и почувствовано...» Трижды прав, потому что сумел, по сути, предсказать не только литературную судьбу Пришвина, но и Паустовского.

Как бы заранее возражая людям, чей подход к природе отягощен всегда лишь убогими, прикладными, примитивно-утилитарными соображениями, Паустовский в главке «Бескорыстие», завершающей повесть, восклицал:

«Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, что она дает обильные урожаи и природные ее силы можно использовать для нашего благосостояния!

Не только за это мы любим родные места. Мы любим их еще за то, что, даже небогатые, они для нас прекрасны.»

Эта идея о великой пользе вовсе «неполезной» на поверхностный взгляд красоты природы, о государственной, национальной, общенародной (потому что красота принадлежит всем и наследуется всеми) значимости прекрасного пейзажа, идея столь важная для нашей социалистической культуры,— одна из главных идей Паустовского, во многом определяющая его духовный, глубоко русский облик человека и художника.

Если судить по моим тогдашним ялтинским записям, то все пространные разговоры, и беглые высказывания, замечания, и ответы на вопросы, и отдельные реплики, все, что приходилось слышать от Паустовского наедине и в кругу собеседников,— все это калейдоскоп разных тем, сюжетов, мыслей, имен... Материал, на первый взгляд с трудом поддающийся какой-либо организации.

И при всем при том можно в этом пестром материале выделить одно: о чем бы ни говорил Паустовский, его самого неизменно больше всего интересует и волнует вопрос о нравственных, гражданских последствиях личного поведения и творчества писателя, об ответственности писателя перед товарищами по перу, перед своими современниками, перед народом.

Кажется даже, что это для него не просто вопрос, каких много, а именно вопрос вопросов, и, решая его, Паустовский, никогда не грешивший пустым и пресным морализаторством,

категоричен, он не делает кому-либо уступок, не допускает каких-либо сделок с совестью и долгом.

К примеру, он не превращал писателей старшего поколения, к которому и сам принадлежал, в касту «неприкасаемых», и для него не существовало поэтому запретных тем так же, как и запретных имен.

Никогда не уставал он повторять, что писательство не профессия, а жизненное призвание, и ничто так жестоко не оскорбляло его, как авторское лицемерие. Он умел находить убийственные, разящие слова, когда приходилось ему характеризовать тех литераторов, которые пытались, как он выразился, «сочетать служение полуправде и полуфальши со служением своему благополучию».

25 ноября в последний раз Константин Георгиевич побывал в Доме-музее Антона Павловича Чехова. Сознавал он это сам или нет, но это было его прощанье с домом, тем домом, что в чувствах и сознании его занимал такое особенное, кажется, ни с чем не сравнимое место.

Может быть, поэтому вечером того же дня он заговорил со мной снова о чеховском доме, заговорил, как мне показалось, с болью и горечью, сильно волнуясь. Его кровно заботила будущая судьба дома Чехова.

Дело в том, что такого потока посетителей, какой обычно устремляется в Дом-музей с весны до поздней осени, возраста непрерывно и угрожающе из года в год, никакая постройка подобного типа выдержать не может. Для этого не приспособлены ни балочные перекрытия между этажами, ни даже фундамент, который сантиметр за сантиметром оседает. Специалисты уже и теперь не отвечают за долговечность дома.

Паустовский, как бы сердясь на кого-то, с видимым беспокойством говорил обо всем этом, не находя ответа на действительно трудный вопрос: как сохранить дом, не консервируя, не закрывая его для сотен посетителей?

Во всяком случае, мы с ним сошлись на том, что открытие рядом с домом павильона литературной экспозиции, для более равномерной, так сказать, разгрузки, перераспределения посетителей самого дома,— по существу, этой проблемы не решает..

В тот год я работал в Доме-музее над материалами своей новой книжки о Чехове, бывал там почти каждый день. За-

говорили о скромности новой экспозиции, о недостатках, собственно литературной, книжной ее части.

— Книг мало, да... Вообще бедность на этот счет, — сказал Константин Георгиевич и тут же вспомнил плохие фотокопии («не умеют увеличивать») и очень тонко отметил преимущества полиграфии иностранного отдела экспозиции («невыгодное для сравнения соседство»). Несколько отвлекаясь, вспомнил парижские издания Скира, превосходные альбомы, посвященные художникам-импрессионистам, — издания, получившие всемирное признание, международные премии...

В тот день гидом Паустовского был наш общий и давний хороший друг, научный сотрудник Дома-музея Сергей Георгиевич Брагин, умерший осенью 1969 года. Говорили мы и о том, что даже такое малюсенькое учреждение уже обросло солидным штатом, обремененной суетой-заботой. А главное, подведомственное Библиотеке имени В. И. Ленина, крупнейшему научному и культурному центру страны, само оно не ведет почти никакой исследовательской, творческой работы.

— Да, это вы правильно говорите... Есть такой город. Устюжна, — сказал Константин Георгиевич. — Туда добираться далеко — это на Вологодщине. Сначала по железной дороге, затем автобусом надо или лошадьми. С Ялтой не сравнить. А в этой маленькой Устюжне благодаря Педагогическому институту проводились вот в сентябре научные чтения, посвященные поэту Батюшкову, потому что это родные места Батюшкова... Меня приглашали, но я вот не смог поехать...

Почуялось ли это мне или на самом деле Константин Георгиевич искренне пожалел, что не смог побывать в этой далекой Устюжне, стоящей пристанью на реке с типично северным, протяжным, «окающим» названием — Молога. Впрочем, он и впрямь всегда жалел о каждом малом городишке на великой карте родины, где не довелось ему быть хотя бы проездом.

О необыкновенно бережном отношении Паустовского к географии и истории родной страны лучше всего говорят его собственные произведения. О том, как бережно, с какой душевной страстью умел он защищать культурные ценности, составляющие достояние и богатство нации, человечества, можно написать целое исследование. Но все же надо было видеть и слышать, с каким драматизмом говорил он о судьбе чеховского дома, чтобы физически ощутить эту примечательную черту его человеческого, писательского характера.

Паустовский был одним из тех художников, кто осущест-

влял живую связь нашего времени с великими гуманистическими традициями русской классики, русской культуры.

Разговор о Доме Чехова был едва ли не последним нашим разговором с Константином Георгиевичем.

* * *

Я уезжал из Ялты в первых числах декабря, увозя с собой несколько драгоценных строчек автографа Паустовского и память о нем.

На дальних высотах гористого ялтинского амфитеатра уже ослепительно искрились против солнца чистые белые снега. К яркости и богатству южных красок — голубых, зеленых, золотистых, дымчато-серых, пурпурных, когда осеннее багровое солнце медленно встает из-за моря и освещает отроги крымских гор, — прибавился еще один устойчивый цвет — белоснежный.

Как строчку любимых стихов, повторял я слова Паустовского: «Снег на Яйле, его свет над Ауткой».

Аутка — это поэтическое название деревушки, раскинувшейся в трех километрах к западу от Ялты, как значится в словаре Брокгауза и Ефрона, изданном почти в те же самые годы, когда Чехов на пустыре заброшенного виноградника поставил свой дом. Аутка — теперь поселок Чехова, Большая Ялта, которая все растет и растет. А этот белый дом, утопающий в буйной зелени посаженного руками Чехова великолепного сада, известен теперь всему миру.

Паустовский часто бывал в этом доме, но еще чаще он бывал в нем мысленно, сверяя, как мне думается, свою жизнь, свою совесть человека и художника «по Чехову». Вспомним хотя бы полные драматизма страницы, завершающие «Время больших ожиданий», или строчки, посвященные Чехову, из «Ильинского омута»...

Во всех своих произведениях, а не только в автобиографическом цикле, Паустовский почти день за днем рассказал нам о своей жизни. Но о нем самом, я уверен, напишут еще много замечательных строк.

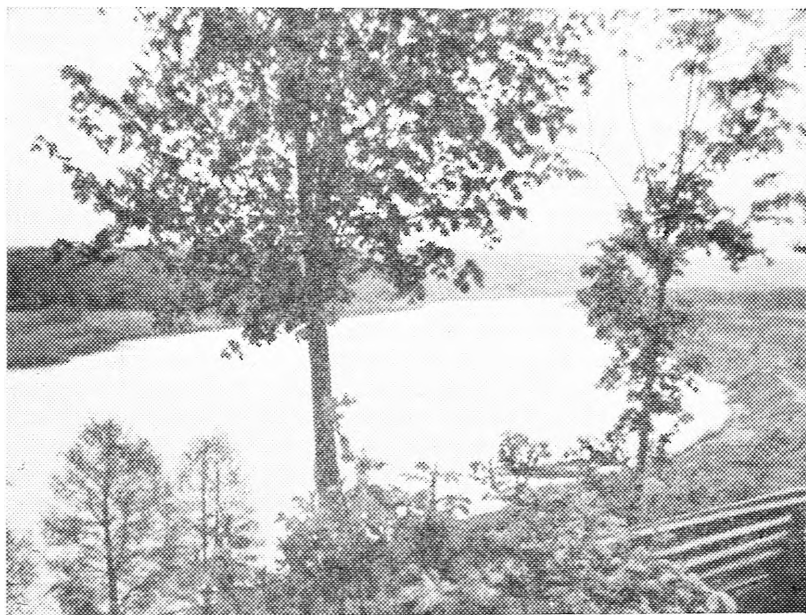
Константин Георгиевич Паустовский принадлежал к тому счастливому типу русского писателя, одно присутствие которого на этой земле делает и землю, и людей, ее населяющих, лучше, добрее, прекраснее.

Талантливых писателей мы числим сегодня сотнями — это характерная примета массовой культуры наших дней. Личное

мужество и честность тоже не такая уж невидаль в писательской среде. Но соединение мужества с деятельной добротой, эта наиболее выдающаяся черта Паустовского-человека,— явление редкое и потому нами особенно ценимое.

Мне почему-то думается, что в человеческом плане не было среди советских писателей по духу и складу своему писателя ближе к Чехову, чем был к нему Паустовский.

И пока никем еще не сказаны о Паустовском слова, равнозначные тем, что сказал Горький о Чехове, я позволю себе повторить именно эти слова: «Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл».



Вид на Оку. Таруса.

Степан ЩИПАЧЕВ

*Из письма, прочитанного на вечере, посвященном
семидесятилетию К. Г. Паустовского*

Дорогой Константин Георгиевич!

Совокупность всего сделанного Вами в русской литературе так велика, участие Ваше в нравственной деятельности нашего народа так значительно, что мне трудно найти слова, способные полно выразить меру уважения и восхищения, с каким я всегда думаю о Вас и читаю Вас.

В Ваших книгах изображение жизни доставляет читателю не только радость узнавания, но и радость открытия, потому что Вы в высокой степени обладаете даром отыскивать в окружающем следы поэзии. И так же, как в скромной, застенчивой русской природе Вы видите и учите видеть ее покоряю-

щую нежную прелесть, различать бесчисленные оттенки красок акварельной тонкости, так и в людях Вы прозреваете скрытые богатства их внутреннего мира, огромное разнообразие характеров, душевных движений, индивидуальных особенностей.

Мне представляется иногда, что Вы закинули в море человеческое огромное невод, захватили им несметное множество образов и дарите людям драгоценный улов Вашего замечательного, чуткого таланта.

Лирик и романтик, Вы утверждаете читателя в убеждении, что мир бесконечно интересен и хорош, что за него стоит бороться, а силы человека — богатырские и он непременно побеждает в этой борьбе.

Сила Вашей любви к прекрасному равняется Вашему отвращению ко всякой лжи и жестокости, и поэтому читатель чувствует, что пером Вашим движет благородная доброта и благородный гнев, что Вы никогда не кривили и не покривили душой. Огромное дело — правдивость таланта! Вы, дорогой Константин Георгиевич, живете среди нас как воплощение писательской совести.

Позвольте в день этого праздника крепко обнять Вас, как старшего брата, и пожелать Вам здоровья, сил, долгих лет и радостной работы.

Любящий Вас

Степан Щипачев.



*К. Г. Паустовский и Л. А. Малюгин в Ялте.
Начало шестидесятых годов.*

Алексей БАТАЛОВ

В ЯЛТЕ

Паустовский входил в ялтинскую кофейню в кепке и промокшем плаще, щурясь, протирал очки, а за его именем в воображении людей — и тех, кто шел ему навстречу по набережной, и тех, кто прятался от дождя в этом кафе, — уже стоял легендарный, не подвластный удару смерти образ писателя и человека, дерзнувшего в своей жизни и сочинениях всегда оставаться на стороне добра, справедливости и надежды.

В хаосе изломанного войнами, разрухой, голодом времени, в толпах ничем не приметных людей он находил то, что позволяет человеку сохранять достоинство, веру и силы для борьбы. И в этом упрямом отборе художника прежде всего было желание сделать достоянием всех то самое драгоценное, что должно оставаться и остается в иных людях, какие бы испытания ни выпадали на их долю.

Своим неторопливым повествованием, где всякая мелочь, каждое описание проникнуто ясным человеческим взором, Паустовский как бы заставлял читателя оглянуться на мир, на время, на людей, на себя.

Легенда о Паустовском задолго до его смерти была настолько значительна и властна, что постепенно поглощала и ежедневные будничные события его жизни, придавая им особое значение и **смысл**.

Казалось, Паустовский был знаменитее самого себя.

В представлении людей он был больше, необыкновеннее и, наверное, загадочнее, чем на самом деле. Когда в том же кафе на набережной Ялты кто-то из официанток, не удержавшись, сообщал своим клиентам его имя, указывая туда, где он сидел, люди, забыв приличие, поворачивались с такими распахнутыми вовсю глазами, точно им надлежало взглядом охватить гору. Сутулая фигура сидящего за столом маленького сухощавого человека едва ли могла занять один уголок этого жадного охватывающего взгляда.

Смерть не отняла ни единого слова из того, что составляет вместе со всеми сочинениями легенду Паустовского. Он остался в своем лирическом герое в памяти людей и во множестве добрых земных дел. Но с ним ушло то, что было самым удивительным для современников, неповторимое живое единство несовместимых черт: глубокой человеческой доброты и негибаемой воли, старческой фигуры и безупречной элегантности, флотской тельняшки и профессорских очков.

В любом пересказе все это распадается на слова, на примеры и тотчас теряет то огромное обаяние, которым сразу же покорял Паустовский.

* * *

Та особенная, упрямая определенность, которая есть в отборе материала, событий и самих слов писателя, была ощутима и в поведении, и просто во внешнем облике Паустовского.

Всегда подтянутый и, несмотря на годы, какой-то юношески свежий, он производил впечатление человека, что называется, в приподнятом расположении духа. Притом далеко не во всех случаях настроение было праздничным и лучезарным, но ощущение внутреннего накала, темперамента оставались неизменно. Обостренное внимание ко всему окружающему, постоянная внутренняя собранность, вечные преодоления недоумоганий, усталости и житейских невзгод скрывались за каждым движением Паустовского.

Вопреки завидной репутации любимца, баловня судьбы Паустовскому все, и сама эта судьба, давалось трудно.

Человек крайне вспыльчивый, мгновенно увлекающийся, он скорее находился в какой-то постоянной борьбе с самим собой и с тем, что в данный момент предъявлял ему ход событий. Но борьба эта шла в том единственном направлении, которое определяло всю жизнь и творчество Константина Георгиевича.

Он резко, подчеркнуто ясно не принимал все пошлое, злое, связанное с насилием, хамством или невежеством. И так же настойчиво и твердо, наперекор всему, поддерживал и утверждал все, что имело доброе человеческое начало.

Я говорю теперь не только о выступлениях и высказываниях, которые были посвящены каким-то значительным явлениям, а просто о повседневности, о том, что можно было уловить в сказанной между прочим фразе, невольно мелькнувшей улыбке.

Покойно сидя в плетеной качалке среди неторопливо беседующих обитателей дома, Паустовский оставался верен своим взглядам. Он доброжелательно слушал всех, смеялся, сам рассказывал множество веселых, пронизанных чисто одесской иронией и наблюдательностью историй, но никогда ни одного дорогого для себя имени Паустовский не давал упомянуть всуе или для красного словца. В таком случае мгновенно следовала резкая реплика или рассказ «к слову», которым он немедленно объяснял свое отношение к названному лицу... И горе нахалу, который, не поняв мирного предупреждения, продолжал разглагольствовать в прежнем тоне. Оставаясь в той же свободной позе, Паустовский превращался в камень. Все его черты становились острыми и жесткими, ветвистые жилки на висках разбухали, взгляд опускался в нижний ободок очков, голос делался глухим, слова тяжелыми. В такие минуты он говорил медленно и безжалостно, уже не заботясь о том, что из этого произойдет. Говорил все до конца, называя вещи своими именами.

* * *

Где бы, хотя на время, ни появлялись Паустовские, будь то сруб на окраине Тарусы, тесная квартира котельнического небоскреба или номер писательского Дома творчества в Ялте, вместе с ними с первым принесенным из машины чемоданом поселялось какое-то особое настроение.

И, пожалуй, самым простым, вернее — самым заметным признаком того особого уклада жизни, который отличал эту

семью от всех других, были цветы и всяческие растения. Они стояли всюду, в любом пригодном сосуде или горшке, и появлялись нечаянно, словно сами собой, как появляются в жилище предметы первой необходимости.

Когда в Ялте к приезду новых хозяев дежурные только еще готовили номер, среди нагромождения отодвинутой от стен мебели уже стояли какие-нибудь цветы. Неизвестно кем принесенные, они путешествовали в хаосе уборки со стола на стол, но с этого момента и до тех самых пор, пока Паустовские не уезжали в Москву, зеленые жильцы оставались в доме всегда.

Притом диковинные редкости из оранжерейных теплиц не имели никакого преимущества перед кривыми стебельками, только вчера появившимися где-то на склонах окрестных холмов.

Не было случая, чтобы хозяин не заметил самого скромного букета, всунутого кем-то в одну из многочисленных банок.

Когда силы позволяли Паустовскому гулять и мы отправлялись бродить по каменистым тропинкам, или уезжали на лесные поляны Ай-Петри, или спускались к берегу моря, отыскивая безлюдные уголки, всюду окружавшие нас растения — деревья, водоросли, травы, кусты — оказывались его давнишними знакомыми. Он не только узнавал и отличал их по листьям и обломкам коры, но во всех подробностях знал жизнь и особенности каждого. Для Паустовского были открыты связи этого безмолвного мира с судьбами людей, их характерами, бытом, историей. Он как-то особенно ясно ощущал глубокую взаимозависимость всего сущего на земле. Поэтому он был особенно точен во всякой мелочи и всякая мелочь могла служить для него знаком целого сложившегося явления.

Однако все это так бы и осталось моими догадками, личными впечатлениями и всюду следовало бы писать «как казалось» или «будто», если бы не один случай, разом подтвердивший мои смутные ощущения. В тот день то, что скрывалось за букетами на письменном столе Паустовского, стало явным, во всеуслышанье высказанным убеждением.

* * *

В те годы Паустовский решительно отказывался выступать где бы то ни было. Во-первых, потому, что сама эта процедура была ему не по силам; во-вторых, потому, что всякое выступление неизбежно поглощало его рабочее время. Сколь ни старался он относиться к теме или аудитории спокойно, дело

кончалось тем, что Паустовский говорил страстно, заинтересованно, в высшей степени ответственно и откровенно. Его волнение нарастало с каждой произносимой фразой, и на следующий день, как последствия шторма на побережье, признаки этого душевного напряжения еще явственно читались во всем, что он делал и говорил. Так пропадали два, а то и три рабочих дня.

И все-таки в те годы он выступал в Ялте.

Этими людьми, которым несмотря ни на что он считал невозможным отказать, были школьники и сотрудники Ботанического сада.

Рабочий день еще не кончился, и пока народ собирался в приспособленной под клуб церкви, мы ходили по дорожкам Никитского парка. Паустовский делал вид, что совершенно не думает о предстоящем разговоре, но по тому оживлению, с каким он рассказывал об окружавших нас диковинах, можно было заметить скрытое волнение.

К началу встречи публика уже вылилась на улицу. Забитый до отказа зал продолжался рядами людей, стоявшими в дверях и на ступенях, под открытым небом. Сразу стало душно и жарко. Паустовского протиснули к высокому помосту и усадили за стол. Во время вступительного слова председателя собрания он ни разу не поднял головы, точно все время напряженно вспоминал что-то очень важное, не имеющее никакого отношения к тому, что происходило вокруг.

Паустовский начал говорить просто и крайне серьезно. Его слова и интонации были настолько будничны, обычны, что вся официальность, торжественность атмосферы мгновенно улетучилась. Даже высоко поставленная трибуна, с которой он говорил, перестала казаться казенной декорацией.

Он и в самом деле говорил о цветах. Но это был не ораторский прием, не ловкое начало выступления «с учетом специфики аудитории».

Паустовский говорил о том, как природа формирует характеры, нравы, повадки людей, о том, как она отражена в человеческой душе и судьбе, об истинной и ворованной красоте, о невеждах, полагающих себя и свои деяния выше простой мудрости всего естественного и подлинного, о лице века и связях его с тем, что останется вечно...

И в каждой новой фразе все резче, все явственнее проступала судьба и вера самого Паустовского, все, что он говорил, с поразительной точностью относилось к каждому сидящему в зале и к тому, что происходило в те дни на земле.

Духота изнуряла Паустовского, но он так и не воспользовался своим «ингалятором». Всякий раз, касаясь рукой того места, где во внутреннем кармане лежал аппарат, он вдруг забывал о своем намерении и, увлеченный возникшей мыслью, каким-то чудом обретал новое дыхание. Только крупные капли пота и напряженно сведенные брови выдавали его усилия и усталость.

За этот час или полтора он потерял все, что по крохам скопили ему предыдущие ялтинские дни и заботы близких.

* * *

Паустовский лучше всех окружающих знал, как дорожает с каждым днем время и как все явственнее не умещается в его рамки то, что хочется, что необходимо написать. Никто бы и не смог осудить его за поспешность, за стремление сохранить для работы силы или лишний спокойный час. Однако ни знания, ни слава, ни опыт, ни возраст не могли заслонить от него реального течения жизни со всеми ее ежедневными радостями и тревогами. Он не торопил тех, кто приходил к нему «излить душу», не уставал узнавать, искать, смотреть и восхищаться.

Он обладал поразительно живой, почти детской по своей легкости и конкретности фантазией. Мгновенно вспыхивающее воображение каким-то образом уживалось в нем рядом с требовательностью, строгостью, с умением высекать из всего разоблачающую искру иронии.

Фантазия служила ему проводником в прошлое, воскрешая образы и подробности давно минувших событий, она же без малейшего усилия соединяла самые реальные и самые далекие, казалось бы, несовместимые ощущения и понятия.

Паустовский помнил и цитировал невероятное количество строк из самых разных по времени и направлениям поэтов. Однако знание классических образцов никак не притупило в нем живого ощущения каждого нового слова. Казалось, он открыл мир поэзии только вчера и сегодня со всею страстью упивается этим новым открытием. Какие-нибудь только что услышанные понравившиеся стихи Паустовский, точно гимназистка, просил «переписать», а потом сам аккуратно перепечатывал их на отдельный лист и прятал в стол.

Великолепно зная людей, Паустовский тотчас отличал пустые слова от искренних и серьезных. Но у него всегда хватало терпения и любопытства на то, чтобы не сбить собеседника и дать ему выпутаться из дебрей застенчивости или невольной лжи.

Оказавшись наедине с Константином Георгиевичем, хотелось рассказать и то, и это, и все самое важное, самое трудно передаваемое. Его внимательный, мгновенно реагирующий на каждую подробность взгляд, вздрагивающие мимолетной улыбкой губы, добрые морщинки у глаз — все жило вместе с вашим рассказом, точно фиксируя и события, о которых шла речь, и ваше волнение, и то, что оставалось за словами.

Он тратил часы на разглядывание дырявой военной карты, которую мальчишки притащили с берега моря... Размытые следы чернильного карандаша что-то говорили ему о минувших боях...

А на самом деле ни сил, ни времени уже не было.

* * *

Стоило Паустовскому забыть в номере свою «дышалку» — так он называл ингалятор, — как где-то у моря, во время прогулки, его начинала душить астма. Недуг преследовал его постоянно. Болело сердце, немели руки, кружилась голова. Все чаще случалось по ночам слышать приглушенные торопливые шаги. Снизу, где установлен телефон, доносились сдержанные голоса. Потом в плотной тишине парка расплзлось натруженное урчание мотора, появлялись доктора с чемоданчиками и тугими кислородными подушками. В металлических коробках звякали шприцы.

Но и в самые трудные времена в доме Паустовских ни в одном движении близких, ни в какой интонации никогда не было той тоскливой аккуратности, пошлой предупредительности, тех перебежек на цыпочках, которые призваны выказывать посторонним присутствие опасности или тягость положения.

Даже человеку, ежедневно бывающему в кругу этой семьи, нужно было определенное усилие, дабы представить себе все, что постоянно сопутствовало ее жизни.

Изнурительная болезнь, ежедневная работа, которая двигалась медленно и трудно, спотыкаясь о множество чужих далеко не радостных, не легких дел, наконец, вечные больницы, санатории, Дома творчества с определенными распорядками жизни, казенными чайниками, тарелками, с чужим письменным столом — все это словно не существовало или, во всяком случае, никак не сковывало той ясной, легкой атмосферы, которая постоянно царила в кругу этих людей.

После тяжелой, бессонной ночи с «неотложкой», уколами и кислородом, когда Константин Георгиевич не мог дойти до

столовой, Татьяна Алексеевна устраивала завтрак в номере. На кривом балконном столе появлялись накрахмаленные белоснежные салфетки, какие-то кувшинчики, цветы, подогретый хлеб. Пахло свежесваренным чаем и ягодами.

Паустовский выходил до блеска выбритый, с аккуратно причесанными, еще влажными от умывания, волосами, в свежей, жесткой, как салфетка, рубашке и усаживался в кресло с таким видом, точно все, что случилось ночью, он подстроил специально для того, чтобы состоялся этот уютный домашний завтрак.

Скоро набирались люди. На плитке снова и снова кипятили чайник, смеялись и говорили, говорили, совершенно уже не думая о том, что заглянули сюда «только на минуточку» — узнать, не нужно ли чего больному.

Нежелание уступать болезни, обстоятельствам, требовательность к себе и ко всему написанному своей рукой, по существу, составляли непрерывную цепь мужественной борьбы человека за то, что останется уже после его жизни.

В это время всякое новое сочинение, даже новая глава могла по воле судьбы оказаться последней. Паустовский и сам не раз говорил об этом. Он искал и готовил какую-то особенно емкую форму — книгу, в которой поместились бы раздумья, наблюдения, опыт всего пути. Однажды после вечернего чая Константин Георгиевич прочитал начало своей новой книги. Мы знали, как мучительно и долго рождался этот первый кусок. В нем говорилось о том, каким образом из крупиц реальности составляется в воображении писателя самостоятельная, уже свободная от точных имен и дат новелла.

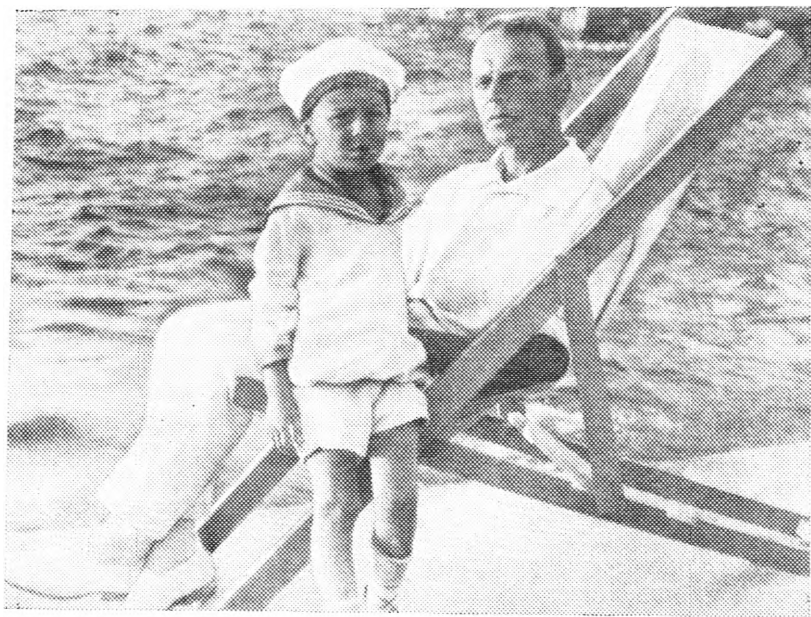
Друзья Константина Георгиевича, присутствовавшие на этом чтении, узнавали места действия, лица, время. Все это кончилось потоком воспоминаний, во всех подробностях связанных с тем, о чем писал Паустовский.

Константин Георгиевич внимательно слушал все, что говорилось о прочитанном, и, кажется, был вполне доволен этим вечером.

Весь следующий день он не выходил из кабинета и никого не принимал. Наконец утром третьего дня Паустовский пришел к завтраку в самом праздничном настроении и сразу объявил, что намерен отправиться к морю или на прогулку в горы. Кто-то спросил, не связано ли такое его расположение с окончанием работы над первой главой начатого сочинения.

— Да, — ответил Паустовский, — я все уничтожил!

Ночью он сжег все, что написал для своей новой книги.



К. Г. Паустовский с сыном Вадимом. Севастополь, 1929 г.

Вадим ПАУСТОВСКИЙ

ПРИВИВКА К ГЕОГРАФИИ

Всю жизнь отец вел записные книжки, заполняя их очень кратко. Например: «Радуга над рекой Сосной. Вечерний мальчик. Синий вечер. Боярышник». Читая сейчас эти записи, я по-новому оценил свои детские впечатления. Я понял, что некоторые мои склонности появились в какой-то степени под его влиянием. Ведь в ту пору мы вместе бывали в местах, которые потом «прочно вошли» в его творчество. Крым, Мещорские леса, Приуралье, городок Ливны в Орловской области, даже маленькая деревенька Екимовка на Рязанщине... Наряду с людьми, все они не раз становились «героями» его произведений. Мы открывали их одновременно, каждый по-своему.

Поэтому я и решил ограничиться «географичностью» своих детских впечатлений. Вот почему эти воспоминания не претендуют на полноту и носят отрывочный характер.

Отец умер недавно. Помяная человека, принято говорить не только о нем самом, но и о его привязанностях. Уверен, рассказ о любимых им местах был бы ему приятней, чем детальное описание его склонностей и литературных вкусов. Ведь в значительной степени это и есть рассказ о нем самом.

Говоря о «географичности», я имею в виду не узконаучное значение этого слова. Ведь для отца география прежде всего была общением с природой и людьми, и он не делал здесь различий между путешествиями, чтением морских лодий или беседами с мальчишками о прелестях охоты на кузнециков.

Пожалуй, стоит добавить и следующее. Любому месту земного шара строго соответствуют значения широты и долготы. Наверное, также однозначны должны быть и слова для описания этих же мест, будь то скошенный луг, поселок или небольшая перелесок. Всем им свойственно свое, единственное звучание. Недаром на языке географов нахождение координат, то есть точных значений широты и долготы, выражается термином «определиться».

Поиск же «литературных координат» распространяется уже и на явления природы, и на судьбы людей, и на многое другое. Одно остается неизменным — точная передача того, что мы называем «вкусом вещей». Бунин говорил, что при написании рассказа ему не столь важны взаимоотношения действующих лиц (часто изменяющиеся во время работы над вещью), сколько то, что он определил термином «найти звук». Отец очень любил это бунинское выражение.

Но я немного отклонился... Да и так ли обязательно строго оставаться в жестких рамках темы?.. Ведь годы моей детской «прививки к географии» совпали со временем, интересным для отца и в творческом отношении. Именно тогда он писал «Романтики», «Блisterающие облака», «Кара-Бугаз», «Колхиду», мещорские рассказы и многое другое. Тогда же оставил службу и полностью занялся литературной работой...

Значительную часть года мы проводили в Москве. Однако будни в большом городе всегда однообразны, в особенности для ребенка. Вот что всплывает в памяти из московской жизни тех лет...

Помню отца постоянно склоненным за письменным столом в крошечной комнате, расположенной в глубине квартиры и не имеющей дневного света. В комнатах, выходивших окна-

ми на шумную улицу, он работать не любил. Его раздражали звонки трамваев, от которых дребезжали стекла, выхлопы автомобилей, достигавшие третьего этажа, и даже солнце, врывавшееся во второй половине дня на письменный стол.

«Темная комната» — так называлось убежище — была выбрана за тишину и еще за то, что, по его словам, «там не чувствуешь времени». Может, это и помогало отцу просиживать за работой много часов подряд.

Я рос относительно спокойным ребенком. Возможно, поэтому мне прощались проступки довольно преступного характера, — например, рисование на обороте географических карт. Отец любил собирать такие карты и относился к ним очень бережно. Я украдкой вытаскивал те, что крупнее, расстилал на полу белой стороной вверх и изображал цветными карандашами какую-нибудь бесконечную историю, — скажем, путешествие Афанасия Никитина в Индию или собственные воображаемые приключения в дальних странах. Один эпизод «пририсовывался» к другому, пока все огромное полотнище не было заполнено в несколько ярусов до предела. Занятие было настолько захватывающим, что я порой проводил за ним не меньше времени, чем отец за рабочим столом.

Лишь однажды помню его очень рассерженным. Это случилось, когда мы с приятелем, перейдя от рисования к делу, сняли с полок все книги в доме и построили из них маяк и крепость. Вообще же он редко сердился, предпочитая иные способы воздействия, подчас неожиданные и даже забавные. Когда я как-то «вошел в раж», расшумелся и мешал ему работать, он послал меня во двор с заданием сосчитать число шагов от одного конца до другого. Через десять минут я вернулся с готовым ответом, но отец посоветовал пересчитать. Новое число, к удивлению, оказалось иным. Еще более поразило меня то, что сколько я ни ходил по двору, ни одно из чисел не совпадало с первым. Двор был узким и довольно длинным. Измерение его стало походить на азартную игру. Во всяком случае, я не появлялся дома до самого обеда...

Иногда я украдкой ненадолго заглядывал в темную комнату посмотреть его за работой. Это изредка допускалось при одном условии — «чтобы тихо». Мне нравился хруст плотной писчей бумаги и скрип пера. Писал отец мелким прямым почерком, без наклона. Похоже, он сознательно выработал именно такой почерк, с характерным, «своим» написанием многих букв, хотя, может быть, вначале и следовал какому-нибудь

образцу¹. Пока не стал пользоваться авторучками, всегда писал перьями, не дающими нажима,— например, «рондо». В этом отношении был даже привередлив. Если дома не оказывалось такого пера, мог прекратить работу вовсе.

Именно с пером «рондо» я, естественно, первый раз отправился в школу, но классная руководительница тут же забрала его.

— Мой папа всегда работает такими перьями,— насупившись, ответил я.

— Твой папа может писать какими угодно перьями,— заученным голосом пропела молодая учительница,— но ты, мальчик, завтра принеси перо номер восемьдесят шесть.

Больше всего мне нравилось смотреть, как отец зачеркивает слова, в особенности в рукописях, отпечатанных на машинке. Тщательно зачеркнув слово пером, он затем несколько раз проводил по этому месту обратной стороной ручки, пока не получался длинный прямоугольник с четкими, аккуратными краями. Различить уничтоженное слово становилось совершенно невозможно. Однажды он сказал мне: «Эту рукопись будет читать Горький, и я не хочу, чтобы он мог разобрать зачеркнутое».

Были у него свои привычки и вкусы при употреблении знаков препинания. Вместо двоеточия всегда ставил тире и не терпел точки с запятой. Называл этот знак «канцелярским», и когда я, будучи уже школьником, ссылаясь на Толстого, Тургенева, Лермонтова, отец отшучивался: «Это им в типографии наставили». Страшно сердился, когда корректоры вставляли точку с запятой в верстку его вещей, и яростно заменял ее на запятую и тире. Этот «свой» знак отец предпочитал даже чисто эстетически. Находил, что он и красив, и лучше выражает оттенок дополнения либо некоторого противопоставления, характерные для фраз, где обычно ставится точка с запятой.

¹ При всей индивидуальности отцовского почерка в нем было много сходства с почерком Бунина, писателя, которого отец особенно любил с молодых лет. Это бросилось мне в глаза, когда весной 1962 года я увидел открытку, полученную отцом от Бунина еще в 1916 году и долгое время считавшуюся потерянной. Открытка была ответом на несколько стихотворений, посланных ему отцом. Заметив, что «в стихах Вы поете с чужого голоса», Бунин дает совет перейти на прозу примерно в таких выражениях (цитирую по памяти): «Думается, Ваш удел, Ваша настоящая поэзия — в прозе. Именно здесь, если Вы сумеете проявить достаточно упорства, уверен, сможете достичь чего-нибудь значительного. Пишите мне и впредь» и т. д.

Насколько я знаю, отец сразу и навсегда последовал этому совету.

той. С помощью запятой и тире, говорил отец, можно выразить еще и причинность, и многое другое.

— А если нужно обозначить только одно длинное-длинное перечисление? — спрашивал я. — Здесь подходит именно точка с запятой, запятая и тире будут неуместны.

— Тогда я ставлю просто точку, — отвечал он, — а само перечисление выношу в отдельную фразу и снабжаю обобщающим словом или выражением.

Крайне недружелюбно относился он и к деепричастиям и деепричастным оборотам. На мои доводы, что деепричастие позволяет сразу «объединить» два действия, значит, «сжимает» повествование, отвечал, что предпочитает в этом случае поставить рядом два глагола, связанные союзом, и добавлял: — Зачем говорить о нескольких действиях сразу? Это то же, что давать несколько определений одновременно. Будет каша. Лучше вводить все последовательно.

Деепричастия он не любил чисто эмоционально.

И действительно, когда я специально перелистывал его вещи, стараясь не вчитываться в содержание, я убедился, что деепричастных оборотов в них очень мало, и то преимущественно в виде одного слова.

Во время работы отец много курил, часто прикуривая одну папиросу от другой. И так несколько раз подряд. Уже в больнице, незадолго до смерти, грустно сказал: «Прокурил я тогда свои легкие»...

Возбужденный работой, всегда крайне неохотно покидал «свой пост» и, даже выходя к обеденному столу, ел быстро, словно выполнял обязательную формальность. Нередко при этом что-нибудь читал и затем спешил уединиться опять.

Более или менее надолго отец в такие дни появлялся в других комнатах, лишь когда прочитывал очередной отрывок или законченную вещь. Он проверял ее звучание на слух, и это для моих родителей являлось почти обязательным ритуалом.

Манера чтения отца очень походила на его почерк — так же четко, спокойно и «без нажима». Читая, он не любил садиться за стол и класть рукопись перед собой. Присаживался как-то «между прочим» на край дивана или кресла, иногда не спеша ходил по комнате. Голос всегда звучал монотонно и глуховато. Места, особенно волнующие, читал подчеркнуто размеренно. С точки зрения ортодоксальной учительницы литературы это было, пожалуй, «чтение без выражения».

Для меня же это было первым исполнением литературных

произведений вообще. Я настолько привык именно к такой манере чтения, что с тех пор она мне кажется лучшей и единственно возможной. Позже, слушая вещи отца по радио или на концертах, я много раз огорчался от неумеренной экзальтации, от выкриков либо лепета, переходящего в шепот, — короче говоря, от всей той нелепой манеры чтения со «сверхвыражением». В особенности этим грешат женщины-чтицы. В таком исполнении не узнаешь знакомых с детства страниц. Кажется, будто их написал другой человек, склонный к сентиментальным, а не мужественным проявлениям. Мужчины-чтецы ведут себя сдержанней. Очевидно, они исходят из того же критерия, что и отец. Секрет здесь очень прост. Во всех порядочных музеях стены всегда окрашивают в блеклые, нейтральные цвета — серый, зеленоватый. Только на таком фоне можно по-настоящему оценить живопись.

Довольно часто мы провожали отца в командировки, порой очень длительные — по несколько месяцев. Письма от него приходили обстоятельные и почти всегда отражали облик тех мест, где он находился, будь то Каракумы, Грузия или Карелия. Избегая излишне подробных записей в блокнотах, он обычно «выговаривался» в письмах. В строчках, предназначенных для меня, сообщалось о разных звериных проделках или забавных происшествиях. В открытке из Саратова «цитировалась» песня волжских крючников: «Золотая наша рота тянет черта из болота. Эх, дубинушка, ухнем и т. д.». С Кольского полуострова он писал, что на Мурманской дороге «все деревянное, даже семафоры» и что в Имандре он видел первые олени упряжки: «Олени низенькие, пушистые и очень славные». В письме из Красноводска рассказывалась история, как у туркмена, погонщика верблюдов, в кармане халата неожиданно загорелись спички. Так горячо, по словам отца, жгло среднеазиатское солнце. Я порой посылал ему свои иллюстрации подобных случаев и получал в ответ открытки с изображением нефтяного промысла, теплохода или хотя бы рыбацкого челна.

Возвращаясь, он снова усидчиво принимался за работу, мое участие в которой заключалось лишь в репликах по телефону типа «папы нет дома». Любопытно, что обычную детскую демагогию по этому поводу («Говоришь, что обманывать нехорошо, а сам просишь» и т. д.) он довольно близко принимал к сердцу. Всерьез начинал доказывать, что это не обман, что иначе он не сможет ничего сделать...

...Зато в летние месяцы, которые мы проводили вместе, всё было совсем иначе. В городе он главным образом обрабатывал материалы, привезенные из поездок и командировок. Подлинное накопление происходило на природе, с которой у него были «свои» отношения.

Мои наиболее яркие впечатления детства также связаны с местами, в которых мы жили вне Москвы.

Первое такое впечатление — Балаклава. Мне четыре года. Поперек узкой бухты, зажатой между крутых бурых гор, вытянулся серый корпус большого корабля. На нем — школа водолазов. По утрам курсанты спускаются в зеленую искрящуюся воду, сверкая круглыми медными шлемами.

Рыжий парень Пашка, перевозчик на ялике, обещает мне смастерить модель рыбацкой шхуны («даже лучше, чем настоящая»). Каждый день он рассказывает о новых интересных подробностях — какой у шхуны будет бушприт, как будет покрашен корпус и т. д. Однако я так и не дождался ее до конца лета... Отец говорит, что Пашка хороший парень, но ленив, как настоящий «листригон». Это слово совершенно непонятно, как непонятны, даже пугающие все местные рыбаки. Шумные и беспечные, они совершенно не похожи на бледных, суетливых москвичей.

Называя балаклавских рыбаков «листригонами», отец, конечно, имел в виду очерки Куприна. Хотя Куприн жил в Балаклаве примерно на четверть века раньше, многие старые рыбаки его, безусловно, помнили. Может, поэтому отец так любил беседовать с этими прокопченными морским солнцем пожилыми греками. По местному обычаю, все они прозывались «дядями». К ним так и обращались — «дядя Гриша», «дядя Спиро».

Содержание бесед отца с рыбаками запомнилось плохо. Ребенку часто разговоры взрослых кажутся излишне длинными и утомительными. Тем более если эти разговоры становились досадной помехой вечерним прогулкам, когда отец, устав после работы над рукописью, охотно «переключался» и мог подробно отвечать на бесконечные детские: «Что, как и почему?..» Здесь у него был свой прием, который можно назвать «методом активной обороны». Он часто превращал ответ в маленькую забавную историю, куда затем добавлял ответы и на следующие неизбежные вопросы. Иногда он увлекался этим сам и с удовольствием импровизировал.

Однажды я притащил домой с пляжа косматого беспризорного щенка, который через несколько дней бесследно исчез.

Чтобы прервать поток моих слез, отец рассказал, как щенок увязался в Севастополь за старым портовым сторожем, который нес сверток с чудесно пахнущей колбасой. В Севастополе щенок, разумеется, попал на учебный парусник и отправился с курсантами в кругосветное плавание. Так началась длинная «история с продолжением», тянувшаяся от эпизода к эпизоду все лето. Между реальностью и фантазией в ней находилось место для очень многого — от устройства компаса и маяка до проделок электрических скатов. Думаю, щедрость на такие рассказы объяснялась, говоря издательским языком, «близостью темы». В Москве подобного не наблюдалось. Недаром отец не раз говорил, что и писателем стал только благодаря морю.

Для меня же вся история обладала особым ароматом достоверности, так как главным ее героем была не какая-нибудь абстрактная собака из детской книги, а самый реальный щенок со спутанной пестрой шерстью и мокрым носом, прикосновение которого я еще отлично помнил. Ничего не стоило представить себе, как ранним розовым утром где-нибудь в Южных морях (Черное море таким уже не считалось) щенок торопливо выбегает на пустынную палубу, чтобы первым рассмотреть летучих рыб, упавших на корабль за ночь...

Иногда мы поднимались на склоны окрестных гор... Сверху бухта казалась тихим зеленым озером, существующим как бы отдельно от высокого и беспокойного морского горизонта. Одновременно она походила и на маленький норвежский фьорд, и на убежище средневековых корсаров, затерянное среди островов Архипелага. Пожалуй, Балаклаву можно смело отнести к местам, созданным природой для самых неожиданных «сдвигов» во времени и пространстве. Лишь по легкой перламутровой дымке, окутывающей отдаленные предметы, безошибочно угадывался Крым.

В глубине залива — ровная линия небольшой набережной, на которую выходило несколько высоких дач, погрязших, по-видимому, еще в конце прошлого века. Ползучий виноград оплетал колонны обветшавших античных портиков, широкие белые лестницы вели сразу на верхние этажи. Мы жили в пансионате, который по старой памяти назывался «Дача адмирала Апраксина». На потолках его пустынных светлых комнат непрерывно колебалась легкая рябь солнечных зайчиков — отражение игры прибрежных волн.

С балкона пансионата был хорошо виден греческий поселок на другом берегу — теснота белых домиков с черепичными

крышами, с жалюзи на окнах. Характер поселка был не крымский, а скорее какой-то «средиземноморский», чем-то напоминающий итальянский пейзаж Щедрина. Окрестности его отличались суровой простотой. Здесь было мало зелени, но много камня. И надо всем стоял резкий запах йодистых водорослей и сохнувших рыбацких сетей.

В связи с Балаклавой мне вспомнилась одна черта отцовского характера, которую скорее всего можно назвать «пристрастностью». Она одинаково проявлялась как в отношении к людям, которых он ценил, так и к местам, где ему приходилось жить. За внешней неброскостью он старался рассмотреть черты исключительности. При этом он как будто вел про себя спор с невидимым оппонентом и все время выискивал новые доказательства, самые разные и подчас совершенно неожиданные. Быть может, это была внутренняя, чисто писательская работа, помогавшая ему не только собирать, но и «проверять на зуб» определения и сравнения, обживать и уточнять подробности. Иной раз он не боялся «сгущать краски» и даже впадать в преувеличение. Это проявлялось в отдельных высказываниях, порой в репликах, бросаемых вскользь.

Повод, по которому я упомянул об этом, может показаться скорее забавным, но он достаточно типичен. В то лето отец любил повторять мне, что Балаклава — древнейшая гавань земли. Не одна из древнейших, а именно самая древняя. Безусловно, это говорилось со скидкой на мой детский максимализм (детям всегда хочется, чтобы вокруг них все было «самое... самое...»). Однако, мне кажется, отец с удовольствием принимал эту «скидку» как бы и для себя. Явно чувствовалось, что это утверждение, как говорилось в старину, «очень любезно его сердцу».

Было еще одно обстоятельство, в силу которого Балаклавский залив обладал в глазах отца ореолом исключительности. Об этих местах говорилось, и притом с документальной достоверностью, в «Одиссее» Гомера. К таким вещам он бывал очень чуток всегда.

В его изложении приключения Одиссея выглядели увлекательной детской сказкой. Да ведь так оно и есть. У входа в бухту поднимались утесы, где обитали Сцилла и Харибда. Ниже, на уровне моря, был длинный змеевидный грот, в который мы выплывали на лодке. Совсем под днищем мерцало отраженным солнечным светом замшелое скальное дно. Над ним искорками проносились маленькие серебряные рыбки.

Рассказы отца об Одиссее привели к одному курьезному

последствию. Почему-то я начал считать прямыми потомками спутников Одиссея балаклавских греков, с которыми у меня были свои счёты. Мне вообще не нравилось фамильярное обращение со стороны взрослых, а знакомые рыбаки при встрече с отцом непременно отпускали разные шутливые замечания насчет «застенчивого хлопчика». При этом им ничего не стоило потрепать меня по затылку, изобразить чертика на голове... Это тоже было одной из причин, по которой я не очень любил встречи с ними, и старался даже демонстративно не прислушиваться к разговорам. Хорошо запомнилась только внешняя, так сказать «колоритная», сторона этих бесед.

В одежде балаклавских греков была неизменная особенность: что-нибудь яркое, отличительное на фоне затрапезной рыбацкой робы — пестрая косынка либо контрабандная шелковая тельняшка. Отец, по контрасту, выглядел гораздо «умеренней» — в белой рубаше с засученными рукавами и заправленным внутрь воротником (так тогда ходило большинство отдыхающих на юге). В разговорах он обычно отводил себе роль слушателя, и если отвечал, то преимущественно односложными репликами. У него всегда было умение располагать к себе таких людей, как моряки, охотники, бакенщики, портовые сторожа... Балаклавские греки в свою очередь тоже чем-то отличали его. Словом, вполне уместно становилось выражение: «Рыбак рыбака видит издалека».

Иногда число собеседников возрастало до нескольких человек. Тогда беседа уже напоминала отрывок из итальянской оперы, когда каждый голос тянет свой мотив, а в целом неожиданно получается неплохой ансамбль. Давно известно, что южные люди, в особенности имеющие отношение к морю, любят «вложить душу» в разговор, хотя маскируют это за внешней небрежностью.

Если я нарушал сладость беседы и, истомившись, начинал тянуть отца за руку, кто-нибудь из рыбаков наклонялся ко мне, делал «страшное» лицо и что-то толковал про морское чудовище, утаскивающие на дно бухты капризных детей. Несмотря на яростное вращение глаз и жуткие гримасы, мне порой становилось беспричинно весело. Может быть, так проявлялось чувство детского противоречия, тем более я уже научился критически относиться к вздорным угрозам взрослых («Вот придет дед с мешком» и т. д.) и знал, что в бухте живут лишь веселые дельфины. А может быть, и меня захватывала прелесть южной беспечности и то особое настроение, что так хорошо передано в балаклавских очерках Куприна: «...ласково

синела вода, золотом солнце обливало залив, горы и людей. И крепко, густо, могущественно пахло морем. Хорошо!»

В последующие годы все, что было до Балаклавы, станет казаться мне словно погруженным в мутную воду. Балаклава же до сих пор четко рисуется в памяти с ее малахитовой бухтой и мшистыми скалами, над которыми поднимается силуэт разрушенной генуэзской крепости. Отец, еще молодой, загорелый, карабкается по развалинам, а я реву внизу, так как хочется лезть следом. Для утешения он берет меня в Севастополь, и мы едем туда на очень странном трамвае. У этого трамвая все как требуется — и дуга и вожатый, — но бежит он не по улицам, а среди пустой желтой степи...

В Севастополе я потерялся и, плача, бегал по Приморскому бульвару, пока отец не отыскал меня около будки уличного фотографа. Мы фотографируемся на фоне памятника погибшим кораблям, но вид у обоих сердитый и недовольный.

Позже, когда я подростком читал Грина, него воображаемые города сразу «вписывались» для меня в образ довоенного Севастополя с белыми зданиями на фоне парусников, стоящих в Южной бухте. Закат зажигал одинаковые огни в окнах домов и в стеклах корабельных иллюминаторов. В то балаклавское лето Грин еще был жив и, смертельно больной, лежал в Старом Крыму...

На стенах нашей московской квартиры в те годы висело несколько небольших гравюр прошлого века с видами старинных гаваней. Белые улицы упирались в скалистые утесы, над которыми поднимались силуэты крепостных стен или одиноких маяков. Все изображения походили на вымышленные гриновские города, хотя под каждой гравюрой стояла подпись по-французски — Лиссабон, Малага, Вальпараисо...

Как-то отец повесил рядом маленькую, размером с ладонь, фотографию, привезенную из Балаклавы, и она оказалась очень «к месту». Такой же каменистый мыс с руинами генуэзской крепости, у самой воды несколько типично «балаклавских» домиков. Правда, по сравнению с гравюрами снимок выглядел скромным и даже монотонным — он был сделан в серую погоду и к тому же против света. Не было на снимке и парусов, надуваемых шквальным ветром, шлюпок, взлетающих на гребни крутых волн, и других романтических подробностей, выполненных автором гравюр с исключительным мастерством и даже скрупулезностью, вплоть до надписей на вывесках прибрежных трактиров.

Однако всё эти подробности на гравюрах можно было разглядеть и простым глазом. Снимок же Балаклавы, по словам отца, обладал удивительным качеством. Лишь с помощью увеличительного стекла на нем «открывались» все новые и новые детали — переплеты окон и ограды балконов у домиков на другой стороне бухты, даже одежда людей, поднимающихся к крепости по горной дороге...

Вообще отец любил «всматриваться» в разные вещи с неожиданных сторон и новых точек зрения, будь то обычная запонка или полусгнивший пенёк на краю леса. Брал утром, скажем, какую-нибудь коробочку (кем-то накануне подаренную или давно существующую в доме), подносил близко к глазам, поворачивал под разными углами. Проходило несколько часов, он успевал и поработать, и пообедать, и отдохнуть — и вдруг... вновь рассматривает орнамент на той же коробочке уже через огромную старую лупу с щербатыми краями.

В музеях меня по-детски раздражала его манера «застревать» у некоторых экспонатов, казавшихся мне не стоящими особого внимания. Помню, как однажды он затаскал меня (в возрасте четырех или пяти лет) во время прогулки возле Ново-Девичьего монастыря. Мы походили и внутри монастыря, и снаружи, затем отцу захотелось посмотреть на него из-за пруда. Потом с моста Окружной железной дороги и, наконец, с Воробьевых гор...

Следующая страница — лето в Ливнах, маленьком городке между Орлом и Липецком. Прошло два года. Первое время мы жили у железнодорожного врача Нины Дмитриевны Нацкой, брат которой стал прообразом геолога Шацкого в «Кара-Бугазе».

Мне лишь хочется рассказать о самом доме — старинном, деревянном, с очень высокими потолками и такими же высокими белыми кафельными печами. Было в облике его комнат что-то устоявшееся, кабинетное. Может, это чувство рождалось от сочетания старой дубовой мебели с коричневым цветом стен, от меланхолического боя напольных часов... Обитатели дома относились друг к другу с трогательной предупредительностью, которая давно стала достоянием романов прошлого века. Особенно отец любил старушку, мать Нацких. В ее ненавязчивой заботе о других сочетались ласковость и трогательная пунктуальность. Например, яйца всмятку она варила с аптекарской точностью до нескольких секунд. Отец очень лю-

бил ее рассказы о Москве и русской провинции чеховских времен, которую она прекрасно знала и отлично помнила.

В последующие годы и сам дом Нацких связывался в моем представлении с жизнью некоторых героев Чехова. Кусты сирени под окнами были настолько густыми, что почти полностью заглушали шум проходящих поездов и гудки маневровых паровозов на запасных путях.

Все же близость железной дороги стала причиной нашего переезда от Нацких в дальнюю часть города, в самый крайний в Ливнах дом. Он стоял на высоком берегу реки Сосны и был окружен уже не сиренью, а лишь пустыми полями и тишиной. Заросший ромашками двор оказался настолько обширен, что постройки по его краям выглядели приземистыми и незначительными. Также обширен был и сам дом со множеством переходов, коридоров и клетушек.

Потом этот ливенский дом, где мы на лето сняли комнату, я узнавал во многих вещах отца, хотя «населен» он был часто иными людьми («Повесть о лесах» и др.).

Жизнь в Ливнах для меня была связана с приобщением к рыбной ловле (слово «рыбалка» отец не любил). Обычно мы с ним выходили во второй половине дня и направлялись не на реку Сосну, а на дальнюю Адамовскую мельницу. Эти прогулки запомнились очень хорошо. Сначала дорога шла вдоль хозяйского сада, такого же пустынного, как и двор, — просто участок поля с чахлыми яблоньками. Интересен сад был только своим забором — низким, сложенным из неровных известковых плит. Город лежал на толщах известняка, такие заборы в нем встречались повсюду, и это роднило Ливны с местечками Крыма и Северного Кавказа.

За садом до самой мельницы тянулась равнина, покрытая кое-где кустарниками. С этой равниной у нас с отцом было связано много разговоров и догадок. Когда-то у восточной окраины Ливен сходилась два пути, по которым крымские татары совершали набеги на московские земли. Они назывались Изюмским и Калмиусским шляхами. По расчетам отца получалось, что как раз на большом поле между нашим домом и Адамовской мельницей было стойбище, где татары отдыхали, поили лошадей и откуда затем отправлялись далее уже одной дорогой — на Тулу и Москву.

Найдя на дороге подкову или гвоздь, я создавал наивные истории, связанные с этими предметами, с татарами и русскими ратниками. Отец не разубеждал меня, по-моему, не только из снисходительности к детской фантазии. Во всяком случае,

я замечал, что он тоже не менее зорко поглядывал по сторонам, а когда подбирал какую-нибудь интересную штуковину, то прежде чем выбросить ее, долго рассматривал, поднося к глазам по своей привычке, потому что был сильно близорук. Иногда украдкой прятал в карман...

Одной из любимых тем разговоров по-прежнему были корабли и море. Помню, как меня поразили слова отца о том, что причалы настоящего морского порта могут тянуться на два километра и даже более. Известные мне гавани Балаклавы и Севастополя были слишком маленькими и плохо вязались с этим рассказом. Поэтому я представлял себе цепочку речных пристаней-дебаркадеров длиной от дома до Адамовской мельницы. Такое не умещалось в сознании и совершенно подавляло...

...Уже тогда в наших разговорах начала появляться одна интересная тема, которая затем стала занимать все большее и большее место. Правда, то, о чем я хочу рассказать, может быть, поймут не все взрослые.

Дети, часто не умея понятно выразить словами свои впечатления, в то же время очень точно чувствуют «вкус», присущий различным вещам и явлениям. Какая-нибудь жизненная ситуация или даже просто пейзаж приобретают в глазах ребенка определенную эмоциональную окраску и особый смысл. Например, небольшой лесок для него не просто группа деревьев, а нечто большее. Сюда добавляются какие-то субъективные переживания, быть может, то, что мы называем памятью предыдущих поколений. Возникает ряд представлений, обладающих большой цельностью. На языке взрослых эта цельность, возможно, и называется чувством истинного художественного образа. Дети, конечно, к таким терминам прибегать не могут. К тому же они еще не умеют ни рассуждать толком, ни разбираться в своих мыслях. Но ощущение самого события бывает очень ярким и мгновенным.

Вот почему они порой так близко принимают к сердцу, казалось бы, самые простые явления, которые у взрослых вызывают лишь улыбку или пожатие плеч. Допустим, воробей прилетел на окно, посидел, почирикал и исчез. А ребенок целый день переживает событие и возвращается мысленно к нему снова и снова.

Возможно, поэтому дети бывают подчас своеобразными философами и открывателями. К сожалению, к восьми—десяти годам это свойство, как правило, исчезает. Вместо него появляется интерес к футболу или фильмам про шпионов. У взрос-

лых очень часто такой интерес достигает апогея и вытесняет уже все остальное.

Вспоминая прогулки с отцом в Ливнах и просматривая его записные книжки, я теперь уже вижу, что он часто вел разговоры не «просто так». Он любил возвращаться к одному и тому же и даже придумывал своеобразные игры. Мы приходили домой с рыбной ловли под вечер, чаще в сумерках, иногда и позже. И почти каждый раз отец заводил речь про таинственного «вечернего мальчика». Этот мальчик мог хорошо видеть в темноте и определять время не по часам, а совсем по другим признакам, взрослым совершенно не известным, — по цвету костров за рекой, по мерцанию звезд, по лаю собак. Втягиваясь в игру, я дополнял примеры. Сейчас помню только один из них. Мошки и комары на фоне догорающего неба казались мне оторвавшимися кусочками темноты, в которую уже погрузилась земля.

Иногда «вечерний мальчик» вдруг нарушал правила и появлялся днем. Это случалось во время страшных гроз, которыми славятся те края. Тогда вспоминалось много неожиданных подробностей, совсем не замеченных ранее. Таким образом отец любил устанавливать своеобразные «психологические мосты» между образным сознанием взрослого и ребенка. Украдкой он, как выяснилось, записывал характер реакций и суждений, высказывания и замечания. Правда, поворачивал он все часто совершенно по-своему. Так, мальчик в рассказе «Морская прививка» испуган огромностью моря. На этом, собственно говоря, в какой-то степени построен сюжет. Рассказ навеян балаклавским летом, из которого мне очень многое запомнилось, но только не страх перед морем.

Отец так освоился с детской психикой, что уже сам начинал изобретать выражения, словно взятые «с натуры». «В моем рассказе, — пишет он в письме, — в конце, мальчик с мамой едет к отцу в Москву и всю дорогу волнуется и пристает к маме, — хватит ли в паровозе дыма до Москвы? Я уже начинаю выдумывать за Дима».

В «Золотой розе» рассказывается о том, как маленький мальчик (мой младший брат Алеша) говорит отцу во время грозы: «Пойдем посмотреть громá!» Такая емкость образа типична для детского сознания. Далее отец пишет:

«Он был прав, сказав это слово во множественном числе: гроза была обложная, и гремело сразу с нескольких сторон.

Мальчик сказал «смотреть грома», и я вспомнил слова из «Божественной комедии» Данте о том, что «солнца луч умолк».

И тут и там было смещение понятий. Но оно придавало резкую выразительность слову.

Так даже в общении с детьми у отца по-своему проявлялся его писательский профессионализм. Вместо того чтобы, подобно большинству родителей, болтать с ребенком о том о сем, а устав от расспросов, отделяваться замечанием: «Отстань, потом!», он, так сказать, не терял времени даром. При этом не оставался в долгу и всегда был готов рассказать что-нибудь интересное. Каждый получал свое и оставался вполне доволен.

Любопытно, что именно в те годы у меня сложился и стойко закрепился «свой» образ отца. Как и все детские образы, он представлял собой единое ощущение, и выражать его словами, пожалуй, бесполезно. Могу лишь перечислить некоторые его составные части. Невысокая, слегка сутулая фигура, крупная голова с большим, очень характерным лбом и носом с горбинкой, лучистые морщинки вокруг глаз, придающие лицу то грустное, то насмешливое выражение. Но главным была какая-то элегантность всего облика, которая для меня тогда конкретно связывалась с хорошо сидящим синим костюмом и запахом трубочного табака. А ведь трубку он курил очень редко, обычно папиросы. Трубка его тоже была четко «своя» — небольшая, прямая, с металлическим колечком посередине. Такие трубки, кажется, называются «английскими». Владельцев больших изогнутых трубок я презирал. Их трубки меня шокировали, курить их казалось «нарушением правил».

Читая после смерти отца воспоминания разных людей о нем, я два или три раза был поражен одним удивительным совпадением. Авторы писали о том, как они пытались представить себе внешность отца еще до знакомства с ним, — по-видимому, на основе чтения его вещей. При этом говорилось и о сухопарости, и о сдержанности, и даже... о трубке. Явственно ошибались они только относительно его роста. Почему-то все представляли отца высоким. А о том, что его облику была свойственна именно особая элегантность (не только внешняя, но и внутренняя), мне не раз приходилось слышать от самых разных людей...

...Однако пора вернуться в Ливны. Болтая с отцом о разных интересных вещах, мы приближались к Адамовской мельнице. Запущенное мрачное трехэтажное здание одиноко поднималось над равниной и становилось заметным много раньше, чем ветлы и кусты на берегах налитого вровень с краями пруда.

Кроме нас на мельнице так же регулярно появлялся только один рыболов — высокий старик в старомодной кепке и поношенной офицерской шинели, застегнутой на все пуговицы. У него была седая, несколько растрепанная борода, как на портретах Семенова-Тян-Шанского. Возвращались назад мы нередко все вместе, и тогда дорогой я скучал, так как старик и отец толковали о своем неторопливо и увлеченно. Не помню содержания этих бесед, знаю только, что старик чем-то очень привлекал отца. Иногда он заходил к нам домой, снимал свою шинель и оставался в такой же старой, но аккуратно заштопанной гимнастерке со стоячим воротником.

Слушая его, отец непрерывно рисовал на спичечных или папиросных коробках замысловатые узоры, причем выводил их с геометрической правильностью. Такая у него была привычка. По количеству рисунков на коробках можно было судить, насколько ему интересен собеседник и насколько внимательно он его слушает. Рисование прерывалось лишь короткими междометиями: «Ну да... Ну да...», которые меня в детстве почему-то всегда озадачивали. Казалось, отец что-то подтверждает, с чем-то хочет согласиться, и он никак не мог мне втолковать, что это «просто так, присказка, сопровождающая разговор».

Отец всегда был хорошим рассказчиком. Чувствовалось, что, рассказывая, получал не меньшее удовольствие, чем слушали.

Однако в годы моего детства я больше его помню именно в роли слушателя. Слушал он тоже «по-своему». Как мне видится уже сейчас, это умение заключалось в следующем. Он создавал у собеседника уверенность, что очень хорошо и полно понимает не только его «прямую речь», но и тот подтекст, что всегда так трудно выразить словами. Очень многие люди испытывают затруднение в откровенном разговоре именно по этой причине.

Если собеседник был отцу интересен, его не смущали ни косноязычие, ни излишняя болтливость, ни прочие особенности. Обстановка беседы обычно была спокойной и непринужденной. Избегалось панибратство (чего отец вообще не признавал), как и излишне пристальное внимание, которое могло смутить собеседника и помешать ему лучше «раскрыться».

Со стариком в Ливнях беседы длились по два-три часа кряду. Уже в середине пятидесятых годов я безошибочно узнал пожилого ливенского рыболова в рассказе, который так и на-

звался «Старик в потертой шинели». Правда, действие перенесено в деревню Богово, под Ефремовом, и смещено на несколько лет вперед.

Я уверен, что рассказ «не исчерпал» всех тем разговоров отца со стариком. В незавершенных отрывках того времени это знакомство тесно переплетается с другими событиями ливенского лета — грозами, поездками в степь и даже ярмарками, что устраивались за городом, в километре от нашего дома. Ярмарочные дни запомнились запахом пыльных рогож и антоновских яблок, пестротой одежд и загорелыми, словно закопченными, лицами цыган-лошадников. Один из неоконченных отцовских рассказов того лета так и называется «Яблочки да ярмарки»...

Особенно заманчиво для меня было увязаться на ярмарку за мальчишками постарше, которые любили подзадорить мужиков или дразнить цыган. Потом приходилось, конечно, срочно удирать, со смаком шлепая подошвами по мягкой, бархатной пыли, и слышать за собой то яростную, то веселую ругань... В такие дни я возвращался домой задами, перелезал через низкий забор сада и с независимым видом входил во двор. Путь по нашей тихой улице был короче, но почему-то казался опасней.

Совсем недавно выяснилось, что с этой улицей у отца связано очень смешное открытие, к которому оказалась причастна моя чисто детская привычка читать вывески и объявления. Отец писал маме в Москву:

«Вчера шел с Димом по нашей улице, Дим заставил меня читать фамилии домовладельцев, и неожиданно обнаружилась очень забавная вещь,— все фамилии до одной очень литературные — Кольцов, Андреев, Федотов (художник), Бунин, Леонов и даже Бабичев (герой «Зависти» Олеши)».

А из другого письма той осени «обнаружилась» литературная подробность, касающаяся уже его самого,— точная дата начала работы над «Кара-Бугазом». В командировку на Каспий он ездил перед Ливнами, в начале лета 1931 года, а в письме от 14 сентября есть такая фраза: «Вчера начал писать книгу о «Кара-Бугазе». Значит, речь идет о 13 сентября, что не случайно — тринадцать всегда было его любимым числом.

Зима после Ливен оказалась по-своему знаменательна для нас обоих. Отец еще поздней осенью уехал в длительную командировку на Северную Каму (Березники, Соликамск), где

продолжал работать над «Кара-Бугазом», а по возвращении очень быстро закончил книгу. Об этом периоде он не раз писал. Недавно в переписке родителей тех месяцев обнаружались дополнительные подробности. Однако коснусь их ниже, в своем месте.

Я тоже в ту зиму был захвачен не менее значительным событием,—приобщением к лыжам,—в чем и отец сыграл свою роль.

Отношение к спорту у него было специфическим. Например, совершенно не представляю его в качестве болельщика на футбольном матче или соревнованиях по штанге. Пожалуй, здесь подходит не столько слово «равнодушие», сколько термин «биологическая несовместимость».

Однажды, возвращаясь со службы в РОСТА, он заглянул в какой-то спортивный зал, где шли массовые соревнования по боксу. Как обычно, в его памяти отпечаталось множество подробностей, но все они были «уничтожительного» характера—выражение испуга на потных, окровавленных лицах участников, свистящее сопение, смешные, «петушинные» подскоки боксеров... Кто-то вышел на ринг в носках с резинками... Из публики кричали: «Миша, подправь ему челюсть!» и т. д... Если говорить о свойстве отцовской пристрастности, то здесь оно уже носило ярко выраженную негативную окраску. Дети на многое смотрят глазами родителей, и я изменил мнение о боксе лишь много лет спустя...

Впрочем, предубеждение его к подобным видам спорта скорее всего объяснялось проявлениями «стадности» толпы зрителей, всегда вызывавшей у него настороженность. Он питал к этой «стадности» особую неприязнь, связывал с ней причины многих бед, даже таких, как война. Переносил это эмоциональное отношение на вполне хорошие виды спорта, если находил, что «стадность» здесь проявляется или культивируется.

Мне кажется, он не мог бы так «безоговорочно» восхищаться боем быков, как Хемингуэй, хотя очень любил этого писателя. Если бы пришлось ему побывать на корриде, думается, рассказывал бы он о ней скорее не в героическом, а юмористическом плане, с неожиданными деталями, точными, но обескураживающими... Каждый писатель «пристрастен» по своему...

Иначе обстояло дело со «спортом для себя». В одном из писем того времени отец сообщает о таком режиме закаливания: «Три раза в день я обливаюсь холодной водой, сплю при

открытых настежь окнах, под одной простыней, без белья. Вот уже месяц я не надевал фуражки и пальто, очень освежел, окреп, помолодел. Все, кто видел меня раньше, поражены этим. И вместе с тем я по ночам много работаю, мало сплю».

Может, этот режим и помог ему написать за четыре-пять лет, несмотря на ежедневную службу в РОСТА, несколько десятков рассказов и маленьких повестей, а также роман «Блестящие облака». Правда, я не помню, насколько точно этот режим соблюдался. Возможно, в цитируемом письме он тоже освещен с известной долей «пристрастности».

Зато прекрасно помню одно спортивное увлечение отца, и притом очень сильное. Это были лыжи. В соревнованиях и гонках он не участвовал, — речь идет о многокилометровых, утомительных походах по Подмосквовью. Обычно родители уходили из дому в выходные дни ранним утром. Одни или в небольшой компании сослуживцев отправлялись поездом до какой-нибудь отдаленной станции. Затем через леса шли на лыжах непременно до другой железной дороги и лишь поздно вечером возвращались в Москву.

«Я много работаю, отдыхаю только на лыжах. На лыжах ходим каждый праздник очень далеко...» — пишет он в Киев, своей матери, Марии Григорьевне.

Родители настолько увлекались лыжными походами, что почти бестрепетно оставляли меня дома одного на целые выходные дни под номинальным присмотром соседей, а точнее — своим собственным. Я еще был слишком мал, чтобы сопровождать их... Пока светло, играл и рисовал, но с наступлением сумерек одному в пустой квартире становилось жутковато. Тогда я зажигал все лампы, усаживался почему-то непременно на пол в углу и начинал петь. Преимущественно что-нибудь бодрое, воинственное — «Марш Буденного», «По долинам и по взгорьям...». Иногда засыпал и просыпался от топая валенок в коридоре — то вернулись мама и отец, пахнущие морозом, возбужденные...

Отец с виноватым видом спешил в утешение рассказать мне какую-нибудь свежую сегодняшнюю историю (неважно, что наполовину придуманную) — про белок или хитрого зайца, сбившего их с пути. Особенно он гордился, когда удавалось дойти на лыжах с вокзала до самого нашего дома в центре города. В начале тридцатых годов с улиц еще не так тщательно убирали снег, как сейчас. В потоке автомобилей еще встречались последние извозчики-лихачи на санях с поло-

стью. По бульварам и по цепочкам сугробов вдоль тротуаров бежали на лыжах не только дети, но и взрослые.

Затем начиналась процедура протирки лыж. По царапинам и пролысинам на скользящей поверхности я старался угадать, сколько десятков километров пройдено за день. Лыжи отца по теперешним временам были, пожалуй, устаревшие — широкие, скорее туристского типа. Зато их верхняя поверхность сверкала чудесным зеркальным лаком янтарного цвета. Прекраснее всего звучало финское название лыж — «мурто-маа»... Само слово было тягуче, как утомительный переход по зимним хвойным лесам.

Из тогдашнего лыжного лексикона запомнилось еще одно название — «пъексы» — мягкая кожаная обувь типа высоких мокасин. Маленькие пъексы отец где-то достал для моего первого выхода на лыжах, но оказалось, что они все же размера на два больше, чем нужно. Пришлось обкладывать ноги газетами, что, впрочем, было принято. Полагалось даже набивать в пъексы немного сена или соломы, чтобы было мягче и теплей.

Я устроил страшный рев и заявил, что нипочем пъексы не надену, правда, совсем по другому поводу. Над пъексами обычно смеялись мальчишки за сильно задранные вверх кожаные носки. Этим пъексы напоминали тапочки шутов при дворах средневековых королей. Родителям пришлось уступить, и я отправился на первое катание в валенках, как все взрослые. Лыжные ботинки еще не были широко распространены. Этот смешной скандал разразился в очень маленьком подмосковном доме отдыха «Жургазобъединения», где мы проводили конец зимы. Такие «карманные» дома отдыха уже перевелись. Весь он помещался в уютной даче недалеко от станции Зеленоградская Северной железной дороги.

Мало кто помнит, что название этой станции связано с новым направлением в архитектуре того времени и что наименование Зеленоград, присвоенное недавно возникшему городу возле станции Крюково, не что иное, как плагиат.

Однако по порядку. Обычно после завтрака отец ставил меня на лыжи, и мы не торопясь отправлялись по его излюбленному маршруту. Пересекали большое снежное поле, затем линию железной дороги и углублялись в сосновый лес, где уже пахло хвоей по-весеннему. Среди деревьев возникал удивительный городок из совершенно необычных светлых домиков — кубических, круглых, куполообразных. В больших ленточных окнах отражались верхушки сосен и густая синева

неба. Дома оставляли впечатление солнечности, которое сохранялось и по входе внутрь, в пустынные пока помещения, где не выветрились еще запахи извести и свежей краски. Похожее чувство умиротворения охватывает человека, поднявшегося на борт корабля после хаоса большого дымного порта. Оно рождается от сочетания светлых плоскостей и самых простых, «надежных» линий и форм. Недаром даже лестницы внутри домиков походили на судовые трапы.

Поселок был экспериментальный. В те годы архитекторы-конструктивисты пришли к выводу, что настала пора отказаться от больших городов со всеми их недостатками. Положительную роль таких городов они отрицали. Утверждения эти, может, были спорными, но проекты смелыми и интересными. Трезвый расчет сочетался в них с прекрасным романтизмом. Предполагалось, что люди будут жить как бы и в городе со всеми его удобствами, и в то же время в лесу. Скоростные благоустроенные дороги должны были связать все «зеленые» поселения в единую систему по всей стране.

И проекты, и статьи о них, полные полемического задора, публиковались в журнале, на обложке которого красовались огромные буквы «СА», что означало «Современная архитектура». Комплекты этого журнала, издаваемого в конце двадцатых — начале тридцатых годов, сохранились среди отцовских книг. Если об интересах писателя судить лишь по его творчеству, то такое внимание к специфически архитектурным вопросам может показаться здесь неожиданным. Однако в те годы было именно так...

Отец с удовольствием «прикладывал руку» к маминым очеркам о новой эстетике, о Ле Корбюзье, Гроппиусе и других передовых архитекторах. (Сотрудничать в журналах мама не прекращала еще с той поры, как мои родители вернулись с первой мировой войны, где они работали в санитарном поезде.)

Безусловно, сыграло свою роль и долготелее знакомство с архитектором Михаилом Синявским, тогда только построившим Московский планетарий (вместе с М. Барщем) и несколько жилых домов. Квартиры в его домах имели необычную планировку. Из передней лестница спускалась в обширную общую комнату, к которой на разных уровнях примыкали другие помещения. В них тоже приходилось подниматься и спускаться по небольшим лестницам. Играть в прятки в такой квартире во время детских праздников было прекрасно.

..В ту пору появился рассказ отца «Пятый день», позже названный «Московское лето». В нем сплавились воедино впечатления от новой архитектуры, лыжных походов и летних дней в Подмоскowie. Главный герой рассказа — удивительный дом цилиндрической формы, построенный среди лесов для воскресного отдыха. Подобного здания не было даже в поселке у станции Зеленоградская. В рассказе архитектор Гофман говорит журналисту Метту: «...дом отдыха должен быть неотделим от природы. Отсюда — форма. Нужны спокойные линии. Самая спокойная линия — круг, а не острый угол. Отсюда — закругленные комнаты. Стены пропускают звук, и вы морщились во время игры на рояле. Это сделано сознательно. Шум леса и ветра такой же хозяин внутри дома, как и снаружи. Вместо наружных стен — стекла. Вас будит не хлопанье парадных дверей, а восход солнца».

Гофману приходится отбиваться от множества скептиков и недоброжелателей. Дискуссии вокруг его дома чем-то напоминают споры о проектах Ивана Леонидова, которым много места уделялось на страницах «Современной архитектуры».

Вскоре в архитектуре вместо конструктивизма начал все больше утверждаться весьма странный стиль, который много позже, уже после своего бесславного конца, получил название «украшательства». Простота и четкость форм сменились помпезностью, нагромождением ложноклассических элементов — шпилей, колоннад, портиков. Основное внимание стало уделяться выражению «величие и монументальность».

У отца всегда было развито обостренное чутье на фальшь, в какой бы области общественной и культурной жизни она ни проявлялась. Прежде всего это касалось дела наиболее ему близкого — литературы.

Большой город его утомлял, — в письмах он высказывался на этот счет очень резко:

«У меня здесь такое чувство, будто я в чужой стране, где меня никто не понимает, — я с радостью удрал бы сейчас опять в луга, на Оку, тоска у меня по воздуху, по воде — страшная. В Москве физически ощущаешь, как нездоровье, затхлость пудами вливается в тебя».

И вот какое странное противоречие. Он очень любил бродить по городу и разбираться в оттенках настроений, которые порождают те или иные его места — арбатские переулки, закоулки тогдашних Лужников или центральные площади.

Во время прогулок по московским улицам, когда я стал уже постарше, мы старались угадать, почему одни из них нам нравятся, другие нет. Некоторые места города действовали вовсе угнетающе, как Каляевская улица или Самотека с ее маленькими домишками по краям непропорционально большой площади.

Когда читаешь описания предреволюционной Москвы в «Романтиках» или Москвы двадцатых годов в «Пятом дне» и других рассказах, видишь, как много внимания уделено чисто эмоциональному выражению городского пейзажа — причем не вообще, а в определенные годы. Так же отец стремился передать характер Ленинграда или, наконец, европейских городов, увиденных лишь в последние годы жизни.

Потом мы все же приходили к выводу, что лучше всех городских улиц и вообще лучше всего на свете то место в Солотче, где за линией узкоколейки начинается сосновое мелколесье. Там светло и чисто, а под мягкими, мшистыми кочками полно маслят.

Воспоминания об этом месте у меня навсегда связаны с жужжанием игрушечных пропеллеров, которые отец вырезал из жестяных консервных банок. Пропеллер насаживался на катушку из-под ниток, а катушка в свою очередь на карандаш. Стоило дернуть шнур, намотанный на катушку, как серебристая планка взлетала с рокотом и долго кружилась, поблескивая на солнце.

За мелколесьем начинался материковый сосновый лес, где хорошо было лежать на спине и смотреть, как верхушки сосен раскачиваются на фоне кучевых облаков. В детстве это место считалось у меня эталоном красоты. Да и сейчас, пожалуй, тоже... Образ этого места, «познанный» еще в ранние годы, волнует меня всегда. Он обладает как раз тем «вкусом вещей», о котором я говорил. Я вспоминаю его для утешения, когда бываю сильно огорчен...

Но раз речь зашла о Солотче, нужно рассказать, как она была открыта. Случилось это очень просто. В Рязани жили наши родственники. Бывая у них, отец познакомился с Мещорой и был радостно удивлен солотчинскими местами. В «Повести о жизни» об этом сказано так: «В конце лета я поехал туда, и с тех пор вся моя жизнь круто переменялась, окрепла, приобрела новую ценность,— впервые я узнал как следует срединную Россию».

Я иной раз думал, почему он выбрал именно Солотчу, — ведь знакомство с ней у него произошло почти случайно. С таким же успехом он мог остановиться и на других местах, — скажем, где-нибудь под Вологдой или на Псковщине.

Солотча действительно была на редкость хороша тем, что в ее окрестностях воедино сошлось то, что он любил, — лесные чащи, открытые дали и обилие вод.

Это особенно хорошо видишь, когда стоишь на обрыве над лугами. За спиной остаются материковые сосновые леса, скрывающие много озер ледникового происхождения. Там — свой мир, со своими птицами, зверями и травами.

А под обрывом на несколько километров, до самой Оки, тянутся луга с бесчисленными старицами, с зарослями камыша и серебристыми ветлами. Здесь тоже все «свое», но совершенно другое. Граница между зонами настолько резкая, что в лугах не встретишь уже ни одной сосны. Такой границей служит река Солотча, которую и не назовешь рекой в обычном смысле слова, — просто цепь озер и протоков, соединенных с Окой.

Позже, когда отцу пришлось оставить Солотчу, чтобы быть ближе к Москве из-за состояния здоровья, он долго не мог выбрать нового места, хотя раньше это особого труда не представляло. Теперь уже обязательно хотелось сочетания большой воды, лесов и далей. В конце концов он нашел это в Тарусе.

Я еще помню период первоначального освоения Солотчи, когда травы в лугах казались мне непомерно высокими (просто сам был еще мал), а над лесами поднимались дымки пожаров, как будто несколько паровозов смешно бежали один за другим с равными интервалами.

Со свойственной ему пунктуальностью отец тогда организовывал поездки на лесные озера, стараясь ни одного не пропустить. До некоторых озер приходилось добираться по узкоколейной железной дороге, столь часто упоминаемой в его рассказах. Мы сходили на маленьких станциях, где великолепно пахло свежими сосновыми досками, и затем шли километрами по затерянным лесным дорогам...

О чем бы отец ни писал, где бы он ни был, всегда у него проявлялся «морской штрих». Даже в Солотче...

Помню, какое он получал удовольствие от вырезания для меня корабликов из сосновой коры (пожалуй, больше, чем я). Подходящие большие куски отламывались от нижних частей матерых деревьев, и мы постоянно были озабочены их поиском во время прогулок по лесу. Отец приносил домой куски коры, когда ходил на почту или в магазин.

Затем, близоруко поднося к глазам нож, принимался за дело. Коричневый слоистый корпус выходил гладким и пахучим. Кораблики оснащались по всем морским правилам, с нужным числом мачт и парусов в соответствии с их типами — барк, бригантина, бриг, фрегат и т. д.

Первое лето в Солотче мы жили не в доме Пожалостина (к нему отец только присматривался), а рядом, у одинокой старушки Марии Михайловны. Занимали флигель в одну комнату в глубине участка.

Мария Михайловна, человек очень религиозный, имела какое-то «организационное» отношение к солотчинской церкви — то ли исполняла обязанности старосты (если это допустимо для женщины), то ли была членом церковного совета. Во всяком случае, подростки звонари, не признававшие на колокольне посторонних, ее слушались беспрекословно. Благодаря этому мы с отцом побывали на колокольне солотчинской церкви в день большого праздника. Это событие следует отнести к одному из наиболее сильных впечатлений детства.

Конечно, то была троица. Помню зелень березовых веток на фоне праздничных одежд. Даже мальчишки, вертевшиеся под ногами у взрослых, норовили украдкой хлестнуть березовыми прутиками своих сверстниц.

На колокольню вели очень высокие стершиеся ступени, я трусил и боялся оступиться. Отец, шутя надо мной, вспоминал, как подростком в Киеве бегал по таким вот крутым лестницам много раз за день. Так бывало в пасхальные недели, когда гимназистам, как и прочим желающим, разрешалось беспрепятственно звонить во всех церквах.

Праздничный шум почти не достигал колокольни. Здесь по-свистывал ветер и царил легкий сумрак. Это отбрасывали тень зеленоватые колокола, вблизи похожие на огромных затаившихся чудищ. Снизу, с улицы, они выглядели много меньшими. Достаточно было резкого порыва ветра или громко сказанного слова, как колокола оживали и начинали тоненько позванивать похожими на комариное пение голосами. Станным казалось, что такие неуклюжие создания издают столь нежные и высокие звуки. Под колоколами возились двое мальчишек звонарей в черных картузах — торопливо поправляли веревки на больших качальных досках, что-то подкладывали, привязывали...

Отец сразу подошел к перилам и, шурясь, начал с жадно-

стью вглядываться в луга, — с такой высоты он их еще не видел. За обычной сдержанностью у него проступил чисто мальчишеский азарт, с каким он узнавал в лугах отдельные знакомые деревья, шалаши сторожей, маленькие озера, которым сам часто присваивал названия.

В тот июньский солотчинский день луга выглядели по-особенному. Может, потому, что мы впервые увидели их сверху, во всю ширь. Было хорошо заметно, как над сочными молодыми травами, над ветлами и кустами поднимаются и играют струи нагретого воздуха. Для природы в то утро, пожалуй, лучше всего подходило слово «ликование».

В нескольких километрах, за лугами, темнел высокий правый берег Оки. Над ним поднималась, как одинокий перст, колокольня старейшего на Рязанщине монастыря Иоанна Богослова, который существовал еще до татаро-монгольского нашествия.

Правее Богослова, вдоль высокого берега Оки, подряд шли большие старинные села с белыми церквями — Новоселки, Кузьминское, а за ними и Константиново — родина Есенина.

Наши звонари заволновались. Пора было начинать, а монастырь Иоанна Богослова молчал. По традиции тех мест ни одна сельская церковь не могла начинать праздничный звон раньше его колокольни. Наконец над лугами поплыли отдаленные мерные удары, скорее похожие на набат. Так из-за расстояния изменялся многоголосый праздничный звон. Потом слышались более высокие ноты колоколов Новоселок, и тут же сильно и красиво заговорила наша колокольня...

Со звонарей лил пот. Как они ухитрялись улавливать мелодию — непостижимо. Для меня все очень скоро слилось в один сплошной, неимоверной силы гул, под давлением которого я буквально съежился, не забывая при этом старательно держать рот открытым, чтобы не оглохнуть (так меня заранее наставлял отец). Потом звук достиг такой силы, что перестал даже восприниматься, только физически ощущалось, как он пронизывает тело до самых пяток. Отец, наклонившись, изо всех сил что-то кричал мне в ухо. Разобрать что-либо за ревом колоколов было совершенно невозможно. Видно было лишь движение губ, как в немом кино.

Домой мы оба вернулись глухими, но к вечеру все прошло. Я пребывал в совершенном восторге еще несколько дней и плохо слушался взрослых. Особенно мне нравилось придираться к дежурной фразе, которой обычно оканчивается большинство нотаций: «Сколько можно тебе повторять?.. Слышишь ты

меня, в конце концов, или нет?» Это давало возможность ехидно ответить:

— Конечно, нет. У меня в ушах еще звон не отошел...

В те годы отец не любил «оседать». Поэтому и в Солотче первое время бывал наездами. Но потом она надолго и прочно вошла в его жизнь. Начался продолжительный «мещорский период». Нередко он проводил здесь большую часть года. Мечта о таком обиталище преследовала его давно. Как только он полностью перешел на литературный заработок, он сразу оставил штатное место в РОСТА и начал подолгу жить вне Москвы.

Однако бывали исключения, когда за все лето и даже осень до Солотчи не добирались вовсе. В одно такое лето мне заново открылись и Черное море, и Крым. Случилось это в милом отцу Коктебеле, тогда еще пустынным, не испорченным ни пансионатами, ни обилием курортников.

О Коктебеле трудно писать, настолько он показался мне уже тогда особенным, «своим», ни на что не похожим.

После Балаклавы прошло пять лет.

В Балаклаве все было резче — и краски, и вид бухты, отрезанной от моря скалистыми утесами. Здесь же, напротив, пейзаж как бы «распахнулся» в сторону моря и стал мягче благодаря перламутровой морской дымке.

Было в Коктебеле неожиданное сходство с Солотчей. Оба эти места находились как бы на стыке очень разных «природных зон». Солотча стояла на самой границе материковых лесов, вод и лугов, а в Коктебеле с трех сторон сошлись воедино — удивительное море, умевшее быть то малахитовым, то даже черным, скалистые горы, покрытые низким лесом, и холмистая степь с ее ветрами и запахами трав.

В писательском Доме творчества, где мы жили (тогда его называли просто «Дом Волошина»), для морских прогулок давали обычные речные байдарки. Факт сам по себе забавный, говорящий о том, насколько все еще было «не курортно». Байдарки заливало и переворачивало на крутой волне, их часто уносило в открытое море, и тогда на помощь спешил белый спасательный катер.

Зато только на них можно было плыть в штиль по такому мелководью, где рука свободно доставала дно. В совершенно прозрачной воде слегка покачивались бурые нити водорослей и маленькие крабы проворно прятались под камнями, убегая от тени, бросаемой байдаркой. Так бывало, когда мы направ-

лялись в сторону Мертвой бухты (к Кара-Дагу отец плавать со мной опасался).

Прямо в воду опускались глинистые утесы. С моря хорошо просматривалось их слоистое строение, — на серовато-охристом фоне вдруг вспыхивали полосы ярких цветов — оранжевого, изумрудного, фиолетового. То были вкрапления вулканических пород. Наверное, таким же было и дно залива. Поэтому-то море в Коктебеле так часто меняет цвет в зависимости от освещения и погоды. Оно бросает отсветы на все вокруг, и это придает свое неповторимое звучание скудной, но величественной природе здешних мест.

Может, по этой причине в Коктебеле всегда достаточно художников. Я сам тогда начал рисовать и по опыту знал, как неприятно присутствие соглядатаев за спиной. Однако, заметив издали человека с этюдником, украдкой подходил, испытывая тайную надежду. И каждый раз оставался разочарованным. Были этюды, лихо написанные широкими, небрежными мазками, были выполненные «натуралистически». Но неизменно — одинаковая грубятина. Ни в одном нельзя было найти хотя бы отдаленного намека на те ощущения, которые возникали при виде бухты и окружающих гор. В чем было это «чувство Коктебеля», сказать трудно. Но оно ощущалось очень определенно. Пускай на холсте всего два-три мазка, но точные, передающие суть. Вместо этого — картинки, где все вроде «соответствует натуре» и в то же время никакого отношения к Коктебелю не имеет, словно это совсем другое место.

То, что хотелось увидеть на этюдах художников, обнаружилось для меня много лет спустя в отцовской «Повести о жизни», и я подумал, что слово порой передает увиденное лучше живописи. Уверен — отрывок, который мне хочется привести, возник под впечатлением коктебельских побережий.

«...есть берега, сожженные тысячелетним солнцем — отблеском огромных южных вод, горячими токами воздуха, чистейшего в мире.

От такого солнца и воздуха берега приобретают суровый цвет — охристый, пепельный и сизоватый, как окалина, цвет незапамятных времен, цвет вечности. И на эти ржавые берега, на обнаженную окаменелую глину равномерно набегают из столетия в столетие неисчислимые волны».

Отец всегда любил Крым, но в особенности его восточную и западную части — там только и встречаются такие берега. Мне передалось это чувство как-то само собой, без подсказки. Как и он, я позже инстинктивно невзлюбил Южный берег

Крыма (ЮБК, как сокращенно называют его на языке курортных путеводителей). Там даже море отликает едко-голубым цветом эмалированной посуды. Поэтому с таким удовольствием прочел у отца несколькими строками выше:

«Подлинное ощущение моря существует там, где морские запахи окрепли на длительной и чистой жаре. К примеру, в Ялте этих запахов почти нет. Там прибой пахнет размягшими окурками и мандариновыми корками, а не раскаленными каменными молами, старыми канатами, чабрецом...

...Так море пахнет только в таких портах, как Керчь, Новороссийск, Феодосия, Мариуполь или Скадовск».

Много лет спустя, когда мой младший брат Алексей уезжал в Коктебель, в пионерский лагерь, отец нарисовал для него общий вид коктебельской бухты. И хотя рисунок получился совершенно «не профессиональным» и скорее напоминал детский, на нем точно был схвачен характер места и даже колорит. Получился он очень «коктебельским».

Оказывается, наше «ощущение» того или иного места со временем тоже может претерпевать изменения. Сейчас Коктебель воспринимается мной иначе, я бы сказал — не так «тонко», как в детстве. Возможно, потому, что его «дикость» перешла в обычную курортную экзотику. Все волшебство исчезло, когда на берегу появились громоздкие здания пансионатов.

Длинное коктебельское лето перешло в не менее долгую осень в Тарловке — деревне на высоком лесистом берегу Камы.

К берегу подступали отроги Уральских гор, с которых открывались бесконечные синеватые дали. Их пересекала только широкая серебристая лента реки, покрытая мелкими морщинами волн. Противоположный берег, плоский и песчаный, густо испещрен маленькими озерами, оставшимися от половодья. Нас, мальчишек, взрослые посылали на эти озера за живцами. Нигде потом я не встречал такого изобилия маленьких рыбок, длиной в вершок. Мы добывали их самым первобытным способом — привязывали к веревке корзину и закидывали ее метров на десять — пятнадцать от берега. Затем тянули за веревку, и каждый раз на дне корзины среди зеленого ила и водорослей билось не менее дюжины рыбешек.

Самое сильное впечатление тарловского лета — собственная лодка. Отцу надоело одалживаться у рыбаков, и вот на весь сезон была арендована большая, вместительная лодка, на которой можно было ходить не только на веслах, но и под пару.

сом. На носу лодки отец вывел четкими белыми буквами: «Память Грина».

Со времени смерти Грина прошло лишь два года, и это было, безусловно, первое судно, а может быть и единственное, названное в его честь. У местных жителей, как ни странно, такое название не вызвало особого удивления. Они решили, что Грин — это иностранный революционер, раз приезжие из столицы окрестили в его честь лодку. Подобное объяснение вполне соответствовало духу времени, тем более что на соседней пристани имелся катер «Память Пестеля». Шел 1934 год.

Лишь один раз, когда лодка стояла в густых зарослях и на реку был обращен лишь ее нос, на проходившем мимо пароходе началось смятение. Несколько человек бегали по палубе, что-то кричали и затем долго махали с кормы платками. Действительно, было невероятно встретить лодку с таким названием на глухих камских берегах, среди неказистых рыбацких баркасов и плоскодонок. Впрочем, если разобраться, то все скорее было закономерно. Ведь Грин — уроженец Вятки, расположенной неподалеку. Потому так и называли лодку. Мы жили в родных гриновских местах.

В то лето несколько изменились темы наших обычных бесед, главным образом потому, что я тянул одну нудную ноту — «хочу стать капитаном дальнего плавания». Отец, вполне породительно, сразу «обыгрывал» это в педагогическом плане: нужно прилежно учиться, получать хорошие отметки и т. д. Однако надолго его не хватало. Вскоре мы приступали к обсуждению конкретных деталей моей будущей карьеры. При этом ему очень нравилось рисовать такую картину. Маленький приморский город. Он на склоне лет живет в белом домике, получает пенсию, пишет воспоминания, а я скитаюсь по морям и океанам.

Может, он настраивался на такой лад при виде слободки для престарелых речных капитанов, расположенной неподалеку от Тарловки. Слободка отличалась неторопливым, своеобразным бытом. На порогах чистеньких, крашенных масляной краской домиков дремали сытые коты. Двери и уставленные цветами окна были окрашены белым, как на кораблях.

Возможно, есть писатели, у которых персонажи соответствуют действительности с точностью один к одному. Отца никак нельзя причислить к ним.

Зная многих людей, послуживших прототипами героев его

произведений, я часто поражался удивительными превращениями на пути от реального человека к его литературному двойнику. Подобная вещь естественна для литературного творчества, но коснулся я этой темы вот почему. Наряду с людьми природа является полноправным, а часто и главным героем его произведений. И вот насколько иной раз сильна «трансформация» образов людей, настолько точно изображено все, что касается природы.

Кроме тех мест, где мы жили вместе, в дальнейшем мне удалось побывать в Карелии, на Кольском полуострове, на Полярном Урале, на Алтае... Сравнивая свои впечатления от этих мест с их описаниями в книгах отца, я не находил «разночтения». Даже когда мне посчастливилось пересечь пустыни Туркмении (разумеется, уже далеко не в детском возрасте).

Когда я воочию увидел пустыню, то убедился, насколько скудость природы может порой переходить в величие. Нигде нет такого чистого, сухого воздуха и ясных далей. Пустыня скорее порождает не беспокойство, а умиротворенность.

Отец говорил, что тема «Кара-Бугаза» и пустынь не получила продолжения в его дальнейшем творчестве. Однако сама книга, обладающая ярко выраженной «географичностью», была для него отмечена особой печатью и оказалась переломной не только внешне, но и внутренне. Я обещал остановиться на некоторых подробностях, связанных с ее появлением...

О возникновении замысла «Кара-Бугаза» и истории создания книги он писал неоднократно — в «Золотой розе», в «Повести о жизни» и в других вещах. Правда, каждый раз с небольшими расхождениями, но это у него было «в крови». Даже когда ему приходилось устно повторять какую-нибудь историю, он часто находил ранее не замеченную деталь, увлекался ею и уже не мог удержаться от соблазна осветить все по-новому, найти иные краски. Можно ли упрекать писателя за то, что эта профессиональная привычка проявлялась не только в застольных беседах?

Мое знакомство с «Кара-Бугазом» началось с небольшого семейного скандала. Обратная сторона карты, необходимая для поездки на Каспий, оказалась сплошь покрытой моими рисунками. Отец долго негодовал, потом, не найдя новой карты, смирился и сказал, что так даже лучше — с рисунками в поездке будет веселей.

Из писем родителей выяснилось, что с командировкой отца они связывали дополнительный план провести лето на Каспийском побережье. Больше всего их привлекал Дербент с его

крепостью и древним колоритом. Предполагалось, что мама со мной приедет туда из Москвы, а отец — сразу после Кара-Бугаза.

В большом письме из Астрахани отец сообщает свои сообщения о маршруте. Советует ехать только по воде (лучший отдых), подробно пишет о ценах на продукты и всяких дорожных обстоятельствах, вплоть до условий пересадки в Астрахани («Особенно будь осторожна с Димом при погрузке парохода — крючники не считаются с пассажирами и могут искалечить»).

Поездка в Дербент не состоялась. План ее, конечно, был привлекательным, но слишком безумным (доказательство того, насколько родители тогда были «сумасшедшими»). В самом деле. Предстояло ехать с ребенком в каспийскую жару да еще в тяжелый год, когда с продуктами повсюду было «напряженное положение». Победило благоразумие, а может, просто не хватило денег.

Однако благодаря этому плану было написано подробное письмо, а в нем имелось любопытное описание калмыцких степей.

«Поездкой я очень доволен — она дает мне большой опыт и много материала. Ездить совсем не так страшно, как думают. Даже я, при всей своей непрактичности, ухитрился получить в Элисте полкило сахара и папирос. Нужна только выносливость и невзыскательность. [...] Калмыцкая степь прекрасна. Впервые я видел в ней миражи. Был полдень, шофер остановил машину и сказал «мираж дорогу закрывает, нельзя ехать». Шагах в ста степь переходила в море, в нем были видны пышные зеленые острова. Потом мираж растаял, а острова оказались вершинами курганов. Второй мираж был еще интереснее — в воздухе, выше горизонта, шли сотни верблюдов исполинского роста. Потом мы видели этих верблюдов километров за 70. В степи (сейчас она вся покрыта ковылем и полынью) изумительный воздух, особенно утром. Видно на десятки верст. Пенье жаворонков превращается в сплошной гром. Журавли стоят генералами вдоль дороги, орлы сидят на горах костей (вдоль дороги очень часто попадаются скелеты верблюдов и овец — последствия суровой зимы). Над степью необыкновенные облака, радуги, отдаленные грозы, а у калмыцких кибиток — стаи борзых. Я был в кибитках, и при мне калмыки варили похлебку из сусликов и калмыцкий чай (спрессованный из целых листьев, его рубят топором). Народ дикий, с загадочными бесстрастными лицами, очень молчаливый и

мрачный. Ночевали мы в пути в сторожевых кордонах — глинобитных мазанках — и расписывались в подорожной книге (совсем как в пушкинские времена). Элиста поражает тем, что после 300 километров степи, где мы встретили всего 5—6 калмыков и ни одного поселка, вдруг в балке открываются белые кубические дома — точная копия домов Корбюзье. Сразу это кажется диким и неправдоподобным — бетонные воздушные балконы Корбюзье и к ним привязаны двугорбые верблюды, новейшие постройки и туземные заборы из камыша, чтобы задерживать летучие пески. Вокруг заборов нарастают барханы».

Лето после возвращения отца из Кара-Бугаза мы спокойно провели в Ливнах, где он и начал книгу. Но работа над ней захватила его далеко не сразу...

К тому времени им было уже написано немало — два романа, несколько повестей и множество рассказов. Однако еще не пришла настоящая уверенность в своих силах, столь необходимая для зрелости. Критика относилась к нему холодно. В скудных немногочисленных рецензиях делался упор на «экзотичность», «несовременность», отмечались, правда, достоинства стиля, но совершенно игнорировалось внимание к природе, к человеку.

Признание — очень важная вещь для каждого писателя, и было бы ханжеством утверждать, что отец к нему оставался равнодушен. Тем ценнее были отдельные удачи и слова одобрения. Характерен отрывок из его письма, где он сообщает, что рассказ «Этикетки для колониальных товаров» (с которым он много возился) принят в журнал «Красная новь»:

«Я рад, и сразу ушла моя апатия и нерешительность. Я рад не только тому, что «Этикетки» будут напечатаны в лучшем журнале, но еще и тому, что в литературу я вошел не с заднего хода, без рекомендательных писем, друзей и подготовки, вошел как человек совершенно неизвестный».

Все же состояние «писательской неприкаянности» не проходило...

Бывая у Нацких в Ливнах, он слушал рассказы Александра Дмитриевича и даже использовал их в неоконченном романе «Коллекционер». Однако залив на Каспийском море пока привлекал его только с экзотической стороны.

Не помню уже, кто именно из моих родителей во время журналистской беготни по городу наткнулся на научную конференцию по промышленному использованию богатств Кара-Бугаза. Отец стал посещать эту конференцию, внимательно

прослушал все доклады и решил: надо ехать. Дело было за небольшим — требовалось достать денег на поездку. О связанных с этим хлопотах и колоритных разговорах с директорами издательств он рассказал сам. При этом, по своей привычке, больше касался забавных сторон.

Умолчал же он на этот раз, в силу присущей ему сдержанности, о затруднениях «внутреннего» порядка. Ведь ни во время поездки на Каспий, ни в Ливнах по возвращении, ни осенью, в Москве, материал еще не «давался» ему в руки. Он чувствовал добротность этого материала и именно потому считал, что овладеть им нужно достойно. Затруднения эти естественны, если не упускать из виду писательскую взыскательность. Необходимо убеждение не только ума, но и сердца.

Правда, он вполне уже обладал достаточными профессиональными навыками, чтобы быстро написать по договору «нужную», но неглубокую по содержанию вещь. Подобных примеров вокруг было достаточно. Некоторые писатели, подняв производственную тему на щит и не очень заботясь о внутренней убежденности, довольно бойко выпускали повести, романы и пьесы. Отец называл их «индустриальными дроздами».

Такой путь для себя он считал неприемлемым.

Осенью «Кара-Бугазу» все еще угрожала участь других его неоконченных книг, так и оставшихся в письменном столе.

Поворот произошел неожиданно.

В начале зимы ему предложили поехать в командировку от другой редакции. Требовалось написать серию очерков о строительстве химического комбината в Березниках. Жить на Урале пришлось в убогих гостиницах, со случайными людьми. Условия для работы были самые неподходящие, и тем не менее книга о Кара-Бугазе «пошла» именно здесь. Позже отец не раз шутливо ссылаясь на климат и даже придумал собственную теорию на этот счет. Он говорил, что суровая уральская зима «по контрасту» помогла ему лучше почувствовать сухой зной азиатских пустынь.

Однако мог сыграть роль и другой «климат». Возможно, повлияла эмоциональная обстановка огромного строительства, представшего перед ним во весь рост, со всеми достижениями, трудностями и противоречиями. Если бы отец познакомился только с парадной, показной стороной строительства, мне кажется, он так и не испытал бы ни внутреннего перелома, ни желания работать над книгой. В Березниках пришло освобождение от внутренней скованности, которая так тяготила его в предшествующие годы и мешала творчеству.

Обо всем этом он писал в письмах домой. Одно из писем можно даже назвать «творческой исповедью». Вот отрывки из него:

«...как писатель я рос очень медленно и только теперь [...] чувствую, как я созрел. Перелом дался мне нелегко — после весенней поездки я чувствовал себя как писатель мертвецом — новое пугало меня, давило, и я не знал никаких путей, чтобы вложить в него весь тот блеск, который я чувствую и знаю в себе...

...Так было в Москве между приездом из Ливен и Березниками.

Я не бежал из Москвы, но оставаться в Москве было невыносимо, бесплодно, нужен был толчок, чтобы наконец произошла кристаллизация. Нужно было то, что здесь химики зовут «катализом» — это вещество, состав которого держится в величайшем секрете. Смешивают несколько мутных газов, дают их в насосах, мнут паром, гонят по трубам — газ остается все таким же мутным. Потом его пропускают через трубы, где лежит «катализ», и из труб льется чистая, необыкновенно прозрачная, пахнущая снегом и морем жидкость. «Катализ» превращает грязные газы в голубоватую сверкающую жидкость. [...]

...Превосходство моего стиля — и только стиля — не давало мне полной уверенности в своих силах. В этом был разрыв между творчеством жизни и творчеством художественным, и это портило и мою жизнь и мое творчество. Теперь пришло время говорить «во весь голос» [...]

...Большие города и заводы строятся на крови и нервах — большая жизнь и большое творчество строятся на том же, так же как и большое счастье. И, как нарочно, сейчас, в момент перелома, я получил и твое письмо, и письма «читателей», и письма Фраермана и Л-на. Письмо Фраермана — восторженное [...], письмо Л-на полно настоящей, крепкой любви ко мне — за что все это — не знаю, я теряюсь.

Письмо «талантливой» женщины действительно чудесно — оно очень искренне написано, и очень хорошо, что оно анонимное. Оказывается, над моими книгами плачут, смеются и любят меня как писателя — я до сих пор не могу в это поверить».

Письмо «талантливой» женщины пришло в Москву уже в отсутствие отца и «догнало» его в Березниках.

Почему «талантливая» женщина? Просто единственное, что неизвестный автор шуточно сообщила о себе, сводилось к следующему. В детстве ходила в балетную студию, писала стихи,

но потом эти «таланты» растеряла и в результате стала редакционным работником.

«...Читать приходится много,— пишет она,— большинство книг без вкуса и запаха, точно какое-нибудь несоленое вегетарианское блюдо. Эти «кушанья» я потребляю до последнего времени в таком количестве, что получила отвращение к печатному слову вообще. В таком состоянии каждая светлая строка радует, как самый дорогой подарок. И те Ваши вещи, что я прочла, обрадовали меня надолго...

...Когда я принялась за «Облака» и прочла слова: «Стояла ледяная и горькая осень», я опустила книгу и засмеялась, мне стало вдруг так хорошо. [...] Была настоящая книга, и приступить к ней было жутко и заманчиво, как в детстве...

...Я о Вас, Константин Георгиевич, ничего не знаю, но думаю, что писать Вам трудно. Недаром Вы написали о Гофмане и его доме, который инженеры считали ненужной роскошью, а аспиранты вообще «несозвучным». Простите за прямоту, но думаю, что именно в этих выражениях говорят о Ваших вещах. Знаю, что каждому писателю это очень тяжело. И знаю, что аспиранты здесь неправы. Мне кажется, что я умею оценить вещь независимо от того, как она отвечает моим личным чувствам и мнениям. Вывод из всего этого — такие книги, конечно, нужны нам именно сейчас [...]. После Ваших книг хочется жить, дышать, работать. Они так относятся к своему делу, ваши летчики, архитекторы, моряки, как только можно пожелать лучшему из ударников.

Где Вы нашли этих людей?

Я знаю, что целиком выдумать нельзя...

Для меня это письмо явилось неожиданным свидетельством того, что и до известности, пришедшей после успеха «Кара-Бугаза», у отца были свои искренние почитатели. В самом деле, почему все его творчество принято искусственно делить на два периода — «до» и «после» «Кара-Бугаза»? Он сам никогда этого не делал, и многие вещи, написанные именно и «до» и «после», ставил выше.

Один пожилой, заслуженный альпинист при встречах со мной любил повторять:

— Давно-давно я прочел сборник рассказов вашего отца «Встречные корабли». И так он мне пришелся по душе, что все последующие его произведения не ослабили первого впечатления.

И неизменно добавлял:

— Но вы, наверное, этого сборника и не помните. Или были слишком малы, или еще не родились.

Он ошибался. Именно потому, что был мал, я прекрасно запомнил обложку, нижняя, серая часть которой символически изображала море, по которому навстречу друг другу шли два пароходика (впрочем, может быть, там был только один). Тем более что сама книжка стояла за широкой стеклянной дверцей плоского шкафа, куда мне не очень разрешалось лазить.

Шкаф этот был приобретен вместе с другой обстановкой, когда родители наконец въехали в «свою» квартиру. До этого снимали комнаты. Были они в те годы людьми еще веселыми и беспечными. Поэтому само получение квартиры оказалось связано с забавными обстоятельствами. О них мне недавно рассказала Валентина Сергеевна Фраерман, вдова писателя.

Когда в РОСТА, где супруги Фраерман работали вместе с отцом, решили строить кооперативный дом, она спросила отца:

— Костя, почему вы не подаете заявление? Ведь квартиры почти распределили. Вам может ничего не остаться.

— Что вы, Валя, — отвечал отец, — до зарплаты осталась пятерка. Хватило бы на папиросы...

Дело в том, что при подаче заявления нужно было внести небольшую сумму, — кажется, десять рублей.

Десятка, конечно, нашлась, но отдельные квартиры действительно оказались уже распределенными. Пришлось довольствоваться коммунальной, точнее — полукоммунальной. Она представляла собой систему отдельных однокомнатных квартир, выходящих в общий коридор. Кухни при каждой комнате были отдельные, свои, остальные удобства — общие. Предназначались эти квартирки для одиноких сотрудников или бездетных семей. Родители же были с ребенком (мне шел третий месяц), поэтому им дали две комнаты рядом и соответственно две кухни. Вторую кухню, понятно, не стали оборудовать. Отец сразу превратил ее в филиал рабочего кабинета, ту самую темную комнату. Уличный грохот не достигал укромного чуланчика, и в жару там всегда было прохладно, зато из коридора порой все же доносились голоса споривших соседок, телефонные разговоры, и, что было самым неприятным для отца, проникал чад, когда зазевавшаяся соседка забывала вовремя погасить огонь под сковородой на своей кухне.

Однако вернусь к «многоуважаемому шкафу», о котором стоит сказать несколько слов.

В те годы достать мебель можно было только на многочисленных аукционах, устраиваемых в различных частях Москвы.

Совсем как в «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова. Там продавалось добро, реквизированное в революцию в дворянских усадьбах и купеческих особняках. Каждый мог подобрать себе что-нибудь подходящее, если не по внешнему виду, то хотя бы по цене. Так вот и шкаф приобрели в комплекте с другими вещами и первое время не знали, как его использовать, — настолько он был плоским. Отец даже прибил верхнюю его часть к стене, чтобы он не свалился и не пришиб ненароком меня. Зато шкаф был красив и прост — узкие стенки красного дерева обрамляли единственную дверцу со стеклом во всю ширину. Очевидно, он был заказан владельцами какой-нибудь усадьбы для коллекции фарфоровых тарелок. В нашем доме фарфора не было, и в шкаф ставили разные предметы, которые можно назвать сувенирами или «раритетами», — изразцы, подобранные на месте разрушенной Сухаревской башни, черепки древнегреческих ваз, обломки облицовки мечетей, привозимые отцом из поездок...

Когда книги отца начали выходить отдельными изданиями, маме пришлось в голову ставить их тоже туда. Отец отнесся к этому сначала неодобрительно (показалось нескромным), потом смирился — все же какой-то стимул.

Так среди изразцов и корабликов появилась одинокая беленькая «Минетоза» в издании «Огонька», потом «Встречные корабли», и «Блισταющие облака» в пестром, «супрематическом» переплете, очень меня занимавшем. Весь переплет рябил красными и черными ромбиками. Наконец, первые экземпляры «Кара-Бугаза», «Колхиды».

Года через два-три различных изданий «Кара-Бугазов» и «Колхид» на русском и других языках стало столько, что они совершенно заполонили шкаф и оттеснили все остальное. Тогда все книги были из шкафа торжественно выдворены и вновь на фоне тусклой темно-бордовой обивки начали таинственно поблескивать предметы, пришедшие из далеких времен...

Как бы в дальнейшем ни складывались обстоятельства нашей жизни, моя связь с отцом не прерывалась надолго ни в юности, ни в дальнейшие годы. Единственным временем, когда мы не виделись довольно значительный срок, был первый период Отечественной войны.

Я тогда уже учился в художественной школе. В начале июля 1941 года всех ее учеников эвакуировали в отдаленный районный центр Башкирии. Отец же отправился военным коррес-

пондентом на фронт и прошел с армией тяжелый путь отступления.

«Я два месяца пробыл на Южном фронте (в Бессарабии, Одессе, на Дунае), — писал он мне в Башкирию в начале 1942 года, — потом возвратился в Москву, уехал в Чистополь (это — около Казани), куда были эвакуированы писательские семьи, а оттуда в Алма-Ату. Алма-Ата — необыкновенно красивый город, весь в садах, у подножья Тянь-Шаня, но все здешние красоты не радуют. Все живем только надеждой и ожиданием. Здесь все киноорганизации (Мосфильм, Ленфильм и другие). Я написал большой антифашистский сценарий. На днях его кончил. Работаю в Советском Информбюро (для Америки и Англии) и должен писать пьесу (срочно). Работы много... [...] ...Здесь из писателей Зощенко (очень угрюмый), Шкловский, Ильин, Шторм, Панферов, Коля Харджиев (ты его, должно быть, помнишь), Любимова, Каплер и несколько других [...].

...Я, конечно, постарел, — в мае мне будет уже 50 лет. На фронте болел, до сих пор еще толком не оправился, а здесь из-за высоты (1000 метров над уровнем моря) — у меня жестокая одышка... [...] Если будут какие-нибудь изменения в твоей судьбе — то срочно телеграфируй...»

В конце письма была приписка о судьбе знакомых писателей: «Фраерман — на фронте. Роскин попал в окружение. Гайдар пропал без вести. Все же до сих пор я надеюсь, что они уцелеют».

В мае 1943 года мы снова увиделись в Москве — оба почти одновременно вернулись из эвакуации. Через два месяца встретились уже в Солотче (я приехал туда на летние каникулы).

Война наложила отпечаток и на Солотчу, которую я не видел уже несколько лет. В лугах было пустынно, на месте некоторых знакомых приметных деревьев зияли воронки от авиабомб. Отец, приехавший на несколько недель раньше, рассказывал, как ночами выходил в сад и слушал гул немецких бомбардировщиков, летевших на Горький. Возвращаясь, они сбрасывали бомбы, где придется.

В то лето отец много работал над переделками антифашистского сценария, о котором писал еще из Алма-Аты. Когда фильм намечается к постановке, всегда возникает необходимость что-то доработать. Это была вещь, совершенно необычная для его творчества — сатирический фильм с острым сю-

жетом и с элементами гротеска. Может, поэтому он, вопреки своим правилам, рассказывал содержание сценария еще во время работы над ним. Обычно он этого делать не любил. Недаром к фразам, вызывавшим его раздражение, относились стандартные вопросы газетных репортеров: «Над чем Вы сейчас работаете? Каковы Ваши творческие планы?»

К сожалению, из всего сценария помню лишь единственный эпизод. Немцы ворвались в один из наших городов. Солдаты разгромили биологическую лабораторию, а подопытных кроликов съели, не зная, что они заражены бешенством. Когда солдаты начали заболеть, генерал приказывает их расстрелять, затем он находит другой выход из положения. Наутро взбесившаяся рота посылается впереди остальных полков, атакующих наши позиции. «Бешеные» прут без страха вперед, невзирая ни на артиллерийский и минометный обстрел, ни на пулеметный огонь. Когда до наших окопов остается немного, путь роте преграждает небольшой ручеек, который нетрудно перескочить или перебежать вброд. Тут солдаты в ужасе устремляются назад, обращая в паническое бегство все атакующие части. Ведь вместе с бешенством фашисты, естественно, заразились и водобоязнью.

Неизвестно, сохранился ли этот сценарий. Фильм на экраны так и не вышел. С кино отцу всегда «не везло», начиная с попыток экранизации «Кара-Бугаза» и «Колхиды».

По издавна установившейся традиции каждое заметное произведение литературы неизменно экранизируется, затем переделывается в пьесу, а то и в оперу. Иногда сюда добавляется оперетта, балет, пантомима и т. д. Отца никогда не привлекала подобная «золотая цепочка». Обычно его вещи «застревали» на стадии экранизации, и он очень мало печалился по этому поводу.

Специалисты кино, приступившие в свое время к постановке «Кара-Бугаза», решительно заявили, что книга «бессюжетна» и для экрана нуждается в коренной переработке. Если понимать сюжет лишь стандартно драматургически, это было так. Однако книга имела свой сюжет, развивавшийся совсем по иным законам. Суметь уловить, понять их — в этом, наверное, и заключается подлинное искусство экранизации. Попытки отца объяснить, какой он хочет видеть на экране свою вещь, ни к чему не привели. К тому же он был абсолютным новичком в кино и дал себя уговорить. Один в поле не воин. В результате сценарий «Кара-Бугаза» развивался в соответствии с непреложными законами жанра (а точнее — штампами). Был «соз-

дан» сюжет, введена неизбежная любовная интрига с «роковым» женским образом и т. д.

К великому облегчению отца, картина на экраны не вышла из-за каких-то организационно-финансовых неполадок. Перед этим он присутствовал на съемках, и вся их обстановка произвела на него безотрадное впечатление. Вряд ли стоит приводить отрывки из его писем, настолько резко он судил обо всем, что видел.

Мне думается, ни один честный работник кино не может почувствовать здесь себя задетым. Ведь не обижаются же артисты на изображение театрального быта в рассказах Куприна «К славе» или «Как я был актером». Пусть это не недостаток, а специфика, как принято говорить.

Знакомство со «спецификой» кино не прошло для отца даром. Он решительно отказался от экранизации уже готового сценария «Колхиды» и дал себе зарок в кино больше не работать. Придерживался в дальнейшем этого решения довольно твердо, несмотря на самые выгодные предложения.

К числу немногих исключений относится как раз работа над антифашистским сценарием. Он отступил от своих правил, так как прекрасно понимал, насколько действенным может быть кино во время войны. Однако и здесь все сложилось неудачно. Тем летом продолжалась обычная возня с переделками и согласованиями давно написанной вещи.

Может, поэтому отец так категорически отклонил заманчивое предложение написать сценарий для фильма «Адмирал Нахимов». Эту картину собирался ставить Всеволод Пудовкин.

Зная о предубежденности отца к работе в кино, Пудовкин сам приехал в Солотчу, «уговаривать». Это случилось как раз летом 1943 года. Быстрый в решениях Пудовкин появился вместе со своим помощником совершенно неожиданно, после страшного ливня. Оба вымокли насквозь — они отправились из Москвы, за двести километров, без плащей, лишь в белых рубашках. Это обстоятельство больше всего смущало отца. Ему не хотелось отказывать в согласии человеку, столько претерпевшему, хотя бы ради этой поездки. Поэтому отец очень трогательно ухаживал за Пудовкиным, тщательно проверял, достаточно ли хорошо высушена одежда, очень беспокоился, чтобы он не заболел, и т. д. Но работать над сценарием все равно отказался.

Когда через день или два Пудовкин уехал, я спросил по дороге с вечерней рыбной ловли, не жалеет ли он о том, что теперь сценарий будет писать другой человек. И, к удивлению,

услышал, что да, очень жалеет. И тема ему близка, он ее чувствует и хорошо видит, как бы все написал. Именно поэтому правильно сделал, что отказался. Говорил, что Пудовкина очень любит как прекрасного и тонкого режиссера, не в пример многим другим. Но работать с ним было бы еще труднее. Пудовкин человек яркий, талантливый, следовательно, все видящий в своем свете, творчески упрямый.

Вот пример. Известно, рассказывал отец, что в жизни Нахимова, в отличие от подавляющего большинства мужчин, женщины не играли существенной роли. Женоненавистником он не был, но настолько посвящал себя морю и своему делу, что семья и все с ней связанное было для него второстепенным. Эту характерную черту, безусловно, следует использовать в сценарии. Это ключ ко многому, это характер человека. Пудовкин же говорил ему, что без «женской линии» в кино никак невозможно. Даже Пудовкин!

Тогда, летом 1943 года, в Солотче было пустынно, совсем мало осталось в войну мужчин.

Неизменно навевался лишь дед Семен — личность замечательная, можно сказать, уникальная. В то же время это был не такой уж редкий тип русского крестьянина. Чудаковатый и добрый, он бывал и очень резким. В деревне такие люди часто стоят особняком, главным образом потому, что скептически относятся к собственническим интересам односельчан. Их уважают за ум, но в отместку называют «непутевыми».

Люди такого типа всегда равнодушны к служебной иерархии. Поэтому они ведут себя с одинаковым достоинством и с представителями власти, и с личностями самыми неприметными.

Очень любил дед Семен «докапываться» до сути самых разных вещей — от политических событий до психологии рыб и зверей. Свое обостренное чувство справедливости он прятал за неизменным лукавством и остроумием.

Была у него еще особая страсть — разбираться в корнях слов. На эту тему он любил поговорить и поспорить с отцом и таким же, как отец, «старожилом» Солотчи — писателем Фраерманом. Немного сложное отцовское отчество «Георгиевич» дед превратил в «Егорыч», а Рувима Исаевича Фраермана упорно называл «Иерувим Исаич» (почти Херувим, в чем был свой добродушный смысл).

Немало из разговоров и дискуссий с дедом Семеном вошло потом в «Золотую розу».

Кстати, замысел этой книги возник у отца очень давно. Я впервые услышал о нем чуть ли не в то военное лето. Только название у книги первоначально предполагалось иное — «Железная роза». Связано оно было с другим прологом, в котором главным действующим лицом был не парижский мусорщик, а русский кузнец, отковавший из железа замечательную розу с тонкими лепестками. Мне этот вариант нравился больше, и совсем не потому, что он был связан с «родной почвой». Привлекало сравнение — удивительная роза сделана из самого простого материала, идущего на гвозди и подковы. Так и со словами. Они одни и те же — и в обыденной речи, и в волшебстве стиха... Потом отец увлекся мыслью о золотой пыли, и место кузнеца занял Жан Шамет.

Из словечек деда Семена мне хорошо запомнилось лишь одно — «завихрился». Наверное, потому, что оно имело непосредственное отношение ко мне в детские годы: «Где это ты завихрился? Дома ищут» и т. д.

Когда через несколько лет отец оставил Солотчу, дед Семен был уже плох и не мог работать. Отец до самой его смерти помогал ему деньгами, присылал что-то вроде пенсии...

Хоронила Семена вся Солотча.

В Тарусе в кабинете отца висит его портрет. Дед слегка заломил картуз назад (дескать, что нам!) и смотрит из-под него своими милыми лучистыми глазами. Во взгляде его и лукавство, и ум, и грусть...

В Солотче отец не только много работал, но так же увлеченно, даже фанатично, отдавался рыбной ловле. Эти два процесса в его жизни были совершенно неотделимы. Он знал рыболовное дело до тонкостей, перепробовал множество способов лова, но предпочитал лишь один — простое ужение на удочку. Сам он объяснял это свойством характера и любовью к созерцательности, однако у меня сложилось свое мнение на этот счет. Но предварительно придется сказать несколько слов о моем непродолжительном увлечении охотой.

Ружьем я обзавелся через несколько лет после войны, в начале пятидесятых годов, когда мне было уже за двадцать. И вот я приехал охотиться в солотчинских лугах...

Я заметил, что отец относится с явным предубеждением к

ружейной охоте, хотя решительно этого никогда не высказывает.

Вместе с тем он очень любил присутствовать при чистке ружья и набивке патронов, ему нравились применявшиеся для этого различные хитрые штучки, поблескивающие металлом и пластмассой. Он всегда имел слабость к предметам, связанным с каким-либо занятием или мастерством. Помню, как любовался рыболовными блеснами, даже собирал их, хотя не пользовался ими почти никогда.

В те дни изменился тон его застольных разговоров о рыбной ловле. Обычный мажорный настрой сменился несколько минорным, причем это касалось совсем не срыва с крючка большого окуня или щуки. По его словам выходило, что рыбная ловля тоже довольно злодейское занятие, в особенности когда приходится приканчивать большую рыбину или стремительно насаживать на крючки живцов. Правда, говорилось это с известной долей иронии, но...

Разговоры эти не мешали нам доедать жареных окуней и застреленную накануне утку. Затем мы спокойно расходились на свой «ужасный» промысел: он с удочками — на берега проток и озер, я с ружьем — в луга.

Видимо, страсть к охоте так же «природна», как и множество других чувств. Отказаться от нее совсем — значит чем-то обделить себя.

Отец не был чужд этих страстей. Разве рыбная ловля не та же охота? Здесь кипят те же переживания добычи, азарта, погони и риска. Вспомним хотя бы «рыболовные» эпизоды такого «чистого» охотника, как Хемингуэй.

Не будет преувеличением сказать, что рыбная ловля для отца занимала место совсем рядом с литературной работой, может, даже с ней наравне. Недаром он говорил, что если его лишит возможности удить, он не сможет и писать. Но все же для него интересы «охоты» в рыбной ловле были отодвинуты на задний план. На первом стояло то, что непосредственно помогало творчеству. Зато в рыболовных рассказах охотничий инстинкт «проявлялся» у него гораздо свободней...

Однажды отец рассказал, как накануне в лугах видел какого-то косматого странного деда, который три часа лазил по камышам, искал подранка, ворчал и кряхтел, мешая отцу удить.

— И я подумал, — добавил отец, — что вся эта охота такая же синекура, как и рыбная ловля...

С подобными «крамольными», с точки зрения ортодоксаль-

ного рыболова, заявлениями он «выступал» не так уж редко. Это напоминало высказывания о рыбной ловле другого страстного удильщика — Чехова:

— Чудесное занятие! Вроде тихого помешательства. И самому приятно, и для других не опасно.

Пришвин как-то упрекнул отца за то, что он своими рассказами о Мещоре привлёк туда толпы туристов, которые все «вытопчут». Это несправедливо. Писатель ведь не просто протокольно описывает природу — он пишет о своем удивлении перед ней. И не может не писать об этом.

Не его вина, что читатели, вместо того чтобы подобным же образом «открывать» для себя новые места (их еще очень, очень много), устремляются по проторенной дорожке. Почему-то многие хотят видеть только то, что «апробировано». Они забывают, что могут увидеть, по существу, уже другое место. За последние годы все очень изменилось. Солотча стала дачным пригородом Рязани. Это неизбежно, и в этом, может быть, нет ничего трагического.

Отец же полюбил ее такой, какой увидел впервые. Перед отъездом из Солотчи он писал мне:

«Солотча очень испортилась, — вся запружена дачниками, по главной улице автомобили носятся беспрерывно, как в Москве и рыбы почти не стало. Чтобы поудить по-настоящему, приходится уходить на Черное озеро и даже дальше — на Поганенькое — очень глухое озеро с зыбучими берегами. Там берут окуни в 3—4 фунта, похожие на поросят, но очень вялые, их тащишь из воды, как коряги.

Дачников много даже на Сегдене...»

После мещорского начался продолжительный тарусский период его жизни. Он был не менее интересен и очень плодотворен творчески.

В 1955 году в Тарусе был приобретен дом, точнее — домик. Потом он увеличился на манер русских деревянных построек, когда новый сруб пристраивается к уже имеющемуся строению.

На пространстве между старым домиком и сараем выросла бревенчатая пристройка, в планировке которой тоже было что-то от традиций деревянного зодчества. В новые помещения из старых нужно было подниматься или опускаться по небольшим лесенкам.

Наверху разместился обширный кабинет с большим лентообразным окном. Незабытыми оказались и давнишние архитектурные увлечения отца. Получилось это не парочно, само собой, но вышло очень хорошо.

В окно было видно начало дороги из Тарусы в Серпухов, и отец, провожая кого-нибудь или, наоборот, дожидаясь, очень любил поглядывать туда. Снимал даже со стенки бинокль или раздвигал большую подзорную трубу... Бывало, подъезжаешь к дому — он уже выходит навстречу:

— А я видел, как ты подпрыгивал на ухабах на своем зеленом мотороллере...

В силу присущего ему любопытства, желания «все попробовать» он раз уговорил меня немного его прокатить. При этом в его глазах сразу зажглись азартные огоньки. А ведь ему было уже за семьдесят...

Под кабинетом, в подвале, находилась большая, очень уютная кухня с желтыми стенами. Там вечерами всегда можно было застать кого-нибудь из знакомых «тарусян», главным образом литераторов и художников, приезжавших в Тарусу из года в год. Здесь я чаще видел отца уже в роли рассказчика. Рассказывал он всегда так же увлекаясь, как и в молодые годы...

В Тарусе его излюбленным местом рыбной ловли стала не Ока, а маленькая речка Таруска, шумевшая по камням позади сада. Как на всех небольших речках, на Таруске мели перемешались с молчаливыми омутами, в которых отражались одинокие ветлы и высокие кучевые облака.

Если идти по Таруске вверх, то сначала нужно пересечь широкую луговую долину, по краям которой поднимается лес. Река здесь долго петляет среди огородов и лугов, затем у маленькой деревеньки Сутормино резко поворачивает влево и прорезает обширное крутое холмище.

Здесь где-нибудь под высоким лесистым берегом или еще дальше — на Ильинском омуте — я обычно находил отца, когда приезжал в Тарусу летним вечером. Мы возвращались домой в глубоких сумерках. В кустах по краям тропинки белели валуны. Таких выходов известняков в Тарусе очень много, и этим она напоминает мне далекие Ливны...

Теперь на высоком берегу над Таруской — отцовская мөгига...

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. Смолич. Паустовскому я завидую *	5
В. Шкловский. О мастере лощей *	19
Р. Фраерман. Любимый друг *	26
В. Фраерман. Годы РОСТА	36
Вс. Иванов. Из выступления...	41
Ю. Бондарев. Мастер	44
А. Бек. «Доктор Пауст»	50
С. Львов. Встречи разных лет *	54
А. Ионов. Три часа с писателем *	75
Ал. Лесс. Всегда живой *	84
И. Эренбург. Из выступления по радио 25 мая 1962 года	91
А. Медников. Уроки мастерства *	93
Ю. Гончаров. Сердце, полное света *	112
Н. Кружков. На Южном фронте	155
Э. Казакевич. Из письма, прочитанного на вечере, посвященном семидесятилетию К. Г. Паустовского	159

<i>Г. Бакланов. Чувства добрые *</i>	163
<i>К. Коничев. Работал он повседневно *</i>	169
<i>Л. Кривенко. На семинаре *</i>	178
<i>В. Каверин. Из письма, прочитанного на вечере, посвященном семидесятилетию К. Г. Паустовского</i>	214
<i>Эм. Миндлин. Добрый художник *</i>	216
<i>М. Царев. О любимых писать трудно *</i>	249
<i>И. Атаров. Ветер с цветущих берегов *</i>	254
<i>А. Белянинов. Незабытые вечера *</i>	263
<i>Назым Хикмет. Из выступления на вечере, посвященном семидесятилетию К. Г. Паустовского</i>	277
<i>А. Гладков. Похвала анекдоту *</i>	279
<i>Ю. Казаков. Поедьте в Лопшеньгу *</i>	290
<i>М. Шевченко. В Доме Герцена</i>	303
<i>М. Шагинян. Из выступления по радио 30 мая 1967 года</i>	309
<i>Б. Аксенов. Встречи с Паустовским *</i>	312
<i>В. Тендряков. Учитель *</i>	323
<i>Л. Рахманов. Путешествие с Паустовским</i>	326
<i>Ю. Трифонов. Продолжительные уроки *</i>	347
<i>Л. Мартынов. Из письма, прочитанного на вечере, посвященном семидесятилетию К. Г. Паустовского</i>	354
<i>Л. Левицкий. За десять лет</i>	357
<i>Л. Озеров. До рассвета</i>	375
<i>С. Бондарин. Кораблик Паустовского *</i>	377
<i>В. Романенко. Одна ялтинская осень *</i>	384
<i>С. Щипачев. Из письма, прочитанного на вечере, посвященном семидесятилетию К. Г. Паустовского</i>	405
<i>А. Баталов. В Ялте</i>	407
<i>В. Паустовский. Прививка к географии</i>	415

ВОСПОМИНАНИЯ
О КОНСТАНТИНЕ ПАУСТОВСКОМ

Сборник

М., «Советский писатель», 1975, 464 стр.

План выпуска 1974 г. № 13.

Редактор *Е. И. Изгородина*

Худож. редактор *Н. С. Лаврентьев*

Техн. редактор *Р. Я. Соколова*

Корректоры *С. Б. Блауштейн*

и *С. И. Малкина*

Сдано в набор 25/VI 1974 г. Подписано к печати 21/XI 1974 г. А 02399. Бумага 60×84¹/₁₆ № 1. Печ. л. 29+вкл. (27,9). Уч.-изд. л. 26,89. Тираж 30 000 экз. Заказ 538. Цена 1 руб. 15 коп. Издательство «Советский писатель», Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект имени В. И. Ленина, 109



К. Г. Паустовский (слева) с товарищами по гимназии. Киев, 1910 г.



РЫЦАРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ Е. М. КУЗЬМИНА

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.

Рукописи должны быть доставлены четко переписанными, во возможности по одной стороне листа и подвержены из слуха по-добности сокращенны и исправленны. Оуложны, не постробонны из теченія дружбеленны сроку уничтожаются.

Примъ по дѣламъ редакціи (Измъ, Срѣ-тиская 17, кв. 10К) По понедѣламъ, сред-и пятницамъ: отъ 5 до 6 веч.

На 1 годъ съ доставкой . . . 1 р. — к.
На 1/2 55 .
Въ свѣтск. Россіи и за границей 1, 20 .
Подписки принимаются изъ С-Петербурга, Москвы и Харькова—въ книжн. маг. Вер-вонинкова, изъ Кіева въ книжн. маг. „Трувъ“
Фундуклевскаго, 10 и въ конторѣ редакціи.
Для иностранцевъ: въ конторѣ редакціи
Кіевъ, Братислава 17.

Общественія принимаются для помѣщенія
актъ постѣ текста и только: а) отъ выш-
ннхъ издательствъ, издательскихъ фирмъ,
фабрикъ научныи учебныи пособій и т. п.
б) спора и предаженій гуды в) учеб-
ныи замѣтокъ, учебныи и спортыи
обществъ — Цѣна 1 стр. — 20 руб. 1/2—10
руб. 1/4—5 руб. 1 стр. колонка 25 коп-
тсъ, учебныи—15 коп.

СОДЕРЖАНІЕ:

Четверо, повѣсть Паустовскаго.
Флоренція въ снѣгу. Ю. Ценора (съ чешскаго) перев.
В. Цельмеръ.
Такъ часто о печали говорить... стих. К. Подревскаго.
Островъ смерти (изъ путев. поборосковъ)... С. К—скі.
Паркъ Зимой... Стих. С. Кожинъ-вскаго.
Душа поэта... В. Соколова
Флоренція—Старый мостъ. Микель-Анжелло: „Раба“, „Автопортретъ“ и „Давидъ“.

Ожиданіе. Стих. К. Подревскаго.
Микель-Анжелло (къ 350 лѣт. юбилею)... Е. Кузьмина
Новый поэтъ... К.
Изъ мира печати.
Изъ мира науки.
Отдѣлъ вниманнаго общенія
Отъ Редакціи. Объявленія.

В этом журнале писатель впервые выступил под своей фамилией.



Паустовский — военный санитар. Одесса, 1915 г.

КРАЕВАЯ ГАЗЕТА
Черного, Азовского и Каспийского
МОРЕЙ
„МОРЯК“

Действительно по 1^ю июля 1921 г.

Редакция: Одесса
Телеф. 15-57

1 мая 1921 г.
№ 38

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Настоящим удостоверяется, что ниже-
явитель этого Виктор Павлович
Павловский действи-
тельно является сотрудником газеты
„МОРЯК“ в качестве пом. редактора

Редакция просит все профессиональ-
ные, государственные (гражданские и во-
енные) учреждения и организации ока-
зывать тов. Павловскому
законное содействие в деле выполнения
возложенных на него обязанностей.

Редактор В. Г. Паустовский
Секретарь М. Г. Паустовский

Срок настоящего удостоверения
продлен по 1 июля 1921 г.
Редактор В. Г. Паустовский
Секретарь М. Г. Паустовский

Срок настоящего удостоверения
продлен по 1 июля 1921 г.
Редактор В. Г. Паустовский
Секретарь М. Г. Паустовский

Срок настоящего удостоверения
продлен по 1 июля 1921 г.
Редактор В. Г. Паустовский
Секретарь М. Г. Паустовский

Срок настоящего удостоверения
продлен по 1 июля 1921 г.
Редактор В. Г. Паустовский
Секретарь М. Г. Паустовский

Срок настоящего удостоверения
продлен по 1 июля 1921 г.
Редактор В. Г. Паустовский
Секретарь М. Г. Паустовский

Срок настоящего удостоверения
продлен по 1 июля 1921 г.
Редактор В. Г. Паустовский
Секретарь М. Г. Паустовский

Редакционное удостоверение газеты «Морьяк», выданное К. Г. Паустовскому.



К. Г. Паустовский (крайний слева) в редакции газеты «Моряк». Одесса, 1921 г.



На лыжной прогулке в Подмоскowie с сослуживцами из РОСТА, конец двадцатых годов.

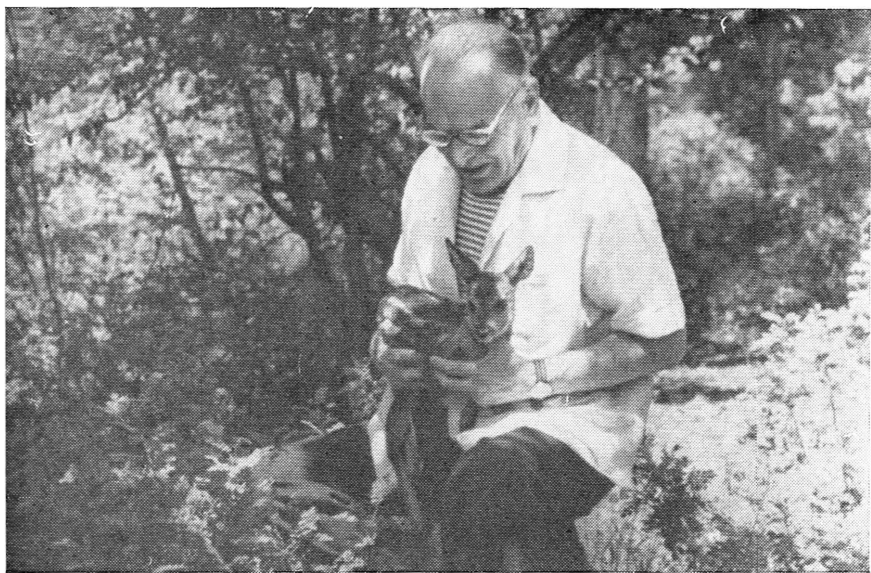


К. Г. Паустовский с сыном Алешей, 1957 г.



*Отставной полковник, послуживший прототипом героя
рассказа «Старик в потертой шинели». Г. Ливны, 1931 г.*

К. Г. Паустовский. Рязань, 1966 г.





К. Г. Паустовский с Р. И. Фраерманом в Солотче, 1936 г.



К. Г. Паустовский, А. Я. Яшин и П. Ф. Нилин.

К. Г. Паустовский у могилы И. А. Бунина. Франция, Сент-Женевьев де Буа, 1962 г.





*К. Г. Паустовский с Василием Зотовым и его сыном. Солотча, 1966 г.
(В. Зотов — один из героев мещорских рассказов писателя).*

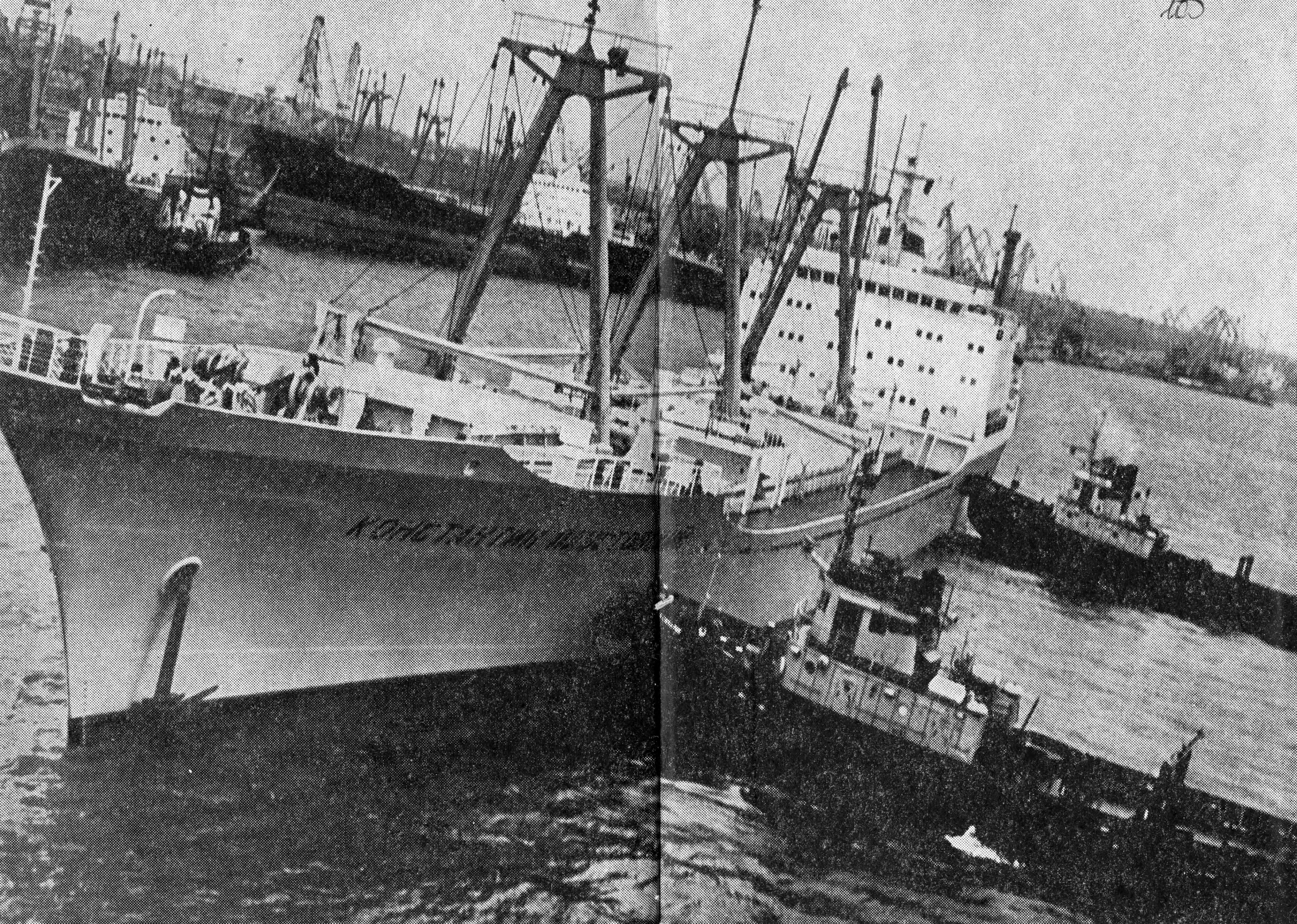


На Канпу, 1965 г.



Т. А. Паустовская, К. Г. Паустовский, И. В. Кодрянский. Капри, 1965 г.





1р. 15к.

